В. ДУДИНЦЕВ

НЕ ХЛЕБОМ ЕДИНЫМ

ИЗДАТЕЛЬСТВО «ЦОПЭ»

В. ДУДИНЦЕВ

НЕ ХЛЕБОМ ЕДИНЫМ

Роман в четырех частях

Издание Центрального Объединения
Политических Эмигрантов из СССР (ЦОПЭ)

Мюнхен 1957



Printed in West Germany.
Satz und Druck: Georg Butow, München 5, Kohlstr. 3 b. Tel. 29 51 36.



Не хлебом единым

ОТ ИЗДАТЕЛЬСТВА

Роман Дудинцева «Не хлебом единым» произвел в Советском Союзе впечатление разорвавшейся атомной бомбы.

Во время обсуждения романа в Доме литераторов в Москве пришлось вызвать конную милицию, чтобы разогнать собравшуюся толпу, стремившуюся во что бы то ни стало попасть внутрь, послушать и высказаться. В Московском университете дискуссия, начавшаяся в аудитории, заканчивалась на улице. Партийная печать вежливо, но решительно осудила роман и, несмотря на его огромный успех, он до сих пор не вышел в СССР отдельной книгой. Правда, советское литературное начальство обещает издание романа, но с поправками — внесенными будто бы по воле автора.

Вот почему мы считаем своим долгом предложить русскому читателю полный и не искаженный текст этого произведения — замечательного по смелости и резкости обличения советской действительности.

Перед читателем романа прежде всего встает недоуменный вопрос: как вообще подобное произведение могло появиться в подцензурной советской литературе, всего четыре года назад знавшей лишь прославление мудрости «отца народов» и рассуждения о «новом коммунистическом человеке»... Попытаемся на этот вопрос ответить.

5 марта 1953 года умер Сталин. Не прошло и месяца, как было объявлено, что последнее творение «великого вождя» — «дело врачей» — фальшивка, сфабрикованная с помощью «методов следствия, недопустимых социалистической законностью». Это было первое за тридцать пять лет признание, что МГБ, более всесильное, святое и непогрешимое, чем римский папа, «ошиблось». Вскоре в одном из идеологических «подвалов» «Правды», среди наизусть знакомых плоских рассуждений, появилось новое сочетание слов — «культ личности».

В июне того же года пал очередной «железный нарком» Берия, и началась первая за двадцать лет чистка в том учреждении, которое в СССР называют просто «органами».

Это были начальные шаги по тому пути, который позже на Западе неудачно окрестили «десталинизацией». Суть этого процесса совсем не в отказе от сталинской политики, в верности которой поклялся Хрущев не только в своей публичной, но и в своей тайной речи на XX съезде. Суть его только в частичном отказе от сталинских методов проведения этой политики.

Сталин правил с помощью массового, ни на секунду не прекращавшегося, террора. Убив в концлагерях и подвалах НКВД миллионы людей и создав в стране атмосферу истерического страха, он разгромил, разобщил, атомизировал те общественные силы, которые сопротивлялись тоталитарному режиму. Однако, Хрущев недаром жаловался, что Сталин «замучил» тысячи «верных коммунистов»: террор, действительно, бил и по правящей бюрократии. Она мирилась с ним, пока без него было не справиться со своими противниками, и поспешила отказаться от него, когда достаточно укрепилась и когда главный вдохновитель террористической политики умер, — поспешила отказаться, конечно, не в пользу демократизации, которая привела бы к свержению бюрократии, а в пользу замены террористической государственной власти властью полицейской.

Коллективное руководство правильно рассчитало, что советское общество, разгромленное и атомизированное, можно удержать от политического протеста, обязательно предполагающего организованность, в рамках полицейски-тотали-

тарного государства, где царствует не произвол карательных органов, а исключающая демократию «социалистическая законность», охраняющая интересы и покой правящего класса. Коллективное руководство, однако, забыло при этом, что за годы террора внутреннее моральное сопротивление государственно организованной уголовщине и критическое отношение к режиму возросли в населении прямо пропорционально ослаблению сопротивления политического.

Оказалось, что как только угроза смерти за неосторожно сказанное слово исчезла, моральное негодование отдельного человека, не требующее для своего выражения никакой внешней организованности, нашло себе выход в критике действительности. Такая критика, при всей ее «политичности», не есть еще политическая борьба, т. е. борьба за власть, — но это есть попытка преодоления атомизации общества, которая делает такую борьбу невозможной.

Все, что происходит в области «идеологии» и, прежде всего, в литературе в 1953—57 году, — это история выхода на поверхность в постепенно радикализующейся форме тех критических тенденций, которые давно уже созрели в недрах общества, но только теперь, после отмены курса на тотальное уничтожение всех недовольных, начали выражаться открыто.

Несмотря на непрекращающиеся призывы к порядку со стороны ЦК партии, тенденции эти пробились на страницы печати — благодаря одному техническому обстоятельству: дело в том, что в советских журналах и газетах цензура действует своеобразно. Цензура осуществляется, главным образом, внутриредакционно. Рукопись проходит ряд инстанций. При этом в условиях террора предполагалось, что даже если какой-нибудь сумасшедший захочет рискнуть своей свободой и жизнью и принесет в редакцию неблагонадежную рукопись, то во всяком случае там найдется достаточно людей, которые на такой риск не пойдут, — а поэтому «крамола», даже очень умеренная, света все равно не увидит.

Рассчет был взят правильный. К 1952 году в советской литературе воцарилась кладбищенская тишина. «Маститые» молчали, а группка недавно выдвинувшихся авантюристов пера робко спорила между собой, есть ли еще в советской действительности основания для конфликта между дурным и хорошим или, может быть, следует говорить о конфликте между хорошим и лучшим.

Но как только люди почувствовали, что террор кончается, сразу началось оживление. Желающих покончить с собой в редакциях не находилось, но многие согласны были рискнуть выговором или даже местом, чтобы протащить в печать ту крупицу правды, за которую больше сейчас вряд ли взыщут. И там, где подобрались соответствующие люди, система внутриредакционной цензуры позволила им делать это. Недаром почти все «вредные» (с точки зрения режима) статьи и художественные произведения появились в «Новом мире» и ничего не появилось, например, в «Октябре».

Еще в 1953 году в «Новом мире» выступил с программной статьей «Об искренности в литературе» Померанцев. Нападая на «удручающе одинаковые», «ложно риторические» книги, он писал:

«Искренности — вот чего не хватает иным книгам и пьесам... Писатели не только могут, а обязаны отбросить все приемы, приемчики, способы обхода противоречивых, трудных вопросов... Пройдут еще годик-два и вы (читатели) получите настоящие вещи... О человеке должны писаться книги... Введите в романы настоящий конфликт... Обогащение тематики кажется мне самой надобной из надобностей литературы»

Эта и еще пять—шесть подобных статей заставили президиум Союза советских писателей издать инспирированное ЦК партии и написанное языком дисциплинарного устава постановление. В нем было сказано:

«В журнале «Новый мир» наметилась линия, противоречащая указаниям партии в области художественной литературы». И с фельдфебельской четкостью были сделаны выводы: 1) Осудить неправильную линию журнала «Новый мир» в вопросах литературы; 2) освободить товарища Твардовского от обязанностей главного редактора журнала»

В это время появилась эренбурговская «Оттепель» и «подморозить» литературу грозными криками, за которыми все-таки не следовал зубодробительный удар кулака, не удавалось. Число произведений с критической тенденцией увеличивалось и в первом номере журнала «Октябрь» за 1957 год некто Бас-

каков в статье «О смелости подлинной и мнимой», брюзжа и ворча, так резюмирует современное состояние литературы:

«Перелистайте толстые журналы, загляните в поэтические сборники и альманахи — и вы увидите секретарей райкомов, представленных в виде бездушных чинуш, зазнавшихся директоров, всевозможных карьеристов — работников различных министерств и ведомств... Главное в том, что все эти лица, хотят или не хотят авторы, нередко предстают в книгах, как некое порождение нашей социальной системы. С ними невозможно бороться» (читай: невозможно бороться в пределах системы).

В общем, сказано ясно: воспользовавшись «оттепелью» советская (скажем лучше — русская) литература, выражая глубочайшее недовольство народа тоталитарным режимом, повела на него наступление... «Оттепель» Эренбурга, «Времена года» Пановой, стихи Кирсанова, Евтушенко, Твардовского, повесть Нилина «Жесткость», рассказы Гранина, Тендрякова, ряд статей — вот основные этапы этого наступления.

Но наиболее политически значительное, наиболее широкое, обобщающее и, мы бы сказали, наименее подцензурное по духу произведение — это роман Дудинцева «Не хлебом единым».

Тот факт, что он до сих пор не вышел отдельной книгой, уже показателен для условий, в которых протекает в СССР литературное творчество, но, пожалуй, еще более показательна в этом смысле писательская судьба его автора. Дудинцев — профессиональный журналист, работник «Комсомольской правды», следовательно, человек к писательству причастный. И, тем не менее, первую свою большую книгу «Не хлебом единым» он напечатал в тридцать шесть лет. Это, мягко говоря, необычно: редко кто из людей пишущих садится за свой первый роман в таком возрасте. Очевидно, Дудинцев не писал потому, что применяться к требованиям критики не желал, а писать по велению совести не мог. Скорей же всего писал и, как многие, складывал в стол — в надежде на лучшие времена.

За это говорит многое: роман явно не сфабрикован наспех, «после XX съезда партии», он продуман, обработан, детали тщательно выписаны, все сюжетные и психологические ходы строго увязаны друг с другом, наконец, само действие кончается где-то между 1954—55 годами. Таким образом, можно предположить, что мы имеем здесь дело с «выходцем из письменного стола», с образцом литературы «для себя и ближайших друзей», несколько подчищенным и сдобренным в двух-трех местах довольно неубедительно звучащим упоминанием слова «партия».

В остальном роман беспощадно правдив, если не считать одной фигуры умолчания. В нем ни разу не упоминаются ни вожди, ни правительство, ни революционные праздники, ни текущие события внешней и внутренней «большой политики», хотя один герой романа и обладает министерским званием. Весь этот принудительный ассортимент казенной литературы из романа изгнан, и не потому, конечно, что темы эти касательства к его сюжету не имеют, а потому, что сказать хоть полслова правды об этих «предметах» в подцензурном произведении абсолютно невозможно. Дудинцев и молчит, занимаясь исключительно «хождениями по мукам» своего героя — изобретателя Лопаткина.

«Хождения» разворачиваются по хорошо знакомой нам схеме советского романа о передовике-новаторе. Человек что-то изобретает. Бюрократ-ретроград мешает и временно торжествует. Но, между тем, от бюрократа-ретрограда к передовику-новатору уходит жена, ранее относительно оного бюрократа заблуждавшаяся. Потом вмешивается честный партиец. Бдительное начальство приструнивает бюрократа (который либо кается, либо снимается с работы). И — все в порядке...

В «Не хлебом единым» эта схема, однако, наполняется таким смелым, свежим и искренним содержанием, что самый выбор ее кажется полемикой с официальной советской литературой. Дудинцев как бы говорит: «Посмотрите, вот как на самом деле выглядят вещи, даже если все и совершается внешне по вашей схеме»...

А выглядят вещи совсем не весело.

Начнем со счастливого конца. Лопаткин побеждает, но не потому, что «таков закон нашей партийной жизни», как любит писать советская критика, а благодаря случайному стечению обстоятельств: просто встретились на его пу-

ти хорошие люди. Но может быть хорошие люди как раз и есть честные партийцы или мужественные работники МГБ?

Хотя они и состоят в партии (кто из знающих советскую жизнь их упрекнет?), но действуют они, как хорошие люди, не потому, что они часть государственной машины, а как раз вопреки этому. Именно потому, что они хорошие люди, они на плохом счету у начальства. Майора Бадьина, выручившего Лопаткина из концлагеря, считали странным, а его начальник назвал его даже аполитичным.

Все помогавшие Лопаткину — это разобщенные идеалисты («тут идеалист, там идеалист, в третьем месте смотришь — еще один так называемый идеалист»), на свой страх и риск вступавшие в борьбу с государственной машиной, — а те, кто старались его погубить — это носители власти, организованные, сплоченные, решительно наступающие на горло слабейшему.

Лопаткин выиграл, но и они не проиграли. Приказ министра, исполняющий в советских романах роль Немезиды, воздающей всем по заслугам и разрешающей все противоречия, у Дудинцева обрушивается только на «малых воров», а большие воры, по пословице, «стоят вокруг, да в ладоши хлопают». Академики, замминистры, начальники главков, организаторы травли Лопаткина, остаются на своих местах. Система, не дававшая ему хода, морившая его голодом, загнавшая его в концлагерь, не меняется — и Дудинцев иронически подчеркивает это, замечая, что конструктивный пункт министерского приказа «комиссия переписала из другого приказа, который был издан года два или три назад». А раз так, то победа Лопаткина воспринимается как исключение, а не как «правило жизни в советском обществе».

Вот почему заключительная «сцена пира», которая по канонам советского романа должна представлять собой этакую картину увенчания добродетели, в «Не хлебом единым» похожа не столько на идиллию, сколько на подготовку к бою. Не поверженными и раскаявшимися, а сильными и пока еще уверенными в себе предстают противники Лопаткина, носители системы.

И в ответ на замечание одного из них: «За это дело министр с нами рассчитался сполна...», Лопаткин замечает: «Мы то еще с вами не рассчитались. Министр вам легонько всыпал, а мы будем с вами обходиться иначе. Как велит боевой устав пехоты...». Нам кажется, что в этих словах ясно звучит мысль о необходимости борьбы с порождающей зло системой и борьбы, так сказать, внеминистерскими средствами.

К такой мысли Дудинцев подводит всем содержанием романа. Газета «Известия» от 2 декабря 1956 года писала: «Фигуры бюрократов и карьеристов разрослись в романе до исполинских размеров, заслонив от автора светлый и дружный мир советской действительности». Справедливое замечание! Пафос романа именно в разоблачении легенды об этом светлом и дружном мире. Царством произвола, полным противоречий, в котором всесильны мошенники — вот какой предстает в изображении Дудинцева современная Россия.

История Лопаткина, одинокого фанатика-изобретателя, у которого пытаются украсть его изобретение, напоминает нам одну из сюжетных линий бальзаковских «Утраченных иллюзий», как и само общество, изображенное в романе, заставляет вспомнить о Бальзаке: та же круговая порука людей, разворовывающих общественное богатство, та же безнаказанность сильных, те же всесилие неправых и беспомощность правых, та же торжествующая посредственность, те же чудовищные контрасты между нищетой и богатством. По бальзаковски широк и охват действительности: заводы, коммунальные квартиры, проектные институты, МГБ, министерства, Сибирь, столица, простой рабочий, министр, учителя академии, неудачники, преуспевающие карьеристы всех систем и видов, приспособленцы, фанатики, идеалисты — все это не мелькает, а остается в памяти, поданное в своей бытовой и психологической неповторимости, с остротой и свежестью первооткрывателя, — хотя временами и первооткрывательски-очерково, с обилием деталей ярких и живых, но не совсем органически входящих в повествовательную ткань произведения.

Убедительней экономических трактатов рассказывает роман о сложившемся в СССР неоклассовом обществе.

На первых же страницах Дудинцев набрасывает несколько сценок, не оставляющих камня на камне от мифа о «рае трудящихся». В сибирском городке Музге голодные дети накидываются на невиданную диковину — разбросанные

на улице апельсиновые корки, а жена начальника комбината Дроздова привозит из Москвы норковое манто за двадцать две тысячи рублей... Добротные особняки местной знати и саманные домики рабочих... Изобильная пирушка у Дроздова и лежащая на бумажке картофелина в мундире у рабочего Сьянова... Такие не назойливо, но контрастно поданные детали создают картину, от которой никакими среднестатистическими выкладками не увернешься.

И после этого не удивляешься уже, что самозванные хозяева России распоряжаются на огромных, будто бы находящихся в «общественной собственности», комбинатах, как в своих мастерских: хотят — переводят механический завод на производство коляски для сына, хотят — заказывают специальные поезда в Москву, хотят — направляют техника по служебной командировке перевозить собственные вещи. Таково истинное положение вещей — всевластная, всем владеющая бюрократия и всего лишенный народ, от имени которого она распоряжается, — распоряжается не как рачительный хозяин, а как вор, дорвавшийся до банковского сейфа и думающий только о том, чтобы набить как можно скорей карманы.

Собственно, то, что предлагает Лопаткин, должно привести к большой производственной экономии, и частный капиталист, может быть, и попытался бы украсть у него изобретение, но во всяком случае постарался бы использовать его. Бюрократическая же машина сначала пытается вообще уничтожить сделанное Лопаткиным. Дроздов откровенно объясняет ему: «Капиталиста у нас нет, а народу (Дроздов всегда говорит от имени народа и государства) спокойней по старому».

Это — ценнейшее признание. Несмотря на всю внешнюю мощь и самоуверенность, коммунистические бюрократы как бы ощущают свою «ненастоящность», свою временность и потому не желают думать о будущем, не желают иметь перспектив. Отсюда невероятный консерватизм аппарата: вполне довольствуясь сладким настоящим, аппаратчики готовы на любую подлость, чтобы только устранить того, кто вольно или невольно угрожает их тепленьким местечкам.

Как и любая бесчестная шайка, они держатся только благодаря круговой поруке. Но в отличие от обычных мошенников, они имеют в своем распоряжении всю мощь современного тоталитарного государства. По мановению руки они приводят в движение полицейскую машину и попавший в нее человек — бессилен.

Описание полицейского произвола в романе производит потрясающее впечатление. Следователи, заинтересованные в том, чтобы иметь возможно более высокий процент обвиненных людей и решающие, какие документы подшивать и какие не подшивать в дело..., суд без защитников и присяжных, стремящийся не к раскрытию истины, а к формальной «ясности» и скорейшему вынесению обвинительного приговора... восемь лет лагерей за недоказанное разглашение государственной тайны — все это обрушивается на Лопаткина за то, что своим изобретением он посмел нарушить покой группы чиновных и научных бюрократов, прикрывающих преступления друг друга и обладающих такой властью, что даже своим преступлениям они могут придавать силу законности.

Когда по вине замминистра Шутикова и других высокопоставленных мошенников, изображенных в романе, оказались перерасходованными десятки тысяч тонн чугуна, то этот же замминистра росчерком пера повышает норму расхода металла — и «ученые», бездеятельность которых оплачивается огромными жалованиями, прикрывают его своей экспертизой, как он прикрывает своим авторитетом их бездеятельность. Когда афера с металлом все-таки раскрывается, то Шутикова из замминистра делают... членом коллегии другого министерства. И это в то время, когда колхозников, «укравших» десять килограммов ржи с колхозного поля, отправляют в концлагеря!

Естественно, что в атмосфере полной безответственности власть имущих, воровства в государственном масштабе, бесчестия и произвола — действительно рождается новый тип «коммунистического человека», человека-отшельника, по звериному настороженного, замкнутого, никому не открывающегося, всегда готового к защите, не стесняющегося в средствах, до психопатии, как профессор Бусько, подозрительного.

Если спросить, обладают ли герои романа Дудинцева какой-нибудь одной общей чертой, то можно ответить, что все они, положительные и отрицатель-

ные — крайние, почти болезненные индивидуалисты. Оно и понятно. Мошенник не может никому доверять, но не может никому доверять и человек, находящийся во власти заведомых мошенников. Индивидуалист — преуспевающий карьерист Дроздов, индивидуалист — и его антипод неудачник Лопаткин.

Советская критика лицемерно обвиняет Дудинцева в «нетипичности» за то, что его герой — человек одинокий и странный. Но, во-первых, не так уж он одинок — ведь помогают же ему хорошие люди, а, во-вторых, в одинокости и странности Лопаткина есть своя закономерность. Он большой, сильный, целеустремленный, оригинальный человек и поэтому в советских условиях должен быть одинок. Не то, чтобы в СССР не было значительных людей, но они эту значительность вынуждены скрывать, ибо она вызывает подозрения, а от подозрения до тюремного заключения — меньше одного шага. Лопаткин в этом быстро убеждается. Стоило ему немного оттаять, начать работу с другими людьми, как он сразу попал в лагерь.

Если Лопаткин одинок, так сказать, откровенно, то Дроздов под маской компанейства, позерства, «идейных» фразочек, носящих характер самооправдания, скрывает свою сущность хитрого и умного хищника, готового пожертвовать самыми близкими людьми, чтобы только удержаться на поверхности. И удивительно ли, что в большом романе, насчитывающем несколько десятков действующих лиц, только один, да и то эпизодический, герой просто, по человечески счастлив...

Мы попытались наметить основные темы романа и почти не остановились на, так сказать, чисто человеческой его стороне. В кратком предисловии это и не нужно. Эта сторона говорит сама за себя. Здесь и неповторимые черточки советской психологии, и быт, в котором быть хорошо одетым кажется почти греховным, а костюм считается богатым подарком, и совершенно неповторимый язык, которым говорят бюрократы даже в быту («проявил здесь слабость, поддался моменту»...), и вполне естественное «ты», которым председатель трибунала обращается к незнакомому человеку — только потому, что он истопник, — и многое другое.

И, право же, стоит внимательно прочесть роман советского автора, где между двумя положительными героями происходит такой разговор:

«Вы верите в построение коммунизма?»

Старик покраснел:

«Я как то не задумывался»...

ПЕРВАЯ ЧАСТЬ

1

В двенадцать часов дня к станции Музга, до самой вывески скрытой высокими снежными гребнями, наметенными по обе стороны полотна, подошел поезд. Проплыли белые крыши вагонов и остановились. На платформе началась сутолока; три человека в валенках, в одинаковых полушубках телесного цвета торопливо прошагали в хвост поезда, к последнему — московскому — спальному вагону. Поднялись в вагон, опять показались, подали вниз один чемодан в сером чехле, второй... И вдруг, словно ветер любопытства дунул по платформе, метнулся легкий шумок, и все побежало в одну сторону, тесной толпой сбилось около московского пульмана.

— Кто приехал?

— Дроздов. Сейчас будет выходить...

— Вышел уж...

Увидеть приезжего почти никому не удалось, потому что тот, кого называли Дроздовым, был очень мал ростом. Зато все увидели мягкую меховую шапочку и лицо его спутницы — сероглазой красавицы, которая была на голову выше Дроздова.

Толпа переместилась к зданию станции, неудовлетворенно разошлась, и только те, кто успел обежать кирпичное здание, увидели, как понеслись с визгом полозьев две тройки — вдаль, к белому снежному краю степи, из-за которого поднимались черные дымы, поднимались и сваливались на сторону, завесив полнеба грязно-серой пеленой. Там, за далекой снежной линией, как за морским горизонтом, словно бы шла эскадра. Это дымил построенный здесь в годы войны гигантский промышленный комбинат, который со своими корпусами, цехами, складами и железнодорожными ветками растянулся на несколько километров. В те первые послевоенные годы комбинат этот не значился на картах и в географических учебниках.

Директор комбината Леонид Иванович Дроздов, или просто Дроздов, как его называли в этих местах, по вызову министра ездил в Москву. Он взял с собой в поездку и молодую жену, от которой со дня женитьбы не отходил ни на шаг. Теперь они возвращались домой. Оба были довольны: жена — сделанными в Москве покупками, а Леонид Иванович — успешным ходом всех своих дел. Знакомый начальник главка дал Дроздову понять, что ему следует ожидать скорого переезда в Москву, а это была давняя мечта Леонида Ивановича.

Два директора, которых Дроздов хорошо знал, придерживались на этот счет иной точки зрения. Они считали, что лучше быть осью на заводе, чем спицей в колесе, хоть и столичном. Леонид Иванович не задумывался над тем, что материальная обеспеченность его на должности начальника управления будет намного меньше. Он ш е л на уменьшение зарплаты, это уже было продумано. Ограничения свободы также его не смущали. «Я везде буду самим собой», — думал он. Трудности большой руководящей работы не пугали, а, наоборот, манили его. На этот счет у него была даже теория. Он считал, что нужно всегда испытывать трудности роста, тянуться вверх и немножко не соответствовать. Должность должна быть всегда чуть-чуть не по силам. В таком положении, когда приходится тянуться, человек быстро растет. Как только ты начинаешь справляться с работой, как только тебя похвалили разок-другой, — передвигайся выше, в области новых трудностей, и опять тянись, старайся и здесь быть не последним.

«Ну что ж, построил комбинат, — слегка прикрыв глаза, думал он под свист полозьев. — Неплохо поработали в войну, получили знамена, ордена... И сейчас от уровня передовых не отстаем. Если мне сейчас пятьдесят два... Три, четыре, пять... Лет тринадцать — это еще приличный резерв! Прили-ичный!.. Черта с рогами можно сделать за это время!»

Комбинат, похожий на большой город, постепенно вырастая, надвигался на него, охватывая степь с правого и левого флангов. Пять высоких кирпичных труб стояли в центре — стояли в ряд, все одинаковой высоты, и все пять черно дымили. Под ними внизу было видно множество мелких дымов — серых, красноватых и ядовито-желтых. В стороне стояли черные башни — градирни, и от них поднимались крутые облака пара, сияющие среди черных дымов особенно чистой белизной. Уже были слышны свистки комбинатских паровозиков-кукушек, и по обеим сторонам дороги потянулись одинаковые двухквартирные домики из белого кирпича, с острыми шиферными крышами — домики соцгорода, когда Леонид Иванович, очнувшись от своих мыслей, привстал и ткнул пальцем в полушубок кучера.

— Пройдемся пешочком, Надюша! А? Гляди-ка, погодка!

Сани остановились. Жена Дроздова, подобрав мягкие полы манто, купленного шесть дней назад в Москве, сошла на чистый, неглубокий и очень яркий снежок.

— Чудо какой снег! — послышался ее счастливый, молодой голос.

Леонид Иванович немного замешкался. Прорвав дыру в большом картонном коробе, он доставал оттуда яркооранжевые крупные апельсины и рассовывал по карманам. Потом махнул кучеру и, грубо срывая корку с апельсина, заспешил к жене. Та спокойно приняла очищенный и слегка разделенный на дольки плод, и они пошли, наслаждаясь солнечным зимним днем. Дроздов — маленький, в кожаном глянцевом пальто шоколадного цвета с воротником из мраморного каракуля и в такой же мраморно-сизой ушанке. Жена — высокая, с постоянной грустью в серых глазах, без румянца, но с яркорозовыми губами и с большой бархатной родинкой на щеке. Она была в шапочке и в манто из нежнокаштанового шелковистого меха, в широкоплечем дорогом манто, которое сидело на ней немного боком. Она все время отставала,

и Леонид Иванович поджидал ее, держа каждый раз в руке новый очищенный апельсин.

Надя была беременна. Дроздов, шагая впереди, щурился, морщинил сухой, желтый лоб, чтобы скрыть радостную улыбку. Люди здоровались с ними, отступали в сугроб, смотрели в упор — навстречу и вслед. Леонид Иванович останавливал на каждом взгляд черных, усталых и счастливых глаз. Он знал, о чем могли говорить эти люди там, сзади, выйдя из сугроба на дорогу: «Жену-то одну бросил — стара стала. Теперь девчонку молодую заимел — совсем рехнулся!» «Ну и рехнулся! — подумал он. — Нужно ли кривить душой и жить с женой, которую никогда не любил, и избегать встреч с той, которую любишь! Не проще ли сделать вот так». Он оглянулся на жену, и она улыбнулась ему из-под шапочки. «Тем более, что Шурка наша говорит: Леониду Ивановичу на роду написано две жены иметь. У него две макушки». Он засмеялся, вспомнив это, и опять оглянулся на жену. «Молода!» — с радостью подумал он. Взгляды людей его не стесняли. Не чувствовал он неловкости и оттого, что ростом он ей был до плеча. Правда, Надя, если шла рядом с ним, слегка сутулилась, чтобы казаться пониже, это у нее уже стало входить в привычку. . .

Так они шли, то сходясь, то расходясь, занимая всю улицу, кивая и раскланиваясь со знакомыми. Иногда попадались навстречу школьники с сумками и портфелями. Те, что постарше, отойдя в сторонку, тянули наперебой: «Здравствуйте, Надежда Сергеевна!» — Надя преподавала в школе географию. Пропустив Дроздовых и выждав еще с минуту, ребята бросались на дорогу, на оранжевые корки, затоптанные в снег. С веселыми и удивленными криками они хватали и прятали яркое пахучее чудо — таких корок еще никто не видывал в этом степном и недавно еще совсем глухом районе.

Дроздовы жили на соседнем широком проспекте Сталина. Дома здесь были тоже двухквартирные, но с более затейливыми железными крышами и с большим числом окон — в этих домах жил, как говорили в Музге, командный состав комбината. Дом Дроздова не отличался ничем от своих соседей, кроме того, что он весь был занят одним хозяином и обе его квартиры были соединены в одну.

Пропустив жену вперед, Леонид Иванович вошел в сени, затопал, закашлял. Домашняя работница — рослая деревенская девушка Шура — выглянула в дверь и тут же распахнула ее.

— Батюшки, новая шуба! Здравствуйте, Леонид Иванович! Надежда Сергеевна, с вас причитается за обнову! Чего это за мех, да какой мягкий!

— Этот мех заморский, — прищурив глаза, с важностью сказал Леонид Иванович, помогая жене снимать манто. Надя, стоя перед ним, по привычке слегка согнулась. — Мех заморский, норка называется.

Шура при этих словах с готовностью прыснула.

— Ладно смеяться. На-ка, повесь. . . в шифоньер.

Надя, выбирая из волос заколки и покачиваясь, пошла к себе в комнату. А Леонид Иванович без пальто, в черном костюме, худенький, с торчащими желтоватыми ушами, напевая что-то непонятное и потирая руки, направился через весь дом, по длинному коридору, на кухню.

— Мама! — раздался его резковатый веселый голос. — Не видишь, мы приехали!

— Вижу, вижу! — ответил ему из кухни мужской голос матери. — Что-то ты вроде раньше сроку.

— Мать! — Леонид Иванович остановился в дверях и окинул чуть насмешливым взором связки лука, развешанные на стенах, русскую печь, рядом с ней газовую плитку, работающую от баллона со сжатым газом, и у порога — полузакрытый тряпкой, низенький ушат со сметаной. — Мать — он закрыл глаза и, постояв так несколько мгновений, медленно открыл их, что было признаком сдержанного раздражения, — ты куда дела моего Глазкова?

— За сметаной посылала, к Слободчикову. Для Нади посвежей надо. А сейчас отдыхает. Двое суток все-таки человек проездил.

— Дело хорошее, — Леонид Иванович опять окинул глазами кухню и задержал взгляд на ушате со сметаной. Он надолго закрыл глаза и, медленно открывая их, сказал резким мальчишеским голосом: — А все-таки машину без моего разрешения ты не вызывай. Придется дать распоряжение в гараж...

— Ну-ну, — сказала старуха, не оборачиваясь к нему. — Давай... распоряжайся... Командовай...

Леонид Иванович вернулся в коридор, подошел к телефону.

— Мне диспетчера... Разъедините... — Он сонно засопел в трубку, это была еще одна его привычка. — Александр Алексеич?.. Это? Хм, это Дроздов. Да... Спасибо. Как там дела? Н-да... Четвертый аппарат наладили?.. А печи? — Голос Леонида Ивановича угрожающе померк. — Что свистит? Что свистит? Как же это, товарищи дорогие, если бы я не десять, а двадцать дней отсутствовал, аппарат бы у вас свистел двадцать дней? Не через четыре дня, а послезавтра пойдет... Ну ладно, не будем спорить... Да, я сейчас приду... Черт... — сказал Леонид Иванович, вешая трубку.

Впрочем, он тут же успокоился и велел Шуре отвечать на все телефонные звонки, что его нет дома.

— Кормить-то будете? — закричал он в сторону кухни.

Часа через три он вышел из дому, неся большую кожаную папку. За воротами его ждал «газик» защитного цвета. Леонид Иванович сел рядом с молоденьким шофером Глазковым и нахмурился — сразу стал совсем другим. Машина сделала несколько поворотов между домами и остановилась перед подъездом двухэтажного здания с большими квадратными окнами. Так же хмурясь, Леонид Иванович поднялся по ступеням, толкнул зеркальную дверь и зашаркал на лестнице и по коридору, на ходу кивая встречным. Все знали о приезде начальника, и несколько человек уже сидели в приемной. Леонид Иванович прошел к себе, в просторный, высокий кабинет, с большим рыжеватым ковром, пересеченным по диагонали зеленой дорожкой. Вслед за ним вошла слегка подкрашенная секретарша в узкой юбке и белой прозрачной кофточке.

— Кто это там? — спросил Леонид Иванович, причесывая височки и ощупав большую, раздвоенную плешь. У него действительно были две макушки — счастливая примета!

— Это изобретатель. Насчет труб.

— Да, да. Я помню. Пусть ждет. Ганичев с Самсоновым пусть войдут.

Секретарша удалилась, а Леонид Иванович обошел свой громадный стол, на котором поблескивал отлитый из черного каслинского чугуна чернильный прибор, составленный из знаков гетманской власти. Тут стояли две булавы, массивная печать, возвышался бунчук и были разложены еще какие-то многозначительные и тяжелые вещи. Леонид Иванович обошел этот стол, опустился в кресло и, уйдя головой в плечи, соединив обе руки в один большой бледный кулак, выжидающе опустил его на зеленое сукно. Тут же, вспомнив что-то, он мгновенно переменил позу, снял трубку и, передвинув рычаги на черном аппарате, похожем на большую пишущую машинку, сонным голосом заговорил с цехом, где был плохо работающий четвертый аппарат. В эту-то минуту и вошли Ганичев — главный инженер комбината и Самсонов — секретарь партийного бюро. Ганичев был очень высок, толст, гладко выбрит и носил поверх синего костюма куртку-спецовку из тонкого коричневого брезента. Самсонов был такого же роста, как директор комбината, носил старенький офицерский костюм без погон и сапоги. Оба сели перед директорским столом.

— Ну-с, — сказал Леонид Иванович, — здравствуйте товарищи. Что нового скажете?

— Новенькое, к сожалению, всегда найдется, — проговорил Самсонов. Ганичев непонимающе на него посмотрел.

— А я привез вот какую новость. — Леонид Иванович раскрыл папку и показал листок ватмана, разграфленный вдоль и поперек и заполненный столбиками цифр. — По этому графику будем теперь отчитываться. Вот я сейчас для всех повешу его на видном месте... — Леонид Иванович взял из гетманской шапки несколько кнопок, нахмурился и, поскрипывая ботинками, прошел к желтой доске у стены. — Повешу вот... — Он поднялся на носках. — Чтоб все видели...

— Позвольте, Леонид Иванович. — Громадный Ганичев поспешил к нему. — Позвольте, я. Я, так сказать, малость повыше.

— Наполеон в этом случае сказал бы так, — Самсонов откинулся назад, — ты, Ганичев, не выше, а длиннее.

Он громко засмеялся. Ганичев словно бы и не слышал, а Леонид Иванович повернулся к Самсонову, закрыл глаза и затем медленно открыл их. Это должно было бы означать сдержанный гнев, но Самсонов сразу увидел веселые огоньки в черных глазах Леонида Ивановича. Директору понравилась острота.

— Товарищ Самсонов, — он поднял голову и строго свел брови, смеясь одними глазами. — Товарищ Самсонов, исторические параллели рискованы. Осторожнее!..

Через час Ганичев ушел. Леонид Иванович, уютно сидя за столом, опять соединил все десять пальцев в один большой кулак и, подняв брови, посмотрел на Самсонова.

— Как, как ты сказал про Наполеона-то?

Самсонов с удовольствием повторил.

— Леонид Иванович! — он засмеялся. — могу еще одну веселую штучку сказать.

— Давай до кучи.

— Этот многосемейный наш, Максютенко... Знаешь, что учудил? Его захватила тетя Глаша в конструкторском, с этой — из планового

девченка — с Верочкой! В обеденный перерыв. Заперлись, понимаешь, на ключ!..

— Жена знает?

— Никто еще не знает. Вот думаю, что делать? Кашу-то затевать не хочется! Все-таки трое детей. Да и жена, как посмотришь на нее, жалко становится. Хорошая женщина.

— Хорошая, говоришь?

— Хорошая. Вот ведь что.

— А попугать надо. — Леонид Иванович нажал кнопку в стене за спиной. — Попугать следует.

Вошла секретарша.

— Максютенко ко мне.

— Там изобретатель...

— Знаю. Пусть подождет.

— Так я пойду, — Самсонов поднялся.

— По правилу, тебе бы следовало заниматься этими делами. Моральным обликом. — Леонид Иванович остро и весело взглянул на него. — Ладно, Бог с тобой, иди.

Через минуту Максютенко, плешивый блондин с нежной кожей, красноватыми веками и блестящими женскими губами, стоял перед директором.

— Ну, здравствуй! Чего смотришь?.. Садись... товарищ Максютенко... Рассказывай, как у тебя дела с труболитейной машиной. Министерство скоро меня съест — кончите вы ее когда-нибудь?

Максютенко ожил, заторопился:

— Леонид Иванович, все, что зависело от конструкторов, сделано. Поправки, которые были присланы, переданы в технический...

— Не врешь? — Дроздов устало закрыл глаза, потер пальцем желтоватый сухой лоб и, не открывая глаз, спросил: — Что ты там опять... н-натворил с этой... с Верочкой?

Максютенко молчал. Леонид Иванович мерно сопел с закрытыми глазами, словно спал. Потом приоткрыл глаза и, с грустью посмотрев на бледного, вспотевшего конструктора, опять сомкнул веки.

— Я думаю, тебе как члену партии известно, что за такие вещи по голове не гладят, — продолжал он, словно сквозь сон. — Думал, был даже уверен, что ты сохранишь хоть каплю благодарности к тому человеку, который дважды, — здесь Дроздов открыл гневные глаза, — дважды выручил тебя из беды. Послушай-ка, Максютенко. — Он вышел из-за стола и зашагал по ковру — не по прямой, а по сложной кривой линии, поворачивая то вправо, то влево. — У тебя, брат, какое-то болезненное, я бы сказал, тяготение к неблаговидным поступкам. Жена-то, небось, ничего не знает?

— Ничего... — прошептал Максютенко, вытирая лоб платком.

— А жена ведь у тебя хорошая женщина... Ну что же мне делать с тобой? Донжуан! Смотри-ка, у тебя ведь и макушка-то одна, а не две. У кого две макушки, как у меня, видишь вот: раз и два, тому разрешается иметь вторую жену. И опять-таки — жену! По закону! А ты-то куда лезешь? Что мне теперь с тобой делать? Мне официально донесли. Бери лист и пиши мне объяснение. Здесь садись и пиши. Вот бумага, вот перо.

Через полчаса Леонид Иванович, сидя за столом и надев большие роговые очки, читал объяснение Максютенко.

— Виляешь, брат! Не все написал. — Он снял очки, посмотрел с сожалением на конструктора и направился в угол кабинета, к сейфу. — Кладу сюда. Если ты еще что-нибудь отчубучишь, тогда пущу в ход сразу все. Смотри, здесь и старые твои грехи лежат. Вот еще одна твоя покаянная бумажка, помнишь, когда ты пьяный потерял пояснительную записку? Вот она, здесь. Иди и помни — за тебя Леонид Иваныч взялся. Он тебя на ноги поставит.

Максютенко ушел, и опять появилась секретарша.

— Леонид Иванович, изобретатель. . .

— Ждет до сих пор? Ну что ж, пусть зайдет.

Вместо изобретателя вошел Самсонов.

— Ну, как?

— Краснеет. Как всегда. Сядь-ка вот здесь, у меня сейчас изобретатель. . . Пожалуйста, пожалуйста. — Это он уже говорил высокому, худощавому человеку, который стоял вдали, в дверях. — Пожалуйста, прошу!

Самсонов сел в кресло и опустил глаза. Изобретатель ровным шагом пересек ковер и остановился у стола. На нем был военный китель, заштопанный на локтях, военные брюки навыпуск, с бледнорозовыми вытертыми кантами и ботинки с аккуратно наклеенными заплатами. Все это было отглажено и вычищено. Изобретатель держался прямо, слегка подняв голову, и Леонид Иванович сразу заметил особую статность всей его фигуры, выправку, которая так приятна бывает у худощавых военных. Светлые, давно не стриженные волосы этого человека, распадаясь на две большие пряди, окаймляли высокий лоб, глубоко просеченный одной резкой морщиной. Изобретатель был гладко выбрит. На секунду он нервно улыбнулся одной впалой щекой, но тотчас же сжал губы и мягко посмотрел на директора усталыми серыми глазами.

Этот мягкий взгляд немного смутил Леонида Ивановича, и он опустил глаза. Дело в том, что изобретатель три года назад сдал в Бриз комбината (то есть в бюро по изобретательству) заявку на машину для центробежной отливки чугунных канализационных труб. Материалы были направлены в министерство, началась переписка, и с тех пор перед каждым выездом Дроздова в Москву к нему приходил этот очень сдержанный, тихий и, судя по всему, очень настойчивый человек и просил его передать письмо министру и как-нибудь подтолкнуть дело. И нынешняя, последняя поездка в Москву не обошлась без письма. Только Леонид Иванович, приняв это письмо, как и всегда, передал его не непосредственно в руки министру, о чем просил изобретатель, а одному из молодых людей, сидевших в приемной, — первому помощнику. Попало ли это письмо по адресу, Леонид Иванович не знал и не осмелился спросить об этом у министра. А помощника он не спросил, потому что этот молодой человек вел себя с людьми неуловимо нагло: не торопился с ответами, улыбался, поворачивался к собеседнику боком и даже спиной.

Вот так обстояло дело. Кроме того, полгода назад появилась еще одна загвоздка: из министерства прислали эскизы и описание другой центробежной машины, предложенной группой ученых и конструкто-

ров во главе с известным профессором Авдиевым. Эту машину приказали срочно построить. Она уже начала свою жизнь и окончательно закрыла дорогу машине Лопаткина. Леонид Иванович чувствовал себя немножко виноватым: в те дни, когда он был, по известным причинам, особенно близок к музгинской десятилетке, где преподавала Надя, — в те дни он, показывая широту характера, легкомысленно пообещал изобретателю «протолкнуть» его проект. И за три года ничего не сделал. А теперь, когда появился проект профессора Авдиева, который в течение многих лет считался авторитетом в области центробежного литья, — теперь все бесповоротно определилось. На стороне Авдиева — знания и опыт, его дело организовано серьезно, находится в центре внимания и, как выразился один начальник главка, приятель Леонида Ивановича, имеет перспективу. Опыт подсказывал Дроздову, что не надо, даже невольно, становиться на пути авторитетных людей, которые без помех трудятся над делом, имеющим перспективу. Более того, было бы даже глупо поддерживать в этом деле искусственный нейтралитет, в то время когда приказы министра толкают тебя в ту же группу заинтересованных лиц, обязывая в кратчайший срок дать машину Авдиева в металле. И, конечно, Леонид Иванович давно сказал бы Лопаткину то, что втайне было уже решено, если бы не эти грустные, верящие глаза, перед которыми он терял спокойствие и забывал свои излюбленные позы и привычки. Поэтому весь разговор, переданный ниже, стоил для него больших усилий.

— Садитесь, — проговорил он, слегка побледнев. — Самсонов, познакомься. Это товарищ Лопаткин. Дмитрий Алексеевич, если не ошибаюсь?

Изобретатель пожал руку Самсонову. Сел, и наступило долгое молчание.

— Что я могу вам сказать... — Леонид Иванович закрыл лицо руками и застыл в таком положении. Отнял руки от лица, потер их и сплел в один большой кулак, стал смотреть на изобретателя, словно что-то соображая. — Н-да... Так вот, полный отказ. Да, родной, никто не поддерживает вас.

Лопаткин виновато развел руками и привстал, собираясь уйти. Ему только это и нужно было знать. Но Леонид Иванович опять сказал: «Н-да», — он не окончил говорить.

— Читал ваши жалобы на имя Шутикова (он небрежно назвал эту фамилию заместителя министра). Читал. Вы остер! (Он так и сказал — остер). Вы и меня там немножко... Ничего, ничего, — Леонид Иванович улыбнулся. — Я не обижаюсь. Вы поступаете правильно. Только у вас одно слабое место — у вас нет главного основания жаловаться. Я не обязан поддерживать вашу машину. Наш комбинат предназначен не для выпуска труб. А те канализационные трубы, что мы делаем, — это для собственных нужд министерства. Для жилищного строительства. Это капля в море. Вам следовало обратиться в соответствующее ведомство. А не к нам. Вот ваша главная ошибка... товарищ Лопаткин.

Изобретатель ничего не сказал, только соединил руки на широком, сильном колене. Руки у него были большие, исхудалые, с выпуклыми суставами на тонких пальцах.

— А вторая ваша ошибка состоит в том, — Дроздов устало закрыл глаза, — в том, что вы являетесь одиночкой. Коробейники у нас выве-

лись. Наши новые машины — плод коллективной мысли. Вряд ли вам что-либо удастся, на вас никто работать не станет. К такому выводу я пришел после всестороннего изучения всех перипетий. . . — он грустно улыбнулся, — данного вопроса.

— Да, да, я понимаю... — Изобретатель тоже улыбнулся, но улыбка его была мягче: он понимал состояние директора и спешил прежде всего освободить его от неприятной обязанности говорить посетителю горькие вещи. — Вы меня простите, пожалуйста. . . — Он поднялся и развел руками. — Собственно, я ведь нечаянно попал в эту историю. . . Хотя я и одиночка, но я ведь не для себя. . . Благодарю вас. До свиданья. — Он слегка поклонился и пошел к выходу прямыми, четкими шагами.

— Сломанный человек, — сказал о нем Леонид Иванович. — Слаб оказался. Слаб. Жизнь таких ломает.

— Да-а, — согласился Самсонов.

— А ты знаешь, он ведь был учителем физики в нашей школе. Где Надюшка преподает. Понимаешь, какое дело? Университет окончил.

— Ну что ж, университет. . .

— Не говори — московский. Ты не знаешь, а он ведь настоящий изобретатель. Патент имеет. Свидетельство. . . Когда ему присуждали авторство, его сразу вызвала Москва — разрабатывать проект. А для них, изобретателей, закон имеется: если тебя вызывают для реализации изобретения — ты уходишь со старого места работы и получаешь на новом тот же оклад. Вот он и выехал, ха-ха! — Дроздов засмеялся, мелко затрясся на своем кресле. — Вот он и выехал! Второй год уже не работает. Здесь другого физика приняли, а там, по приезде, отказали. Нет ассигнований. Я теперь знаю, чья это работа. Это Василий Захарыч Авдиев. Он ведь сам давно над этими делами колдует. . . Вот он с тех пор. . .

— Ты бы ему разъяснил. Куда ему тягаться с докторами, — сказал Самсонов. — С профессорами!

— Это верно. Но мне он чем-то нравится. Знаешь, надо ему помочь. Уголька, что ли, подбросить. — Леонид Иванович снял телефонную трубку. — Мне Башашкина. . . Порфирий Игнатьевич, это ты? Ты вот что, отправь угля на квартиру этому, Ломоносову нашему. Лопаткину на Восточной улице. Ему, ему. Сколько? Полтонны, думаю, хватит! И дровишек с полкубометра. Во-от, вот как раз, буду я этим заниматься, подсказывать тебе. На то ты и топливный бог. Спишешь. В общем, отвези, сегодня. Проследи.

2

На следующий день Надежде Сергеевне надо было выходить на работу. За час до начала уроков второй смены она надела манто, шапочку и зеленые пуховые варежки, постояла некоторое время перед зеркалом, а выйдя во двор, даже попробовала пробежаться по снежной тропке до ворот — так ярко, счастливо сиял снег под темносиним небом и так хорошо чувствовала она себя. Но до ворот она не добежала — перешла на тяжеловесный, немного развалистый шаг, который стал уже привычным для нее. Она вышла на улицу, постепенно пригляделась к яркому снегу, забыла о своем новом манто, и счастливая улыбка

исчезла с ее лица — оно стало даже немного грустным. Надежда Сергеевна глубоко задумалась.

Она приехала в Музгу три года тому назад — сразу по окончании педагогического института. В первый же год она познакомилась с человеком, которого везде называли коротко — Дроздов. Надю поразили тогда его маленький рост и слухи о его необыкновенном таланте властвовать и управлять. С живейшим интересом выслушивала она в учительской анекдоты о нем, которые всегда рассказывались вполголоса, почтительно и немного враждебно. Один анекдот был такой: Дроздов поехал в своем «газике» на топливный склад. Во дворе склада он остановил машину и некоторое время наблюдал, как посетители шли от ворот в контору, бредя в сапогах через большую весеннюю лужу, меся глубокую, по колено, грязь. Затем Дроздов приказал шоферу въехать в эту же лужу и, открыв дверку «газика», весело крикнул начальника склада Башашкина. Эту часть анекдота рассказывали с особенным удовольствием: Башашкина не любили в Музге. Дроздов вызвал его и перед всем народом стал приглашать подойти поближе к машине. И — делать нечего — Башашкин подошел к нему, как был: в своих желтых «полуботиночках», и стоял в луже полчаса, выслушивая неторопливые указания Дроздова об учете топлива. Зато на следующий день у Башашкина на складе уже был построен высокий деревянный тротуар.

Надя любила романы Джека Лондона, и ей казалось, что Дроздов чем-то похож на золотоискателя из романа «День пламенеет». Она и сюда, в Сибирь, ехала с тайной надеждой встретить такого героя, человека, способного объединить силы тысяч людей — капризных, хладнокровных, обидчивых и требовательных, рабочих и специалистов. Она познакомилась с Дроздовым во время одной из экскурсий на комбинат. Три дня спустя этот маленький человек с твердым мальчишечьим голосом уже катал ее ночью на тройке по степи, сверкающей лунно-морозными кристалликами. А через месяц она вошла в его дом, заново отделанный по случаю женитьбы. Правда, женитьба была неофициальная — настоящая жена Дроздова жила в другом городе. «Ушла, но виноват был я, — объяснил Леонид Иванович. — Увлекся работой, а ей нужна была личная жизнь». Жена не давала ему развода. Но это была лишь временная трудность. Еще несколько месяцев — и в новом паспорте Нади уже значилась новая фамилия: Дроздова.

И вот прошло два года... Подумав об этом, Надежда Сергеевна неожиданно и глубоко вздохнула и с тревогой спросила себя: почему это — вздох? Уже давно она стала замечать в зеркале свои задумчивые и странно увеличенные, словно от испуга, глаза. Уже два года возникали в ее голове внезапные, пугающие вопросы, и она не могла ответить на них, пока не приходил муж. Леонид Иванович с усмешкой выслушивал ее и успокаивал четким, разрубающим все трудности ответом.

В первой же беседе с женой — это было на четвертый или пятый день после их неофициальной женитьбы — Дроздов отверг все, чему ее учили с детства, и Надя со страхом и восхищением приняла от него новый, дерзко упрощенный взгляд на жизнь.

— Милая, — сказал он устало и сел рядом с нею на диван. При этом оказалось, что теперь они одного роста. — Милая, вот в чем дело: все, что ты говоришь, — это девятнадцатый век. Изящная словесность.

Должен тебе сказать, что я ничего этого не понимаю и не жалею об этом. Вот так. Вот что я тебе могу сказать на вопрос по поводу моего нетактичного, как вы изволили выразиться, — он улыбнулся, — обращения с подчиненными. Дорогая супруга, надо кормить и одевать людей. Поэтому мы, работяги, смотрим на мир так: земля — это хлеб, снежок — это урожай. Сажа валит из труб — это убыток и одновременное напоминание: есть приказ министра о ликвидации убытков, над чем мы ежедневно просиживаем штаны. Человек, который стоит передо мной, — это хороший или плохой строитель коммунизма, работник. Я имею право так думать о нем, потому что и о себе я иначе не могу думать. Я живу только как работник: дома, на службе — я везде только работник! Мы бежим наперегонки с капиталистическим миром. Сперва надо построить дом, а потом уже вешать картиночки. Видела ты когда-нибудь здорового такого плотника, от которого пахнет мужицким потом? И который строит дома? Я этот плотник. Вся правда в моих руках. Построю дом — тогда вы начнете вешать картиночки, тарелочки, а обо мне забудете. А вернее, забудут о нас с тобой, как ты есть моя дражайшая половина и делишь со мной участь. Вот так. — Он положил руку ей на плечо. — Довольны ли вы таким объяснением?

Надя молчала, и Леонид Иванович, скосив на нее чуть насмешливые черные глаза, сказал отчетливее и резче:

— Я принадлежу к числу производителей материальных ценностей. Главная духовная ценность в наше время — умение хорошо работать, создавать как можно больше нужных вещей. Мы работаем на базис.

Ночью, придя с работы, он иногда брал с собой в постель «Краткий курс истории партии» и, надев большие очки, читал всегда четвертую, философскую главу. И Надя тоже читала. Они лежали рядом на квадратной деревянной кровати с тумбочками и ночниками по обе стороны. Леонид Иванович, найдя в книге нужное место, снимал очки.

— Вот ты говорила о том, что у меня крайности. У того, кто работает на материальный базис, крайностей не может быть. Потому что материя первична. Чем лучше я его укрепляю, базис, тем прочнее наше государство. Это тебе, родная, не Тургенев.

— Ты путаешь. Базис — это отношения между людьми по поводу вещей, а не сами вещи, — однажды не очень смело сказала ему Надя. Она много раз изучала этот предмет, но никогда не чувствовала себя в нем твердо.

Леонид Иванович перечитал ту страницу, где было сказано о базисе, и повторил:

— Я укрепляю базис. Я произвожу вещи, по поводу которых люди будут вступать в отношения. Были бы вещи, а уж кому вступать по поводу их. . . в отношения, — он засмеялся, — за этим дело не станет!

Управлял людьми он твердо, с легкой усмешкой. Сложные вопросы решал в один миг, и дела комбината под его руководством шли по ровной, чуть восходящей линии. Министр в своих приказах всегда упоминал Дроздова, ставя его в пример другим. Надя давно уже смотрела на мир его глазами — смотрела, может быть, с некоторым испугом, но не могла иначе: своего ничего не могла придумать.

Так, в глубоком раздумье, ничего не замечая вокруг, Надя шла в школу по снегу, скрипящему под ботами, как крахмал, и ее дыхание развевалось на морозном ветру легким все время исчезающим шарфом.

На перекрестке, где сходились проспект Сталина и Восточная улица — самая длинная улица поселка, — Надя увидела бывшего учителя физики Лопаткина. Он был в солдатской ушанке и в черном старом пальто. Шел он прямо на Надю, подняв воротник и спрятав руки в карманы. Надя уже целый год не здоровалась с ним. Во-первых, потому, что он когда-то ей нравился. Будем говорить прямо — она была влюблена в него и теперь не могла простить себе этой глупости. Во-вторых, потому, что ей было жаль этого сумасшедшего чудака и она боялась причинить ему боль своим состраданием. Поздороваешься с ним, пожалеешь, а он начнет вдруг что-нибудь кричать! И на этот раз Надя, побледнев, глядя только вперед и вниз, прошла мимо, всеми силами души прося его, чтобы он не поздоровался и не остановился. И Лопаткин словно понял ее — ровно прохрустел по снегу своими черными ботинками с круглыми наклеенными заплатами, неловко оступился, пропуская ее, и исчез, как неприятный сон.

Он был когда-то нормальным человеком. Надя помнила — он преподавал не только физику, но и математику. А теперь вот не дает покоя Леониду Ивановичу со своим смешным и несуразным проектом. И пишет, пишет, пишет во все места — академикам, министрам и даже в правительство! Должно быть, война тронула мозги и у этого человека. Как это сказал муж? .. Да, вот: нет в Москве другой работы, кроме как читать письма этих марсиан!

Надя вздохнула, и мысли ее опять повернули на привычную тропу. Вот муж... Видно, так и должно быть: одно нам не нравится в человеке, другое — непонятно, а третье — очень хорошо. Человек противоречив по природе своей. Это говорил Наде он сам. И это правда!

Ведь вот минувшим летом, когда ездили на массовку за город, сумел же он тогда понравиться всем! Играл в волейбол, прокатился на чужом велосипеде, вспомнил молодость. Потом объявил конкурс на плетение лаптей. Все сдались, а он быстренько поковырял проволокой и сплел из лыка пару маленьких лапотков. Они и сейчас висят над столиком в ее комнате. Он очень хорош, прост, когда, придя с работы и надев полосатую пижаму, начинает возиться с рыболовными снастями — паяет крючки, строгает рогульки для жерлиц. Только вот... если бы не пел. У Дроздова совсем не было музыкального слуха,и, когда он на кухне затягивал свое любимое «Стоит гора высо-о-окая» — песню, которую можно было узнать только по словам, — ей казалось, что он где-то порядочно выпил.

«Да-а...» — Надя вздохнула и, сразу прогнав все свои воспоминания, стала подниматься по ступенькам школы.

До начала урока оставалось двадцать минут, и все три клеенчатых дивана и стулья в учительской были заняты. Старая дева — словесница — обложилась книгами и сумками и проверяла за маленьким столиком тетради. Вторая старушка — биолог — просматривала тетради в углу клеенчатого дивана, и ее сумки и книги стопками стояли около нее, на полу. Тут же сидели две молодые улыбающиеся учительницы первой ступени — слегка накрашенные и завитые, и обе в одинаковых голубых шерстяных кофточках с короткими рукавчиками, обнажающими руку почти до плеча. И третья старушка — математичка Агния Тимофеевна, — подсев к ним, читала нотацию по поводу этих рукавчиков.

На другом диване сидели рядом хорошенькая молодая химичка и две учительницы немецкого языка — обе с крашеными ногтями. Здесь шел разговор о чулках с черной пяткой, которые тогда начинали входить в моду и которых здесь еще никто не видел. В самом уголке дивана сидел единственный в школе мужчина — преподаватель истории Сергей Сергеевич, он демонстративно развернул газету и закрывался ею от своих соседок.

На третьем диване было свободное место. Там расположилась со своими тетрадками подруга Нади — учительница английского языка Валентина Павловна, — курносая, с весело приподнятой бровью, с веселыми кудряшками, начесанными на большой выпуклый лоб. Этот лоб делал лицо ее некрасивым, как бы составленным из двух половинок — верхней и нижней. Но Валентина Павловна не замечала своей беды — была всегда весела, шушукалась с молодежью, и в учительской часто можно было услышать ее легкий, счастливый смех. Никто не подумал бы, что где-то есть несчастный, влюбленный в нее муж, от которого она ушла вместе с дочерью, потому что сама полюбила другого, хотя этот другой был к ней равнодушен и даже не подозревал ничего.

Увидев Надю, Валентина Павловна молча подвинулась на диване. Надя села, и они, наклонив головы, сразу заговорили вполголоса, как сообщницы.

— Ну как? Стучится? — спросила Валентина Павловна.

— Все время молотит. Такой хулиган!

— Который месяц?

— Пятый. Мне теперь все время дурно делается по самым разным причинам. Тут как-то свекровь показала мне материал в полоску — и мне от этих полосок стало дурно! А у вас что нового?

Они были очень близки, но, как и два года назад, говорили друг дружке «вы».

— Все так же, — сказала Валентина Павловна, и в ее веселых глазах доверчиво, но все-таки очень далеко промелькнула грусть.

Между тем математичка, отчитав двух модниц, наконец оставила их.

— С приездом, Надежда Сергеевна, — сказала она. — Вас тоже склоняли вчера. На педсовете.

— За что?

— А чего же вы... Ганичева Римма по всем предметам успевает, а по географии вы ей двойку...

Она сказала это строгим голосом. Но в учительской все хорошо знали Агнию Тимофеевну и ее манеру шутить.

— А кто склонял? — спросила Надя, улыбаясь.

— Директор. И она права: раз у Ганичевой по биологии три — значит и по географии должно быть не меньше трех...

Надя выпрямилась и закусила губу.

— Знаете, Валя, вот так всегда... Помните, я говорила? Директор всегда со мной через третьих лиц...

— Надежду Сергеевну муж выручает, — заговорила словесница, сняв очки. — А мне так прямо сказали: ставь Соломыкину тройку. Это, мол, вина не ученика, а ваша недоработка. А знаете, что он написал в сочинении? «Иму не нависны дваряни». Это он о Тургеневе! Девятый класс!

— Плохих учеников нет, есть плохие учителя, — пробасила математичка, и все засмеялись.

— Эх, я бы с нею поспорила, я бы не согласилась! — громко шепнула Валентина Павловна. — Словесница у нас — овечка.

— Уж будто вы, Валя, никогда не сдавались...

— Верно, иногда устанешь бороться и махнешь рукой: Бог с ними, получайте вашу тройку. Только к чему это ведет? Все это делается не для пользы, а для отчета. Ведь нужны знания, а не отметка! Бумажка, которую мы здесь выдаем, она только вредит — по бумажке человека ставят на пост, а он — вот такой Соломыкин, вытянутый за уши, он еще станет врачом! Или начальником... Тяжелее всего слушать неграмотную речь, когда ее произносит человек, поставленный тобой руководить.

Валентина Павловна говорила еще что-то, смеялась, а Надя вдруг застыла, задумалась, глядя вниз и ничего не видя. Она вспомнила, как однажды Леонид Иванович прислал ей с комбината записку, и записка эта начиналась словом «Обеспеч», написанным крупными буквами и без мягкого знака. Позднее Надя осторожно сказала мужу об этом: она боялась, как бы Леонид Иванович не написал такое еще кому-нибудь. Но он веско ответил: «Грамота — это грамота...» И Надя поскорее перебила его, переменила тему, чувствуя, что он дальше скажет: «...и ничего больше».

— Иду по Москве и читаю, — говорила Валентина Павловна, — «Прием заказов платья», «База снабжения материалов». Золотом по мрамору! Это все наши ученики пишут. Все соломыкины! И мне думается, Надюша... Вы что? Что с вами?

— Да так, задумалась. Я всегда задумываюсь, когда вы говорите. Вы знаете, я совсем не умею бороться. Даже думать не умею!

— А зачем вам бороться? Вы за Дроздовым, как за стеной. За что вы Ганичевой двойку?..

— За подсказки и за шпаргалку. Я снижаю оценку, если замечаю такие вещи. Безжалостно. Послушайте, Валя... вы сегодня видели его?

Валентина Павловна покачала головой: не видела.

— А вчера?

— Видела... Издалека, — шепнула Валентина Павловна. — Я к нему иногда хожу. Только редко.

— Вы бы хоть мне его показали как-нибудь. Вы его любите? Это не шутка?

Валентина Павловна покачала головой: нет, не шутка.

— Что он — красив?

— Что красота! Вы помните красоту Элен из «Войны и мира»? Красота — вещь относительная...

Сказав это, Валентина Павловна спохватилась, взглянула на Надю: не обиделась ли она, красивая? Не считает ли всю эту философию самозащитой некрасивых? Но Надя слушала, широко открыв глаза, и Валентина Павловна успокоенно вздохнула.

— Дело здесь не в красоте, Надюша. Я ведь была когда-то боевой комсомолкой и иногда чувствую, что это осталось во мне... на всю жизнь. Когда мы первый раз встретились с этим человеком... В общем, амур не присутствовал при нашей первой встрече. У меня нача-

лось с желания ему помочь. Как в хорошие комсомольские времена...

— А как вы его полюбили, сразу? С первого взгляда? Валюша, ну расскажите!

— Нет. Не сразу. Не с первого взгляда. Знаете, чтобы полюбить, взгляда мало. Нужно с человеком столкнуться. Такое столкновение нужно, чтоб почувствовался характер. И у нас было столкновение. Но почувствовала одна я.

— А он?

— Он — нет. Для него я чужой и непонятный человек. Как мне Сергей Сергеевич. Я встречаюсь с ним и вспыхиваю, а мне ведь тридцать лет! Ах, Надя, вы не знаете, что это такое. Если бы хоть один его взгляд сказал мне то, что... я ведь не могу скрывать!.. За одну такую минуту я отдала бы все. Он тоже меня замечает, вспоминает обо мне, но не так, как я... А я вот вспоминаю иначе... — Валентина Павловна опустила голову, потом подняла, и Надя увидела слезы в ее доверчивых и ясных глазах. — Вы знаете, это человек высочайшей души. Смелый. Умный. С кем ни встретится, оставляет след. Это настоящий герой, о каком я мечтала девочкой. Ах, если бы он встретился мне раньше. Я бы побежала за ним на край света. Ни секунды бы не думала! Я ведь была тогда лучше...

— Ми-илая! — Надя прижала ее руку к дивану, прикоснулась к ней плечом. — Вы сейчас лучше всех!

За стеной, в коридорах школы, тонко разливался звонок. Учителя не спеша собирали книги, журналы, выходили из учительской.

— Хватит, хватит сплетничать! — с сердитым весельем пробасила старая математичка, проходя мимо них, и подруги, вздыхая, поднялись.

— Мы еще поговорим? Ладно? — сказала Надежда Сергеевна, глядя на подругу грустно-восхищенными глазами. — Хорошо, поговорим?

— Не знаю, что здесь интересного. Тем более для вас. Не притворяйтесь! Вы не меньше моего знаете, что такое любовь...

И Надя вдруг почувствовала на лице у себя странное, фальшивое выражение! Оно говорило: «Конечно! Я знавала любовь», и еще: «Пожалейте меня, Валентиночка, я совсем ничего не знаю, сама себя не могу понять...»

Около лестницы они расстались, шутливо и ласково протянув друг дружке руки. С той же чужой, растерянной улыбкой Надежда Сергеевна вошла в седьмой «Б» класс. Она поздоровалась с учениками, села за стол, и все ее непонятные заботы отошли в сторону.

Со второй парты на нее угрюмо смотрела Римма Ганичева. Ее темные глаза были неприятно раздвинуты к вискам и напоминали о бинокле. Надежда Сергеевна сразу увидела и свою лаборантку — Сьянову, бледную и худенькую девочку-подростка, с тревожным взглядом — и улыбнулась ей. К Сьяновой Надежда Сергеевна давно уже чувствовала необъяснимую материнскую нежность и жалость.

— Ну, как мы подготовились? — Надежда Сергеевна посмотрела на доску. Да, конечно, лаборантка опять постаралась — развесила карты и нарисовала на чисто вытертой доске контуры Севера и Центра европейской части СССР. — Ну что ж, очень хорошо. Прекрасно, — сказала Надежда Сергеевна уже учительским тоном. И урок начался.

Она вызвала к картам троих учеников и, задав всем вопросы, мельком взглянула на Сьянову. Эта тихая, исполнительная девочка очень

боялась вызовов к доске и всегда получала по географии тройки. Надежда Сергеевна решила сегодня побороть страх своей лучшей лаборантки и вдруг сама почувствовала робость.

— Сьянова! — сказала она как бы между прочим, устало прикрыв пальцами глаза.

Девочка встала, уронила учебник и, не заметив этого, прихрамывая от страха, подошла к доске.

— Вот ты показала здесь Север европейской части. Нанеси теперь реки Севера и покажи размещение полезных ископаемых. И не бойся, — добавила она тише.

— Я не боюсь, Надежда Сергеевна. Вот Печора... — Сьянова слабо улыбнулась и стала жирно вести мелом Печору от Двинской губы.

У Надежды Сергеевны закололо в груди. Класс негромко зашикал. Сьянова остановилась и побледнела. Потом быстро стерла свою «Печору» и на этом же месте уверенно нарисовала ветвистую Двину. Стукнула мелом и оглянулась. Все усиленно закивали. Надежда Сергеевна опустила глаза к классному журналу. Покончив с Двиной, Сьянова нанесла Печору, Мезень и Онегу. Вычертив все изгибы Онеги, она опять оглянулась, и ученики в первых рядах, косясь на учительницу, осторожно кивнули. «Не буду замечать», — решила Надежда Сергеевна. Под маленькой рукой Сьяновой быстро и верно разветвились реки Нарва и Кола с Туломой — это было сделано уже сверх того, что требовалось. «Она все знает. Ей не хватает смелости», — подумала Надежда Сергеевна, следя за ответом другого ученика. Она мельком взглянула на контур Севера европейской части и увидела, что на нем уже показаны месторождения апатитов и тихвинские боскиты. Не было лишь Ухты. «Поставлю четыре, — подумала Надежда Сергеевна, — может быть, с этой четверки у нее начнется другая жизнь».

— Ну, — сказала она. — Что у тебя?

Оживленное лицо Сьяновой сразу же померкло.

— Я что-то еще забыла, — призналась она и положила мел. — Никак не могу вспомнить.

— Садись. Ставлю тебе четыре. Сейчас мы вспомним сообща, что ты забыла.

И тут же Надежда Сергеевна заметила поднятую руку Ганичевой.

— Ну, вот Римма сейчас нам скажет...

Ганичева встала, оглянулась направо, налево и заговорила, упорно глядя в сторону, при каждом слове поднимая одну бровь:

— Вот вы, Надежда Сергеевна, поставили мне двойку за подсказки. А Сьяновой все время подсказывали. Кто? Вот и скажу — Парисова подсказывала, Слаутин, Вяльцев...

— Мы не подсказывали! — закричали сразу несколько ребят.

— Кивали! Вот и кивали, я видела! А когда Печору — Ханапетова сразу зашикала, и Сьянова стерла Печору. Так что вот... — И, не договорив, Ганичева села, и в ее оттянутых к вискам больших глазах засветилась удовлетворенная месть.

— Сейчас Сьянова сама разрешит наши сомнения, — сказала Надежда Сергеевна. Сьянова поднялась. — Оценка зависит от твоего ответа, Сьянова. Если тебе подсказывали, я поставлю два.

— Подсказывали, — чуть слышно сказала Сьянова.

— Не подсказывали! — взорвался весь класс. — Кивали! Надежда Сергеевна! Только кивали!

— Кивали, — еще тише сказала Сьянова.

— Хорошо. Я поставлю три. — Надежда Сергеевна тихо вздохнула и посмотрела на Ганичеву. — Ставлю три. Но, ребята... правду говорить с досады не лучше, чем скрывать правду. Для того, чтобы отомстить, чаще применяют ложь. Но, как видите, применяют и правду. Если бы Ганичева хотела заставить Сьянову лучше работать, она должна была бы сначала с нею поговорить. А вы тоже хороши. Киваете... Зачем кивать?

На перемене около учительской к Надежде Сергеевне подошли несколько учеников из этого класса, притихшие, строгие, и стали просить, чтобы она поставила Сьяновой четверку.

— Ей трудно учиться, — сказала черненькая подсказчица Ханапетова. — У нее большая семья, и они бедные. Ей много приходится работать дома. Мы ей помогаем...

— Помогайте, только не подсказами, — сказала Надежда Сергеевна своим привычным тоном руководительницы и задумчиво посмотрела в окно. — Где она живет?

— На Восточной улице, в самом верху.

«Надо сходить. Схожу, посмотрю», — подумала она.

Надежда Сергеевна и не подозревала, что там, в домике Сьяновых, и начнется первый большой поворот в ее жизни.

3

Она хотела навестить семью Сьяновых на следующий день. Но это ей не удалось, потому что Леонид Иванович, который был в последнее время очень хорошо настроен, задумал попировать, или, как он выражался, организовать сабантуй. Надя догадывалась, в чем дело. Дроздов в Москве получил какие-то более серьезные и секретные сведения о своем новом назначении — гораздо более важные, чем то, что знала она. Вот он и развеселился, не мог найти себе места и наконец придумал: устроить «оловянную» свадьбу. Как раз прошло два года с того дня, как они расписались в поселковом загсе.

Был сразу же назначен день, Леонид Иванович пригласил гостей, а к Наде была вызвана портниха. Она начала срочно шить для Нади из синего кашемира специальную свободную одежду, которой Дроздов каждый день давал новое название — то размахай, то разгильдяй, как придется. Из ближней деревни привезли старуху — родственницу Шуры, и на кухне началась работа.

Надя решила пригласить на празднество кого-нибудь из своих, чтоб было не так скучно, и сказала об этом мужу. Леонид Иванович спросил:

— Кого?

Надя назвала имена нескольких учительниц, в том числе и Валентины Павловны.

— Н-да, — сказал Леонид Иванович и, закрыв глаза, с силой провел сухонькой рукой по лицу, как бы сминая нос и губы. — Н-не рекомендую. Почему? — Он посмотрел на нее одним глазом из-под руки. — Потому что они, как бы тебе сказать... рабы вещей. Увидят и отожде-

ствят тебя и меня с теми вещами, которые нас окружают. У них нет таких вот часов, которые стоят на полу. Они всегда по этой причине будут свою зависть переносить на ничего не подозревающего человека. Как у Моцарта с Сальери получилось. Рано или поздно ты будешь изолирована от них, и не по твоей вине. Это тебе ответ на твой наболевший вопрос. Значит, так: не рекомендую звать учительниц. А впрочем, зови. Но это только ускорит процесс изоляции.

И Надя, подумав, позвала на свою «оловянную» свадьбу не всех, а только одну Валентину Павловну.

В назначенный вечер Надя приготовилась встречать гостей. Она все время помнила слова мужа об изоляции и уже нашла себе место в той неуютной жизни, на которую обрекал Леонида Ивановича его высокий и ответственный пост. Она должна была совершить подвиг вместе с ним.

Начали съезжаться всегдашние гости. Первым появился управляющий угольным трестом — рослый мужчина в кожаном пальто на собачьем меху и в новых фетровых бурках. За ним пришли Ганичевы — муж и накрашенная жена в платье из черных немецких кружев. Ганичева сразу же внесла в гостиную дурманящий запах каких-то незнакомых духов. Она была очень похожа на свою дочь Римму. Надя знала, что у нее есть еще одна дочь, которую зовут Жанной. Эта дочь уехала в Москву — поступила на химический факультет. И говорят, что, когда Жанна училась в десятом классе, у нее с учителем физики Лопаткиным была какая-то романтическая история...

После Ганичевых приехал секретарь райкома Гуляев — смуглый, горбоносый кубанский казак, одетый в военное. За ним прибыл председатель райисполкома — пожилой, увесистый и одетый тоже в военное. Затем ввалился директор совхоза — этот был весь в снегу, в двух тулупах — добрался из степи на санях. Вскоре после них пришла и Валентина Павловна. Сняла свою шубку, показалась на миг в гостиной и вернулась в коридор к Наде, которая к этому времени уже приветствовала районного прокурора и его жену.

Мужчины успели надымить папиросами, и Надю начало поташнивать. Она улыбнулась новой гостье — громогласной заведующей райторготделом Канаевой. Улыбнулась, но в это время Канаева закурила около нее, и Надю передернуло.

— Я не могу... — шепнула она Валентине Павловне.

— На каком месяце? — глухо спросила Канаева, взяв ее за плечи, дыша табаком. — Ах вон что... Так ты чего тут стоишь? На диванчик иди.

Но Надя все же героически устояла на месте.

В гостиной между тем разгорелась нестройная веселая беседа.

— Значит, Леонид Иванович, выпьем, говоришь, прощальную? — доносился голос директора совхоза.

— Да... — должно быть, в эту минуту Дроздов закрыл глаза. — Мужественно расстанемся... С бокалом в руке. Как подобает суровым мужчинам Сибири...

— Не забывай нашу Музгу! Она одна на свете...

— Ну, память о Музге с Леонидом Ивановичем в Москву поедет, — сказала Канаева. — Едут не один, а двое!

— Трое! — крикнул управляющий угольным трестом. Он еще до прихода успел где-то выпить.

— Как хорошо! И Жанночке моей теперь будет к кому зайти. Все-таки земляки...

Это Ганичева вставила словцо.

— Ну, как она там?

— Второй курс кончает.

— Леонид Иваныч! Леонид Иваныч! — звал с другого конца комнаты чей-то голос, веселый и искательный. — Ты бы перед отъездом взял да и распорядился насчет грейдера! Нам на память! Чтоб мы поставки осенью повезли по дорожке!

— Это Ганичев сделает, — ответил Дроздов шутливо. — По вступлении на трон...

Валентина Павловна стояла около Нади и через открытую настежь дверь наблюдала за гостями.

— Идите к нам, в наш кружок! — любезно извиваясь, позвала ее Ганичева. Она рассказывала женщинам об Австрии, где прожила с мужем целый год.

— Ну и как там после нашей Сибири? — перебил ее Дроздов и прошел к выходу, не ожидая ответа.

— Ах, никакого сравнения! — закричала, всплеснув руками, Ганичева. — Никогда бы оттуда не возвращалась!

И Валентина Павловна, все так же не говоря ни слова, остановила на ней свой спокойно наблюдающий взгляд.

Леонид Иванович, выйдя в коридор, позвал глазами Ганичева. Тот вскочил, и они остановились около стены — маленький и высокий.

— Ну? — хмурясь, спросил вполголоса Леонид Иванович.

— Он сказал, что очень сомневается.

— Ты мне толком все-таки скажи, что он там раскопал?

— Он хочет остановить авдиевскую машину.

— Н-ничего не знаю, — протянул Леонид Иванович. — Вот еще! А имеет он право?

— Он советует не торопиться...

— Ничего не знаю! — Леонид Иванович нахмурился, подвигал коленом. — Вот ему Авдиев с министром всыплют... Покажут ему вето!

И он резко повернулся, чтоб уйти.

— О ком это вы? Что нибудь случилось? — тихо спросила Надя.

— Что может случится с нами? — он тепло улыбнулся. — Разве Черномор невесту украдет? Завод, завод, — добавил он серьезно. — Это не мастерская какого-нибудь «Индпошива».

Надя не смогла до конца выдержать роль хозяйки дома. Когда по знаку Леонида Ивановича гости перешли в столовую, после первых двух тостов она отдала мужу свою рюмку с недопитой вишневкой (чтобы он допил, потому что тосты были за счастье), извинилась и вышла. Легла у себя в комнате на диван, и тут же к ней подсела Валентина Павловна, посмотрела на нее внимательными грустными глазами.

— Надюша... Ведь у вас здесь, на этом вечере, нет ни одного друга! Ни у вас, ни у Леонида Ивановича...

— Правда... — Надя сказала это слово и испугалась. — Нет никого. Кроме вас...

— Я не в счет.

Они надолго замолчали. Надя лежала неподвижно и смотрела на строгий некрасивый профиль подруги.

— Почему? — спросила Валентина Павловна.

В эту минуту из столовой в коридор открылась дверь и донесся извивающийся голос Ганичевой:

— Господи! Кто же мог тогда предположить? Впрочем, Жанночка мне писала, что он не оправдал надежд.

— Изобретатель-то? — засмеялся Дроздов, и дверь закрыли.

— Это о ком? — живо спросила Валентина Павловна.

— О нашем Лопаткине.

Они опять затихли. Валентина Павловна вдруг взяла Надю за руку.

— Вы на меня не сердитесь? Ради Бога, не сердитесь! Я просто не ожидала. Это не свадьба у вас, а прием, в районном масштабе... «Присутствовали такие-то, такие-то и такие-то лица...» Все громкие имена. Почему у вас не было никого из рядовых, обыкновенных людей, скажем, доктора Ореховой? Ведь она к вам часто ходит в обычные дни. А Агния Тимофеевна — она ведь вас любит! Вы и ее не пригласили?

Надя не ответила, и Валентина Павловна, взглянув на ее бледное лицо, покрытое серыми пятнами, прекратила расспросы.

За стеной был слышен нестройный, расслабленный хор — гости пробовали затянуть песню. Песня долго не ладилась. Потом кто-то захлопал в ладоши.

— Товарищи! — это был голос Канаевой. — Надо внести в это дело элемент организованности! Пусть жених запевает, а хор будет подхватывать. Давай, Леонид Иванович!

И Дроздов затянул. «Стоит гора высо-о-окая!...» — взвился его вибрирующий, глухой голос. Надя покраснела. Как всегда, песню можно было понять лишь по словам. Но хор, с трудом сдерживавший свои силы, грянул — и исправил все дело.

Валентина Павловна обняла Надю.

— Ну ничего, ничего... Это что — для вас? — она посмотрела на пианино. В нем отражались две женские фигуры. — Играете?

— Свободно не играю, а так... размышляю иногда.

— Поразмышляйте, пожалуйста, а?

— Они услышат, — Надя посмотрела на стену. — Еще сюда придут, играть заставят. Я чувствую, они уже основательно там... Лучше завтра как-нибудь.

— А это кто? — спросила Валентина Павловна и, быстро встав, сняла со стены фотографию в коричневой деревянной рамке. Из рамки смотрел молодой крестьянин в фуражке, в черном пиджаке и новых сапогах. Он сидел, раздвинув колени, отставив локоть, прямой и неприступный. Из-под фуражки выбился как бы нечаянно чуб, а на лацкане пиджака Валентина Павловна заметила значок, окруженный шелковым бантом.

— Он? — шепнула Валентина Павловна с уважением.

Надя кивнула.

— Он что — в гражданской войне участвовал?

— Нет. Тогда все надевали банты.

— Когда же это?

— В двадцатом или в девятнадцатом году. Он плотником работал. Красивые избы ставил. У него где-то есть фотографии. Нет, Валя, он

не так уж плох. — Надя посмотрела на Валентину Павловну, и серые глаза ее посветлели и словно увеличились от выступивших слез.

— Надя, миленькая, что вы! Это вы по-моему, своим мыслям что-то... возражаете. Конечно, неплох! Я, вернее, его не знаю. Он скорее всего даже хороший и человечный, и все такое... Я только думала об одном: почему...

— Он не плохой, — упорно продолжала Надя, — Он очень много работает. Просто забыл человек себя. Он совсем забыл о себе, думает только о работе. Вот и все!

— Значит, вы его любите?

— Я же вышла за него замуж! Он мой муж! — сердито сказала Надя и, шмыгнув носом, стала развертывать и складывать платок..

Гости разъехались поздно ночью. Дроздов проводил их к машинам, постоял на крыльце, громко хлопнул дверью и, напевая, бодро вошел в комнату Нади.

— Ну что, товарищ педагог? — и сел около нее. Он чуть-чуть побледнел от водки, но движения его были точны, и рассуждал он трезво, как всегда — со своим дроздовским смешком. — Что с вами, мадам? Нездоровится?

— Я хотела у тебя спросить, Леня. Почему у тебя нет друзей?

— Как это — нет? А это кто? Вон что в столовой натворили — смотреть страшно!

— Я говорю, настоящих друзей.

— Настоящих? Вон чего захотела... Видишь, Надя, я тебе говорил уже. Помнишь, говорил? Друзей у нас здесь быть не может. Друг должен быть независимым, а они здесь все от меня как-нибудь да зависят. Один завидует, другой боится, третий держит ухо востро, четвертый ищет пользы... Изоляция, милая. Чистейшая изоляция! И чем выше мы с тобой пойдем в гору, тем полнее эта изоляция будет. Вообще, друг может быть только в детстве. Мне очень, конечно, хочется иметь... Я вот надеюсь на тебя...

Он встал и зашагал по ковру — не прямо, а зигзагами, делая неожиданные повороты и остановки.

— Вот они — пили за наше здоровье. Думаешь, они нам друзья? Нет. Секретарь — этот все щурится. Не нравится ему что-то во мне. Твердая рука Дроздова не по душе. Не теоретически действую иногда, вот его и коробит. Видишь — ушел. Сразу же после тебя и поднялся. Н-ну, кто же еще... Ганичев — этот вроде ничего. Этот ничего, кажется. Но он мой наследник. Я уеду — его уже прочат на мое место, и он знает. Он ждет, когда я уберусь. Чтоб наследство поскорей принять. . .

— Значит, ушел Гуляев? — задумчиво проговорила Надя.

— Молод и соглашатель, — Леонид Иванович угадал ее мысли и опять заговорил о Гуляеве. — Нельзя к Дроздову на свадьбу не прийти. Приглашен. Опасно это — обидеть Дроздова. А на бой выйти боится. Взять меня не сможет — районишко у него худой. Весь экономический базис, прости, — он улыбнулся, — вся экономическая база вот в этой, Дроздова, руке. Вот он и половинничает: ушел «по делам»!

— О ком это ты говорил в коридоре с Ганичевым? — спросила Надя.

— Да вот... приехал из Москвы. Некто Галицкий. Доктор наук. Строим мы тут одну машину, так он говорит, что принцип устарел. . . В первый день, когда приехал, он только сказал, что будет помогать

при сборке. Через два дня встречаемся — как будто заболел. Лохматый, бледный и глаза прячет. Еще бы! Представитель заказчика! Промычал что-то и пошел себе. А теперь вот высказался!

Леонид Иванович посмотрел на пол, поморгал, потом решительно поднял голову.

— Вот так, дорогая. С кем же нам дружить? Мы с тобой уже не студенты. Мы теперь серьезные люди, многогранные. Чем дальше, тем больше граней. Простой ключ к нам уже не подойдет. Какой выход из этого? А вывод такой: сплотимся! Раз мы подошли друг к другу. — С этими словами Дроздов обнял жену и, откинувшись, посмотрел на нее издалека. — Хороша, хороша!..

Всего лишь несколько слов — и все поставлено на место! Но все ли? Надя туманно посмотрела на мужа. Они действительно были многогранны — оба. Особенно он. Столько граней, что голову можно потерять!

4

Еще через день, прямо из школы, Надя пошла на Восточную улицу к Сьяновым. Эта улица, длиной в добрых три километра, была застроена домиками из самана. Их здесь называли землянками. Двойная цепочка желтоватых электрических огней восходила все выше в темноту, на спину громадного холма, который по утрам, искрясь своими необъятными снегами, царит над поселком. Надя долго поднималась на взгорье, присаживалась отдыхать на лавочках, поставленных почти около каждой землянки, и снова шла. Наконец она поднялась на вершину взгорья и здесь нашла глиняный домик, номер 167, до половины врытый в землю и окруженный кольями с колючей проволокой. Она постучала в замороженное, матово освещенное окошко, которое было на уровне ее колен. Где-то за домиком хлопнула дощатая дверь, заскрипел снег, и к Наде вышла худощавая женщина, в фартуке и синем ситцевом платье, с засученными до локтей рукавами.

— Мы и есть Сьяновы, — сказала она. — Пожалуйте, — и повела Надю за дом, за узкий и высокий стог снега. — Вот здесь, не оступитесь, — она открыла дверь под стогом, и Надя вошла в помещение с теплым и сырым приятным запахом коровника. В полумраке она увидела пестрый бок и безразличную коровью морду, которая медленно повернулась к ней. Был слышен звон молочных струй о стенку ведра — корову доили, и Надя не увидела, а почувствовала, что доит Сима Сьянова, ее ученица. И худенькая Сима действительно поднялась из-за коровы.

— Здравствуйте, Надежда Сергеевна! — У нее здесь было другое лицо — приветливое лицо хозяйки.

Ее мать открыла вторую дверь, и Надя вошла в жарко натопленную низкую комнату и прежде всего увидела пятерых ребятишек, сидящих за столом. Каждый — с горячей картофелиной в руке. И картошка была такая белая и рассыпчатая, какой может быть только с в о я картошка. Пять детских головок повернулись к Наде.

—Здравствуйте, малыши! Пришла проведать, как живете, — сказала она, расстегивая манто, и села на табуретку посреди комнаты.

— Попроведайте, попроведайте, — сказала Сьянова, поднимая на Надю лихорадочные черные глаза. Она не знала, что делать, что гово-

рить. — Что ж, живем, как люди живут. Вот я только что-то сдала нынче. Не могу ступить. По женским все хожу. Больница-то далеко... Вот теперь наша хозяйка, — она показала на Симу, которая с ведром быстро прошла по комнате.

— Я к вам по одному делу, — сказала Надя, — и вижу, кажется, что это все невозможно...

— А что такое? — раздалось из-за простыни, повешенной, как показалось Наде, на стене. Там, оказывается, была дверь в соседнюю комнату. — В чем дело? — спросил, показываясь из-за простыни, пожилой худощавый и лысеющий мужчина в белой нижней рубахе, на фоне которой особенно рельефно темнели его громадные рабочие руки. — Здравствуйте, — любезно сказал он и стал застегивать воротник сорочки. — Кажется, Надежда... Сергеевна вас звать?

— Я пришла, чтоб попросить: нельзя ли уменьшить для Симы домашнюю нагрузку... Теперь вот вижу...

— Это верно. Дела у нас вон какие. — Мужчина положил руку на русую головку одного из малышей. — Сам я работаю, да еще и сверхурочно прихватываю. Хозяйка наша — одно название. Болеет наша хозяйка. Серафима теперь у нас за старшую. Вы дошку-то снимите, давайте я помогу. И пройдемте сюда, здесь будет посветлее...

Он отдернул простыню, и Надя, наклонив голову, прошла в узкую, чисто побеленную комнату без окон. Ей пришлось зажмуриться, чтобы привыкнуть к свету очень яркой лампы, подвешенной на уровне глаз. Она повернулась и чуть слышно ахнула: перед нею на узкой кровати, положив ногу на ногу, сидел Лопаткин и ел картошку. Он тоже был в нижней белой рубашке и показался Наде очень худым. На маленьком столике возле стояла глиняная миска с очищенной и, должно быть, очень горячей картошкой. На газете — горка серой соли.

Увидев Надю, Лопаткин вздрогнул, и на лице его можно было прочесть очень многое: и то, что ему неловко сидеть перед нею в нижней рубашке и есть картошку, должно быть, не свою. И то можно было еще прочесть, что он и сам хорошо видит все ее мысли. Но он только чуть заметно вздрогнул. Привстал, поклонился Наде и при этом обмакнул картофелину в соль.

— Садитесь, пожалуйста, — сказал Сьянов, и Надя послушно села на стул. — Это вот наш постоянный квартирант, Дмитрий Алексеевич. По моему, вы должны быть знакомы.

— Мы знакомы, — подтвердил Лопаткин спокойно, разламывая картофелину.

Надя огляделась и увидела за столом чертежную доску, поставленную к стене. На ней был приколот лист ватмана с контурами непонятной машины. А над столом, как раз против Нади, висела фотография, размером в открытку. С этой карточки на Надю смотрела юная девушка с полуоткрытыми капризными губами. Она была очень похожа на Римму Ганичеву, только глаза были не так далеко раздвинуты и не было в них того угрожающего выражения. «Жанна», — подумала Надя и с любопытством посмотрела на Лопаткина.

Сьянов стоял около Нади, хмурился и чесал худую небритую щеку. От него сильно пахло табаком-самосадом.

— Да что же мы! — спохватился он вдруг. — Не хотите ли покушать нашей картошки? Хороша она нынче... прямо сияет! Агаша, дай тарелочку...

— А я и так, — сказала Надя, беря из миски горячую белую картофелину, посеребренную блестками крахмала. И призналась себе, что ждала этого приглашения.

— Ну вот, так еще лучше. За картошечкой и потолкуем. Разрешите, и я здесь присяду? — Он сел около Нади на сосновый чурбак, взял картофелину и собрался было обмакнуть в соль, но спохватился: — Сима, дай милая, ножик!

Наступило молчание.

— Так вот, товарищ... Надежда Сергеевна вас, кажется? — заговорил Сьянов. — Вы захватили нашу семью, можно сказать, в сборе. Всю нашу артель, — он взглянул мельком на Лопаткина.

— Да, я теперь вижу, — начала было Надя. Но Лопаткин, любуясь картофелиной, буркнул:

— Симу освободим.

И опять все замолчали. Лопаткин спокойно съел картофелину и взял другую.

— Это ваша работа? — спросила Надя и показала на чертежную доску.

— Моя, — просто ответил он.

Надя тоже съела свою картофелину, взяла новую и, дуя на нее, несколько раз взглянула на Лопаткина. Ворот его сорочки был расстегнут, там виднелась мощная ключица. Лицо его было спокойно, словно он сидел в комнате один и отдыхал после тяжелого труда. Тусклые длинные волосы его лежали как-то мертво, словно устали. Один раз он взглянул на Надю добрыми серыми глазами, и она почувствовала на миг, как в ней проснулось что-то теплое, девичье, то, с чем она когда-то боролась. Но он отвел взгляд и так же мягко посмотрел на картошку. Чтобы поддержать беседу, Надя обратилась к нему еще раз.

— Простите меня... — Она бросила на него заискивающий взгляд и, тут же покраснев, оборвала себя. — Я вот что хотела спросить... Если нетрудно, скажите мне, в чем состоит ваше изобретение.

— Изобретения никакого нет, — ответил он. — Я вам серьезно говорю, нет.

— Погоди, Дмитрий Алексеевич. — вмешался Сьянов. — Ты испугаешь Надежду Сергеевну этак-то. Видите, как бы вам сказать, здесь и изобретение и вроде как нет его. Но в общем вещь полезная и имеющая перспективу. Это касательно будущего.

— Я сейчас все скажу. — Лопаткин отодвинул миску с картошкой. — Разрешите закурить? Мы с дядей Петром только по одной.

Он запустил большую худую руку в карман своего кителя, висевшего на стене. Выгреб оттуда горсть самосада. Надя невольно залюбовалась угловатой мощью его рук и плеч, мужской красотой, которая начала уже сдавать под напором безумного дневного и ночного труда над чертежной доской.

Свернув цыгарку, Лопаткин зажег спичку и жадно затянулся, закрыв глаза. Еще и еще раз.

— Я вам все скажу, Надежда Сергеевна. Я вас уважал всегда. Я вас понимаю и вам могу все сказать. Вы поймете. И к тому же мне не

хочется, чтобы вы разделяли общий взгляд на меня, как на маниака.

Он опять затянулся, едко поморщился и, быстрым нервным движением сбив пепел с цыгарки, продолжал:

— История длинная. Но, я надеюсь, мне удастся изложить ее коротко. До тридцать седьмого года я работал на автозаводе. Эта предистория нужна, чтобы вы поняли все происходящее со мной. Я работал в группе главного механика. Был весьма квалифицированным слесарем. Мы обслуживали главный конвейер — работа самая разнообразная. У меня знакомый был, тоже слесарь, который работал на одном из постов этого конвейера. Звали его Иван Зотыч. Этот Иван Зотыч брал шесть гаек для одного колеса машины и шесть для другого. На шпильки это колесо устанавливал другой рабочий, а Иван Зотыч — только гайки. Подойдет к нему машина — он сразу ставит гайки на место. Тут же висит электрический гайковерт, и он все гайки этим гайковертом мгновенно завинчивает. Аккуратный, трезвый рабочий. Всегда приходил к семи тридцати. И, глядя на него, я понял существо и мощь современного разделения труда. Оно должно быть доведено до такого предела, когда на вспомогательные действия, обдумывание и все прочее остается минимум времени.

— Простите, — перебила Надя, краснея, — вы лишаете рабочего мысли. Так человек думать перестанет. Мы ведем к стиранию граней, а вы. . .

Лопаткин пристально посмотрел на нее и, отведя глаза, чуть заметно улыбнулся.

— Надежда Сергеевна, вы раньше не говорили таких слов. Я с удовлетворением констатирую, что вы сделали успехи в некоторых областях знания. Нельзя не отметить плодотворного влияния некоей твердой руки.

Надя еще гуще покраснела.

— Я продолжаю, — спокойно сказал Лопаткин. — Разделение труда должно дать нам такие простые операции, чтобы их мог выполнять любой человек, не имеющий специальной подготовки. Это нам даст максимальную производительность труда. А рабочий, о котором вы проявили заботу, — почему же? — пусть мыслит! Не над тем, куда он положил вчера молоток, а творчески, например, о полной отмене ручного труда и переходе к сплошной автоматике. Пусть изучает высшие тайны своего дела. Пусть становится ученым. При таком положении мы действительно сотрем грань. А если будем думать о пропавшем молотке, мы ее никогда не сотрем. Скажите, противоречит что-нибудь в этой мысли здравому рассудку?

— Нет. Я с вами во всем согласна.

— Очень хорошо. Значит, можно итти дальше. Слесарь Дмитрий Лопаткин окончил физико-математический факультет, а когда его ранили на войне, приехал в Музгу преподавателем физики. Он повел свой класс на экскурсию в литейный цех комбината и вдруг увидел здесь производство канализационных труб, которые являются многотиражным видом продукции. Еще более массовым, чем автомобили. А здесь это производство было таким, как во времена Демидова: делают земляную форму и заливают в нее чугун из ручного ковша. Все ясно, Надежда Сергеевна! Я беру опыт автомобильной промышленности и переношу его на производство труб. Это сделал бы на моем

месте любой человек, видевший конвейер, тот же Иван Зотыч! Если, конечно, его заденет за живое подобная картина отсталости. Вот я конструирую, как могу, литейную машину и все в ней подчиняю правильным законам — закону максимального использования машинного времени, — это значит, что рабочий орган машины все время производит трубы, без простоев. И закону экономии производственной площади. Извините, я не слишком сухо говорю? У меня уже вырабатывается профессионализм.

— Ничего, ничего. Я вас очень хорошо понимаю.

— И вот я сконструировал машину и подал чертежи в Бриз — в бюро изобретательства. Думаю, правда, не может быть, чтоб такую простую вещь там, в институтах, не понимали. Но все-таки подал — на всякий случай... Через восемь месяцев получаю вот это...

Лопаткин быстро наклонился, выдвинул из-под кровати фанерный ящик, полный связок с бумагами. Раскрыл одну из папок и протянул Наде документ зеленовато-голубого цвета, отпечатанный на плотной глянцевой бумаге, прошитый шелковым шнуром, с красной печатью.

— Вы можете убедиться... (Тут Надя заметила, что у Лопаткина дрожат пальцы.) Можете убедиться, Надежда Сергеевна, что изобретение сделано, оценено, признано полезным и оригинальным. Только не переоцените эту бумажку. Хоть это и красиво, но это бумажка. И ценить ее нужно только по себестоимости. С вашего разрешения, я закурю еще раз...

Сьянов с сочувствующей поспешностью подал ему клок газеты. Дмитрий Алексеевич в молчании оторвал уголок, быстро свернул цыгарку, криво поджег ее и, задув пламя, дважды глубоко затянулся.

— На чем же мы?.. Да, вот. Я получил эту бумажку и каждый день, ложась спать и ото сна восстав, любуюсь ею. И волнуюсь. Почувствовал что полезен! Сказали мне, что машина нужна! И так несколько месяцев. Но разве для того я голову ломал? И я начинаю писать кляузы. Одну, вторую, третью... Через полгода — о, радость! — вызывают в Москву. «Срочно увольняйтесь, будете проектировать вашу машину в каком-то проектном институте». Вы представляете, какая радость? Мы тут танцевали с дядей Петром - землянку чуть не разломали. Я бросаю свою физику, вы это понимаете. Еду. Обиваю два месяца министерские пороги. Два месяца получаю зарплату и никакого проектирования не вижу. На третий месяц вызывает меня замминистра некто Шутиков, и ласково мне говорит: «Ничего не можем. Урезаны финансы. Не в наших руках. Может быть, что-нибудь в следующем году...» Слышите? М о ж е т б ы т ь! И пошли они, солнцем палимы, повторяя: «суди его Бог!» Вот так, Надежда Сергеевна! И стал я постоянным жильцом дяди Петра.

— Почему же вы опять не поступили на работу?

— Прошу простить. Давайте по Асмусу — последовательно. Что же оказалось? Оказалось, что мою машину послали на отзыв профессору Авдиеву. Есть в Москве такая великая личность. И этот профессор ее забраковал. Не вдаваясь в доказательства, он заявил: «Получить трубу в машине без длинного желоба нельзя». Он знаменит, слова свои ценит, бережет. «Безжелобная заливка - фикция», и точка. А раз фикция — министр и отказал в реализации. Ведь Авдиев — ав-

торитет! Он руководит кафедрой литья! О нем пишут: «Авдиев и другие советские исследователи»! Это Колумб!

— Послу-ушайте! — покраснев, перебила его Надя. — Дмитрий Алексеевич! Я даже... мне неловко. Профессор Авдиев — это же действительно большой ученый!..

— Ну, и еще одно: этот ученый незадолго до того, как я получил свидетельство, заявил собственную машину для отливки труб.

— Вы хотите сказать, что он у вас... — суховато проговорила Надя.

— Ничего подобного! У него конструкция собственная. И в высшей степени оригинальная. — Дмитрий Алексеевич докурил цыгарку, потянулся было за газетой, но остановил себя. — Хватит. На сегодня я выкурил норму. Ничего я не хочу сказать. Вы спрашиваете, почему я не поступил на работу. Не поступил потому, что должен был ежедневно писать, доказывать, что Колумб неправ. Вот вы опять улыбаетесь. Вам сказали, что Авдиев непогрешим, и вы теперь улыбаетесь. Вы отдали Авдиеву свою улыбку, он ею управляет.

Он сказал это, и Надежда Сергеевна, не успев возмутиться почувствовала, что лицо ее вышло из повиновения. «Глупейшее выражение!» — подумала она растерянно.

— А я заявляю, что отливать трубы без желоба не только можно, а нужно! — не глядя на нее, упрямо продолжал Лопаткин. — И мне нужно все это доказывать — вот почему я не могу поступить на работу. И, кроме того, я разрабатываю новый вариант, а это — тысяча четыреста деталей и двенадцать тысяч размеров, увязанных между собой. Конечно, одному это все сделать трудно. Это может сделать конструкторская группа или такой сумасшедший, как я. Да вот еще помогает мне дядя Петр. Он тоже немножко с ума сошел.

— И что, вы даже хлебных карточек не получаете?

— Без хлебных карточек мы как-нибудь не похудеем, — сказал Сьянов за спиной у Надежды Сергеевны. — Нам бы другую карточку — на ватман.

— Не понимаю, — Надя пожала плечами, — вы могли бы обратиться в управление комбината.

Сказав это, Надя почувствовала странную тишину. Дмитрий Алексеевич посмотрел на Сьянова, и они обменялись чуть заметной усмешкой.

— Вот что я вам скажу, Надежда... Сергеевна, кажется? — Сьянов, налегая на стол, придвинулся вперед. — Так вот, Надежда Сергеевна, мы тоже многого не понимали с Дмитрием Алексеевичем. А когда петух жареный, попросту говоря, извините меня, в задницу клюнул, все научились понимать. И не только понимать — и делать научились. Мы, конечно, когда не понимали, толкнулись к товарищу Дроздову за ватманом. По простоте. Он, конечно, отказал. И прав: нельзя государственный ватман на всякое непредусмотренное баловство тратить. Дал, правда, поначалу два листа — как на стенгазету. И точка. А мы все-таки без ватмана не живем.

— И тушь у нас китайская! — сказал Лопаткин с неожиданной улыбкой.

— Без ватмана не живем, — продолжал Сьянов задумчиво. — И даже надеемся, что наша возьмет. Правда, никто нам не верит... Люди программой заняты...

— Надо голову иметь на плечах, чтобы понимала, да сердце хоть какое в грудях, тогда и верить можно! — зло сказала вдруг жена Сьянова в соседней комнате.

— Это ты не про нас, Агафья Тимофеевна?

— Сам знаешь, про кого! Сидите уж, Аники. Слово боитесь проронить. А я вот вам скажу напрямки, — Сьянова влетела в комнату, болезненно сияя черными глазами, размахнулась белой, обнаженной по локоть рукой, взялась под бок. — Если государство и Академия наук признали, каждый обязан помогать, как может. Ежели он сознательный. Как Петр вот помогает, — она резко кивнула на Сьянова. Умолкла и долго смотрела на Надежду Сергеевну, постепенно успокаиваясь. Потом вышла из комнатки и там, за простыней, грохнула кастрюлей, закричала на ребятишек: — А ну спать, оглашенные!

— Она у нас боевая, —добродушно сказал Сьянов.

Домой Надя шла не одна. Лопаткин, почти невидимый в темноте, мерно шагал рядом, подняв воротник своего демисезонного пальто, спрятав руки в карманы. Он был задумчив, и Наде все время казалось, что она чувствует его мысли. Он словно наливался в эту минуту железом — должно быть, думал о большой тяжелой дороге, по которой ему еще долго придется итти со своим изобретением. «Нет, здесь никакое не сумасшествие, — думала Надя. — Это — то самое, что я когда-то угадывала в нем. Огромная твердость. Она дремала раньше без применения, смотрела спокойно из глаз, как новое, чистое оружие. А теперь это голубое свидетельство с ленточкой заставило тихого человека обнажить свою сталь. Конечно, здесь и Авдиев виноват. Хоть и знаменитость, а сказать обязан вразумительно. Такому человеку, как Лопаткин, надо серьезно доказывать, иначе он не отступится... Дело не так уж просто».

На углу Восточной улицы и проспекта Сталина они остановились.

— Теперь вы дойдете. До свидания, — кратко сказал Лопаткин. Повернулся и исчез во тьме, захрустел сухим, колючим снегом.

Придя домой, Надя долго сидела в одиночестве за большим обеденным столом. И при этом не сводила пристального взора с блестящей точки на никелированной сахарнице. Она ждала мужа — у нее сегодня было припасено много новых вопросов к Леониду Ивановичу. Шура появлялась и неслышно уходила, подавая и унося сливки, домашнее печенье, соленые огурчики и капусту, до которых молодая хозяйка в последнее время стала большой охотницей.

Затем Надя перешла в свою комнату и, не зажигая верхнего света, в полумраке, целый час играла этюды Шопена, начиная и бросая играть где попало, повторяя некоторые особенно грустные, задумчивые места. Муж не приходил. В гостиной прокаркали часы одиннадцать раз. Эти часы Леонид Иванович прозвал вальдшнепом за их особенный голос. Вспомнив об этом, Надя улыбнулась. В эту минуту сильно зазвонил в коридоре телефон. Она поспешила к нему, сняла трубку и услышала сонный голос Леонида Ивановича:

— Надя? Я не приду сегодня. Да так вот, свистит аппарат. Если что — позвони мне в цех. Ну как здоровье? Ничего, говоришь? Не врешь? Ну, так ложись сейчас же спать. Спокойной ночки.

Надя вздохнула и с грустным видом побрела в спальню. «Вот и ответ на все вопросы, — подумала она. — Да разве может он разорвать-

ся, чтоб все были довольны!» В последнее время Леонид Иванович часто оставался на работе до утра, а если приходил раньше, то сразу же падал в постель, отмахиваясь от еды, и во сне сдавленно стонал. «Сердце надо иметь в грудях», — мысленно передразнила Надя Агафью Сьянову и усмехнулась, как бы защищая мужа. Тут никакое сердце не выдержит! Расхныкались! Вы попробуйте вот так — по пять ночей!

Она легла на свое место на квадратной деревянной кровати и долго не могла заснуть, тревожно вздыхала, внимая частым то сильным, то еле ощутимым толчкам ребенка в животе.

Утром, открыв глаза, она увидела на соседней подушке голову мужа. Леонид Иванович спал, крепко зажмурясь, припав к подушке, как ребенок к материнской груди. Только у ребенка этого был серый седой висок и усталое желтое лицо с высоким лбом.

Надя оделась и вышла, неслышно прикрыв за собой дверь. Она пила в столовой чай, и вальдшнеп прокаркал уже одиннадцать часов, когда Леонид Иванович в домашних туфлях на босу ногу, в галифе и подтяжках, улыбающийся и свежий после умывания, вошел к ней.

— Налей-ка мне покрепче, — сказал он, садясь возле Нади.

— Я тебе уже говорила, — она взглянула на него серыми печальными глазами. — Ну зачем ты так надрываешься? Неужели это нужно?

— Финиш, Надя. Финиш... Финишируем!

— Не понимаю...

— Надо дать перед отъездом такой удар, чтобы Ганичев никогда до меня не дотянулся. Это будет прощальный свисток Дроздова!

— Зачем ты это говоришь? — В глазах Нади засверкали слезы. — Ты же лучше, чем то, за что выдаешь себя!

— Я то, что я есть.

Леонид Иванович встал и подошел к трюмо, поставленному между двумя окнами. Посмотрел на себя исподлобья, словно собираясь боднуть, потрогал виски и, подняв голову, заложив руку за пояс брюк, сказал:

— Вот он я. Стою перед с-самим собою. Сейчас буду дополнять свой портрет описанием внутренней сущности. — Он закрыл глаза и медленно открыл их. — Я вижу в этом человеке очень много недостатков. Пережитков прошлого. Это человек переходного периода. Есть в нем остаточек того, что раньше называлось «честолюбие». И я не понимаю, как можно жить без него! Но человек будущего поймет. Я хочу работать лучше, чем Ганичев! И хочу, чтобы люди о моей работе были только хорошего мнения. Всегда с перевыполнением — это мое больное место. Еще: радуюсь повышениям и заслуженным наградам. Они — суть свидетельства моих качеств. И в Москву еду с радостью. И знаю, что я там буду на месте. И еще много во мне есть слабых мест — потому, что жизнь люблю! Куда ни ткни — везде живое, нежное, чувствительное. Поэтому мне нужен панцырь, как улитке. Этот панцырь — твердая воля, которая в человеке есть положительное качество. Она его обуздает. И я себя держу в рамках. Конечно, я никому не скажу, что я хочу дать боевой прощальный салют. Только жене дозволено знать такие вещи. Как видишь, я еще молод и не чужд человеческих страстей. В коммунизм мне, конечно, хода нет. Я весь об-

рос. На мне чешуя, ракушки. Но как строитель коммунизма я приемлем, я — на высоте. Таково место этого человека в жизни.

Взглянув на себя еще раз, Леонид Иванович медленно вернулся к столу и, высоко поднимая брови, стал громко прихлебывать чай с ложечки.

— Или ты хочешь, чтобы я по-христиански? — спросил он и вдруг улыбнулся Наде, как ребенку. — А? Может, хочешь, чтобы я свою работу заваливал, получал выговора? Не-ет. Пусть это делает какой-нибудь рыцарь... Дон Карлос.

— Нет, зачем же... — Его рассуждения опять сбили Надю с толку. — Ты можешь работать просто. У тебя есть план и долг...

— Просто работать нельзя. — Леонид Иванович закрыл глаза. Он уверенно отвечал на все вопросы Нади. — Просто так никто не работает. Всегда примешивается личный момент, не поддающийся никакому фиксированию.

И на этот раз муж как будто разъяснил Наде все. Она не могла больше ни о чем спрашивать Леонида Ивановича — не было вопросов. Но когда после чая она шла в свою комнату, брови ее были сдвинуты. Она словно силилась вспомнить еще один решающий вопрос, но память наглухо закрыла от нее этот вопрос.

5

Вот над чем Надя думала все последующие дни. Она попала в странное положение. Ей нужно было обязательно, во что бы то ни стало, отыскать довод в защиту того человека, чью власть она мирно и даже с восхищением признавала в начале. В домике Сьяновых она узнала много нового, и Леонид Иванович, легко отвечая на тревожные вопросы Нади, все же не успокоил ее. Лучше бы вовсе не отвечал — она уже почти нашла ответ: муж ночами занят на работе, не жалеет себя, как всякий творческий человек, не спит, устал, за всем ему не усмотреть.

Лучше бы он вовсе не отвечал!

Она ждала нужного, точного ответа. В школе, встречаясь с разными людьми, она неумеренно хвалила или жалела мужа, ожидая сочувствия от собеседников. Но люди сразу замечали ложь в ее словах, смотрели на нее с интересом: чем же вызваны эти неожиданные восторги? Она поссорилась с Валентиной Павловной, которая с усмешкой сказала ей: «Не думаю, чтобы Дроздов так уж уставал». Правда, подруги вскоре и помирились. Но ни ссора с Валентиной Павловной, ни примирение не прояснили надиного горизонта.

А затем произошло нечто совсем неожиданное и нелепое.

В конце января, как всегда, Надя пришла в школу, поднялась в учительскую и увидела знакомую до мелочей картину. Каждая учительница сидела на своем месте.

Надя, как всегда, подсела на диван к Валентине Павловне. И только лишь она собралась заговорить с ней на их постоянную тему — о чистой любви, как секретарша, сидевшая в глубине учительской за столиком, сообщила торжествующим голосом:

— Граждане, знаете, кто к нам сегодня должен прийти? Дмитрий

Алексеевич Лопаткин! У него какие-то сдвиги наметились, и он придет за справкой.

Это сообщение по-разному подействовало на учителей. Старушка Агния Тимофеевна просветлела, закивала удовлетворенно. Молодые учительницы младших классов смешливо переглянулись — слово «изобретатель» звучало для них странно, и к тому же они знали, что Лопаткин — чудак: ни за кем не ухаживает и не бывает на танцах.

А Надя вдруг громко заговорила:

— Бедняга, я у него была недавно. Чувствуется все-таки, что он неудачник и основательно надломлен. Знаете, как всегда в этих случаях, все не правы, а он прав. Очень тяжелое впечатление. Со всех сторон на него нападки — и ученые и чиновники...

Что толкнуло ее на эти слова? Должно быть, то же самое, что привело раньше к ссоре с Валентиной Павловной. Надя говорила громко и неискренне ждала, что ее вот-вот перебьют и скажут что-нибудь хорошее о Лопаткине и тогда разрешатся все сомнения. И ребенок особенно часто постукивал у нее в животе.

Но никто не сказал ни слова. Даже наоборот, наступила тишина. Все слушали.

— Понимаете, меня удивило и даже заинтересовало это: живет этот наш Леонардо да Винчи у рабочего, отца девочки из седьмого «Б» Сьяновой. Не получает карточек на хлеб, похудел, курит и чертит с утра до ночи. Тысяча четыреста деталей — вы представьте себе! Двенадцать тысяч размеров! И главное — все впустую, потому что он не специалист. — Она неискренне засмеялась и опять почувствовала сильную тревогу. И на этот раз никто ее не перебил. — Мне кажется, можно было бы все это сделать без этой трагической обстановки, — продолжала она. — Можно преподавать физику, не отказываться и от хлеба и спокойно, главное — спокойно, работать над. . .

Кто-то больно наступил ей на ногу. Она осеклась и увидела красный лоб и искаженное стыдом и злобой лицо Валентины Павловны. У нее сразу же вспотели руки. Она оглянулась и почувствовала, что бледнеет: в дверях, спокойно выжидая, опустив глаза, стоял Лопаткин. Подождав еще немного и увидев, что Надя кончила свою длинную речь, он четкими шагами прошел к столу секретарши, по пути с улыбкой кивая знакомым учителям.

А Надя привалилась к спинке дивана и глубоко вздыхала раз за разом, молча протягивая руку к Валентине Павловне. Ей становилось все хуже — незнакомая теплота охватила верхнюю часть ее тела, и все громче и громче, наступая на нее, зашумели вокруг невидимые примуса.

— Товарищи, идите на урок! — сказал кто-то над нею. — А вы, Валентина Павловна, врача позовите. Андрея Иллиодоровича.

Кто-то занес ее ноги на диван. Кто-то в белом халате спросил: «Здесь болит?» — и коснулся ее живота. «Болит», — ответила Надя. Тот же голос спросил: «А здесь болит?» — и чья-то рука коснулась ее поясницы. «Ох, болит, болит! По очереди, то тут, то там», — сказала Надя и заплакала со страха. «Дроздов машину выслал», — проговорил кто-то. И через некоторое время Надю положили на носилки, накрыли мягким манто и понесли на улицу, а потом повезли в дроздовском «газике».

В больнице ее осторожно и как-то незаметно переодели, внесли в коридор, тесно установленный кроватями вдоль обеих стен. Высокий мужчина в белом халате и белой шапочке быстро прошел мимо нее, остановил женщину в халате, шепнул: «До сих пор не освободили? Сейчас же!» «Полежит со всеми», громко сказала женщина. «Вы что, распоряжений не знаете?» — испуганно и резко зашептал мужчина, схватил ее за рукав и втащил в ближайшую палату.

Вскоре Надю по команде молодой медсестры подняли две санитарки, пронесли по коридору, и она почувствовала направленные на нее со всех сторон взгляды больных. Передняя санитарка ногой открыла дверь, и Надю внесли в палату и переложили на большую кровать, мягко скрипнувшую пружинами. Медсестра, громко командуя санитарками, поправила простыни. Это, надо думать, была старшая сестра. Она оглядела всю палату и ушла, напоследок сказав: «Вот звоночек, если что...» Все затихло. Надя повернула голову, увидела шелковую штору и окно, сквозь которое уже синели зимние сумерки. Дверь открылась, и вошли два врача — высокий мужчина и женщина. Щелкнул выключатель, вспыхнул яркий свет. Врачи вполголоса поговорили у дверей и с озабоченным видом подошли к Наде. Начался осмотр.

— Здесь болит? — громко спросил мужчина, как будто спрашивал глухую.

— Болит. И здесь и здесь, — ответила Надя.

— Ну пока не будем трогать, — вполголоса сказал он своей спутнице. — Можно дать препарат желтого тела. Лучше не внутримышечно, а в таблетках. У нас есть? — И, так разговаривая, они медленно пошли к выходу.

— Скажите, это схватки? — спросила Надя со страхом.

— Слабые схватки, — ответил мужчина, — которые могут прекратиться...

— Если вы будете лежать спокойно, — добавила женщина.

Через час, когда совсем стемнело, Наде подали записку: «Надюша, не волнуйтесь, лежите спокойно. Завтра с утра мы вас навестим. Валя».

И, широко открыв глаза, глядя в потолок и все время чувствуя глухие то нарастающие, то совсем слабые боли, она задумалась. «Что же это со мной было? — думала она. — Почему это я вдруг заговорила какими-то чужими словами? Чьи это были слова?» Надя тут же остановила себя: «Хоть себе лгать не надо! Все, что я говорила, все это было постоянной точкой зрения Леонида». Да, она бессознательно попробовала проверить ее, эту точку зрения. «Почему же я так испугалась? Почему я чувствую себя виноватой перед Дмитрием Алексеевичем?»

Она нажала кнопку звонка, и через несколько секунд дверь палаты открылась и вошла та же самая старшая сестра, туго перетянутая в поясе, молодая, с твердым взглядом начальницы.

— Будьте добры, — робея перед нею, попросила Надя, — скажите, пожалуйста, во сколько завтра начнут пускать посетителей?

— С девяти утра. К вам можно и раньше.

Утром Надя проснулась от того, что в палате что-то тихо и настойчиво шелестело, как мышь. Открыв глаза, Надя улыбнулась. Вчераш-

ние боли утихли, и он время от времени постукивал в животе. Шелест в палате продолжался. Повернув голову, Надя увидела маленькую старушку санитарку, которая протирала пол тряпкой, намотанной на щетку. При этом санитарка успевала заглянуть под кровать, сунуть нос в тумбочку и даже для чего-то открыла один за другим ящики красного столика в углу, низко наклонилась над ним.

Надя с интересом наблюдала за нею. Осмотрев все ящики столика, старушка оглянулась и встретилась глазами с Надей.

— Не бойся. Твоего ничего не трону. Тут одна гребешок свой спрашивает. Вот я и шукаю, где это он запропастился.

— А почему она спрашивает?

— Да их выносили в коридор — торопились! Для тебя палату очищали!

— Почему же это все для меня? — недоверчиво спросила Надя.

— Палата-то не ихняя. Их тут до время держали. Пока кого из начальства подвезут.

— А почему палата не ихняя? — спросила Надя тише.

— Знать, распоряжение такое.

— А почему распоряжение?.. — машинально, совсем тихо спросила Надя.

— Почему да почему! А почем я знаю, почему? «Почему»!

Надя нерешительно нажала кнопку звонка. Потом взглянула на часы и сразу же опустила ноги с кровати. Было без двадцати девять. Сейчас к ней должны были прийти учителя, Валентина Павловна...

— Дайте мне халат скорее! — сказала Надя. Махнула рукой и быстро вышла в коридор в коротенькой белой больничной рубашке.

— Что это ты? Иди скорей назад! — услышала она за спиной испуганный шепот старухи.

— Никуда не пойду. Главного врача мне! — приказала она подбежавшей старшей сестре, и та опрометью побежала по коридору между двумя рядами кроватей.

Бледные лица поднимались одно за другим над этими кроватями. Надя стояла около своей палаты, и багровые пятна волнения все гуще выступали на ее лице, заливали лоб, переходили на шею. Она опять почувствовала приливающую к груди, к голове теплоту и, ослабев, села на ближайшую кровать.

— Ты что? — спросила ее бледная женщина с растрепанными волосами, поднимаясь на кровати. — Глупая, чего это ты выскочила?

Надя не ответила. В конце коридора показались две фигуры в белых халатах. Врачи спешили к ней, и первый — высокий мужчина — еще там, вдали, широко развел руками.

— Что же мне делать с вами, Надежда Сергеевна? Зачем? Ваш муж каждую минуту звонит, интересуется здоровьем. Что я ему скажу?

— Я хочу...

— Пойдемте скорей, ляжем в палату, и там я вас выслушаю.

Надя поманила его слабой рукой. Он наклонился, покраснев, подставил ухо.

— Я никуда не пойду... — Надя почувствовала себя очень плохо и закрыла глаза. Сразу зажужжали вокруг примуса. — Никуда не пойду — шепнула она, — пока не переведете всех на место...

Врач, ничего не понимая, выпрямился.

— Это она хочет, чтобы этих обратно перевели, — заговорила старушка санитарка. — Этих, которых давеча вы. . .

— Ага! Понятно. — Главный врач внимательно посмотрел на Надю, подумал и сделал широкий решительный знак рукой — из коридора в палату. И сейчас же старшая сестра вместе с двумя санитарками побежали в дальний конец коридора, подняли там кровать вместе с больной женщиной и потащили в надину палату.

— Сейчас все будет сделано, ласково сказал Наде главный врач и поджал губы. — Это наша оплошность. Простите. Может быть, вы перейдете туда, пока мы...

— Вы дайте мне слово, что всех?..

— Господи, какой может быть разговор?.. Пожалуйста, прошу вас.

Врачи подхватили ее под руки и осторожно привели в палату, к кровати. Надя легла. Женщина-врач взяла ее руку и сразу же обернулась к старшей сестре.

— Принесите термометр. — Она посмотрела в глаза главному врачу. Тот ответил ей таким же пристальным взглядом и взял надину руку.

— Боли есть?

— О-ох... Есть... — чуть слышно шепнула Надя, не открывая глаз.

— Да, похоже, — сказал главный врач, посмотрел на женщину в белом халате и на цыпочках пошел к выходу. Он открыл вторую дверь палаты, распахнул. — Быстрее, быстрее несите! — услышала Надя его резкий голос.

Санитарки внесли еще одну кровать. Надя лежала с закрытыми глазами и вдруг услышала голос старшей сестры.

— Лидка, подвинь-ка первую кровать... Эти жены начальства хуже самих начальников. А теперь эту бери. . . Никогда не угадаешь, чего им...

Надя широко открыла глаза. И старшая сестра, перехватив ее взгляд, сразу же улыбнулась, наклонилась к ней.

— Ну что, милочка? Как себя чувствуем?..

Сжав губы, Надя отвернулась.

А в дверях уже стояли четыре или пять человек в белых халатах — учителя. Впереди — Валентина Павловна. Она подошла к Наде, взяла ее за руку, села на край кровати. В глазах ее стояли слезы. Она ничего не говорила только пожимала Наде руку.

— Миленькая, — наконец заговорила она. — Милая Надежда Сергеевна. Мы все вас любим! Вот и для вас испытания пришли, бедняжка. Ничего. . . Надюшенька моя. Теперь лежите, пожалуйста, не расстраивайте нас. Не бегайте в коридор... Вам привет от Дмитрия Алексеевича. Он сам просил передать привет и вот... письмо... Господи, мы вас ведь так хорошо понимаем все.

Появился главный врач и попросил всех посетителей оставить палату в связи с тяжелым состоянием больной. Учителя, кивая и улыбаясь Наде, ушли, и Надя, подождав еще несколько минут, развернула письмо. Оно было короткое — тетрадная страница, исписанная крупными строчками.

«Дорогая Надежда Сергеевна, — писал Лопаткин. — Я хорошо понимаю ваше состояние и спешу вас уверить — я ни в чем вас не виню.

Вы очень честны и прямы и верите в людей. Поэтому вы так быстро подчиняетесь авторитетам. Я ценю в тов. Дроздове незаурядный талант руководителя, хотя у нас, как это часто бывает, есть большие расхождения во взглядах на жизнь. Мне кажется, что и вы не вполне разделяете его взгляды. Этим и вызвана вся история. Ваша душа, по-моему, не признает компромиссов — начинает метаться. Это хорошо. Жму вашу руку и прошу прощения за то, что я стал невольным виновником ваших страданий.

Д. Лопаткин».

Надя перечитала это письмо несколько раз, а когда около дверей зашаркали шаги мужа, спрятала письмо под подушку.

Леонид Иванович был в белом длинном, до полу, халате, должно быть, с плеч главного врача. Он остановился в дверях, и тут же Надя услышала женский голос:

— Товарищ Дроздов, состояние Надежды Сергеевны заставляет нас...

Леонид Иванович окинул палату быстрым взглядом, но Надю не заметил. Улыбнулся, подчиняясь медицине, и шагнул назад.

Через два дня утром он опять пришел, на этот раз в маленьком, женском, халате. Увидел Надю, сел около нее, взял за руку и, шутливо хмурясь, сказал:

— Ты у меня молодец.

Слушая его, Надя спокойно, иногда закрывая глаза от подступающей боли, смотрела на его желтый лысеющий лоб, на крепкие белые зубы, стараясь заглянуть в душу этого до сих пор непонятного ей человека. Но видела только умные, ласковые, немного насмешливые черные глаза. «Что же ты не говоришь своего мнения? — думала она. — Что бы придумать? Что значит эта похвала: молодец?»

— Да-а, — сказал, улыбаясь, Леонид Иванович. — Восстание. — И весело оглянулся по сторонам. Засмеялся, покачал головой. — Навела порядок! Теперь смотри мне, чтоб выздоровела!

— Ты знаешь, — тихо и слабо заговорила Надя, — я до войны еще девочкой лежала в больнице. В Ленинграде. . . Там не было такого. . .

— А теперь полежишь в Музге, — ласково ответил он, как бы не уловив ее главной мысли. Помолчал, улыбаясь, подбирая какое-то шутливое слово, и сказал: — Музга, как видишь, относится к тебе лучше!

Нет, он не собирался сегодня беспокоить ее серьезными разговорами. Он решил ее развлечь веселыми новостями.

— Ты знаешь, этого павиана и пьяницу Максютенко от меня забирают! В филиал проектного института. Я думаю, я ломаю голову — для чего? А его как специалиста по чугунным трубам! Он, значит, авдиевскую машину проектировал, так его теперь и на другую берут. Пошел человек! Впрочем, без меня он быстро пропадет...

— Ты сказал, авдиевскую? — как бы нехотя спросила Надя. — Это ее забраковал приезжий твой, доктор наук? А другая — может, это Лопаткина машина? — И Надя подняла на него спокойные серые глаза.

— Ты думаешь? Возможно... Они там все вместе с Шутиковым с ума посходили. О трубах только и говорят. Галицкий, правда, мне

предсказал, что авдиевская машина дальше опытного образца не пойдет. Может, там тоже почуяли, спохватились...

— Да... — сказала Надя, и Леонид Иванович опять не заметил особого звучания в ее голосе.

— Ты устала? — спросил он, и глаза его влажно потеплели.

— Нет. — Надя тоже улыбнулась. Но она думала о чем-то постороннем.

— Смотри, не затевай больше ничего. Твое восстание имело, так сказать, лишь частный успех. Завтра, смотришь, привезут сюда мадам Ганичеву, и вся твоя подзащитная публика пойдет в коридор. Это не мной и не тобой учреждено. Это блага, которые на данном этапе распределяются в соответствии с количеством и качеством труда. Уравниловка вещь вредная. Я вот, например, в больницах не лежу совсем. Должность не позволяет. На ногах болею. Мы если ложимся, то уже не встаем, — сказав это, Леонид Иванович важно закрыл глаза. Потом приоткрыл один лукавый глаз и засмеялся. — А т-такой человек, как ты, когда болеет, на него приятно посмотреть. Он должен находиться в особых условиях. Ты ведь у меня особенная. Редкий цветок! А вот, когда Ганичева ляжет... Эта баба их заставит побегать!

Так и не заметив ничего нового в голосе и в глазах своей жены, Леонид Иванович попрощался с нею, опять окинул взором палату, ухмыльнулся и ушел. И Надя еще при нем сунула руку под подушку. Проводив его спокойным взглядом до дверей, она достала письмо Лопаткина. «...стал невольным виновником ваших страданий...» — прочитала она и сразу увидела выпуклые ключицы, широкие, сухие кулаки этого человека, так хорошо скрывающего свои неудачи. Его тусклые, словно больные, волосы, его втянутые щеки и под бровями — впадины глаз, наполненные мужественной, прощающей теплотой.

Через две недели она выписалась из больницы. Леонид Иванович узнал об этом по телефону. С работы он пришел, как всегда, поздно и очень удивился, не найдя жены в спальне.

— Она спит у себя, в комнате. — сказала ему Шура. — Я им раскладушку постелила. Хотела перинку покласть, так не дала. говорит, доктор велел.

6

В апреле Надя родила мальчика. Это событие как бы сдвинуло и повернуло по-новому ее характер. Она словно забыла обо всех своих знакомых, встречала и Валентину Павловну и мужа одинаково рассеянным, почти чужим взглядом. Зато в своей комнате — вымытой, проветренной, белой от разложенных везде простынь и пеленок — она была другой, но опять-таки не прежней. В наброшенном кое-как халате, непричесанная, она сияла затаенным материнским счастьем. Часами ходила, сидела и опять ходила около спящего ребенка. Пеленала его и при этом целовала и смазывала вазелиновым маслом розовые складки на его тельце, требовала кипятку, чтобы приготовить свежий раствор борной кислоты, вместо того, который был приготовлен два часа назад. Прочитав по книге, что волосы могут служить убежищем для инфекции, Надя тут же потребовала ножницы. Без сожаления, напевая перед зеркалом, она сама кое-как обрезала свои длин-

ные волосы, а то, что осталось, забрала под белую косынку. И все — с сиянием, со счастливым румянцем.

Леонид Иванович заказал на механическом заводе комбината коляску для сына. Коляска была сделана в три дня — маленький обтекаемый экипаж, сверкающий никелем и голубой эмалью, — и доставлена в комнату Нади. Двадцатого мая «сама» Дроздова, как говорили о ней в поселке, одетая в серое коверкотовое пальто с поясом, вывезла коляску на улицу и двинулась по сырой, но уже плотной дорожке на прогулку. Коляска легко катилась перед нею, Надя иногда чуть-чуть подталкивала ее, не отрывая взгляда от полупрозрачного целлулоидного козырька, сквозь который просвечивало личико спящего ребенка.

Надя выкатила коляску на перекресток, затем свернула на длинную и широкую Восточную улицу, похожую больше на ковыльный пустырь, пересеченный столбами и застроенный по краям саманными домиками. Потихоньку двигаясь этой бесконечной улицей, с жадностью дыша холодным весенним воздухом, она узнавала весенние запахи — то запах огородной земли, то запах прелых досок. Пригретая весенним солнцем, Надя как бы заснула, с открытыми глазами. Потом она очнулась и увидела, что с той стороны, через улицу, к ней идет улыбающаяся Валентина Павловна. Неумело обхватив, она прижимала к себе рулон ватмана. Этот рулон привлек внимание Нади. О чем-то напомнил, что-то пробудил, и, приветствуя свою подругу, Надя почувствовала, что в ней зреет удивительная, но верная догадка.

— Дайте скорей посмотреть! — Валентина Павловна бросила на руки Наде тяжелый рулон и наклонилась к коляске. — Ах, Господи, какое чудо! —зашептала она. — Как же мы хорошо спим! И какая же мы кукла! Какие у нас красивые щеки!

— Куда же мы идем? — спросила Надя, шутливо подделываясь под ее тон.

— Да чепуха, тут в одно место, — Валентина Павловна махнула рукой. Выпуклый лоб ее слегка покраснел.

— По благотворительным делам? — спокойно и тихо спросила Надя, передавая ей ватман.

— Ну да. Валентина Павловна еще заметнее покраснела и добавила беспечно: — Вот достала ему ватман.

— Как у него дела?

— Новый вариант чертит...

Надя замолчала. Догадка — это одно дело, а вот такое прямое признание — этого она не ожидала.

— Валя...

Валентина Павловна побагровела.

— Вот вы и попались... да? — шепнула Надя ей на ухо и поцеловала это горячее, розовеющее ушко.

Валентина Павловна не ответила. Они долго шли молча.

— Он не знает об этом... о чем мы говорили? В школе, помните? — спросила Надя.

— И не должен знать, — шепнула Валентина Павловна.

— Хотите, я скажу? Или что-нибудь подстрою? А?

— Ничего нельзя делать. Слышите? Я вас очень прошу просто забыть обо всем. Если он узнает, мне нельзя будет туда ходить.

— Да?..

И они опять обе глубоко задумались.

— Что же, он опять чертит? Какой же это вариант?

— Последний, — гордо сказала Валентина Павловна. — Он получил распоряжение министра. Министр приказал проектировать старый вариант, а Дмитрий Алексеевич заканчивает новый — этот и пойдет.

— Пойдет? Это совершенно точно?

— Я видела сама распоряжение из министерства.

— Неужели он настоящий?..

— Я в этом не сомневалась никогда, — Валентина Павловна, сощурив глаза, сухо посмотрела вперед на невидимого врага. — Я считаю, что даже тот человек, который когда-то давно первым из всех людей приделал себе птичьи крылья и прыгнул с колокольни, — и он тоже «настоящий». Обыватель, конечно, хохотал... Обыватель разрешает таким... летунам существовать, он милостив, но только при одном условии: чтобы у них не было неудач. Над неудачником он хохочет...

— Вы что хотите сказать? — Надя замедлила шаг. Губы ее искривились, и слезы задрожали в глазах. — Валентина Павловна!..

— Дмитрий Алексеевич не разбился. Крылья у него оказались настоящими. Но если бы видели, как у него иногда идет из носа кровь... когда он переволнуется... У этого человека, который был когда-то чемпионом университета по бегу! Милая Наденька, не обижайтесь... Я ведь два года закрываю его, как могу, от насмешек... от недоверия...

— Валентина Павловна!.. Значит, меня он не простил?..

— Вы не так говорите. Не то... Как будто только за себя боитесь. Он, конечно, простил. Конечно! Но ему было тяжело. Если бы вы, Надюша, видели, как он задумывается, когда он один. Как он читал и перечитывал этот приказ! Вы тогда многое поняли бы... Почему я это говорю: я ведь могла не сказать вам, что получен министерский приказ. Или министр мог не издать распоряжения. И крылья, они тоже могли оказаться слабыми — ошибка, скажем, в расчетах. Что же? Вы были бы уверены, что он не н а с т о я щ и й, и смотрели бы на него с превосходством? Ведь вы сейчас вот сказали машинально: «неужели он настоящий?» Я все думаю: кто это научил вас не верить человеку? Откуда это чувство превосходства? Надюша, не лучше ли сначала верить, а потом уже, когда набралось достаточно доказательств, тогда уже не верить!

Поздно вечером, придя с работы, Леонид Иванович услышал за стеной, в комнате Нади, равномерный скрип кроватки и тихое, монотонное пение Шуры. Он зашел к жене. Надя лежала на диване в мягкой полутьме и глядела вверх, на лампу, завешенную со всех сторон пестрой тканью. Шура поскрипывала кроваткой и тихим тоненьким голосом выводила: «Бай-бай, баю-бай, пришел дедушка Бабай. Пришел дедушка Бабай, сказал: «Коленьку давай».

Надя, не взглянув на мужа, показала рукой на диван, рядом с собой.. И Леонид Иванович послушно сел.

— Ну что нового? — спросила Надя.

— Ганичев с завтрашнего дня — король на комбинате. Принял дела.

— Телеграмму ты получил?

— Получил. Еду в Москву через неделю. Квартира уже есть. Тебя оставляю пока здесь. Когда там улажу — вызову. Не бойся, у тебя будет провожатый. Доставит тебя.

Он замолчал, прилег на диване, отдыхая. «А мы Колю не дадим. Он у нас пока один...» — тоненько тянула Шура, поскрипывая коляской.

— Еще одна новость! — сказал Леонид Иванович, оживляясь. — Лопаткин! Пробил ведь ход! Мне звонили сегодня из филиала. Требовали Максютенко и заодно Лопаткиным интересовались.

— Я это знаю. Он заканчивает новый вариант...

— Вот как? Новый, говоришь? — Леонид Иванович встал, чтобы пройтись туда-сюда. Он всегда ходил, «колесил» по комнате, если его захватывала какая-нибудь новая мысль. И Надя поймала себя на том, что следит за ним. — Говоришь, новый? — спросил Леонид Иванович, останавливаясь. Взглянул на кроватку ребенка и сел. — А откуда ты узнала?

— Имею информацию. — Надя чуть заметно улыбнулась. — Скажи мне вот что. — Голос у нее был сонный, она смотрела вверх. — Скажи мне... товарищ Дроздов. Ты как, хорошо реагируешь на критику?

— Смотря какая критика! — Леонид Иванович засмеялся.

— Я беспартийная. Но я тебя сейчас буду критиковать, — сказала Надя и замолчала.

— Ну что ж, критикуй! — немного выждав, сказал Леонид Иванович.

— Я думаю, что ты такой критики у себя на заводе не услышишь. Мне интересно: почему у тебя была потребность издеваться над этим изобретателем? В его отсутствие говорить о нем... — не перебивай! — говорить всякие вещи. И кому! Мне, человеку из коллектива, где он работал когда-то! Уважаешь ты кого-нибудь из людей, кроме себя?

Во время этой неожиданной тирады Леонид Иванович все время пытался остановить ее. Закрыв глаза, говорил: «Надя... Надя...»

— Надя, послушай, — сказал он наконец. — Я понял тебя. Слушай: во-первых, я не издевался над Лопаткиным, а излагал свою точку зрения и говорил о ней только тебе, своей жене. Я ее тебе не навязывал. Я знал одного директора, который несколько лет кормил и одевал сумасшедшего изобретателя. Они вместе вечный двигатель конструировали. Этот пример наш министр любит приводить... Вот тебе обстоятельство, которое сыграло свою роль в формировании моей точки зрения...

— Министр? — спросила Надя с усмешкой.

— Нет, не министр. На сегодняшний день мы имеем еще целый ряд новых обстоятельств, которые изменили...

— Ты считаешь, что ответил? — тихо спросила Надя.

Леонид Иванович с тревогой развел руками.

— Ты помнишь? — назвал его марсианином...

— Надюш... Постой-ка. Разве я спорю с тобой? Возможно, что я проявил здесь слабость, поддался моменту. Но это был только ответ

на его слабость. У всех этих... творцов очень высоко развито самомнение.

— Кто тебе сказал?

— Он всегда со мной держал голову только вот так, — и Леонид Иванович раздраженно поднял голову повыше — так, как никогда ее не держал Лопаткин.

— А как он должен был держать голову перед тобой? Вот так? — Надя согнулась перед мужем, и он поморщился.

— Я н-не верю в существование так называемых возвышенных натур. Рядом с понятием «гений» обязательно существовало понятие «чернь». — Леонид Иванович напал на удачную мысль, вскочил и с довольным видом стал расхаживать по ковру. — Я потомок черни, бедноты. У меня наследственная неприязнь ко всем этим... незаменимым...

Он остановился перед Надей. Она молчала — не могла найти нужных слов, хотя, как и всегда, чувствовала, что он не совсем прав.

— Вот что... — заговорила она наконец. — Вот ты говоришь, что ты потомок черни. Чернь — это не обязательно беднота. Наоборот, бедняк много думает, размышляет над своей судьбой. И даже над человеческими судьбами. И, между прочим, — тут Надя улыбнулась, — в процессе этих размышлений именно бедняки приходили к гениальным открытиям! Чернь — это что-то другое, не кажется тебе?

Леонид Иванович ничего не сказал на это.

— Это действительно что-то черное, — задумчиво продолжала Надя. — И страшное. Самое плохое. Оно стремится захватить побольше и все время кривит душой. А когда захватит — сразу разжиреет, и все равно, у него будет морда, а не лицо...

Леонид Иванович остро посмотрел на нее, сел и обхватил голову желтыми пальцами.

— А то, что ты назвал «возвышенной натурой», а я говорю «простой честный человек» — лиши его всего, сделай его нищим, — он все равно светит людям. Нашел, где искать самомнение! У Лопаткина, который сам ничего не имеет, а думает о том, как помочь дочке твоего слесаря Сьянова! Ах! — воскликнула вдруг Надя и, закрыв лицо руками, стала качаться из стороны в сторону. — Ах, Господи, что я наделала!

— Что это? Надя! — Леонид Иванович еще заметнее встревожился.

— Ты знаешь, ведь я с ним целый год не здоровалась! Один раз мы сошлись на узкой дорожке, и я голову в сторону отвернула! И он понял, пожалел, пожалел меня! Он тоже сделал вид, что не заметил меня или не узнал!

Леонид Иванович неуверенно засмеялся, положил руку Наде на плечо.

— Вы проявили невоспитанность. Но при чем здесь я?

— Ты совершенно ни при чем? — тихо спросила Надя, и Леонид Иванович опять развел руками.

— Хоть бы не оправдывался, — опять заговорила Надя, взглянув на мужа. — Я теперь не знаю, как с ним встречаться. Господи, ватмана лист поскупился дать! Не поскупился, а хуже — поленился пальцем пошевелить! Бумаги клок человеку не дал!

— Милая, это судьба индивидуалиста. Если бы он был в коллек-

тиве, ему дали бы ватман. Кто же с ним, с кустарем-одиночкой, считаться будет? ..

— Значит, ты прав? — прервала его Надя. — Никто не будет считаться? Совершенно никто? На чем же он чертит?

И Леонид Иванович пожал плечами, ничего не сказал.

— Что я вижу... Во всем нашем разговоре... — сказала Надя тихо и вздохнула. — Есть у людей свойство — думать чувствами. Вот я не знаю человека, не имею перед собой его анкеты и с первого взгляда решаю: он симпатичен! Он приятен! Мне хочется быть в его обществе. Я ему верю. Я угадываю, что ему трудно живется. Замечал ты за собой такое?

— Это ты верно, конечно...

— Так вот, «верно». Мне кажется, что я тебя всегда побеждаю в споре чувств. Хоть ты и доказываешь мне логически, что ты прав. Иногда доказываешь... Да-а... — она задумчиво посмотрела на стену, туда, где висела фотография молодого Дроздова. — Ты был лучше тогда.

— Валяй, валяй, — сказал Дроздов. Быстро поднялся и заходил по ковру.

— Если бы здесь была аудитория, — сказала Надя, — человек на триста, твое красноречие завоевало бы их. Заговорить бы их ты смог, а мне бы ты просто не смотрел в глаза. Только нет ее, аудитории, нет. И ты мне смотришь в глаза. И я вижу, что ты не можешь мне ничего возразить. Скажи-ка мне, Леня, что ты сейчас задумал?

— Когда?

— Сейчас. Пять минут назад. Почему встал и начал ходить, как ты ходишь сейчас? ..

— Надя, это же невозможно! Ты прямо прокурор! Да, я думал кое-что. Насчет авдиевской машины...

— А что с нею? ..

— Да так... Технические неполадки.

— А еще о чем ты подумал? Когда вскочил и зашагал?

— Вот о том. Больше ни о чем.

— Значит, ни о чем? Ну ладно. Иди спи.

Леонид Иванович поцеловал жену в щеку и, чуть слышно отдуваясь, ушел в спальню.

На следующий день в доме Дроздовых начались сборы в дорогу. Грузовик привез с комбината ящики из хорошо прифугованных белых досок. Мать Леонида Ивановича и Шура сразу же начали укладку посуды. Дня через три, когда все было уложено, паровозик вкатил на складскую территорию комбината пустой товарный вагон. В этот вагон рабочие под наблюдением старухи Дроздовой погрузили все ящики и кое-что из мебели. Вагон закрыли и опечатали пломбой.

Вскоре уехал в Москву Леонид Иванович. Шуру отпустили в деревню, и Надя осталась одна в полупустом доме — со старухой и маленьким сыном. Она уже давно не преподавала в школе и теперь, скучая, стала каждый день заходить в учительскую — на прощанье — и, держа ребенка на коленях, с растерянной улыбкой смотрела, как течет мимо нее прежняя ее трудовая жизнь.

Через полмесяца и в школе нечего стало смотреть. Экзамены окончились, школа опустела, и даже подруга Нади — Валентина Павловна — уехала с дочкой к родным на Украину. Иногда к Наде приходила Ганичева, и на ее жирном накрашенном лице Надя читала: «Вы еще здесь?» Ганичева ходила по пустым комнатам и говорила старухе Дроздовой: «Вот здесь я поставлю шифоньер, а здесь — трюмо».

В конце июня Надя наконец получила от Леонида Ивановича сначала письмо, где была описана их новая трехкомнатная квартира на Песчаной улице, а затем и телеграмму: «Выезжайте».

Сразу же Ганичев прислал к Наде молодого техника Володю, которому была на этот случай выписана командировка в Москву — в техническое управление министерства. Володя привез билеты в московский вагон и быстро запаковал последние вещи. До отъезда оставалось четыре часа, и Надя, оставив ребенка старухе, вышла прогуляться. Что-то теснило ее грудь, какое-то незнакомое чувство — не испуг и не тоска. Она вышла на улицу, огляделась — и это чувство сильнее сдавило ее. Это же чувство привело ее к школе, и она еще раз открыла школьные двери, прошла по гулкому и необитаемому второму этажу, прошла — и не стало ей легче, только прибавилась тихая боль.

Потом она вышла на Восточную улицу. Ветер гнал по ней облака пыли — с горы вниз. И, закрыв платочком лицо, Надя торопливо зашагала вверх, навстречу пыльным порывам ветра. Она взошла на гору, здесь ветер был жестче, сибирский, степной ветер. Вот и домик номер 167 — днем он был еще беднее, даже мелом не покрашен. Надя перешагнула колючую проволоку, обошла сарайчик, на котором уже не было стога, и открыла дверь. Коровы не было — наверное, угнали в стадо. Надя открыла вторую дверь и сразу увидела пятерых ребят за столом. С ними был чужой дядька, одетый в светлосерое коверкотовое пальто. Он сумел пробраться за стол, к маленькому окну, криво сидел там, вытянув в сторону длинную ногу, держа на колене фетровую шляпу, и что-то рисовал ребятам, нахохлившись, свесив на лоб черную прядь и даже как будто рыча. Ребята, как по команде, повернули к Наде светлорусые головы с сияющими от восторга глазами и открыли на миг лист бумаги на столе. Там незнакомый дядька уже почти кончил рисовать взъерошенного, как метла, волка.

Незнакомец, привстав, поклонился Наде, сощурил на нее зоркие глаза. Его худощавое губастое лицо все еще хранило хищно-лукавое волчье выражение. Надя, опешив, забыла даже поздороваться.

— Ктой-то? — послышался голос Агафьи Сьяновой из второй, меньшей комнатки.

— Это я, — сказала Надя, уже чувствуя, что Лопаткина нет дома. — Прощаться пришла.

— Ах, это вы! Что ж, заходите. — Во второй комнатке вспыхнула яркая электрическая лампочка. — Заходите смелей, приболела я.

Надя, с опаской взглянув на незнакомца, поскорей прошла туда и увидела Сьянову на кровати Дмитрия Алексеевича. Она сразу заметила все: нет чертежной доски и, главное, исчез портрет Жанны Ганичевой.

— Где же? — торопливо спросила она и показала рукой, одним движением, все: и портрет, и письма, и самого Дмитрия Алексеевича.

— Уехал в область. Картошку мы с ним посадили и — уехал. Дела-то у него, вы слыхали, небось? Ну вот, он туда, въ филиал. Проектировать машину будут.

— А сюда он еще приедет?

— Как же. Тут у него все, под кроватью оставленное. Приедет. Должно, осенью или, може, раньше когда.

— Так я ему письмо...

— А сколько туда езды, в филиал? — напомнил о себе незнакомец. У него был медлительный, тягучий басок.

— Полтора суток верных будет, — сказала Сьянова.

— Да-а, — отозвался незнакомец. — Ах, черт, как же это я упустил его...

— Я уезжаю и хочу ему несколько слов... — торопливо зашептала Надя. — Бумажечки у вас не найдется?

— Ге-енка! — натужно закричала Агафья, свешиваясь с кровати. — А ну, иди сюда. Открой энтот вон чемодан, тетрадка там. И чернила с ручкой принеси.

Генка принес все, и Надя, подсев к столику, стала быстро писать.

— Значит, вы говорите, все в порядке у него? — в тишине за тонкой стеной нерешительно басил незнакомец. — Вот что... Значит, уехал... Агафья Тимофеевна, а у него не осталось здесь какого-нибудь чертежика? Мне бы посмотреть...

— А на что тебе? Ты что — специально к нему?

— Видите, какая вещь, — протянул незнакомец, показываясь в дверях маленькой комнаты. Он был очень высок, наклонил голову, словно подпирая плечом потолочную балку, посмотрел на Сьянову серьезными черными глазами. — Я из Москвы. Буду испытывать здесь одну машину... Машина того же назначения...

Надя быстро обернулась, подалась, закрывая свое письмо.

— Это вы приезжали к нам зимой? Вы Галицкий?

— Я. — Он перевел на нее черные глаза, сдвинул черные толстые брови. Некоторое время оба с интересом молча смотрели друг на друга.

— Значит, эта машина все-таки годится? — спросила наконец Надя.

— А вы у рабочих узнайте. Они народ прямой. Не утаят.

— Ругали, ругали, а все-таки построили?

— Видите ли, — он, вздохнув, задержал на ней какой-то загадочный взгляд. — Насчет этой машины у меня есть своя точка зрения, которую я в этот приезд окончательно уточню. А потому прошу вас повременить с этим разговором. Через месяц, когда все выяснится окончательно, я буду готов...

— Я сегодня уезжаю в Москву.

— Это не беда. Вы и там узнаете. Волна докатится...

— Докатится?..

— Может, и не докатится. Все равно. Муж вам скажет. Он заинтересован в этом не меньше моего.

И, словно не замечая краски, залившей лицо Нади, Галицкий повернулся к Сьяновой, выставил палец вверх.

— Мне очень важно ознакомиться с принципом машины товарища Лопаткина. Потому что, допустим, у себя я приду к отрицательному выводу, мне нужно что-то и предлагать.

— Муж скоро придет с работы, поговорите с ним, — сказала Агафья. — Може, что и найдется, чертежи какие.

Надя написала письмо, сложила его треугольником, крупно надписала: «Тов. Лопаткину» — и оставила на столе, надписью вниз. попрощалась с Агафьей, с ребятишками, смело взглянула на Галицкого и, кивнув ему, вышла на улицу. Ветер быстро погнал ее в спину, вниз, к черным дымам комбината.

У ворот ее дома стоял «газик». Володя и старуха ждали ее, одетые в дорогу, сидя на чемоданах. Еще на двух чемоданах сидели супруги Ганичевы — пришли прощаться.

Надя набросила на плечи пальто, Ганичева крепко и мокро расцеловала ее, сказав: «Слава Богу. А то уж думали, что остаться решила. Передавай привет Москве». Володя ухитрился взять сразу три чемодана, Ганичев — один, шофер — еще один. Старуха бережно подняла завернутого в зеленое одеяло ребенка, и все отправились к машине. И вот уже Надя едет по знакомой дороге, уезжает навсегда от этих мест, и все уходит назад, без возврата. Она оглянулась и в последний раз увидела дымную завесу, комбинат, и над ним желтую ковыльную гору, по которой рассыпались маленькие глиняные домики Восточной улицы. Она еще и еще раз оглянулась на эти домики с тяжелым и неясным сиротливым чувством. Все это медленно поворачивалось у нее за правым плечом и отступало назад, в прошлое, навсегда.

7

Дмитрий Алексеевич Лопаткин принадлежал когда-то к числу людей физически здоровых, очень сильных и потому выделялся среди товарищей прежде всего добродушием. Он никогда не имел врагов, и на совести его не было темных пятен, кроме постоянного чувства вины перед матерью, которая еще до войны угасла в городе Муроме, так и не повидав перед смертью единственного сына. Сын тогда был слишком занят учением в университете и работой на заводе, свидание с матерью откладывал с зимы на лето, с лета на осень и даже письма писал не часто, хотя деньги ей посылал. Получив короткое письмо от ее соседей, Дмитрий Алексеевич поехал в Муром. Он посидел в пустой комнате матери, разыскал на кладбище простую могилу с железной табличкой и, прочитав на ней свою фамилию, снял кепку. Он не оплакивал мать, но товарищи заметили, что Дмитрий чуточку притих. И эта вот тишина осталась в нем навсегда.

Войну он начал рядовым солдатом-пехотинцем, но вскоре стал командовать отделением, а в начале сорок второго года получил взвод. В конце этого года он уже был демобилизован. Война оставила на его теле несколько грубо заросших рубцов, словно нанесенных топором.

В армии он научился курить, разговаривать, не двигая при этом руками, терпеливо, молча слушать, быстро принимать решения. И еще в нем выступило одно качество — думать сперва о солдатах, а потом уже о себе. Голодный Ленинградский фронт проявил это качество во многих, а Дмитрий Алексеевич получил свое последнее ранение как раз там, около Ладожского озера. Привез он с войны и орден — Красную Звезду.

Когда Лопаткин пришел в музгинскую десятилетку, ему было тридцать семь лет. И если тогда, при первом знакомстве, в учительской ему давали не больше двадцати пяти, то через три года он стал тянуть далеко за тридцать: сказались те сотни листков и десятки больших ватманских листов, на которых он вычерчивал детали своей машины. Он держал все эти детали в памяти, закрыв глаза, видел их, изменял, соединял вместе и так же в памяти пускал их в ход. И еще больше, чем эти детали и чертежи, подействовали на него надежды и разочарования. Их приносила девушка-почтальон в конвертах с черными и цветными штампами министерств, управлений и комитетов. За два года Лопаткин научился вести переписку, подшивать бумаги, читать их тайный смысл, сопоставлять ответы, полученные из разных канцелярий и от разных деятелей. У каждого документа он видел человеческое лицо. В первый раз, когда пришел короткий отзыв профессора Авдиева, с бумаги на Дмитрия Алексеевича глянуло лицо непреклонное и фальшивое. Никто не мог увидеть эту фальшь, только один Дмитрий Алексеевич — ему она была отчетливо видна. Авдиев схитрил: сделал вид, что не нашел в чертежах Лопаткина идеи, и разобрал недостатки конструкторского исполнения — то, в чем Дмитрий Алексеевич действительно был слаб. Профессор упирал на то, что машина «сложна и громоздка». Немного позднее был прислан пространный отзыв кандидата наук Тепикина. Этот сказал как будто от себя: «Машина сложна и громоздка», — и Дмитрий Алексеевич увидел лицо «молодого ученого, разрабатывающего проблемы, поставленные профессором Авдиевым». Через полгода в домик на Восточной улице пришло письмо за подписью заместителя министра Шутикова. Здесь повторялась та же знакомая формула: «Машина сложна и громоздка», но лицо у бумаги было иное: благородное лицо чиновника-исполнителя, который списал формулу у Тепикина, обрадовался, что есть основание закончить надоевшее дело и дать бумагу на подпись заместителю министра. В уголке бумаги он поставил и свою фамилию: «исп. Невраев». Этот маленький домовой министерства был как бы стражем у ворот, через которые слово Авдиева вошло в кабинеты и стало мудростью высоких лиц.

Дмитрий Алексеевич за эти годы научился с недоверием относиться к тому, что бойко сочинено и красиво напечатано. Но ждать и надеяться он не отучился, и эти-то непрерывные вспышки надежды сделали черты его лица жесткими и упорными чертами страдальца.

Дядя Петр Сьянов — хозяин домика, в котором еще с 1943 года жил Лопаткин, — работал слесарем на механическом заводе комбината. С первых же изобретательских шагов Дмитрия Алексеевича он записался в сочувствующие. Сначала дядя Петр вежливо справлялся о назначении той или другой детали, потом попробовал помочь, но у него ничего не получалось — он плохо представлял себе машину в пространстве. Тогда дядя Петр стал приносить с завода маленькие модельки, сделанные из стали и латуни, и дело пошло значительно быстрее. Сьянов «заболел» машиной Лопаткина. Втайне удивляясь твердости своего квартиранта, он стал потихоньку подкармливать голодного, но самолюбивого изобретателя. Сам приносил ему обед, незаметно ставил на столик и поскорее уходил, словно приручал дикую ушибленную птицу.

И Дмитрий Алексеевич вошел в его семью. Правда, он тут же мысленно подписал обязательство выполнять в доме и во дворе Сьяновых все работы, связанные с молотком, топором и лопатой. Вскоре он почувствовал, что этого мало, и стал давать уроки, возиться с двоечниками, прививать им интерес к точным наукам, изгонять лень. Клиентура начала расти, и вопрос о деньгах постепенно отошел на второй план.

По утрам, наколов дров и наведя чистоту во дворе, Дмитрий Алексеевич отправлялся на прогулку. В течение часа он быстрым и ровным шагом пересекал весь поселок с горы и в гору и после этого садился за чертежную доску. Иногда во время этих прогулочных рейсов Дмитрий Алексеевич встречал своих бывших учеников. Он останавливался, пожимал им руки, спрашивал, как успехи, — он хорошо помнил всех по фамилиям и именам. А ребята еще не умели скрывать своих чувств, смотрели на него во все глаза. Одни с уважением — ведь он был изобретателем, а другие с открытой усмешкой — ведь он был чудаком!

И это еще ничего бы. Но иногда Дмитрию Алексеевичу попадались навстречу взрослые, особенно эта, «сама» Дроздова. С тех пор, как Лопаткин вернулся из Москвы, она не здоровалась с ним, проходила мимо с ясным лицом, с приветливым взглядом, обращенным к его пуговицам. Она была счастлива, красива и задумчиво нежна. «Вот такие паразитические цветы с сильным запахом, бледные повилики, зарождаются в какой-то непонятной сфере, чтобы поражать нас, — думал Дмитрий Алексеевич, провожая ее взглядом. — И они нас презирают, и никто не протрет им глаза, не повернет их, потому что они глупы».

— Да, это как раз она, — шептал Дмитрий Алексеевич, проникаясь к ней ненавистью.

Но действовал он совсем не так, как диктовало ему гордое самолюбие. Он предупредительно уступал ей дорогу и даже переходил на другую сторону улицы и при этом делал вид, что занят своими мыслями.

Потом он заметил, что она беременна. У нее появились желтоватые расплывчатые пятна на лице и медлительная походка. Ей было трудно ходить, она со страхом готовилась к материнству, и Дмитрий Алексеевич сразу же простил ей все. Правда, здесь сказались еще кое-какие обстоятельства, которые постепенно открылись Дмитрию Алексеевичу в последнюю зиму.

В домик Сьяновых часто наведывалась учительница английского языка Валентина Павловна — смешливая, постоянно краснеющая женщина лет тридцати. Лицо ее было безнадежно испорчено высоким, выпуклым, розовым лбом. Этот недостаток не так был бы заметен, если бы Валентина Павловна могла освободиться от своей привычки краснеть: скажет слово — и зардеется. Замолчит — и еще больше покраснеет.

Впрочем, Дмитрию Алексеевичу меньше всего было дела до чьей бы то ни было внешней красоты. Ведь и у той девушки, чей портрет висел у него над столиком, тетя Агаша тоже заметила что-то неприятное во взгляде далеко к вискам отставленных глаз. А Дмитрий Алек-

сеевич видел в этих глазах другое, что-то вроде сочувствия или ласкового одобрения. Его так и тянуло посмотреть в эти глаза.

С Валентиной Павловной Лопаткин был всегда ровен, старался не замечать ее неловких движений, слов, сказанных невпопад, и краски, то и дело заливавшей ее лицо. Он радовался каждому ее приходу: Валентина Павловна как бы связывала его с окружающей жизнью, была живой и веселой газетой. И еще она верила в то, что «лопаткинская машина» для отливки труб — не простая выдумка. Верила в то, что машина эта победит. А раз вера ее была искренней, значит можно было принимать и ее вклад в нужное дело — рулоны прекрасной ватманской бумаги, которые она где-то доставала.

Валентина Павловна просиживала в комнатке у Дмитрия Алексеевича по нескольку часов, а он что-нибудь гудел и чертил новый вариант своей машины или думал над неоконченным чертежом. Она молча через его плечо следила мимо разросшихся лохматых волос за уголком широкой русой брови, который то поднимался удивленно, то сердито опускался в зависимости от того, как шли дела. Или вдруг принималась болтать о жизни поселка или о школе.

И вот из-за этой-то болтовни перед Дмитрием Алексеевичем постепенно встало и грустно взглянуло на него другое лицо — «самой» Дроздовой. Оказывается, эта когда-то счастливая комсомолка, дочь простого счетного работника из банка, ошиблась в выборе мужа, попалась в плен и слишком поздно начала это понимать.

— Вы знаете, как она сейчас со мной спорит! — рассказывала Валентина Павловна. — Так никто еще не спорил! Выдвинула аргумент и ждет, чтобы я опровергла! И радуется, если я хорошо, как следует ее разобью. А если замолчу, задумаюсь — злится, наскакивает, удивительно! Может, здесь еще и ее положение сказывается. Но все равно — такого я еще не встречала.

— Да-а! — гудел Дмитрий Алексеевич, вспоминая недавний визит Надежды Сергеевны к Сьяновым.

Однажды Валентина Павловна пришла к нему утром, молча поставила в угол трубку ватмана и села на табуретку, расстегнув серо-голубое пальто с воротником из фиолетового песца.

Дмитрий Алексеевич растирал в блюдечке тушь. Он взглянул в угол на трубку ватмана и сказал полушутливо, полусерьезно:

— Валентина Павловна, смотрите, я скоро начну вас любить. Вы мне даете больше, чем жизнь.

Валентина Павловна засмеялась, покраснела и спрятала лицо в воротник.

— Я говорю серьезно, — Дмитрий Алексеевич улыбнулся ей. — Для того, чтобы просто жить, нужен хлеб. Но как бы я ни был голоден, я всегда променял бы свой хлеб на искру веры. У нас в госпитале были почти все раненые с Ленинградского фронта. И с некоторыми что-то случилось — наголодались они там, и вот смотрю: сушат теперь на батарее корки! Высушат и — в подушечную наволочку. И у меня такое есть, только по отношению к людям, которые верят в мое дело. И еще к ватману. Это я, чтобы вы поняли, Валентина Павловна. Простого спасибо здесь мало. Я всегда буду помнить эти дни и буду всегда ждать случая, чтобы доказать своим друзьям. . .

— Дмитрий Алексеевич, перестаньте! — Валентина Павловна по-

вернула к нему лицо не то счастливое, не то обиженное. — Вы сейчас чуть-чуть меня не обидели. Мне достаточно самого малого; неужели вы думаете, что я не пойму! Верно! — громко крикнула она. — Вы услышали это слово? Вот и хорошо. Ватман вам нужен — вот я и счастлива!

И, спохватившись, вспыхнув, она добавила:

— Я же понимаю, что эта машина нужна государству и что помогать вам — долг каждого честного. . .

И они оба замолчали.

Во время этой беседы Дмитрий Алексеевич быстро и словно нечаянно несколько раз взглянул на нее. Он гнал от себя то и дело выплывающую на свет догадку, которая польстила бы его самолюбию, но была страшна серьезностью и глубиной. Совесть подсказывала ему, что догадку эту нужно остановить, нужно ничего не видеть и не слышать, иначе разрушится короткая и сердечная дружба.

И он громко стучал блюдцем, беспечно покашливая, потом включил радио — детскую передачу, чтобы не замечать чувств, вышедших чуть ли не для открытых действий. Он не смог бы дать ответа на эти чувства. Он не хотел отражать этот приступ и спешил решить дело средствами дипломатии. Надо сказать, что это ему удалось. Валентина Павловна поднялась, словно ее разбудили, и включила радио погромче. Потом, следуя необъяснимому ходу мыслей, она стала смотреть на портрет Жанны Ганичевой, повешенный над столиком.

— Жанна так и не пишет? — спросила она.

И не успел Дмитрий Алексеевич ответить, как на улице послышался женский голос, хлопнула дверь, и Агафья Сьянова, войдя с мороза в платке и нагольном полушубке, бросила на столик два письма.

— Принимай, Алексееич, корреспонденцию — забыла вчера передать. Так и ношу в кармане. Силосовать скоро будем письма твои!

Привычной и спокойной рукой Дмитрий Алексеевич разорвал первый конверт со штампом министерства. Мгновенная боль вступила в виски — он прочитал слова: «Не представляется возможным» — и тут же бросил красивую бумажку под стол. На секунду в глазах его появилось выражение усталости, на миг он как бы окостенел, и губы его ядовито искривились, но все это сразу же прошло, он поднял с пола бумагу, спокойно перечитал ее, разгладил и, выдвинув ящик, тут же подшил ее в толстую папку, к другим таким же красивым бумажкам. Бросив папку в ящик, он глубоко вздохнул и посмотрел на портрет Жанны. «Наверно, конца не будет нашей с тобой разлуке», — подумал он, легко проникая сквозь жесткость ее взгляда, отдыхая в тех ласковых глубинах, о существовании которых никто не знал, кроме него. Он уже забыл о том, что в комнатке сидит еще один человек — его постоянная гостья.

— Да, ч-черт, — сказал он, темнея лицом, и протянул руку ко второму конверту.

Ах, это было письмо от нее! Валентина Павловна сразу поняла это и стала прощаться, что-то сказала, засмеялась, жалко хихикнула, словно в пустой комнате, и быстро ушла, даже не застегнув пальто.

Наступила тишина, Дмитрий Алексеевич читал письмо и незаметно для себя начал поглаживать одной рукой волосы, плечо, щеку. Он

слышал громкий, словно дикторский голос письма, объявляющий ему о неожиданном разрыве:

«Дмитрий! Я перечитала все твои письма. Везде ты пишешь, что у тебя дела идут на лад, в гору, к лучшему, что машину уже начинают строить, что уже есть «соответствующие» распоряжения, что академик Н. тебя хвалит, а доктор НН. превозносит до небес. Мне было лестно читать все это, и я даже похвасталась своим подругам. Написала письмо в Музгу. И вот они все отвечают, и оказывается, что ты мне лжешь. Я не буду повторять того, что пишут девочки, но мне не нужен и обман. Я не хочу быть героиней трагедии в стихах. И вообще, все так грустно, все получается как-то не так. Напиши-ка мне чистую правду, дай вне возможность решить свою судьбу, как ее решают обыкновенные взрослые люди. Во взглядах на жизнь девочки и взрослой девы есть разница, и это начинаешь с годами понимать. У меня нет сил, я чувствую, что мне придется уступить моего будущего Эдисона другой, более мужественной женщине. . .»

Прочитав письмо, Дмитрий Алексеевич озадаченно поскрипел стулом, потом, подняв бровь, взглянул на портрет Жанны и вспылил. Он выхватил из ящика листок бумаги и стал быстро, с громким скрипом писать:

«Что-ж, дорогая, я напишу Вам всю правду. Я вижу, что наступает время нам рассчитаться. Должен извиниться перед Вами. Я необдуманно увлек Вас на сомнительный путь подруги изобретателя, не зная при этом, кто я — изобретатель или просто чудак. Я рад, что у Вас во-время открылись глаза и Вы, таким образом, избегнете опасной участи. Дела у меня сейчас хуже, чем когда-либо, я истратил почти все спички, и ни одна не зажглась. Только дымят. А раньше у меня была хоть полная коробка! Но я с той же надеждой смотрю на последнюю спичку. Можете считать это ложью, только разрешите доложить: скоро я буду праздновать победу! Наши машины будут работать на заводах, и мы с дядей Петром станем любоваться на них и придумывать новые, потому что дело пришлось нам по вкусу! И вот свою последнюю спичку я сейчас спокойно попробую зажечь. Жаль, конечно, что вместе с нами не будете ждать огня Вы. Но и то — ведь это «скоро» лишь для меня. Я привычный — могу чиркать свою спичку несколько лет. Когда еще она загорится! Стало быть, забудьте все, о чем я с Вами говорил, потому что все это беллетристика, все риск. Это не для Вас. Помните только физику и математику, но не очень, потому что людей, боящихся риска, эти науки сушат. Желаю Вам быстрого успокоения от всех тревог, причиненных мною. Москва — мастерица лечить неглубокие раны. Будьте здоровы!

Д. Лопаткин».

Заклеив конверт, Дмитрий Алексеевич накинув на плечи пальто и выбежал на улицу без шапки. На столбе скрипел от ветра почтовый ящик. Письмо тупо стукнулось о железное дно. Дмитрий Алексеевич повернулся к своему дому и увидел ниже, под горой, девушку-почтальона. Она спешила к нему, держа в руке большой конверт. И на конверте синел знакомый штамп министерства.

— Привет из Москвы, — сказала она, подавая ему конверт, и, не останавливаясь, пошла на другую сторону улицы.

Промороженный и обсыпанный снегом, Дмитрий Алексеевич вле-

тел в свою комнату и, едко искривив губы, разорвал конверт. Опять красивая бумага! Но что это? . . «Министерство вторично рассмотрело... Принято решение разработать технический проект. . . Начальнику филиала дано указание на период разработки. . . зачислить Вас на работу в проектно-конструкторское бюро и выделить Вам в помощь необходимое количество конструкторов... Необходимые средства выделены...»

— Черт! — сказал Дмитрий Алексеевич. Бросил бумагу на стол, снова взял и перечитал с начала до конца. — Поневоле сойдешь с ума. Черт его знает что!

Он опять схватил бумагу и посмотрел на подпись. Она была похожа на тонкий и прямой зеленый шов, сделанный швейной машиной. По обеим концам шва висели нитки. Заместитель министра!

Он задумался: а как же быть с письмом к Жанне? И махнул рукой: пусть идет.

— Конечно! Как тут не сойти с ума! — сказал он. Сбросил пальто, улегся в постель и сразу заснул.

Вечером в домике Сьяновых по этому поводу был устроен небольшой праздник. Дядя Петр достал бутылку желтой, как керосин, степной водки. Был сделан отличный для тех времен винегрет — с солеными огурчиками, с капусткой и с картошечкой — и полит настоящим хлопковым маслом. Друзья выпили, закусили и вволю посмеялись над своим счастьем. Они долго считали по пальцам, сколько же раз приходили такие письма и сколько бутылок было распито. И оказалось, что за два года было всего четыре обнадеживающих письма и распито три бутылки. Один раз обошлись без водки.

Дмитрий Алексеевич смеялся по этому поводу громче, и смех его был ядовитее. Но, как и в прежние четыре раза, его к ночи стала трясти лихорадка.

— Ты, брат, не привык к вину, — сказал дядя Петр и внимательно посмотрел ему в глаза. — Лихорадит что-то тебя. Не можешь ты ему сопротивляться.

И, заботливо обняв, уложил Дмитрия Алексеевича в постель. Но дядя Петр ошибся. Это была не лихорадка. Это была надежда.

К утру она должна была бы отпустить Дмитрия Алексеевича, который еще больше похудел за эти сутки. Но пришло новое письмо из Москвы — копия распоряжения, согласно которому инженер Максютенко откомандировывался в проектно-конструкторское бюро филиала Гипролито для участия в разработке технического проекта литейной машины системы инженера Лопаткина.

«Ого, ты уже инженер!» — сказал себе Дмитрий Алексеевич.

Потом в дверь постучалась девочка-курьер из управления комбината. Она вручила Дмитрию Алексеевичу записку от Дроздова, написанную коричневым карандашом на директорском бланке: «Тов. Лопаткин! Прошу вас, зайдите ко мне касательно Вашего дела в 12.00 часов, 27-1-47 г.»

И Дмитрий Алексеевич поспешно стал готовиться к этому визиту. Он осмотрел и начистил свои ботинки и подклеил коллодием заплатки. Затем, пока грелся утюг, он побрился, подстриг ножницами бахрому на рукавах кителя и на брюках и, надев наперсток, «подживил» нитками подстриженные места. Потом, опрыснув водой китель и брюки, пропа-

рил их утюгом через полотенце и сделал на брюках отличную складку — сверху донизу.

Приведя свой костюм в порядок, он оделся и вышел. По пути он заглянул в школу и попросил у секретарши справку «с прежнего места работы», которая, конечно, ему пригодится при первом же разговоре в проектно-конструкторском бюро. Справка была тут же написана, но печать оказалась запертой. Эта мелочь и стала первым звеном в той цепи событий, которые привели Надежду Сергеевну в больницу, — Лопаткин пообещал зайти за справкой и ушел, чтобы вернуться позднее.

Он спешил на свидание с Дроздовым. Секретарша встала, когда он появился в приемной, но не пошла докладывать, а только открыла дверь кабинета, приглашая Лопаткина войти. Его ждали!

Так же, как и в прошлый раз, он прямо пересек ковер и остановился между двумя креслами, перед громадным темнокрасным столом, за которым сидел маленький плешивый и взъерошенный человек с желтоватым худеньким лицом. Дроздов приветливо смотрел на него черными живыми глазами. Голова его была спрятана в плечи, и обе руки, соединенные в одном большом кулаке, лежали на зеленом сукне стола.

— Ну, — сказал Леонид Иванович. Поднялся, подал руку Лопаткину, показал на кресло и снова сел, принял ту же привычную позу, как будто и не поднимался. Он закрыл глаза, помолчал некоторое время, потом хитро открыл один глаз и поднял бровь в сторону Дмитрия Алексеевича. — Поздравить тебя надо? А?

— По-моему, еще рано...

— Ты хочешь сказать... — Дроздов ухмыльнулся и закрыл глаза. — Он хочет сказать, что он скромен!

Тут Леонид Иванович покосился через плечо, и Лопаткин, проследив его взгляд, увидел в глубине кабинета, в кресле, лысоватого человека в офицерском костюме, без погон, того же самого, который сидел у Дроздова в прошлый раз и назвался Самсоновым.

— Мы это знаем, товарищ изобретатель, — продолжал Дроздов, добродушно и лукаво морщась. — Скромен, скромен! — А сам уже, небось, спрыснул это дело! А? И меня не позвал!

— Четвертый раз спрыскиваю, Леонид Иванович. Может, еще столько придется.

— Ну, это у тебя, брат, упадочнические настроения. Достоевщина. Это мы сейчас развеем. Ты вот что скажи мне, товарищ Лопаткин. — Дроздов придвинул к себе настольный календарь и взял из чугунной гетманской шапки остро отточенный карандаш. — Мне сегодня будут звонить из филиала. Максютенку от меня туда забирают. Для участия в разработке технического проекта... литейной машины инженера Лопаткина. Знакома тебе эта фамилия? — Он дружелюбно покосился на Дмитрия Алексеевича. — Так ты мне скажи, товарищ инженер, когда ты туда поедешь?

— Поеду вот... Я должен кое-что закончить. Месяца три еще провожусь.

— Три-и? Это меня устраивает. Устроит ли тебя? Он ведь у меня авдиевскую машину двигает! Не боишься?

— Я знаю. Вот и пусть двигает.

— Изобретатель-то... благороден! — сказал Дроздов Самсонову.

— А через три месяца начнем мою, — спокойно продолжал Дмитрий Алексеевич, — если не передумает этот товарищ замминистра.

— Шутиков? Не-ет, не передумает. Он теперь болеет вашими машинами. Это его любимая тема. Конек! Значит, на май? Так мы и запишем. Вот, собственно, и все...

Дмитрий Алексеевич встал и протянул было руку прощаться, но Дроздов словно не заметил его руки.

— Сядь, посиди, куда торопишься? — Он добродушно засмеялся. — Куда торопится? Не пойму, — сказал он Самсонову, и тот в ответ весело задвигался в кресле и положил ногу на ногу. — Не пойму! — сказал Дроздов, снимая при этом трубку с телефонного аппарата. — Алло! Фабричковского, — сказал он в трубку и помрачнел. — Товарищ Фабричковский? Тут к тебе придет изобретатель. Сегодня. Не остри, кислые щи здесь не при чем. Я говорю, придет изобретатель. Лопаткин. Так ты мне его одень. Да. От меня. Ты меркантильные эти разговоры... Что, у нас разве нет денег? Мы не так уж бедны. Комбинат может как-нибудь одеть одного инженера? Нет, ты скажи, может? Так вот, одень. Одень. Одень мне его. Одень. Как министр чтобы ходил. Как у тебя, такой костюм сделай. Или свой отдай... пузо, хе-хе, ушей и отдай. Ну, вот слышу речи не мальчика, а мужа. Ну-ну...

Бросив трубку на рычаг аппарата, Леонид Иванович весело хлопнул рукой по столу.

— Спустишься вниз и направо — там наше снабженческое пекло. Спросишь Фабричковского. Они тебя сразу схватят, и не успеешь моргнуть, как будешь одет по новейшей фабричковской моде. Ну, желаю тебе... — Леонид Иванович встал и крепко пожал Лопаткину руку. — Давай делай машину, двигай технику вперед. Нас не забывай. Заходи, если что. Поможем.

Лопаткин поблагодарил Леонида Ивановича, поклонился Самсонову, и тот в ответ снял ногу с колена. Дмитрий Алексеевич быстро вышел, поклонился на ходу секретарше, сбежал по лестнице вниз. Оделся, распахнул зеркальную дверь и очутился на притоптанном снегу. Здесь он на секунду остановился, посмотрел на свое пальто, на брюки, поморщился... Почему он не зашел к Фабричковскому, не принял от Дроздова его богатый подарок? Ведь принимал он ватман и тушь от Валентины Павловны. Очень просто: Валентина Павловна верила в его дело, а этот... у этого совсем другие были глаза. Даже сейчас!

Вспомнив о справке, он забежал в школу и появился в дверях учительской как раз, когда Надежда Сергеевна начала свою громкую речь о несчастном музгинском Леонардо. Прежде всего Дмитрий Алексеевич заметил, что слова ее звучат в тишине странно громко, как в пустом зале: учителя узнали Лопаткина и замерли от неожиданности. Потом он увидел лицо Надежды Сергеевны, ее глаза, ищущие поддержки. Она словно убивала себя чужими словами, чужой усмешкой, чужими нотками в голосе. Дмитрий Алексеевич хотел было шагнуть назад, скрыться, но в это же мгновение она остановила на нем темный взгляд, негромко вскрикнула и умолкла, быстро бледнея.

Этой минуты он не мог забыть ни на завтра, ни через месяц. Помнил он о ней и в тот последний день мая, когда, закончив свой новый вариант, с трудом разогнув спину, счастливый, пошел прогуляться по Восточной улице.

Уже внизу, недалеко от управления комбината, мимо Дмитрия Алексеевича пролетел «газик» защитного цвета. Пролетел и, резко затормозив, стал. Открылась дверца, Дроздов поставил на землю ногу в блестящем сапоге.

— Привет изобретателю! — сказал он, весело и пристально глядя на Лопаткина.

Дмитрий Алексеевич подошел, пожал маленькую желтоватую руку директора.

Все еще не уехал? —спросил Леонид Иванович, все так же пристально рассматривая его лицо.

— Скоро отправлюсь, все уже готово.

— Ну-ну. Что же костюм-то? Фабричковский тебя ждал...

— Я занят был, Леонид Иванович. Секунды считал. Наше счастье, оно, знаете...

— Ну да, ловил, значит, на корню...

Леонид Иванович прекрасно понимал, что это всего лишь вежливая форма отказа. Понял он и то, что сделал ошибку, предложив Лопаткину костюм. И, чтобы не уронить своего престижа, внутренне раздосадованный, он сказал шутливо:

— Понимаю! Ваш брат далек от мира сего. Чужды вам радости, чужды страдания! Ну-ну...

И, пожав руку Лопаткину, он подвинулся к шоферу и захлопнул дверцу. На какую-то секунду сквозь целлулоидное окошечко Дмитрий Алексеевич увидел его глаза. Да, похоже, что Леонид Иванович сделал опыт, который не удался: он хотел на всякий случай подружиться с изобретателем. И теперь морщился, испытующе смотрел на этого непонятного чудака, на эту «возвышенную натуру». И «натура» отвечала ему таким же взглядом — изучающим и недоверчивым.

8

В середине июня в ясный полдень Дмитрий Алексеевич неторопливо шел по деревянному тротуару вдоль широкой улицы областного города, запущенной и веселой от обилия веселой молодой зелени. Это была Шестая сибирская улица. Вся она поросла яркой травой, и на траве то тут, то там отчетливо белели козы. Искривленные ветром громадные тополя уже лопотали, мельтешили своими листками. Дмитрий Алексеевич вдыхал их острый запах, напоминающий каждому о лучших минутах жизни. Он чувствовал, что былая крепость ушла за эти годы из его тела: запах древесного клея настойчиво звал его побрататься с тополями, взять от них силы и тихого равнодушия ко всему.

Дмитрий Алексеевич наслаждался свободой. У него ничего не было, никакой собственности, кроме чемодана, оставленного в Доме колхозника. Он мог с места решить и поехать, скажем, на пароходе по Оби, к Полярному кругу, или вверх по Иртышу, к озеру Зайсан, и там, между небом и зеленой землей, устроиться на работу — вязать плоты или гасить на рассвете бакены, считать утренние облака. Можно было бы и не уезжать. Вот во дворе около домика номер 141 пожилой хозяин залез в кусты смородины и, присев на корточки, обдуманно подстригает сухие ветки. У него все хозяйство в порядке, стволики яблонь

побелены известью, рассада высажена, на помидорах надеты бумажные колпачки, в глубине огорода — сарайчик, блестят какие-то стеклянные рамки, и все разбито на проспекты и переулки.

Все это были возможности, все это была свобода, а ноги Дмитрия Алексеевича, между тем, шли и шли, постукивая по доскам тротуара. У них был свой, ясный путь — к дому номер 177.

Вот и этот дом. В глубине двора — длинное двухэтажное здание из серого бетона, большие квадратные окна, длинная цветочная клумба от подъезда до ворот. В проходной будке Дмитрия Алексеевича остановил старичок вахтер. Он прервал чаепитие, позвонил кому-то, назвал фамилию «инженера Лопаткина» и после этого выписал розовый пропуск. Дмитрий Алексеевич прошел в дом, в прохладный вестибюль и, привыкая к его полутьме, увидел на стенах плакаты, доску приказов и большую стенгазету под названием «Конструктор». Треть газеты занимал отдел «Кому что снится», карикатуры и стихи, и в конце был нарисован почтовый ящик.

Дмитрий Алексеевич свернул в левый коридор. Здесь, прямо на полу, были навалены рулоны бумаги, стоял матерый запах аммиака, пробегали озабоченные девушки в черных халатах, а из большой комнаты, освещенной ярким фиолетовым огнем, доносилось через открытую дверь жужжание электрических приборов. Дмитрий Алексеевич понял, что здесь печатают светокопии чертежей и что посторонним тут делать нечего. Он поскорее вернулся в вестибюль и, постояв некоторое время, двинулся на разведку в противоположный коридор. Открыв одну из многочисленных дверей, он увидел большую, светлую комнату, всю уставленную столами. На каждом столе была чертежная доска с желтоватой калькой. За столами сидели молоденькие девушки-копировщицы. Все они прервали работу и смотрели на Дмитрия Алексеевича. Пахло чем-то вроде лака для ногтей. В углу тупо стучала швейная машина — на ней подрубали чертежи, а под ногами блестело множество кнопок, вдавленных в пол.

Спокойно оглядев комнату, Дмитрий Алексеевич негромко попросил показать, где находится директор филиала. И тогда пожилая начальница копировщиц вышла к нему и повела по коридору.

— Вот туда, — сказала она, указывая на лестницу и вверх. — Второй этаж и налево. Пожалуйста, молодой человек!

Наверху в коридоре лежала зеленая с красным ковровая дорожка, и Дмитрий Алексеевич, робея, шел по ней. Знакомое, радостное и сильное чувство мешало ему дышать, заставило ускорить шаги. Это уже было с ним, когда он первый раз получил письмо со штампом министерства. Он внимательно прочитывал таблички с названиями отделов — электропривода, аппаратов, вспомогательного оборудования — и вдруг остановился перед одной дверью. Таблички на ней не было, но дверь эта была обита коричневой клеенкой, и Дмитрий Алексеевич сразу понял, что это вход к директору. Он спокойно открыл дверь, вошел и подал секретарше письмо заместителя министра. Та схватила письмо и, закусив губу, стала читать, а Дмитрий Алексеевич, удерживая дыхание, с безразличным видом оглядел комнату. Ну да, вот и еще одна дверь, обитая клеенкой, и на ней табличка: «Главный инженер». А где же директор? Ах, вот же, совсем на виду такая же вторая дверь

и на ней такая же табличка, только надпись покороче и посолиднее: «Директор».

— Письмо оставьте у меня, — сказала секретарша. — Директора сейчас нет. Придите завтра с утра.

Назавтра, когда Дмитрий Алексеевич появился в приемной, секретарша встала.

— Директор передал ваши бумаги товарищу Урюпину. В отдел основного оборудования. Пойдемте, я вас провожу.

Дмитрий Алексеевич посторонился, пропустил ее. Она пошла впереди него по коридору, держа руки по швам. Открылась дверь и за нею светлый цех, заставленный машинами. Но это были не простые машины, а чертежные доски на особых чугунных станках, с рычагами, противовесами и рукоятками. На рукоятках висели плащи и макинтоши, а из-за чертежных досок смотрели молодые люди без пиджаков, в льняных косоворотках, в шелковых тенниасках. Кое-где виднелись и пожилые, седые конструкторы в сорочках с галстуками и запонками. И здесь пол так же блестел от множества вдавленных в дерево кнопок.

За решетчатой, остекленной перегородкой стоял еще один чугунный станок с чертежной доской, а дальше — письменный стол. За столом, подняв гибкую бровь, пригнулся и выжидающе замер молодой начальник отдела Урюпин, худощавый, темнолицый, с густой серой шевелюрой, пронизанной блестками ранней седины. Пиджак висел сзади него, на спинке стула. Рукава шелковой сорочки были засучены. Худые смуглые руки лежали на листе ватмана.

— Товарищ Лопаткин, — сказала ему секретарша. Чуть заметно интимно улыбнулась и, так же держа руки по швам, вышла.

— Садитесь! — стальным голосом проговорил Урюпин, показывая на стул рукой с громадными черными часами.

Потом он поморщился и с силой ударил несколько раз кулаком в перегородку. Прислушался. Морщась, закричал:

— Кирилл Мефодьевич! Араховский!

Появился очень высокий, пристально глядящий только вперед, пожилой конструктор — черноволосый, гладко причесанный и с пробором. На нем была много раз стиранная белесая сорочка с запонками и галстуком. Он сел на стул рядом с Лопаткиным, глядя только вперед, только на начальника. А Дмитрий Алексеевич, сам того не замечая, достал из кармана гайку и стал с силой надевать ее на палец.

— Знакомьтесь, — сказал начальник отдела, широко раскладывая на столе руки. — Это товарищ Лопаткин, автор проекта.

— Ах, автор! Очень приятно, — зашипел Араховский, поворачиваясь на стуле к Дмитрию Алексеевичу и показывая беззубые, розовые, старческие десны. С этого момента Дмитрий Алексеевич стал чувствовать на себе его пристальный, то и дело убегающий взгляд.

— Так мы рассматривали это... ваше предложение, — сказал начальник, вдруг повышая тон. — Рассматривали, понимаете! Ничего не можем разобрать! Вы меня извините, я не специалист, для нас это темное дело. Вот, например... — Он открыл ящик стола и достал папку с чертежами, милые знакомые чертежи, сделанные когда-то Дмитрием Алексеевичем на ватмане Валентины Павловны. — Вот, например, этот узел — что это?

— Это узел заливочного устройства, — сухо и коротко сказал

Дмитрий Алексеевич, вертя в пальцах гайку. — А это дозатор.

— Хм. . . — сказал Урюпин.

— Простите, — перебил его Араховский и, озабоченно разглядывая запонку на рукаве, зашипел: — Мы еще не завершили знакомства. Меня интересует, какую специальную подготовку имеет автор. Скажите, вы инженер? Вы литейщик?

— Я окончил физико-математический факультет, — ответил Дмитрий Алексеевич.

Урюпин получил большое удовольствие от этого ответа. Его обтянутое лицо ярко улыбнулось, он оскалился.

— То есть по отношению к данному конкретному проекту знания ваши имеют несколько общий характер? — прозвенел его торжествующий голос. — У нас время есть, я расскажу вам одну историю-притчу. Я ведь тоже был когда-то изобретателем! Ого-о! Я был бы серьезным конкурентом для вас!

Он умолк, как бы с удовольствием вспоминая свою изобретательскую молодость.

— Я изобрел когда-то ловушку для крота! Я не иронизирую. Нашел я его ход, вырезал кусок дерна и поставил туда обыкновенную мышеловку. Только ниточку протянул: он зацепит ее, тут мышеловка и хлоп! Да, так вот. . . Закрыл все это дерном, на следующий день прихожу — что за черт! Что за дьявольщина! Нет крота. Я подумал и сделал десять разных ловушек на самых разнообразных принципах. И ни в одну не поймал! И, какая сволочь, каждую ловушку он мне обязательно засыпал землей. Запечатывал с двух сторон! Слушайте дальше, это еще не все. Что же он делает? А он, когда идет по своим коридорам, он чистит их и впереди всегда толкает пробку земли. Земля и попадает в ловушку. А крот тут же все это и закупоривает. Это у него как бы знак апробации. Как эксперт! Ловушку с резинкой он чует по запаху, закупоривает и ее, подлец! Издалека! Что ж, думаете, я отступился? Нет. Я спаял для него вершу из толстой стальной проволоки и острия поставил, знаете, вот так, чтобы крот влез и не мог назад выбраться. И он попался, но! Но! Понимаете? У него сильнейшие лапы, он разломал мою стальную вершу и вышел в бок. И, конечно, запечатал ее! Он мне сказал: «Ты, дурачок, идешь от бумаги к конструкции. Приобрети сначала опыт, изучи меня, а тогда и изобретай». И я бросил это дело!

Урюпин засмеялся, крякнул несколько раз. Араховский обнажил десны — тоже улыбнулся, повесил одну длинную ногу на другую, и Дмитрий Алексеевич увидел его нитяные коричневые носки.

— В общем, непонятно, — сказал Урюпин, быстро перелистав чертежи и отодвигая папку в сторону. — До меня не доходит. Я не хочу сказать, может, идея и остроумна. . . (При этом Араховский наклонил голову с пробором, теребя свою запонку). Живая мысль! Была бы хоть живая мысль!

— Это что же, моя голова — твои ноги? Так, что ли? — раздался за спиной Лопаткина молодой и очень уверенный голос.

Дмитрий Алексеевич мгновенно обернулся и встретился глазами с насмешливо-ненавидящим взглядом молодого человека лет двадцати трех. Он был в голубой тенниске с маленьким спортивным значком на груди. Его русые волосы торчали вихрами, как у мальчишки. Сзади

него стояли несколько молодых инженеров и смотрели с любопытством на Дмитрия Алексеевича. А этот, вихрастый, повернулся к нему боком и похлопывал себя по мускулам на руке.

Начальник отдела поднял голову, как бы говоря: «помолчи».

— Да как же, Анатолий Иваныч! Я же вижу по затылку, опять автора прислали! — возразил вихрастый инженер со значком. — В план не ставят, а присылают! — он обращался уже к Дмитрию Алексеевичу. — Вам этого не понять, конечно... Вы предприниматель. Вы организуете это дело... а кто-то будет ишачить. Видите, здесь у нас не авдиевское Конго...

Начальник еще строже поднял голову.

— Когда вы доживете, — не унимался вихрастый парень, — когда доживете до авдиевских седин, до его ученых, я имею в виду, седин, может, и у вас будут тогда свои негры...

— Да, кстати, — заметил Урюпин. Он как бы не слышал того, что сказал молодой инженер. — Кстати, вы знакомы с машиной Василия Захаровича? Она ведь уже на испытании. По-моему, она должна работать.

— И моя будет работать! — сказал Дмитрий Алексеевич.

— Влезет она хоть в цех? Вы извините, я всерьез. Не прикидывали, как она в габаритах? И зачем нам две? Вы что же думаете, ваша будет лучше?

— Вероятно, лучше.

— Каждому изобретателю кажется, что его машина лучше. Но я открыто говорю: не сторонник я этой, вашей...

— Очень жаль, — спокойно сказал Дмитрий Алексеевич, слегка подбрасывая на ладони гайку. — Я надеялся увидеть здесь сторонников. Мне кажется, что некоторые товарищи не разобрались в сути. Вещь новая...

— Нового мы не боимся, — перебил его Урюпин. — Новое мы подхватываем.

— Да, лучшее, как говорится, — враг хорошего! — добавил насмешливо молодой инженер. — Только что-то мы не видим, лучшего. Я и про машину Василия Захаровича кое-что слыхал...

— Разрешите мне договорить, — Дмитрий Алексеевич, глядя вниз, спрятал гайку в карман. — Вы мне сказали много неприятных слов. А я еще не ответил и, стало быть, в долгу перед вами. Особенно перед вами, — он повернулся к молодому инженеру. — Но я думаю, что вы мне простите этот долг, если я его не отдам. Вы знаете, ведь я по профессии учитель. Никогда не думал, что меня нелегкая дернет дать министерству совет, который не относится к моей компетенции... Я сам жалею, что оторвал вас от дел. Я все время путаю людям планы. Но сейчас я не могу даже отказаться...

Сказав это, Дмитрий Алексеевич хотел было в доказательство достать бумаги, подписанные заместителем министра Шутиковым, но вовремя сообразил, что Урюпин из тех маленьких начальников, которые не любят, когда им показывают границы их власти.

— Я хотел бы еще, чтобы мы перешли к делу, — продолжал он сдержанно. — Если надо, я дам подробные пояснения. У меня есть с собой модели. Товарищи разберутся. Может быть, даже и сторонники появятся! — Он улыбнулся.

— Вы что, имеете приоритет на это дело? — помолчав, отрывисто спросил Урюпин.

— Имею приоритет, — мягко ответил Дмитрий Алексеевич.

Наступила долгая, многозначительная тишина.

— Так чего ж нам время терять? — сказал начальник. — Давайте вы, Кирилл Мефодьевич, займитесь этим делом, прикиньте, что там получится...

Он уперся в стол, как бы собираясь встать, и добавил своим стальным, бодрым голосом:

— Даю вам нашего лучшего механика и математика. Это наша гордость, наш Лагранж...

— Насовсем? — спросил Дмитрий Алексеевич.

— Это зависит от него и от вас.

Высокий, согнутый вперед Араховский молча забрал со стола папку с чертежами и повел Дмитрия Алексеевича между чертежными досками в дальний угол комнаты. Там у него был маленький столик и станок с чертежной доской. Он сел, надел пенсне, развернул первый лист — общий вид машины — и, хищно хмурясь, сопя, стал как бы обнюхивать чертеж. Он долго так сопел над чертежом, потом засмеялся, обнажил розовые десны и бросил на ватман логарифмическую линейку.

— Сколько работал?

— Полгода.

— Я вижу. Все мелочи вычертил. Размеры проставил! А знаешь ты, что ничего этого не надо было делать? Вот этого и этого и вот этой всей чертовщины. — Он ткнул пальцем в несколько мест чертежа. — В технике приняты так называемые нормали, готовые стандартные детали и целые узлы, из которых мы можем собирать машину. Собирать. Понимаешь? А ты трудился! Даже резьбу у болтов начертил! Вот ты говоришь, Коля... Слышишь? — Он возвысил голос, обращаясь к кому-то на том конце комнаты. — А ведь неплохо учитель машинку завязал!

— Очередная любовь Араховского! — отозвался насмешливый голос вихрастого молодого инженера. — Вертушок какой-нибудь!

— Не вертушок, а настоящая машина! И я на вашем месте, товарищ футболист, ознакомился бы.

Молодой инженер, изгибаясь и виляя между чертежными досками, подошел, навалился на Араховского, и они вместе стали просматривать чертеж.

— Ты эту штуку видел? — Араховский постучал карандашом по чертежу. — Ну? Что? А говоришь, живой мысли нет!

— Не понимаю я ни шиша в литейных машинах, — сказал Коля, выпрямляясь и все еще не глядя на Дмитрия Алексеевича. — Вижу только, что редукторов где надо и где не надо натыкано. А это уже верный признак...

Он не договорил — вдали раздались три глухих удара в перегородку. Пронзительный голос начальника позвал: «Кирилл Мефодьевич!» И Араховский сразу встал и, глядя только вперед, двинулся, лавируя между чертежными досками.

Вскоре он вернулся. Надел пиджак, бросил в ящик стола карандаши и линейку.

— Придется вам отдохнуть, товарищ... Лопаткин. Еду на завод. Оформляйте пока хозяйственные дела, а встретимся завтра, во второй половине...

Так они занимались с Араховским целую неделю — каждый день по полтора-два часа. К концу этой недели Араховский стал неразговорчивым, и Дмитрий Алексеевич заметил, что он опять прячет глаза.

И наступила минута, когда, просмотрев все свои расчеты, Кирилл Мефодьевич снял пенсне и, глядя в сторону, прошипел:

— Пойдем к Анатолию Иванычу.

Начальник отдела, как всегда, сидел за столом и словно ждал их, раскинув смуглые плоские руки на ватмане. На нем была шелковая безрукавка, цвета старого мяса, с чуть заметными серыми полосками. Его худощавое загорелое лицо старого физкультурника было перекошено снисходительной и нетерпеливой гримасой.

Араховский молча сел против него на стул. На второй стул сел молчаливый Дмитрий Алексеевич. Урюпин лениво протянул руку и принял от Араховского папку. Постучал ногтем по стеклу огромных часов, поднес их к уху, потом развернул папку и достал чертеж—общий вид.

— Ну, как ваше мнение? — спросил он.

— Получается вроде, — негромко сказал Араховский.

— У вас все получается, — начальник окинул взглядом чертеж. — Ну что же... давайте... возьмите Егора, что ли, Васильевича... Пусть он общий вид прикинет.

— Анатолий Иваныч... Вы что, забыли? Ведь у меня этот, жираф...

— Какой жираф?

— Да мельница эта... Я занят с утра до вечера.

— Ах, верно... Мы уже вылазим из графика... Кому же поручить? Вы, товарищ Лопаткин, извините, что так. У нас свои хозяйственные дела. Вот, тоже мельница. Ее не планировали, разрабатываем, как предложение. Как и ваш проект. Послали один раз — возвращают. Сами же техническое задание неправильно дали! Переделать! А время где?

— Да, — согласился Дмитрий Алексеевич. — Действительно...

— А люди, люди, спрашивается, где? Людей нет! И денег нет!

— Да, — сказал Дмитрий Алексеевич. — Да. Да...

Начальник подумал, потом, играя гибкой бровью, взглянул пристально Дмитрию Алексеевичу прямо в глаза и сказал:

— Придется мне взять вашу машину...

Наступила долгая пауза. Прохладный ветер, пахнущий клеем тополя, врывался в открытое окно и приятно обдувал лица. Араховский, выкатив спину дугой, хмурый, безучастно смотрел только вперед. Дмитрий Алексеевич старался понять, хорошо или плохо, что начальник взялся руководить проектом. А сам Урюпин в это время смотрел ему в лицо твердым взглядом бойца, готового нанести удар.

— Так и постановим! — сказал Урюпин. — Кирилл Мефодьевич, пошлите сейчас ко мне Егора Васильевича и этого, новенького, Максютенко.

Не взглянув на Дмитрия Алексеевича, Араховский ушел с таким видом, будто поссорился со всеми. Лопаткин удивленно посмотрел ему вслед. Почти сейчас же после его ухода появился улыбающийся Мак-

сютенко — светлый щеголеватый блондин в шелковой бледносиреневой рубашке, заправленной в синие брюки, пышно оттопыренной и перехваченной у локтей резинками. Он вылез из-за чертежной доски, словно сидел там и ждал своей очереди.

— Товарищ Максютенко, — сурово сказал начальник, — вот автор, Дмитрий Алексеевич Лопаткин. Вот проект. Вы уже знакомились с ним. Прикиньте общий вид машины. Вопросы решать—ко мне. Я буду курировать это дело. Вот и Егор Васильевич пришел. . . Егору Васильевичу поручим узлы.

Егор Васильевич — маленький, седой, с брюшком, одетый в синюю сатиновую куртку — мельком взглянул на автора, протянул руку к чертежам. Но тут же отдернул ее, потому что начальник поднял папку и торжественно вручил ее Максютенко.

— Там, там все посмотрите. Максютенко вам покажет. Вы назначаетесь в группу, Егор Васильевич. Все теперь зависит от вас. Проект ответственный, о качестве я, зная вас, не говорю. Но нам нужна еще и быстрота. Я думаю, что она и вам не повредит.

9

В дальнем углу комнаты для группы «центробежников» были поставлены четыре чертежных станка, которые все здесь называли «чертежными комбайнами», и письменный стол. Два молчаливых техника — деталировщики — быстро взглянули на Дмитрия Алексеевича, потом друг на друга и отточили карандаши. Егор Васильевич, сопя и хмурясь, откинулся на стуле перед своей доской. Они были готовы приступить к работе. Заработок этих людей зависел от листажа.

А Максютенко принял перед своим «комбайном» вдохновенную позу — поставил ногу на высокую перекладину, уперся локтем в колено и вставил в рот пустую изогнутую трубку. Потому, что ему было поручено самое главное. И потому еще, что в отделе был инженер с толстыми косами, уложенными на затылке, и еще один с пышными светлыми волосами до плеч.

Так начался первый день основной работы. В этот день было сделано многое, и Дмитрий Алексеевич понял, что его проект был с технической стороны не так уж беспомощен. Через несколько дней он намекнул об этом Максютенко.

— Валерий Осипович, — сказал он, — я вижу, мы совсем не спорим с главным конструктором!

— А чего спорить? — Максютенко снял ногу с перекладины, достал резиновый кисет и, набив трубку, взял ее в зубы. — Чего тут с ним спорить? Хорошая машина. Он сам говорил. И Араховский сказал. Чего ж тут?. .

— А мне Анатолий Иванович при первом знакомстве. . .

— Пугал вас? Это всегда так. Это полагается. Надо морально подготовить автора к сотрудничеству, чтобы слушался. И не рыпался. — Он хохотнул, передвинул трубку во рту и, достав спички, пошел к выходу. Он часто выходил покурить.

Раза два в день к станку Максютенко подходил начальник и давал указания. При этом он стучал пальцем по доске и громко кричал:

— Убрать, убрать этот болт! Слышите: убрать! Что вы, дорогие то-

варищи! Сейчас же его уберите, он портит здесь всю обедню!

«Кричи, кричи», — думал Дмитрий Алексеевич. Ему теперь нравилось здесь все: и этот начальственный крик, и вдохновенные позы Максютенко, и молчаливая энергия техников, которые мастерски вычерчивали детали — лист за листом.

На доске Максютенко постепенно проявлялся контур машины. Неизвестно, по каким причинам, но почти каждый день у этой доски останавливался Коля — молодой вихрастый инженер со спортивным значком. Иногда приходил сюда и Араховский и молча рассматривал, словно обнюхивал чертежи.

И вот произошло неожиданное столкновение. В начале августа, когда работа над «общим видом» приостановилась, и Максютенко, наколов на доску форматку с главным узлом машины, с центральным валом, и, набив трубку, ушел на крыльцо поразмыслить, в эту самую минуту к станку и подошел начальник отдела. В последнее время он стал уделять машине больше внимания — вызывал Максютенко к себе, за перегородку, а проходя мимо Дмитрия Алексеевича, в шутку задевал его локтем и говорил: «Наш автор». Если же он останавливался у доски, то сам брал в руки карандаш.

Так вот, он подошел к станку, сел на стул, поднял на лбу морщины и, сжав губы, стал смотреть на чертеж. Зажмурился, словно прогоняя видение, и загляделся в окно, барабаня пальцами по колену. Потом пришел Максютенко, удовлетворенный, чмокая красными губами и распространяя горький запах трубочной гари. Начальник что-то сказал, Максютенко пожал плечами. Они оба быстро взглянули на чертеж, и в эту минуту сзади них остановился взъерошенный и прямой Коля, сунул руку в карман, оглянулся на Дмитрия Алексеевича и зло усмехнулся.

— Послушайте, Максютенко... — голос его прозвучал неожиданно и резко, и Максютенко испуганно обернулся. — Зачем вы вновь изобретаете велосипед?

— Какой велосипед?..

— А такой! Вы же инженер со стажем! Зачем вы нагромождаете здесь эти два редуктора?

— Если редуктор ставить сюда, надо его мощнее делать. И зачем он вам? У нас есть нормальный узел, который Анатолий Иванович уже применял на двух машинах. Ведь применяли, Анатолий Иванович? Так что же здесь думать? — Коля уже обращался к Дмитрию Алексеевичу. — Где будет машина стоять? В литейном цехе. В каждой литейке есть сжатый воздух. Стало быть, здесь нужна самая обыкновенная пневматика. Идите в архив — и вам дадут готовый, отработанный узел!

— Ваши слова несколько расходятся с ммм... — начал Урюпин и замолчал, подбирая нужное слово. — Таких два-три решения, подсказанных автору, и количество перейдет в качество. Получится новая идея, потребуется апробация, пойдет переписка...

— А потом автор, если машина не будет работать, нас же обвинит за то, что мы отошли от первоначального проекта, — сказал Максютенко и посмотрел на Урюпина.

— Об этом надо спросить автора, — сказал Коля и пошел к своему месту. Он остановился посредине комнаты и, глядя в сторону, добавил:

— Только пневматика — это, товарищи, не идея. Она спасает идею — это да, а редуктор и червяки гробят ее. — Он пошел дальше, исчез за досками, и был слышен только недовольный его басок: — И вы сами понимаете! Так чего ж тут ждать... На первом же испытании шестеренка эта хрупнет, и все. Тимоха, ты видел, что они там...

Урюпин поднял голову и прислушался, строго оглядывая свой отдел. Ни один человек на него не смотрел, все молчали, наклонились к доскам, напряженно обдумывали свои конструкторские дела. Только за досками, где исчез Коля, все слышался его басок:

— Я уже четвертый день хожу и смотрю... Дай, думаю, погляжу чего это они мудрят... И чего мудрят?..

— Дмитрий Алексеевич! — сказал Урюпин, дождавшись, когда Коля умолк, склонив голову набок и изогнув бровь. — А ведь если подумать, дело это заманчивое — пневматика! А? Что вы скажете?

При этих словах Максютенко поставил ногу на перекладину своего «комбайна», уперся локтем в колено и стал сосать пустую трубку. Слабый летний ветерок шевелил блондинистый пух на его плеши. Лопаткин подошел к ним, посмотрел на форматку, где тончайшим пунктиром Егор Васильевич показал соединенные шестерни редуктора. На ясном усталом лице Дмитрия Алексеевича можно было увидеть все его чувства — простые, не вооруженные холодной осторожностью и не исколотые в поединках. Дмитрий Алексеевич верил своим опытным конструкторам и удивлялся тому, что они обошли такую простую вещь, как пневматика, тем более, что, оказывается, существует н о р м а л ь — иначе говоря, этот узел разработан и применяется в готовом виде, как водопроводный кран! Он только что понял все это и удивленно посмотрел на Урюпина. И тот сразу же раздвинул все морщинки на своем моложавом лице седеющего физкультурника — улыбнулся, показав стальные зубы. Он-то мог прочесть все на лице этого педагога. Но и от Дмитрия Алексеевича не укрылась волчья искорка в веселых глазах начальника.

— Я много думал об этом, Дмитрий Алексеевич, — сказал Урюпин, издалека с сомнением глядя на чертеж, и даже как будто зевнул. — Можно попробовать. Правда, придется в четырех местах ставить цилиндры. Валерий Осипович, давайте прикинем, как оно там...

И, сказав это, он подошел к станку, подбоченился и карандашом прямо на редукторе провел несколько неуловимо слабых линий.

— Вот примерно так должно быть. Развейте это дело, Валерий Осипович.

Затем он добродушно толкнул Дмитрия Алексеевича — так, мимоходом. Шутя сунул карандаш в карман его кителя и неторопливо стал пробираться к своей перегородке, останавливаясь то у одного станка, то у другого.

Максютенко наколол на доску новый лист ватмана и, набив трубку, ушел на крыльцо поразмыслить. Задумался и Дмитрий Алексеевич. Несколько минут просидел он перед «комбайном» Максютенко, ощупывая пальцами лоб. Подозрительность его вспыхнула, но опасности он не видел. Ему захотелось курить, и, достав кисет, он свернул из газеты с самосадом толстую цыгарку. Облизал ее, вышел в коридор, закурил. Белый дым перехватил ему дыхание. Он затянулся еще

и еще раз. Потом Дмитрий Алексеевич спустился вниз, вышел на крыльцо и увидел лысую голову Максютенко. Он сидел на ступеньке и что-то чертил карандашом прямо на цементной боковине крыльца. Трубка его хрипела, он был увлечен и не заметил Дмитрия Алексеевича. А тот, постояв немного, подошел поближе и увидел через плечо Максютенко на колючей серой поверхности круг, нарисованный карандашом, и в нем шесть кружков поменьше. Они были расположены симметрично. Весь чертеж напоминал барабан револьвера.

— Вот она где настоящая лаборатория конструктора! — пошутил Дмитрий Алексеевич.

Он сам не знал, насколько верно попадали в точку эти слова, и потому удивился, когда Максютенко, захваченный врасплох, побагровел, накрыл ладонью свой чертеж и стал его размазывать.

— Да бросьте вы! Застеснялся, как красная девица. — Дмитрий Алексеевич присел около него на корточки. — Автору-то вы можете показать!

— Фу... вот же привычку какую заимел! — Максютенко, все еще красный, достал платок и вытер лоб. — Не могу при людях думать. — Он зачертил карандашом свой рисунок и встал. — Не могу, понимаете... Черт знает что!

— А что это у вас?

— Да вот поршень думаю... для пневматического устройства... это в плане... — Он достал свой резиновый кисет, набрал в трубку табаку и, закурив, стал спокойнее.

— Валерий Осипович, — вспомнил вдруг Лопаткин. — А вы ставили бы тот узел, о котором Коля...

— Ну да! Я ж и говорю! А дурная голова что-то свое подает, — Максютенко покосился на темное пятно, втертое в цемент, плюнул и наступил на него ногой. — Так и сделаю. Надо пойти в архив, посмотреть этот узел...

Он передвинул трубку в красных мокрых губах, утопил палец в пепле и, отставив локоть, ушел, зашаркал в вестибюле. И Дмитрий Алексеевич успокоился. Он увидел, что человек работает над его проектом не за страх, а за совесть — даже увлекся!

Максютенко действительно принес из архива светокопию — чертеж пневматического устройства — и стал «прикидывать», то есть рисовать на листках бумаги подвижную часть машины и вписывать в нее цилиндр с поршнем. Дмитрий Алексеевич был около него, и к тому времени, когда день начал желтеть, они вместе успели «прикинуть» два варианта и дали расчетчикам исходные цифры для вычисления нагрузок на поршень и цилиндр.

День этот заметно продвинул дело вперед, и Дмитрий Алексеевич ушел из отдела в хорошем настроении. На улице стояла прекрасная предвечерняя тишина. В синем небе, как белое перышко по водяной глади, уже плыл полумесяц. Поднимая пыль, в тишине по улице двигалось стадо. Щелкал кнут, коровы брели навстречу Дмитрию Алексеевичу по дороге, по деревянным тротуарам, заглядывали в открытые калитки. Чтобы пропустить их, Дмитрию Алексеевичу пришлось сойти с досок. Он прижался к забору, пережидая. Теплый запах молока вместе с пылью наплыл на него, и тут он услышал шепелявящий, добродушный голос Араховского:

— Не уступают дороги изобретателю! А? Как вы на это смотрите?

Дмитрий Алексеевич засмеялся. Араховский, одетый в льняную косоворотку с русской вышивкой, повесив пиджак на одно плечо и держа подмышкой папку, подошел к нему.

— Вот вы смеетесь, гуманный человек, — все так же добродушно сказал он, подбоченясь и окидывая стадо взором философа. — А ведь это не случай, а явление. Если бы вместо вас на тротуаре стоял их сиятельство господин волк, картина была бы другая! Вот в чем беда...

Они замолчали, думая каждый о своем. И когда стадо прошло, двинулись не спеша вдоль улицы.

— Вот так, товарищ изобретатель, — сказал Араховский. — Вы знаете, что вы избрали самую кривую и самую опасную дорожку?

— Я ее почти всю прошел. Я уже два года...

— Прошли? Ну, дорогой...

— Вы не знаете... — перебил его Дмитрий Алексеевич.

— Я все знаю! Послушайте, что вам говорят. Послушайте, опыта у вас не убавится! Так вот, верьте мне или нет — ваше дело. Но вы не прошли и десятой части того, что для вас заготовила фортуна. Если хотите, я помогу вам сделать один шаг вперед. Если вы, конечно, хотите...

— Ну, конечно же, хочу!

— Ах, хотите? Ну так слушайте. Вы ничего не смыслите в проектном деле. Вы не знаете деталей машин. Вам неведом язык чертежей. Не смейтесь, а слушайте, что вам говорят-то! Того, что вы знаете, достаточно для оформления идеи. Чтобы создать проект, этих знаний уже мало. А для того, чтобы работать с Урюпиным, эти ваши знания — ничто. Вам, дяденька, уже заехали оглоблей в рот, а вы улыбнулись и сказали спасибо. Хорошо, что Колька вас спас! Потому что человек он молодой и сперва говорит, а потом уж думает. Я тоже хочу спасти вас — только солиднее, капитально. Для начала я вручу вам три книжечки страниц по триста, заставлю вас их подзубрить и приму экзамен. Когда вы освоите эти книги, вы сможете увидеть кое-какие палки, которые вам будут совать в колеса. Будет меньше поломок в пути.

— Кирилл Мефодьевич, я вас заранее благодарю...

— Нечего благодарить. Завтра у нас воскресенье? Приходите завтра вечерком ко мне... — Араховский остановился и подал Дмитрию Алексеевичу руку.

— Простите, а где вы живете?

— Живу я в домике, против которого мы стоим.

И Дмитрий Алексеевич увидел знакомый домик номер 141. Он был теперь весь затянут ползучей зеленью. Сарайчика уже не было видно. Яркая зелень кипела в огороде, желтые светила подсолнухов глядели в одну сторону — туда, где опустилось за дома солнце. Кусты смородины были обсыпаны зелеными и коричневыми ягодами, а на низеньких, растущих в стороны деревцах висели бледные яблочки. В глубине, между березами, белел гамак.

— Я видел вас здесь, — сказал Дмитрий Алексеевич. — В первый день, когда приехал.

— Возможно. Я здесь каждый день копаюсь. Это мой, так сказать, сад Эпикура. Видите вон гамак? Там есть еще столик. — Араховский засмеялся и поднял вверх палец. — Прошу завтра в семь.

На следующий день, когда вечереющие улицы затихли, Дмитрий Алексеевич потянул за проволочное кольцо у высокой решетчатой калитки дома номер 141. Потянул — и в глубине двора раздались угасающие удары в медную певучую посудину. С мирным лаем подбежал к ограде высокий красно-шоколадный сеттер и завилял хвостом. Медлительная пожилая женщина открыла калитку и пропустила Дмитрия Алексеевича. Кирилл Мефодьевич был в огороде — раскинув руки, полулежал в гамаке. Косоворотка его была расстегнута, он был здесь другим человеком — гордым и гостеприимным хозяином, смотрел героем и не отводил глаз в сторону. На столике, около гамака, лежала вверх обложкой раскрытая книга. «Ньютон. Математические основы натуральной философии», — прочитал Дмитрий Алексеевич и проникся глубоким уважением к хозяину книги.

— Садитесь в гамак, места хватит, — сказал Араховский. — Марья Николаевна! — крикнул он, оборачиваясь.

— Знаю, знаю! — донеслось из дому.

Лопаткин опустился в гамак и почувствовал, что рядом с ним сидит мускулистый и тяжеловесный человек.

— Кирилл Мефодьевич, сколько вам лет? — спросил он.

— Давайте торговаться. Сколько вы дадите?

— Лет сорок восемь?

— Эк, куда хватил! — Араховский захохотал, обнажив десны. — Хватай выше. Шестьдесят, не хотите?

— Не может этого быть!

— А между тем есть. Это все знаете отчего? — Он засмеялся. — Оттого, что изобретательством не занимаюсь! — протрубил он на ухо Дмитрию Алексеевичу.

— Не-ет! Какой же я изобретатель? Ваша шпилька здесь не подходит, Кирилл Мефодьевич.

— Не подходит, говорите? — Араховский нетерпеливо оглянулся на дом, но Марья Николаевна уже несла поднос с графином и тарелками.

— Несу, несу, — сказала она и поставила поднос на столик.

— Давайте-ка выпьем, Дмитрий, как вас по батюшке, Алексеич. Между прочим, хорошее русское имя. — Говоря это, Араховский налил в рюмки из графина. — Вам повезло. Настоящая разливная. Вчера талон получил. Так давайте за знакомство...

Выпив рюмку, Араховский приумолк, веки его покраснели, он подцепил вилкой ломтик огурца и начал ловко его жевать одной половиной рта.

— Так говоришь, не изобретатель? А какого ж черта я привел вас? Не-ет. Изобретатель — каждый человек, который в своей области создает новое. Изобретатели могут быть везде. И в технике и в науке. И вы не скромничайте, вы самый настоящий изобретатель.

Он сказал последние слова с особенным весом и посмотрел прямо в глаза Дмитрию Алексеевичу.

— Так вот: вы избрали тяжелую дорожку. Техника — король. За королем идет свита: хранители знаний, передатчики, популяризаторы. Большинство профессоров, которые учат нас, а сами ничего не создают. Около них вы найдете и изобретателя. Только он идет не в парадных одеждах. Ему перепадают пинки. И вы, Дмитрий Алексеевич,

раз вы лезете в эту свиту, приготовьтесь к хорошим пинкам. Я вижу вашу судьбу у вас на лице. Идея ваша очень важна, а судьба печальна. И вы поймете это, когда проштудируете все, что я вам дам.

Араховский налил водки в рюмки и выпил, не чокаясь. Выпил, горько засмеялся и покачал головой.

— Да, был и я автором. И у меня есть это... голубенькое, с лентой и печатью. Вид на изобретение.

— Что же вы изобрели, если не тайна?

— Изобрел, Дмитрий Алексеич. Даже сам сначала не поверил. Машина для проходки горных выработок в скале. В скале, понял? У меня и модель действующая была. Я ставил ее перед кирпичной стеной, и она прямо на глазах у почтенной публики проходила ее насквозь.

— Ну и что?

— Есть такие стены, товарищ изобретатель, которые никакой машиной не возьмешь. — Араховский опять налил в рюмку, выпил и стал шевелить ломтик огурца в беззубом рту. — Со мной, Дмитрий Алексеевич, говорили открыто: иди в кассу, получи — и отойди в сторону. Я не отошел, и мне вежливо переломили хребет. И вы еще услышите открытую речь. Грамотную, гладкую, вежливую, открытую речь.

— Я все это знаю...

— Всего вы не можете знать...

— Ну, догадываюсь. И иду на это.

— Что же вы думаете сделать? Ну-ка, ну-ка... Как вы намереваетесь победить капитализм в сердце Урюпина?..

— Как-нибудь победим. Народ-то существует или нет?

— Что такое народ? Народ — это я, и вы, и мы все. Одного врага мы с вами видим. Потому что близко прикоснулись. А других, в прочих областях, мы не видим. Там все профессора для нас с вами архангелы и пророки.

— А зачем в чужие области вникать. Будем ориентироваться на наших. Раз существую я, значит есть еще люди, такие же, как я. Вот, например, Коля. Да и вы...

— А кто тебе сказал, что я такой, как ты? Может, я волк? Возьму сейчас тебя и съем!

— Видали мы таких волков! — Дмитрий Алексеевич улыбнулся. Но Араховский поднял палец.

— Вы говорите красивые слова, но все это гарольдов плащ. В жизни все суровее и прямее. Подите в наше министерство, в отдел изобретений или в НИИЦентролит к вашему Авдиеву, и там вы найдете на полках подтверждение тому, что я говорю. Десятки, сотни гробиков — и все ваша братия, изобретатели. Девяносто пять процентов — макулатура, пустая порода, ей и место в гробу. Но пять — настоящий радий, и он там будет лежать, пока не протрубит архангел. Свита ее величества науки — они спецы хоронить.

— А кто же все-таки вы? — спросил Дмитрий Алексеевич.

— Я старый енотишко. Побежденный. Когда-то и я, как вы, выбегал из норы, лез в самую гущу. А сейчас я енот-калека. Меня спасает только защитная окраска. По принципу «открой глазки, закрой ротик». Ротик закрою и сижу в углу, подальше, хе-хе, от драки! — Он

умолк, с минуту сидел, вздыхая, покачивая головой. — Нет, — сказал он вдруг. — Я, конечно, другой. Потому что я не устаю верить. Увидел вас — и надежда затеплилась. И Колька — другой. Правда, еще желторотый, но Урюпин его уже боится. Вот был у нас начальником один светлый человек. Убрали. А сюда — волчка серенького...

— Урюпина?

— Да. Вы его еще не знаете. Это во-олк! Люпус! Назначили — и надежда моя погасла. Увидел вас — опять надеюсь. Дмитрий Алексеевич! Помните, как Брюсов сказал: «Унесем зажженные светы в катакомбы, в пустыни, в пещеры» — он неправ! Когда они зажгутся, мы уже не сможем их унести! Вот скажите: что делать с нами, с зажженными светами? Я уже гашу мысли, нашел способ: изобретаю для спиннинга блесну, не задевающую за коряги. Я ведь рыболов. Или по садовому делу придумываю какую-нибудь мелочь. Замечательно! С тем же огнем! Увлекусь — время и проходит. Вы понимаете, какая беда! Мыслитель не может не мыслить!

— Так вот что, Кирилл Мефодьевич, — сказал Лопаткин и положил кулак на столик. — Я вам протяну еще руку. Поняли? Живите и надейтесь...

— Какой же ты идеалист, как я погляжу! — Араховский с грустной усталой улыбкой стал смотреть вдаль, в сумерки. — Ах, какой идеалист! — Он покачал головой.

— Кирилл Мефодьевич, я вам клянусь, что так будет!

— Клянись, клянись. Спасибо и на том. А пока, раз ты такой, буду помогать тебе я. Я хочу тебе заповедать несколько тезисов. Как-нибудь придешь...

— Кирилл Мефодьевич! Давайте с вами выпьем за зажженные светы!

— Это как же понимать?

— А так, за то, что их нельзя ни унести в пустыни и пещеры, ни погасить. За то, что они живучие. Чтоб продолжали гореть. Людям на радость...

— А кому-то и на муку! Бог с тобой, давай выпьем.

Араховский выпил, крякнул и, нюхая хлебную корочку, лукаво посмотрел на Лопаткина.

— Тост идеалистов надо бы занюхивать не хлебом, а хлебной карточкой... Хе-хе, для служащих!

10

Араховский дал Дмитрию Алексеевичу три книги: «Применение гидравлики и пневматики в машиностроении», «Расчеты в машиностроении», «Детали машин». Дмитрий Алексеевич вспомнил свои студенческие привычки и засел за книги так, как будто готовился к экзаменационной сессии. Через две недели, когда Максютенко справился с пневматическим устройством и отдал его деталировщикам, а сам, приготовив большой лист, стал начисто вычерчивать общий вид, Дмитрий Алексеевич подошел к нему и сказал:

— Валерий Осипович, я просмотрел ваше решение и не могу признать его удовлетворительным.

— Какое решение? — мгновенно обернулся Максютенко.

— Вот это, пневматическое устройство. У вас здесь четыре цилиндра—это сложно. Можно два сделать, я вот дома сегодня набросал.

— Где же вы раньше были? Вы были здесь!

— Я читал книгу. Прочитал — и мне стало ясно. А раньше я не знал некоторых простых вещей. Но вы как конструктор должны согласиться...

— Не знаю... — Максютенко уставился пустыми глазами в окно, медленно розовея. Потом вдруг сорвался и пошел, заюлил между станками к Урюпину.

Вскоре за перегородкой раздался стальной голос начальника: «Что такое? Какая пневматика? Какие цилиндры? Почему два? Какие книги?»

Они вышли вдвоем, Урюпин — впереди. Пробираясь между станками, он задел несколько досок и не оглянулся. Он подошел, надвинулся на Дмитрия Алексеевича, как бы требуя ответа за обиду.

— Что тут у вас? — спросил он, с широким жестом оборачиваясь к Максютенко.

— Это я все намутил, — сказал Дмитрий Алексеевич. — Это моя работа.

Он словно не заметил раздражения Урюпина, подвинул ему стул, сел и сам и развернул свой листок.

— Мне кажется, что Валерий Осипович усложнил конструкцию, поставил два лишних цилиндра. Дело в том, что и эти два будут работать вполсилы, если мы уравновесим оба плеча...

— Но това-арищ автор, — заныл раздраженно, но сдержанно Урюпин. — Дмитрий Алексеевич! Этак мы до морковкина заговенья будем прикидывать да менять? Кто же нам за это будет платить?

Наступило молчание.

— Оставить в таком виде, — коротко приказал Урюпин и встал, чтобы быстро и эффектно уйти.

— Я не подпишу проект, — тихо сказал ему вслед Дмитрий Алексеевич.

— Но поймите же, поймите! — раздраженно закричал Урюпин, оборачиваясь. Он наклонился и застучал сухой прямой ладонью по чертежу, приколотому к доске Егора Васильевича, и все остро отточенные карандаши старичка посыпались и запрыгали по полу. — Поймите! — кричал начальник, стуча ладонью. — Это деньги, это время, это план!

— Это относится прежде всего к вам и к Валерию Осиповичу, — сказал Лопаткин, глядя на него холодными глазами. — Вопрос бесспорен. Если он ясен даже мне, то для вас он должен быть элементарно ясным. Я не возражаю, давайте позовем третейского судью, и если он докажет мне, что решение мое гениально и лежит за пределами способностей и знаний рядового конструктора, я сниму его.

Это был голос нового, иного человека, и Урюпин умолк. Притих и Максютенко, а техники-деталировщики подняли головы и взглянули на Дмитрия Алексеевича и потом друг на друга.

— Конфликт! — сказал вихрастый Коля, пробираясь к ним, и с насмешливой улыбкой посмотрел в угол Араховского. — Что тут такое?

— Правильное решение? — Дмитрий Алексеевич подал ему свой листок.

Коля взглянул на чертеж, положил его на стол и налег на него локтями.

— Решение правильное и, мне кажется, наилучшее, — сказал он, зло щурясь и глядя то на Лопаткина, то на Урюпина.

— А это что? — спросил Дмитрий Алексеевич и развернул перед ним черновой набросок Максютенко.

— Это? Это вы сделали? — спросил Коля, глядя на Максютенко.

— Что это такое? — повторил Дмитрий Алексеевич.

— Это халтура.

— Николай, у тебя выражения... — сказал Урюпин, досадливо морщась. — Мы с тобой не на волейбольной площадке.

— Тогда я скажу по-другому: мяч налево. Переиграть, товарищи, надо. Переиграть! — И, смеясь, Коля ушел к себе и там еще раз пропел нежным тенором: — Переигра-а-ать!

И узлы пришлось «переигрывать». В сентябре Дмитрий Алексеевич обнаружил еще два неуклюжих узла и один грубейший математический просчет, в связи с чем опять пришлось переделывать весь проект.

Но все же наступил день, когда проект — сто шестьдесят листов, тысяча четыреста деталей, двенадцать тысяч размеров — был подан автору на подпись, и Дмитрий Алексеевич, недоверчиво пересмотрев все листы, надписал на каждом свою фамилию. После этого листы пошли в копировальный отдел — на первый этаж. Оттуда через несколько дней Дмитрию Алексеевичу принесли на подпись прозрачные, подрубленные на швейной машинке кальки. Он подписал, и кальки ушли опять вниз — в отдел светокопий, туда, где был дрожащий фиолетовый свет и пахло аммиаком.

Уже несколько раз выпадал снег, на улице стояла сырая стужа, на деревянных тротуарах налипла и уже начала твердеть грязь, был уже последний серый день октября, когда Дмитрий Алексеевич получил наконец свой проект — уложенный в папку, ясно отпечатанный авторский экземпляр. Урюпин с силой пожал ему руку, и сам встряхнулся при этом. Подал ему и Максютенко свою тяжелую и словно увядшую лапу. Потом подошли оба техника и Егор Васильевич. Быстренько пожали автору руку, отошли и, тихо переговариваясь, стали собираться домой, потому что рабочий день окончился.

— Теперь увидимся в Москве, — сказал бодрым голосом Урюпин. — Я и на вас заготовил командировку.

Дмитрий Алексеевич поблагодарил его, поклонился всем и вышел. Он незаметно для себя пролетел всю Шестую сибирскую улицу и только в конце ее вдруг спохватился: не взял свой экземпляр проекта. «Тьфу!» — В сердцах махнув рукой, он повернул назад. Уже было темно. Он торопился — как бы не заперли отдел.

Но в отделе горел свет, и дверь была открыта. Дмитрий Алексеевич вошел в пустую комнату, заставленную чертежными «комбайнами», прошел за перегородку и сразу увидел лысину Максютенко и серую волчью шерсть — жесткую шевелюру Урюпина. Голова к голове, они рассматривали небольшой чертеж. Первым услышал шорох старого черного пальто Максютенко. Он поднял голову, увидел

Дмитрия Алексеевича и замер, розовея. Потом поднял голову Урюпин и, собрав на лбу множество морщинок, недобро прищурился.

— Проект забыл, — сказал Дмитрий Алексеевич и, взяв свою папку, лежащую на стуле, повернулся, чтобы уйти. Он нарочно не смотрел ни на конструкторов, ни на их чертеж, чтобы не узнать чужой тайны.

— Дмитрий Алексеевич! — услышал он, выйдя из загородки, и остановился.

— Валерий Осипович, скажем? — спросил Урюпин. Максютенко еще больше покраснел. — Скажем! — твердо решил Урюпин и улыбнулся Лопаткину. — Дмитрий Алексеевич! Вот... подите-ка к нам...

Дмитрий Алексеевич подошел и сразу понял все. На столе начальника лежал чертеж машины для центробежной отливки труб. И в этот чертеж крупным планом был вписан знакомый кружок и в нем шесть кружков поменьше, как гнезда для патронов в барабане револьвера. Этот барабан смотрел на него своими шестью глазами, но Дмитрий Алексеевич не смутился, выдержал этот взгляд. Он только почувствовал с досадой, что уши у него начинают гореть.

— Дмитрий Алексеевич, — начал Урюпин безразличным тоном экскурсовода. — Вот тут мы... вот, так сказать, наша с Валерием Осиповичем попытка отбить у вас хлеб... — Он хихикнул, быстро взглянул на Дмитрия Алексеевича и чуть заметно покраснел. — Нет, вы не подумайте только, что мы это делали в ущерб вашей... нашей, совместно с вами... Нет, это мы совсем недавно с Валерием Осиповичем, от нечего делать. Вдруг смотрим, что-то получается. — Он опять засмеялся.

— А зачем говорить-то об этом? — Дмитрий Алексеевич шагнул к столу. — Дайте-ка лучше ваш чертежик. Ага...

Он долго двигал перед собой листок ватмана. Урюпин молчал, с острым любопытством следил за ним. Максютенко, опустив голову, рисовал на столе кружок и в нем еще шесть кружков. Дмитрий Алексеевич забарабанил пальцами по чертежу, раздумывая над ним, и наконец поднял на Урюпина усталые улыбающиеся глаза. На Максютенко он смотреть не мог.

— Мне думается, Анатолий Иванович, что вас постигла неудача. Вот за эту часть машины вы не получите приоритета, потому что это машина Пикара. Эта машина дает неравномерное охлаждение труб, получается отбел чугуна, чугун становится хрупким. Пикар устроил специальную томильную печь и там отжигал отлитые трубы, чтобы снять отбел. Вы бы хоть со мной заранее посоветовались. В этом-то деле я собаку съел. Так что вот это Пикар. А этот барабан тоже не содержит новизны — это видоизмененный питатель из моей машины. Идея та же, но конструктивное решение хуже. У меня можно регулировать температуру изложниц, подбирая их число. Барабан вас связывает: надо иметь обязательно шесть изложниц, не больше и не меньше.

При этих словах лысина Максютенко еще сильнее порозовела, а Урюпин обезкураженно сморщил нос. Дмитрий Алексеевич в первый раз увидел его таким.

— Я мог бы смягчить свой ответ, — сказал он. — Но я разговаривал с вами, как живой справочник. Чувств нам лучше не касаться.

— Это верно, — Урюпин засмеялся, стреляя в Лопаткина глазами. — Ну ладно. Спасибо за прямоту. До встречи!

На обратном пути Дмитрий Алексеевич зашел к Араховскому попрощаться. Кирилл Мефодьевич провел его в большую комнату, слабо освещенную лампой в широком абажуре из плотного выцветшего оранжевого шелка. Они уселись за столом друг против друга. Дмитрий Алексеевич почувствовал на себе острый и веселый взгляд Араховского. Кирилл Мефодьевич, сидя в темноте, шевелил губами, собираясь поддеть гостя.

— Урюпин и Максютенко сделали машину для литья труб, — сказал Дмитрий Алексеевич.

— Что вы говорите! — Араховский налег на стол. — Ну-ка, ну-ка!

— Больше ничего. Рабочий орган — по схеме Пикара, питатель — мой, правда, упрощенный. Только что со мной консультировались.

— Консультировались? Впрочем, на Урюпина это похоже. Смело действует! А что я говорил? Ваша идея, Дмитрий Алексеевич, будет до конца рождать подражателей. Да, чтоб не забыть: возьмите журнал «Металл» за январь-март этого года и просмотрите. Там, по-моему, про вашу машину написал какой-то доцент — Волович или Корович, не помню точно. Я не уверен, но посмотрите. Помню, будто есть такая статья.

Они замолчали. Араховский отодвинулся назад, в тень, не сводя глаз с Дмитрия Алексеевича. А тот сидел все так же молча и думал: «Чем это мне может угрожать?»

— Будешь конструктором, — медлительно, с удовольствием выговорил наконец Араховский. — Ты не первый. В конструкторских бюро ты найдешь немало бывших изобретателей вроде меня. Которые гасят свои идеи, изгоняют плод. Не верят вообще в возможность изобретательства. И ты — в школу учительствовать ты не вернешься, а конструктором будешь. Хорошая я сивилла?

— Посмотрим.

— Слушай теперь мои напутствия. Вот ты приехал в Гипролито, начинается обсуждение — не кричи, когда увидишь несправедливость. Не возмущайся громко. Прежде всего знай: проект у тебя на удовлетворительном уровне. Я просматривал все листы. Но — никаких саркастических улыбок со скрещенными на груди руками! Действовать только наверняка! — басом протрубил он, выставив палец. — Наверняка и молча. Входить в среду, как бурав. Если ты начнешь метаться, прыгать и кричать, ты будешь похож на традиционного изобретателя, и с тобой будет легче бороться.

Он замолчал и опять принялся насмешливо шевелить губами.

— Учти, — сказал он, помолчав. — Учти, что в НИИЦентролите сидят многолетние спецы-могильщики. Это стоит записать. Вот тебе карандаш и бумага. Этот доцент, который писал про твою машину, он тоже из НИИЦентролита. И машина эта будто разрабатывается у них. Запиши-ка про журнал. Приедешь в Москву — найдешь в библиотеке. Запиши еще: Авдиев в этом институте — князь. И вообще по ведомству он «всех давишь». Он же и в Оргпитмашпроме. Ты чувствуешь, чем пахнет? О тебе он хорошо знает, и тебя встретят. За версту обегай эти институты — там и честные ребята будут тебя бить, потому что верят в своего бога, он им всем заправил мозги. Попробуй найти блокировку

с заводской публикой. Понял? — закричал вдруг Araховский, наваливаясь на стол. — Молодой человек, вы идете в бой с монополией Василия Захарыча Авдиева, запаситесь сухарями! . . А этот товарищ. . . — Араховский поднялся и ушел в полумрак, — это будет ваш спутник. — Он вернулся и положил на стол книгу. — Это Лагранж. Первоклассный математик и механик. Настоятельно рекомендую поддерживать дружбу с этим великим человеком. Он вам будет заменять Кирилла Мефодьевича, кхе-кхе-кхе! Пишите мне письма почаще. Я что-то верю в вас.

Через два дня Дмитрий Алексеевич уехал в полупустом холодном вагоне в Музгу. Вагон скрипел, качался, останавливался и снова трогался. Сутки спустя Дмитрий Алексеевич вышел из него на мокрую от дождя музгинскую платформу. Прождав около станции несколько часов, он перевалился в кузов комбинатского грузовика на круги толстой проволоки. А когда стемнело, уже вытирал ноги у дверей домика Сьяновых.

С улыбкой, закусив губу, он открыл плотно замокшую дверь. Окунулся в приятное избяное тепло, пахнущее капустной кислотцой и просыхающими в печурках шерстяными носками. Хором закричали ребятишки и, соскочив с печи, с кроватей, бросились на дядю Дмитрия. И не ошиблись: каждый получил по кустарной ярко раскрашенной конфете.

Последним подошел здороваться дядя Петр. До этого они уже поздоровались радостными глазами — и главное было сказано.

— Как дела? — спросил Петр.

Дмитрий Алексеевич молча показал ему папку с проектом.

— Что же, теперь в Москву?

— Да. Теперь в Москву.

За ужином Дмитрий Алексеевич неторопливо рассказывал о том, как разрабатывали и переделывали несколько раз его проект. Поставив на стол сковороду с жареной картошкой, Агафья вдруг вспомнила что-то, вытерла руки и, взяв с подоконника сложенное треугольничком письмо, подала его Дмитрию Алексеевичу. Он развернул треугольник, положил на стол рядом со сковородой и, продолжая свой рассказ и запивая картошку мутным морковным чаем, стал читать.

«Дорогой Дмитрий Алексеевич, — читал он урывками, успевая при этом отвечать на вопросы Сьянова. — Пишу я вам, может быть, в последний раз потому, что мы уезжаем из Музги. Но я не могу не написать вам. Я теперь всегда буду чувствовать себя виноватой . . .»

«Нет спасения, все кается», — подумал Дмитрий Алексеевич и, прервав чтение, отхлебнув из стакана, пояснил Сьянову, что Урюпин был не только главным конструктором его группы, но и начальником отдела.

«Не знаю, — продолжал он читать, — поможет ли вам то, что я сообщаю. Я обязана сделать для вас все, что могу, хотя могу-то я очень мало. Но все-таки. Вы, наверное, знаете, что на нашем заводе делают машину Авдиева. На всякий случай описываю вам ее. Она разбирается на части — трубы, которые называют изложницами. В эти трубы рабочие вручную набивают формовочную землю. А потом изложница опять вставляется в машину, и туда заливают металл. Рабочие ругают ее, говорят, что из-за нее цех лишится премий. Потому что, как гово-

рил у нас один специалист, Галицкий, в этой машине плохо используется машинное время и много ручного труда. Муж считает, что Галицкий — правая рука Авдиева, он приезжал на завод от НИИЦентролита, и это как раз удивило нас всех: он говорил, что это не машина, а приспособление для ручной отливки. Теперь самое главное: мой муж, чтобы не подводить Авдиева, решил не шуметь и приостановить официальное испытание. А делаются еще четыре штуки. На них Ганичев будет отливать трубы. И на него теперь-то падают хлопоты о списании убытков. Убытки ожидаются не меньше как в миллион — на зарплате и на металле. В конце концов будет колоссальная катастрофа. Я твердо теперь знаю, что машину Авдиева построили на те деньги, которые были ассигнованы для вас. Это сделал заместитель министра Шутиков, но он вряд ли вам скажет. Это так и есть, как я говорю».

«Ишь ты!» — подумал Дмитрий Алексеевич, нанизывая на вилку несколько кружков картошки. Прервав чтение, он подал Сьянову папку с проектом и стал рассказывать ему историю о чертеже, сделанном на цементной боковине крыльца.

«Дорогой Дмитрий Алексеевич, — косясь на письмо, прочитал он последние строчки. — Теперь, когда Вы победили, я многое пересмотрела и поняла. Я глубоко уважаю Вас, я ни у кого не встречала еще такой стойкости и такого удивительного терпения, как у Вас. . .»

«Ну-ну, даже с большой буквы писать стала», — улыбнулся Дмитрий Алексеевич.

«. . . я прошу Вас, не поминайте меня лихом. Я и так наказана за свое легкомыслие. С меня хватит и того, что есть. Между прочим, я встретила Галицкого. Он интересуется Вами, ходил к Сьяновым. Желаю Вам полного счастья. Н. Дроздова».

— Так вот, — продолжал Дмитрий Алексеевич, складывая письмо. — Это случилось в последний день. Я забыл свой проект в загородке у этого Урюпина. Прихожу. . .

И он рассказал об этом последнем свидании с Урюпиным.

Утром, по старой привычке, Дмитрий Алексеевич, засучив рукава своей красноармейской нижней рубахи, колол у сарайчика дрова. Ставя поленья и так и этак, крепко ударяя по ним колуном, он думал о том, что ждет его в Москве. Дмитрий Алексеевич колол дрова мелко, чтобы удобнее было разжигать уголь. Час или два прошло — он не заметил. Но он вдруг почувствовал, что кто-то смотрит ему в спину. Он обернулся. На улице, у столбиков, опутанных колючей проволокой, стояла Валентина Павловна в своем серо-голубом пальто с воротником из фиолетового песца.

Бросив колун в кучу дров, разгоряченный Дмитрий Алексеевич вышел к ней.

— Это правда? — спросила она, поднимая на него беспечные глаза.

И Дмитрий Алексеевич сделал такие же беспечные глаза и спросил:

— Что «правда»?

Хотя он-то знал, о чем спрашивала Валентина Павловна и что она хотела сказать.

— Вы завтра уезжаете? Верно?

— Еду.

Она начала краснеть. Отвернулась. Опять посмотрела на него. Повернулась, как девочка, на одной ноге.

— В Москву? — сказала наконец. — Вот хорошо как!

— Плохо ли! Мы наступаем!

— Вы когда едете?

— Утром.

— Вы не замерзли в одной рубашке? .. А знаете, мы больше не увидимся...

Дмитрий Алексеевич ничего не сказал. Помолчал, потом вспомнил что-то и радостно сообщил:

— А ведь проект готов! Я вам говорил? Пять экземпляров, все как полагается. Едем отстаивать.

— Какие вы все мужчины односторонние, — сказала Валентина Павловна. — Вы все какие-то, гм... немузыкальные...

Они опять замолчали. В морозном воздухе между ними медленно проплыла снежинка. Валентина Павловна проводила ее беспечным взглядом.

— Ну что же, — она вздохнула, — давайте прощаться? Вы мне будете писать?

— Валентина Павловна...

— Вы обязаны, вы должны мне писать. Теперь вот ... наклонитесь, и я вас поцелую.

Наклоняясь, он хотел ответить ей шутливым рыцарством. Но она сказала:

— Не нужно говорить, все слова — ложь. Молчите.

Она поцеловала его несколько раз, повернулась к нему спиной и сразу как бы уменьшилась. И так, больше не поворачиваясь к нему, ускоряя шаг, она пошла через улицу, наискось, на ту сторону.

ВТОРАЯ ЧАСТЬ

1

В Москве, в одном из множества переулков, окружающих Арбат, — а именно в Спасопоклонном, — есть четырехэтажное здание из темносерого бетона. Все квадратные окна его одинаковы, и внизу, посредине первого этажа, врезан вход — вместо одного из окон. На черных щитах из толстого стекла, привинченных по обе стороны подъезда, издалека видно большое серебряное слово «Гипролито». А если подойти поближе, можно прочесть и то, что написано мелким шрифтом: оказывается, в этом темносером прочном здании поместился институт, где проектируют литейное оборудование.

Стоял январь, но асфальт был чист, как летом, с крыш падали редкие капли, где-то чирикали воробьи. Здесь, в центре Москвы, в полдень, среди множества набегающих автомобильных запахов скользили чуть заметные, радостные струи — намек на далекую весну.

Дмитрий Алексеевич, держа за спиной папку с проектом, неторопливо шел по переулку и рассматривал старинные и новые московские дома. Он, конечно, уже уловил тонкий и отдаленный запах оживающей в январе природы и был радостно насторожен: не обман ли это? И душа его приветствовала каждый новый порыв живого ветра. Голубое небо с надутыми, как паруса, облаками быстро плыло над ним. Тяжелая капля упала ему на воротник, обрызгала, и он улыбнулся. «Спасопоклонный, — подумал он. — Старина! Наверно, здесь есть где-нибудь церковь». И тут же увидел ее — маленькую московскую старушку. Из трещин между обнаженными кирпичами лезли кривые деревца с коричневыми сухими листьями. Железо с маленьких куполов было сорвано, в ржавых клетках стропил перелетывали голуби.

Это был редкий день, когда все вокруг Дмитрия Алексеевича говорило об удаче. Он жил в Москве уже полтора месяца. Почти каждый свой день в течение всего этого времени он начинал с прогулки к телефону-автомату. Он опускал пятнадцать копеек, и за эту недорогую плату получал беседу с секретаршей директора проектного института. «Позвоните через два дня», — говорила она. Дмитрий Алексеевич звонил через два дня и получал ответ: «Обсуждение назначено на двадцать третье». Он звонил двадцать третьего, и ему говорили: «Обсуждение перенесено. Позвоните позднее». Сегодня он позвонил, и ему сказали: «Обсуждение начнется ровно в час».

В один из первых дней после приезда Дмитрий Алексеевич побывал в Ленинской библиотеке и там перелистал комплект журнала «Металл». В мартовском номере была помещена статья кандидата технических наук Воловика о новой машине для центробежной отливки труб, разработанной в НИИЦентролите. Воловик и его друзья где-то познакомились с чертежами Дмитрия Алексеевича, должно быть во время рецензирования. Соединив его безжелобный ковш-дозатор с рабочим органом машины Пикара, они «пришли к удовлетворительному решению задачи, которая выдвинута сегодня перед целым рядом ведомств». Дмитрий Алексеевич, улыбаясь, перечертил себе в тетрадку эти «плоды двухгодичных изысканий». Ему и здесь повезло: Воловик не понял или побоялся украсть главное в его машине — принцип сменности изложниц.

Срок его командировки истек, но он не печалился, потому что ему подвалила неожиданная удача: вскоре после его переезда из Музги в Москву была отменена карточная система и введены новые деньги. Все сбережения, в том числе и командировочные, — все это лежало на сберкнижке, и теперь Дмитрий Алексеевич получил две тысячи новыми деньгами, которые имели вес и цену. С этими деньгами он мог прожить в Москве еще три месяца, включая плату за гостиницу и ежедневные пятнадцать копеек за телефон-автомат.

Вспомнив об этом, Дмитрий Алексеевич еще выше поднял голову и оглядел переулок, освещенный весенним январским солнцем. Все дома ответили ему понимающей веселой улыбкой. Дмитрий Алексеевич выбрал прохожего посолиднее и спросил у него, который час. До начала обсуждения проекта оставалось сорок две минуты. «После обсуждения куплю часы», — решил Дмитрий Алексеевич. Он пересек мостовую, толкнул дубовую дверь, поднялся по ступенькам в вестибюль, отдал в гардеробе пальто и шапку и, одернув китель, легко взбежал по лестнице на второй этаж.

Здесь его встретила громадная стенгазета, и он улыбнулся, увидев ее название «Конструктор» и почтовый ящик, нарисованный в углу листа.

На втором этаже в коридоре была мягкая ковровая дорожка, и Дмитрий Алексеевич почувствовал близость начальства. И действительно, он сразу же увидел табличку из толстого стекла: «Директор».

Немного дальше был небольшой уютный конференц-зал с коричневой классной доской на стене. Несколько человек сидели со скучающим видом в этом зале. По коридору прохаживались шеренгой басистые, энергичного вида мужчины в серых коверкотовых кителях с серебристыми погонами — инженеры. Небольшая группа собралась в пролете лестницы, у входа в курилку. Среди серых кителей мелькнули два или три безукоризненных, черных костюма. Это были ученые, должно быть приглашенные на обсуждение.

Дмитрий Алексеевич направился в курительную комнату. Кители и черные костюмы раздвинулись, повернулись к нему. Но, кажется, впечатление он произвел слабое. Все опять занялись своим интересным и веселым разговором. А Дмитрий Алексеевич, пройдя в курилку, достал было свой госпитальный кисет, но опомнился и вынул новенькую, специально для этого дня купленную пачку «Беломора».

— А-а, вы уже здесь, товарищ Лопаткин! — раздался из дальнего

угла курилки голос Урюпина. Инженеры у дверей пристально посмотрели на Дмитрия Алексеевича. — Привет уважаемому автору! — продолжал Урюпин своим звонким стальным голосом и вышел из сизой, дымной глубины — статный, одетый в новый китель и словно задушенный стоячим воротником. — Здрасте, здрасте, дорогой. Скоро начнется!

В эту минуту у входа остановился седой, нахмуренный и какой-то морщинистый инженер с зелеными генеральскими лампасами на брюках. Несколько человек в кителях и черных костюмах поспешно шагнули к нему пожать руку. Урюпин, протянув руку генералу, подался всем корпусом, как бы упал вперед. Генерал сказал ему несколько слов, Урюпин заулыбался, развел руками и проводил его до невысокой двери, которая вела из курилки дальше, в более интимные покои. Там Урюпин повернулся, и лицо его приняло обычное жесткое выражение седого спортивного деляги. Он остановился около Дмитрия Алексеевича, закурил и, взяв Лопаткина за руку, подвинулся — ему нужно было стать так, чтобы была видна лестница.

Через минуту генерал решительным мягким шагом, держа руку в кармане, прошел через курилку к выходу. Урюпин, прищурив глаза ему вслед и подбоченясь, сказал:

— Замечательный человек. Патриот института!

— Вы о директоре? — спросил Дмитрий Алексеевич.

— Да-а. Сумел создать иституту авторитет в министерстве. Конечно, не обошел при этом и себя, но нюх у него на нужное большой! Деловитый мужик.

Дмитрий Алексеевич промолчал, и они задымили папиросами. Урюпин хотел еще что-то сказать и вдруг жестко схватил Дмитрия Алексеевича за руку.

— Смотрите скорей туда! Вот идет наш корифей. Академик Саратовцев. Через три года будет восемьдесят лет. Хорошо?

Мимо курительной широким, изогнутым фронтом неторопливо двигалась процессия. Шли боком улыбающиеся статные инженеры и красивые ученые в черном, а в центре — полный старичок генерал. Розоволицый, гладко выбритый, но при отличных, отогнутых вверх усах.

— Мастодонт, — сказал Урюпин, и в глазах его Дмитрий Алексеевич впервые увидел дремучий свет восхищения. — Вы знаете, он с самим Врангелем дрался на дуэли! И притом здорово его пырнул! Он вообще у нас все делает основательно. Говорят, если бы наш старикан взял чуток пониже, барон не встал бы. А красив старичина, а? Как держится! Это мамонт. Законодатель!

— Како-ой он законодатель! — возразил и развел рукой незаметно подошедший к ним низенький небритый инженер. — Это вы, Анатолий Иванович, того... Математический аппарат у него прекрасно развит, это да. Но какой же он законодатель! Это английский король! Вот он кто. А лидер консервативной-то партии все-таки их сиятельство Василий Захарыч Авдиев.

— Все кажешь кулак небесам? — с усмешкой обернулся к нему другой инженер, сухощавый, седеющий, с массивным золотым кольцом на пальце.

— Ну и кажу! Ты, Крехов, конечно, кинешься защищать. Верный, старый слуга. А все-таки, если взять последнюю машину Авдиева...

— Что бы ни говорили... некоторые недовольные, а Василий Захарович — самородок. Умница. Это суметь так надо, — инженер с кольцом на пальце повернулся к Дмитрию Алексеевичу. — Прошел человек в науку, как Ломоносов. В лаптях. Уперся лбом и раздвинул все и вся. Вы не читали, товарищи, его первую кандидатскую диссертацию? — У Крехова даже глаза заблестели. — Вот достаньте. У Ольги Ивановны попросите в библиотеке. Усиленно рекомендую.

— А что, хорошо? — спросил небритый.

— Мало сказать «хорошо», — с запальчивым видом вмешался третий инженер и зашипел: — Блестяще! Блестяще!

— Ого! Вот идут тигры! — шепнул небритый и придвинулся к Дмитрию Алексеевичу.

Урюпин оттолкнулся от стены, быстро вышел из курительной и там, на лестнице, остановил двух солидных мужей в черных костюмах с портфелями. Потряс руку одному, другому, рассмеялся. Но те, разговаривая с ним, вели себя сдержанно, то и дело посматривали друг на друга, как сообщники.

— Авдиева нет — признак не очень хороший, — вполголоса сказал Дмитрию Алексеевичу небритый инженер. — По-моему, вы автор? Я вам хочу сказать, чтоб вы знали. Если бы проект шел на одобрение, Авдиев был бы здесь. Он это любит — ручку пожать! А если надо поломать проект, у него на это есть вот доктора, товарищи Тепикин и Фундатор Цезарь только дает команду: выпустить тигров на гладиаторов! И тигры выскакивают. Вы только не думайте, ради Бога, что это желчь во мне... Это просто многолетняя практика. Ведь все здесь происходит так, как происходило пять и двадцать лет назад. Одинаково! Однообразно!

— Будет бой. Галицкий пришел! — громко и весело сказал кто-то, и сейчас же молодой голос отозвался из сизой от дыма глубины курительного зала:

— «Будет буря, мы поспорим и побо-о-оремся мы с ней!»

Дмитрий Алексеевич оглянулся по сторонам.

— Это о ком говорят? — спросил он у небритого инженера.

— Да вот же прошел. Галицкий — разве вы его не знаете? Падший ангел! Он недавно ушел из НИИЦентролита. По поводу авдиевской машины у них вышел спор. А Василий Захарыч, он ведь не любит...

Между тем оба доктора поклонились Урюпину почти одними глазами и, войдя в курительную, достали портсигары. Один из них был серьезный, с красивым лицом полной брюнетки. Длинный черный пиджак свободно облегал его талию и женственные формы.

— Это доктор наук Фундатор, — негромко сказал Дмитрию Алексеевичу сосед. — Его у нас называют «черкешенка младая». Этот берет мягко, наукообразно. Он вас пожалеет, прольет слезу и скажет вам верный «аминь». А второй — «ни тудыкин, ни сюдыкин, кандидат наук Тепикин». — Инженер засмеялся: — Он теперь доктор. Этот будет подпевать. Будет больше нажимать на «хто его знает». На сомнениях выедет. Вот, так сказать, ваши противники. А что они противники, можете быть уверены...

Далеко в коридоре залился звонок. «Начинается», — подумал

Дмитрий Алексеевич, неторопливо доставая из пачки еще одну папиросу. Он тут же сломал эту папиросу, отбросил и взял вторую. Курильщики один за другим бросали свои окурки в большую никелированную урну и выходили в коридор. Вот не спеша вышли и оба «тигра». Фундатор — осанисто, с высоко поднятой головой, а Тепикин — кряжисто ковыляя. «Пора», — подумал Дмитрий Алексеевич. Он нерешительно кивнул на прощание своему собеседнику и спокойный, с холодным, как ему казалось, безразличием на лице вышел. Незнакомый инженер догнал его, взглянул сбоку.

— Возьмите себя в руки. У вас белое лицо! Не доставляйте им удовольствия...

Маленький зал был почти пуст. На заседание пришли человек двадцать специалистов, из которых Дмитрий Алексеевич никого не знал. Но они, должно быть, знали друг друга хорошо. Они по-домашнему, небрежно сидели на стульях, обменивались поклонами, наклонялись к уху соседа, передавали один другому записки. Впереди, около председательского стола, стенографистка раскладывала бумаги. Кто-то суетился, передвигал стулья. Кто-то вручил Дмитрию Алексеевичу коробку с кнопками, сказал: «Давайте, автор, работайте» — и он стал развешивать около коричневой классной доски листы своего проекта, прикалывая их кнопками к деревянным планкам на стене. Закончив эту работу, он оглянулся. Все смотрели на бледного автора в кителе с короткими рукавами. Кто-то уже сидел на председательском месте — это был директор института, седой, морщинистый инженер с генеральскими погонами. За ним в кресле словно бы дремал, опустив веки, академик, и только остроконечные усы его бодро смотрели вверх. Там же, придерживая на коленях свой новый портфель, откинулся к спинке стула Фундатор. Скрытый за его мощной фигурой, что-то шептал ему на ухо Тепикин. Фундатор слушал, возведя глаза к потолку.

— Так вот, товарищи, есть предложение начать, — сказал твердым басом генерал и посмотрел на ручные часы. — Сейчас ровно десять минут второго. Пора, по-моему. — Он выждал немного, покосился на Дмитрия Алексеевича. — Вы готовы?

Дмитрий Алексеевич шагнул вперед, хотел сказать «да», но генерал уже не смотрел на него.

— Товарищи, мы решили обсуждение центробежной машины поставить первым. Вопрос этот ясен, много времени не отнимет и не утомит наших почтенных гостей. Слово имеет автор проекта, инженер Лопаткин. Прошу...

Дмитрий Алексеевич взял в руки указку. Он вдруг почувствовал себя преподавателем, поднял голову, лицо его просветлело, и класс сразу затих.

— Эта машина предназначена для отливки центробежным способом чугунных труб, — с каждым словом он чувствовал себя все легче и увереннее. — Вам, должно быть, известно, что мы испытываем острый недостаток в различных трубах...

Генерал нетерпеливо стукнул карандашом, открыл было рот, но удержался и не сказал ничего.

— ...а между тем, как ни странно, трубы, которые мы должны щелкать в автоматах, как папиросы, во многих местах отливают

вручную или на таких машинах... по существу, не машины, а лишь приспособления в ручном труде. И это при наличии огромных возможностей, которые дает нам чугун. Чугун течет, как вода, и мы не используем этого...

— Простите, — генерал брезгливо поморщился и вздохнул. — Нужда в трубах, чугун жидок, сталь густа — право же, мы не дети, и все это знаем! Прошу ближе к существу проекта, к его основным особенностям.

— Пожалуйста. Наша машина имеет два коренных отличия, — сказал Дмитрий Алексеевич. — Первое: она является не приспособлением, а истинной машиной, в ней полностью используется машинное время. На всех известных нам машинах вспомогательные операции выполняются рабочими вручную, и в это время главный орган — собственно литейная машина — стоит. У меня все вспомогательные процессы выполняются специальным механизмом, который работает параллельно с литейной машиной и не задерживает ее. Это обеспечивает повышение производительности машины для начала в пять раз. Вторая особенность состоит в том, что машина занимает места в четыре раза меньше по сравнению с существующими приспособлениями, например, машиной НИИЦентролита, проект которой опубликован в журнале «Металл». Уменьшение габаритов достигается применением безжелобной заливки металла. НИИЦентролит применил такой же, как у меня, ковш-дозатор, но при этом сохранил старые габариты машины. Для чего же тогда было вводить безжелобный ковш!

Весь технический совет дружно рассмеялся. Люди задвигались, загремели стулья. Потом наступила новая, дружественная тишина.

— Таким образом, — сказал Дмитрий Алексеевич, — мы можем построить вместо четырех один завод и поместить в нем столько же машин, сколько сейчас планируем для четырех заводов. Это принесет экономию...

— Вы нам дайте в руки эту конкретную пользу, — добродушно сказал генерал. — А уж сосчитать-то мы ее сосчитаем.

Дмитрий Алексеевич не ответил ему. Водя указкой по листам проекта, он коротко объяснил работу всех узлов конструкции. Потом взял мел и перешел к расчетам. Стуча мелом, он быстро исписал всю доску основными расчетами, доказывая, что машина будет производить пятьдесят труб в час, затем — что каждая труба будет легче на полкилограмма, что нужны для работы машины всего двое рабочих, а впоследствии можно будет полностью автоматизировать все процессы. «В идее машины, — сказал он, — заложена возможность создания автоматизированного цеха, работающего без участия людей». Он закончил доклад и отошел в сторону.

— Как там будет с цехом, это мы еще посмотрим, — заметил генерал, взглянув на часы. — Но пока мы сэкономили пятнадцать минут времени. Это уже недурно. Ну-с, какие будут вопросы к докладчику?

— Я хотел бы спросить автора, — затянул каким-то плавным голосом Фундатор и благожелательно посмотрел на Дмитрия Алексеевича. — Скажите, пожалуйста, товарищ ... Лопаткин. Что это у вас, томильная камера наверху? Как у Пикара?

— Это конвейер охлаждения. Но он не имеет специального подо-

грева. Туда будут направляться отлитые трубы — это обеспечит плавность остывания, снятие напряжений.

После тягучей паузы было задано еще несколько, словно бы невинных, безразличных вопросов. Потом наступила особая тишина, которую никто не решался нарушить. Молчали все. Фундатор глядел в потолок. Тепикин будто заснул, положив ему сзади на плечо свою простоватую мордочку, — но нет, он что-то шептал ему на ухо. Генерал смотрел то в окно, на ясное, голубое небо, то на листы проекта, то в потолок и, переворачивая карандаш, постукивал им.

— Что ж, товарищи... начнем судоговорение? — спросил он, подняв седую бровь.

— Разрешите? — Фундатор словно проснулся. Он встал, держа перед собой маленький листок бумаги.

— А-амм... работа, доложенная здесь, — начал он с простодушным и наивным видом и взглянул на потолок. — Работа, которую мы... о которой нам здесь так интересно, — он нагнулся вперед, — так обстоятельно доложил докладчик, весьма значительна и, я бы сказал, весьма результативна. Но в то же время она характеризует товарища Лопаткина, — он улыбнулся Дмитрию Алексеевичу, — характеризует его как изобретателя, который надеется решить все вопросы с помощью вдохновения. Право, мне даже как-то неудобно говорить это, но товарищ Лопаткин оказался здесь в теоретическом отношении совершенным банкротом, да простит он мне это резкое выражение. У него не было достаточной теоретической подготовки, и он хотел построить совершенно новую машину кустарным способом, путем нащупывания, — Фундатор выставил руку вперед и мягко схватил воздух, — путем нащупывания технических решений, то есть проявил отсутствие инженерного подхода. А когда ему указывали на это, как это мне достоверно известно, он не соглашался и отвергал необходимость более компетентного вмешательства как работников НИИ, так и со стороны...

— Видите, Александр Борисович, — перебил его генерал, — это произошло потому, что самая идея была очень заманчивая и со стороны некоторых товарищей была вера в творческие способности автора... ну и наших... филиальцев. На риск пошли!

— Ну и получайте все выгоды такого риска! — шутливо ответил Фундатор.

— Я не слышу настоящей критики проекта, — сурово прозвучал в зале голос Дмитрия Алексеевича. — Прошу критиковать конкретно, с указкой и мелом в руке.

— Ну что же, в самом деле, ну, пожалуйста, вот вам критика, — Фундатор подошел к листам. — Ну вот вы ввели томильную камеру. Сами же вы сказали: для снятия напряжений. Значит, вы не уверены в том, что подобная технология даст вам трубу без отбела! Или вы все-таки уверены?

— Камеру я ввел для того, чтобы использовать тепло остывающих труб и сделать процесс их охлаждения не зависящим от зимних сквозняков. Но и без этой камеры отбела не будет.

— А где же расчет, подтверждающий эту вашу уверенность? — Фундатор развел руками и улыбнулся в пустой зал. — Государство ведь на веру денег не даст. Вы уверены? Но спросите высокоуважае-

мого Петра Венедиктовича, и он вам скажет, что нет не только расчетов, нет еще теории, которая помогла бы нам сделать эти расчеты!

При этих словах академик, не поднимая век, несколько раз солидно кивнул.

— А вы говорите... — продолжал Фундатор, водя круглыми глазами. — Вот вам конкретное возражение. Мы не против такой машины, но мы считаем, что прежде всего должны быть найдены теоретические предпосылки ее создания. Наш институт в этом направлении сделал уже несколько шагов, но ведь товарищ Лопаткин не признает никаких доводов и авторитетов... Да, вот еще. К вопросу об износоустойчивости изложниц... Ведь вы же, дорогой, совсем не обосновали ваше утверждение. Да что там говорить...

Фундатор повернулся, показав всем, как прекрасно облегает его фигуру черный костюм, пожал плечами и вернулся к своему стулу. И сразу же поднялся, вышел вперед Тепикин.

— Выслушав до конца изложенные мысли товарищем Лопаткиным, я попробовал, товарищи, найти в э т о м деле рациональное зерно. Жилищный вопрос, нужда в трубах — это все верно. Но вот, так сказать, конструкция. Хороша ли она или должна быть и з м е н е н а — опять-таки вопрос этот есть второстепенный, и он даже, может, отпадет, ежели мы пристально проверим научную обоснованность данной машины. В чем дело? Нельзя не согласиться с Александром Борисовичем, который...

Тепикин, рисуя в воздухе белым, словно отмороженным пальцем, говорил долго и уныло и поставил под сомнение все стороны машины.

— Пятьдесят труб в час? — спрашивал он и, достав платок, сморкаясь и смеясь, отвечал: — На бумаге это всегда так получается. Как в «Войне и мире» у Толстого: «Ди ерсте колонне марширт, ди цвейте колонне марширт». А дойдет до дела, хвать, получилось не пятьдесят, а десять труб, да и те, чуть стукнешь — бьются, как горшки, потому что, конечно же, будет отбел! Вы и сами это знаете, уважаемый автор.

Под конец Тепикин, загибая пальцы, подсчитал все сомнительные стороны машины, смеясь, показал всем, что пальцев не хватает, умолк, стал вдруг серьезным и сказал с чувством:

— Дорогой товарищ Лопаткин. Ради Бога! Не пойми меня превратно. Если бы вопрос о литье труб решался так просто, поверь, мы давно бы предвосхитили тебя и как-нибудь сообща, со скрипом сделали бы такую машину. Ведь не боги горшки обжигают! Да и мы, честное же слово, не даром едим хлеб наш насущный. — Здесь он приложил руку к груди. — Мы тоже немножко патриоты, товарищ Лопаткин!

Кто-то подставил Дмитрию Алексеевичу стул, и он сел, сам того не замечая, и стал перебирать пальцами пуговицы на кителе. Тепикин почесал затылок, что-то вспомнил, но махнул рукой и враскачку проковылял к своему месту, за спиной Фундатора.

— Разрешите, — услышал Дмитрий Алексеевич обиженный и медлительный бас.

— Товарищ Галицкий, Петр Андреевич, — сказал генерал, посмотрел на стенографистку и перевернул карандаш.

«Где же я слышал о нем раньше?»—подумал Дмитрий Алексеевич.

Этот Галицкий оказался очень высоким, вялым, длинноносым

мужчиной в сером костюме. Он взглядом отыскал Лопаткина, черные брови у него поползли на лоб, черные глаза и большие ноздри осуждающе округлились — он словно четырьмя острыми зрачками посмотрел на Дмитрия Алексеевича.

— Прежде чем скрещивать оружие с инженером Лопаткиным, — пробасил он, — я хочу сказать несколько слов критики в адрес почтенных представителей НИИЦентролита. Не далее, как год тому назад, государство построило для них прекрасный жилой дом, и это обстоятельство, как я вижу, — здесь Галицкий торжествующе кашлянул, — не замедлило сказаться на науке. Ученых перестала интересовать ближайшая практика в трубных делах. Они углубились в более глубокие тайны теории. Им подавай дно океана, батисферу!

Все рассмеялись. Фундатор слегка порозовел.

— А если бы! .. — воскликнул Галицкий и длинным пальцем словно бы поймал что-то над собой. — А если бы товарищ Фундатор посмотрел на дело с практической позиции, с точки зрения задач сегодняшнего и даже завтрашнего дня, он увидел бы много ценного в предложении инженера Лопаткина. Что, скажем, лучше — пищаль, заряжающаяся с дула, или пулемет? Конечно, пулемет. А ведь инженер Лопаткин предлагает нам как раз пулемет! Он устраняет орудийную прислугу, которая заряжает сегодня ваши пищали, товарищи центролитовцы. Он заменяет ее пулеметной лентой, дает нам экономию и скорострельность. А? Разве не так, товарищ Лопаткин?

Дмитрий Алексеевич, радостно удивленный, поспешно закивал.

— Погодите радоваться, автор, до вас еще не дошло, — сказал Галицкий и повернулся к Фундатору. — Да-альше. Вы говорите, отбел. Вы говорите, теория. Да разве не видно каждому, что предложена гибкая схема, которая позволяет нащупать практически нужный температурный режим! Лопаткин нащупает его гораздо быстрее, чем вы, товарищи теоретики. Потому что решение-то рядом. Он даст нам трубы, а вам — исходные данные, и вы по ним напишете диссертации!

Все захохотали. Генерал, развеселясь, обмяк, чертил на листке карандашем и качал головой. Когда в зале затихли, Галицкий направил на Дмитрия Алексеевича острые черные глаза, хищно округлил ноздри и шагнул к нему.

— Однако есть в вашей идее, товарищ изобретатель, жестокое «но», результат вашего, так сказать, отшельнического образа жизни. Мысль обязательно надо скрещивать, иначе она вырождается. Я имею в виду ваш безжелобной ковш-дозатор. Он эффективен, и его доцент Воловик не замедлил «творчески преломить». Он сразу же «оттолкнулся» от него, попросту говоря, слямзил. А ведь вытащил он, товарищи, пустой кошелек!

В зале засмеялись.

— Почему пустой? А вот почему. — Галицкий схватил мел, присел перед доской и, стуча, стал писать громадные цифры и буквы. — Ферростатический напор, — приговаривал он при этом, — температура полученного из вагранки металла... время заливки металла... скорость вращения... Вы знаете, что получится с вашим коротким желобом и с наклоном формы? Металл не дойдет до конца формы, начнет твердеть, и мы получим неправильную геометрию трубы.

— Неверно! — закричал Дмитрий Алексеевич чужим, визгливым голосом.

Галицкий успокаивающе растопырил пальцы.

— Вот-вот. Вот вы даже кричите на меня. Успокойтесь. Читайте вот формулу и вникайте. Ваши расчеты не увязаны с представлениями науки о пластичности металла. Разверните-ка путь, который проходит чугун, вращаясь в вашей трубе. Минимум двадцать пять метров. Двадцать пять — и при этом он отдает тепло. Это и школьник вам скажет. Металл у вас кристаллизуется на полпути!

— Разрешите. — Дмитрий Алексеевич вскочил. — Разрешите же! Три справки!

— Товарищ Лопаткин, — сказал генерал. — У нас есть определенный порядок. . .

— Говорите! — приказал Галицкий.

— Первая справка, — голос Дмитрия Алексеевича был уже спокойнее. — Я не инженер, а учитель средней школы. В нашей школе никто, кроме меня, не задумывался о центробежном литье, поэтому мне не с кем было «скрестить мысль», как того требует товарищ Галицкий.

Зал громко вздохнул, и наступила тишина.

— Поймите хоть вы меня, товарищ Галицкий. Неужели это правильно, по-вашему: каждого человека, который наталкивается на что-нибудь новое и захочет это новое передать народу, неужели это верно — объявлять его антисоциальным явлением? Острить вот так...

Пока Дмитрий Алексеевич говорил это, Галицкий несколько раз в раздумье поднимал на него черные горячие глаза и тотчас их опускал, как только встречался с устало-спокойным взглядом изобретателя.

— Я пытался было скрестить мысль, — продолжал Дмитрий Алексеевич с чуть заметной усмешкой. — Я все время чувствую свою слабость как конструктор и как металлург. Но профессор Авдиев не пожелал. «Фикция», и только.

— А что же, конечно, фикция, — явственно прозвучал в тихой паузе ленивый голос Фундатора.

— Вторая справка, — сказал Дмитрий Алексеевич. — На заводе в Музге до сих пор льют трубы ручным способом. Вы это, наверно, тоже знаете все, как и то, что чугун жидок, а сталь густа. Это обстоятельство заставило меня, учителя, бросить работу и заняться изобретательством, в чем я сейчас запоздало раскаиваюсь. А третье — вот...

И Дмитрий Алексеевич, став рядом с Галицким у доски, взял у него мел и застучал им, выводя цифры и буквы.

— Вы разрываете процесс на части, забыв о том, что части эти взаимодействуют. Забыли о центробежной силе, о том, что потери тепла в металлической нагретой форме будут иными, чем в форме холодной. И главное то, что в результате наклона формы и ее вращения металл будет мгновенно распределен по всей ее длине. И равномерно! Наоборот, у меня остается еще вот — видите? — запас времени на формирование трубы в горизонтальном положении! — Дмитрий Алексеевич громко стукнул мелом по доске и отошел. А Галицкий в последний раз, словно бы изумленно, глянул ему в глаза, облокотился на доску и заморгал, задумался. Так в тишине прошла минута, вторая. В зале возник, стал незаметно расти веселый шум. Раздались неуверенные хлопки.

— Товарищ Галицкий, — сказал генерал, постучав карандашем, — мы ждем...

— Сейчас, сейчас... — Галицкий, не отрываясь от доски, сделал рассеянное движение рукой и испачкал мелом весь бок пиджака.

— Не понимаю, что там думать, все ясно, как Божий день, — послышался голос Фундатора.

— Математика доказала, что Божий день не очень ясен, — возразил Галицкий, не отрываясь от доски, стуча мелом.

— Петр Венедиктович, вы не хотели бы? — спросил генерал, привстав.

— Что же, собственно, тут говорить, — академик открыл свои старческие мутноголубые глаза. — Дело-то ясное. Действительно, как Божий день. Если строить машину, значит триста тысяч отвалить на эксперимент. А наше дело не экспериментировать, а строить. Я бы рекомендовал научный спор перенести в стены соответствующего института. Там можно проделать все эксперименты на существующих установках. Не следует пренебрегать и имеющимися на сегодня данными. Лично я склонен думать, что безжелобное литье — фикция. Да... — Он покачал головой. — Очередная попытка решить сложную задачу с налета, не больше.

— Разрешите дополнить. — Фундатор поднялся. — В отличие от товарища Галицкого, мы в институте более серьезно и более объективно отнеслись к обсуждению данной машины и готовы отстаивать свои научные позиции без колебаний. Не желая затягивать и без того затянувшийся разговор, я передаю техническому совету вот эти наши тезисы, где подробно анализируются плюсы и минусы машины... товарища Лопаткина.

И он положил на стол генерала эти тезисы — отпечатанные на машинке несколько листов.

— Товарищ Фундатор! — послышался от доски обиженный бас Галицкого. — Принципиальность не в том, чтобы всю жизнь стоять на одном месте...

— Мы немного задержались, — сказал генерал, просматривая тезисы Фундатора. — Еще кто-нибудь выступать хочет? Я думаю, товарищи, выводы ясны. Строить машину нецелесообразно — к этому склоняется большинство товарищей. Сырая идея не может быть основой для серьезной работы. Однако и теперь это становится очевидным — проблема центробежного литья труб должна быть каким-то образом решена. На это надо направить усилия ученых и инженеров. Я полагаю, что министерство в ближайшее время даст нам соответствующее техническое задание. Согласны вы с таким решением? — спросил он у Дмитрия Алексеевича.

— Я не согласен, — твердо сказал у доски Галицкий. — Машина простая. Может быть, ее надо по-другому завязать... Более работоспособные узлы... Но главное ясно. Надо посадить около автора хорошего конструктора и расчетчика и делать машину. Доводы товарища Лопаткина мне представляются серьезными и оправдывающими необходимость эксперимента.

— Кто еще не согласен? — спокойно сказал генерал. — Нет? Объявляю перерыв. Товарищ Лопаткин... Лопаткин, вы слышите меня?

Копия протокола вас интересует? Так вот, зайдете на днях в секретариат, и вам дадут...

Дмитрий Алексеевич вышел в коридор и закурил. Вокруг него двигались люди, толкали его справа и слева, а он, окруженный облаком дыма, стоял, время от времени тяжело вздыхая и с каждым вздохом затягиваясь папиросным дымом.

— Товарищ, курить идите в курилку, — сказал ему кто-то, и ноги сами двинулись и понесли его вперед.

Неестественно веселый Урюпин встретился ему около лестницы, сказал: «Провалили-таки, черти!» — и исчез. Дмитрий Алексеевич спустился вниз, и около раздевалки кто-то вдруг твердо пропустил пальцы ему под руку и взял за локоть.

— Товарищ Лопаткин, — услышал он над ухом бас Галицкого и мгновенно обернулся, готовый к бою.

Этот пристально глядящий черноглазый человек с тонким носом и крупными губами приблизился к нему вплотную и некоторое время рассматривал его в упор.

— Я бы хотел, чтобы вы меня не считали с ними, с этими... В общем, в числе своих противников, — сказал он. — Я действительно допустил... Это верно. Позволил несколько выражений. Вот так говоришь по инерции и считаешь себя правым... А потом оказывается... Я только сейчас понял одну простую правду. Действительно, с Авдиевым и с этими не скрестишь... Да и не всякий захочет с ними скрещивать. И вы не виноваты, что у вас своя мысль появилась Да что я говорю — это очень хорошо, что появилась! И ведь хорошая мысль, грех ее выбрасывать! Но вы все-таки кое в чем не правы.

Дмитрий Алексеевич чуть-чуть нахмурился, чуть заметно сжал губы, поднял на него глаза.

— Вы не правы, — Галицкий засмеялся. — Вы не только учитель, вы приличный инженер! С вами опасно спорить.

Галицкий, должно быть, торопился. Все время оглядываясь на Дмитрия Алексеевича, он надел черное пальто, облезлую рыжеватую ушанку, бросился к выходу, но вдруг остановился и погрозил пальцем.

— Улучшайте машину, невзирая ни на что. Работайте над ней. Мы еще увидимся с вами.

2

«Работайте», — подумал Дмитрий Алексеевич, выходя из подъезда на яркую улицу, чувствуя на этот раз еще отчетливее молодой запах весны. И тут же он вспомнил, что у него есть всего две тысячи и что их хватит не больше, чем на четыре месяца. А бумага? А место для работы? «После обсуждения куплю часы», — вспомнил он, и рассеянная, туманная улыбка мелькнула в его лице. Он поддал ногой ледышку. «Ботинки надо купить, вот что», — подумал он вдруг и прибавил шагу. Он привык все делать сразу, без колебаний.

Выйдя на Арбат, он тут же нашел универсальный магазин и выбрал себе в обувном отделе простые черные ботинки сорок третьего размера на кожаной подошве. Касса зажужжала, щелкнула, звякнула колокольчиком, и у Дмитрия Алексеевича стало на триста рублей

меньше. Примерять ботинки он не стал, его испугал бархат и никель примерочного кресла, поставленного на самом виду.

Он отправился домой — в гостиницу, поднялся к себе в номер, на шестой этаж. Здесь стояли пять кроватей. Дмитрий Алексеевич сел на свою и переобулся. После этого он съел плавленый сырок с большим куском хлеба, взял в рот кубик сахара и выпил стакан воды из графина. Он начал экономить с этого же дня.

Затем он побрился перед круглым зеркальцем, положенным на подушку, опять оделся и вышел на улицу побродить и подумать о своих делах. Спускаясь по лестнице, он оглянулся и, видя, что никого кругом нет, положил в большую красавицу-урну для окурков сверток со старыми, в заплатах, ботинками.

На улице шел снег, — коротенькая январская весна окончилась. «Надо купить калоши, — подумал Дмитрий Алексеевич, — это сохранит ботинки». И через двадцать минут он шагал по жидкому снегу уже в новых калошах, и денежный запас его уменьшился еще на сорок рублей. По пути он останавливался перед всеми щитами «Мосгоррекламы» и жадно прочитывал объявления о найме рабочей силы. Он нашел не меньше шести объявлений о найме квалифицированных рабочих на завод и внутренне просветлел. Одиноким предоставлялось место в общежитии — это как раз то, что нужно! Ведь он когда-то работал на автомобильном заводе.

— Не дамся, — тихо сказал он, грозно темнея. — Нет, товарищи! — И прибавил шаг. — Не получится! Не выйдет! Не-ет! Вот два месяца еще повоюю и поступлю на завод, это будет моя крепость!

Как всегда, оказалось, что он шел по знакомому маршруту — так же, как он шел и вчера. Поэтому Дмитрий Алексеевич круто свернул в переулок, пересек несколько улиц и оказался опять на знакомом месте. Сюда он тоже приходил не раз. Это была Метростроевская улица. Дмитрий Алексеевич вышел как раз к тому старому пятиэтажному дому, где жила Жанна. Он задумался, притих и побрел было по Метростроевской, но спохватился и поскорее свернул в переулок: а вдруг она сейчас подойдет ему навстречу! Что он сможет ей сказать? По внешности ведь он никак не похож на победителя. . .

Но и уйти, не повидав ее, он уже не мог. За месяц ему только два раза удалось подкараулить Жанну. Оба раза он, как мальчишка-десятиклассник, проводил ее издали до подъезда.

Дмитрий Алексеевич взглянул на себя и увидел, что он весь занесен снегом. Счастливое обстоятельство! Он поднял воротник повыше, сунул руки в карманы, нахохлился и неторопливо пошел по Метростроевской к Крымской площади: в тех двух случаях она шла домой от станции метро.

Он прошел туда и обратно и еще раз туда. За это время снег словно еще больше побелел, а небо потемнело — это выползли из преулков сумерки. «Зачем я хожу?» — подумал Дмитрий Алексеевич, решительно останавливаясь, и тут увидел Жанну. Она шла ему навстречу, в черном пальто, узко перехваченная ремешком, не вынимая рук из карманов, наклонив милую голову в зеленой шапочке с кошачьими ушками. Она шла не одна. Ее вел под руку молоденький капитан в новой шапке, в новой шинели с блестящими пуговицами — вел и смотрел с боку на ее шапочку.

— Понятно? — услышал Дмитрий Алексеевич его отрывистый тенорок. — Колька сидит, и Мишка сидит, а я сдаю карты. Четвертого не было, ясно? А Колька в преферанс не умеет . . .

Они медленно прошли, стараясь попасть в ногу. Взгляд Жанны спокойно скользнул мимо Дмитрия Алексеевича, который в эту минуту был похож на обсыпанного снегом часового.

— Вам по строевой ставлю единицу! — сказала Жанна. — Не умеете в ногу ходить...

Дмитрий Алексеевич медленно двинулся за ними. Он отставал все дальше. Потом остановился. А те, впереди, попали наконец в ногу, довольные, ускорили шаг. «Нет, посмотрим на тебя еще раз!» — Дмитрий Алексеевич перебежал на другой тротуар, обогнал их, опять перешел улицу и, припав грудью к крашеной трубе перед витриной, принялся с неожиданным интересом рассматривать пуговицы и расчески.

Вот опять слышен голос капитана: «Колька не умеет в преферанс, ни черта не смыслит, понятно? — капитан даже похлопал рукой по голенищу, и Жанна засмеялась. — А я ему сдаю чистый мизер! И он не знает! Беспомощен! Ясно?»

Дмитрий Алексеевич обернулся, и у него сразу замерло дыхание: Жанна смотрела ему в глаза. Там, в глубине, у нее что-то вздрогнуло. Но нет, она не видела эту засыпанную снегом фигуру, между нею и Дмитрием Алексеевичем был Колька и блестящий капитанский сапог. Лицо у нее было такое же, как и три года назад, — белое, с монгольскими выпуклостями под темными, далеко расставленными глазами. Выставив плечо в сторону капитана, она улыбнулась, коварно опустив глаза.

— Что же вы этим хотите сказать? Я — Колька, а вы — этот счастливый мизер, который мне привалил и которого я не могу оценить? А вы знаете, что такое по латыни «мизер»?.. Не скажу! Посмотрите-ка в словарь иностранных слов.

«Хо-хо-хо! — все засмеялось внутри Дмитрия Алексеевича. — Молодец! Отбрила! Разыграла мизер!»

Не шевелясь, он проводил их острым, пристальным взглядом. Потом перешел на ту сторону и, оглядываясь, побрел к Кропоткинским воротам.

И вдруг увидел — те двое неуверенно замедлили шаг. Вернее, Жанна отстала, и капитан остановился. Она посмотрела вниз, вспоминая что-то, а спутник ее в ожидании, вдалеке, участливо наклонил голову. Жанна вспомнила — торопливо идет назад, проталкивается между прохожими с отчаянным упорством. К витрине! Подошла к крашеной трубе, постояла, быстро оглянулась, прижала руки к груди. Вбежала в магазин и сразу же показалась в дверях. Капитан с заинтересованным видом приблизился к ней. «Постойте, я сейчас», — показала она ему рукой и вдруг бросилась бежать дальше, к Крымской площади. «Будь, что будет, — подумал Дмитрий Алексеевич и уже повернулся, чтобы обогнать ее и неожиданно выйти навстречу. — Но что же я ей скажу? Опять придумывать? Обманывать?» — И он поскорее спрятался за столб. Издалека он увидел: Жанна медленно шла назад. Остановилась около витрины, потрогала трубу...

Уже стемнело, желто засветились окна, замигали, потекли красные и желтые огоньки машин. Дмитрий Алексеевич шел бульваром к Ар-

бату, вдоль ряда скамеек, занятых Любовью, Отдыхом и Материнством, и думал о том дне, когда, проверяя тетради учеников, он сделал на обложке одной из них первый неуверенный чертеж своей машины. Только прикинул — и увлекся. И пошло! «Вот и нашел судьбу! — подумал он с тихой улыбкой, качая головой, разводя руками. — Выпустил беса из бутылки, теперь не откупиться! А почему бы не обмануть беса — ведь сумел же Араховский! Вернуться в школу, куда-нибудь в уютный уголок, стать нормальным человеком, как эти вот, что сидят на лавочках. Всю переписку, все чертежи, весь этот «индивидуализм» —в огонь. И Жанна придет — тишина ее вполне устроит... За чем же дело стало!»

И он шел дальше, к Никитским воротам, чувствуя, что выпущенный бес надтреснуто смеется рядом с ним, подслушивая эти мысли. «Нет, нет, нет, — говорил этот бес. — Раньше ты бы еще мог бросить свою тетрадку в печь. Раньше, но не сейчас, когда ты понял, что в руках у тебя настоящее открытие, за которое вот эти, сидящие здесь на лавочках, скажут спасибо... Если оно, хе-хе, увидит свет!»

Два дня спустя Дмитрий Алексеевич получил протокол заседания технического совета, в котором нашел привычные уже для него выражения: «Ввиду сложности и громоздкости», «Менее рентабельна по сравнению с более простой машиной конструкции проф. Авдиева«, «Ряд существенных недостатков», и много других в таком же духе. Протокол заканчивался фразой: «Постановили признать нецелесообразным...» — дальше шли такие знакомые слова.

Всю формулировку Дмитрий Алексеевич знал заранее, он встречал ее не раз, она уже повторялась в музгинских письмах, и потому сейчас не произвела на него впечатления. Дмитрий Алексеевич не остался в долгу. Тут же, в приемной директора института, он привычной рукой написал жалобу на имя начальника технического управления министерства. Указав на конверте адрес своей гостиницы, он сдал жалобу в экспедицию министерства — на первом этаже того двенадцатиэтажного здания, которое занимает половину Пашутинского проезда.

На следующее утро его вызвали в гостинице к телефону. Мирный женский голос сказал: «Товарищ Лопаткин? Товарищ Дроздов вас примет сегодня в пять часов. Возьмите с собой паспорт, пропуск заказан». Отойдя от телефона, Дмитрий Алексеевич подумал: «Какой Дроздов? Неужели тот? Да, ведь о н а что-то писала насчет отъезда из Музги...»

В три часа Дмитрий Алексеевич побрился, почистил ботинки, по военной привычке отшлифовал щеткой пуговицы на кителе, собрав их все в ряд на специальной дощечке. В половине пятого он вышел из троллейбуса около бюро пропусков министерства и остановился, рассматривая цоколь министерского здания, который был облицован черным камнем с зеленоватыми кристаллами, холодно мерцающими под полированной поверхностью. В пять часов он сидел на диване в светлокремовой приемной, перед дверью с мягкой коричневой обивкой. Рядом с дверью была привинчена черная табличка из толстого стекла, на ней строго играли золотом слова: «Начальник технического управления Л. И. Дроздов».

В стороне за столом секретарша, белолицая, с детским румянцем

девушка, опустив глаза, снимала телефонные трубки, вполголоса отвечала: «Леонид Иванович занят...» Ее толстые желто-белые косы, уложенные на затылке в калачик, словно бы распространяли свет. «Русская заря», — подумал с улыбкой Дмитрий Алексеевич.

Вот за спиной Зари рявкнул электрический сигнал. Секретарша встала, выждала паузу, посмотрела себе на кофточку, на руки и затем спокойно вошла в кабинет. Тут же вернулась и учтиво сказала:

— Пройдите.

Кабинет начальника технического управления был поменьше размером, чем кабинет директора комбината. Но зато сам начальник был строже и холоднее директора. На нем был серый китель и полковничьи погоны. Он неподвижно сидел за своим громадным столом, нахохлившись, соединив перед собой руки в большой желтый кулак и на его умном, худощавом и нервном лице Дмитрий Алексеевич прочитал: «Мы с вами знакомы. Но для государственного человека знакомство не имеет значения». В стороне на диване полулежал человек с высоким челом, в золотых очках и в дорогом костюме цементного цвета. Он пристально, с интересом смотрел на Дмитрия Алексеевича и играл на диване белыми жемчужными пальцами. Шутиков! Лопаткин узнал его и поклонился.

На столике рядом с Дроздовым чуть пискнул электрический сигнал. Начальник управления поморщился, снял трубку телефона и, показав Дмитрию Алексеевичу на кресло, сонным голосом сказал: «Да...»

Дмитрий Алексеевич сел, как всегда закинув ногу на ногу. Дроздов посмотрел на него и закрыл глаза, показывая, что ему приходится выслушивать по телефону всякие глупости.

— А кто же? — закричал он в трубку. — Пушкин Александр Сергеевич будет за вас делать? Вот теперь вы начинаете... звонить... Что делать? Делайте то, что я сказал.

Он положил трубку, вышел из-за стола и протянул руку.

— Ну, здравствуйте. С приездом. Познакомьтесь, Павел Иванович, это наш изобретатель...

Шутиков встал, сияя золотом очков, с извивающейся доброй улыбкой подал мягкую руку и сказал сквозь улыбку: «Мы уже знакомы с товарищем Лопаткиным», — и опять повалился на диван.

Открыв серебрянный портсигар, Дроздов протянул его сначала Шутикову, затем Дмитрию Алексеевичу. Все задымили. Дроздов вернулся на свое место, уселся, закрыл глаза и затем медленно их полуоткрыл:

— Н-ну... Как дела? Жалуешься?

— Да, Леонид Иванович. Жалуюсь.

— Что-ж, правильно делаешь. Значит не устраивает тебя решение совета?

— Ни в малейшей степени.

— Даже ни в малейшей! — Дроздов скосил гдаза в сторону Шутикова. — Ить ты, понимаешь, какой несговорчивый!

— Не могу согласиться ни с одним пунктом.

— Даже так! А ведь решение-то содержит аргументы...

— На техническом совете высказывались и иные мнения. В мою пользу.

— Это кто — Галицкий? Один человек — меньшинство. У них, у ученых, не больно развернешься. Чуть что — сразу голосовать. Демократия.

Сказав это, Дроздов опять посмотрел на Шутикова.

— Видите ли, Леонид Иванович, собрание не было в достаточной степени представительным, — сказал Лопаткин. — Если бы был приглашен академик Флоринский, уже было бы два голоса в мою пользу.

— Вы ничего не знаете, — сказал Шутиков, сияя доброй улыбкой. — Этих стариков никто еще не мог пригласить обоих на одно заседание. Всегда один вежливо откажется или заболеет, как только узнает, что приглашен и другой.

— Обстоятельство удобное, — заметил Дмитрий Алексеевич, оборачиваясь к нему. — Но ведь можно же насчитать еще добрый десяток ученых, которые положительно отзывались о моей машине. Почему их не пригласили? Почему только эти шестнадцать человек?

— Я просматривал список присутствовавших. Там авторитетные имена...

— А подбор был явно тенденциозен.

— Ну, дорогой мой, — Шутиков, улыбаясь, встал, — в такой плоскости я никак не могу поддерживать серьезный разговор. Центральный институт — авторитетная организация. И мы не можем ей, вот так, запросто, не верить. Если они коллективно говорят, что машина не годится, то это вывод, самый близкий к истине. Вы, Леонид Иванович, ответьте товарищу... коротенько, в том духе, как я сказал... Ответьте ему. А теперь разрешите...

— Не сможете вы меня принять на несколько минут? — спросил Дмитрий Алексеевич.

— Пожалуйста. Звоните. Я всегда готов побеседовать с вами... А сейчас разрешите пожелать вам...

Шутиков просиял своей скромной, извиняющейся улыбкой, мягко пожал Дмитрию Алексеевичу руку и вышел, играя складками костюма.

Когда дверь за ним закрылась, Дроздов потянулся, уперся ногами во что-то и отъехал от стола.

— Вот так, брат. Таково наше мнение. Кури, кури, давай. Практически это мнение министерства.

— Попробуем оспорить и это мнение, — сказал Дмитрий Алексеевич, беря папиросу из портсигара. Он встретился с давно знакомым, веселым взглядом Дроздова и почувствовал, что упустил какую-то возможность, о которой Дроздов никогда первым не заговорит.

— В данном случае, — сказал Дроздов, — вы потерпите фиаско. И обнаружите, я бы сказал, политическую несостоятельноать...

Он вышел из-за стола и, держа руки в карманах, глядя на носки ботинок, прошелся по ковру.

— Видишь ли, товарищ Лопаткин, если бы я был писателем, я бы написал про тебя роман. Потому что твоя фигура действительно трагическая... Ты олицетворяешь собой, — тут Дроздов повернулся к Дмитрию Алексеевичу и с шутливой улыбкой заложил руку за борт кителя, — целую эпоху... которая безвозвратно канула в прошлое. Ты герой, но ты — одиночка. — Сказав это, он умолк и заходил по ковру кривыми кругами. — Мы видим тебя, как на ладони, а ты нас не пони-

маешь. Ты не понимаешь, например, того, что мы можем обойтись без твоего изобретения, даже если бы оно было настоящим, большим изобретением. Обойдемся — и представь! — не понесем ущерба. Да, товарищ Лопаткин, ущерба мы не понесем в силу строгого расчета и планирования, которое обеспечивает нам поступательное движение вперед. Допустим даже, что твое изобретение гениально! Когда по государственным расчетам станет на повестке дня задача...

— Она давно стоит, — сказал Дмитрий Алексеевич.

— ...которую стихийно пытаешься разрешить ты, — продолжал Дроздов, — наши конструкторские и технические коллективы найдут решение. И это решение будет лучше твоего, потому что коллективные поиски всегда ведут к быстрейшему и наилучшему решению проблемы. Коллектив гениальнее любого гения.

— Надо бы конкретнее, ближе к профессору Авдиеву... — начал было Дмитрий Алексеевич. Но Дроздов не услышал его. Он приблизился, глядя в упор веселыми черными глазами.

— И получается, товарищ Лопаткин, непонятная для вас вещь! Мы — строящие муравьи... — Когда он сказал это слово, в веселых глазах его, на дне, шевельнулось холодное чудовище вражды. — Да... мы, строящие муравьи, нужны...

— Один из этих муравьев... — перебил его Дмитрий Алексеевич, но Дроздов не дал ему договорить, возвысил голос:

— А ты, гений-одиночка, не нужен с твоей гигантской идеей, которая стоит на тонких ножках. Нет капиталиста, который купил бы эту идею, а народу ни к чему эти дергающие экономику стихийные страсти. Мы к нужному решению придем постепенно, без паники, в нужный день и даже в нужный час.

— Один из этих муравьев, — монотонно заговорил Дмитрий Алексеевич, сдерживаясь, чувствуя, что в нем закипает вражда, — один из этих муравьев забрался все-таки на березу, повыше, и позволяет себе думать за всех, решает, что народу к чему, а что ни к чему... Я тоже муравей! — заревело в нем вдруг что-то. — Притом на березу не лезу, а тащу в муравейник гусеницу, которая раз в десять тяжелее меня... Извольте...

— Писать вам ответ по всей форме? — Дроздов сел за стол и замолчал, растирая пальцами желтый лоб, выжидая. — Или вы удовлетворитесь этой з-задушевной беседой?

— Пишите по всей форме, — сказал Дмитрий Алексеевич.

— Вы хотите бороться за свою г-гусеницу? — теперь он был холоден. — Давайте, давайте. Поборемся.

Он торжественно встал и протянул Дмитрию Алексеевичу руку.

Через два дня Дмитрий Алексеевич получил письмо от заместителя начальника технического управления, подписанное лихим и неразборчивым росчерком: «Ваша жалоба доложена заместителю министра тов. Шутикову и отклонена, как неправильно освещающая ход и решение Технического совета Гипролито».

Дмитрий Алексеевич знал заранее, что ответ будет именно таким, но все же, прочитав его, побледнел и, выйдя в уборную гостиницы, полчаса курил там свой сибирский самосад. Потом он вернулся и, злобно поглядывая по сторонам, написал два письма — ответ Шутикову и жалобу на имя министра.

И с этого момента у него словно бы началась новая жизнь. С утра, подрезав бахрому на рукавах кителя и — в который уже раз — выругав себя за то, что отказался в Музге от дроздовского костюма, наметив заранее маршрут, он отправлялся в поход. Широким, нервным шагом он почти бежал через всю Москву на прием в какой-нибудь комитет или комиссию, или в управление. Мозг его при этом не дремал, а, наоборот, усиленно работал, вызывая к изобретателю на расправу то улыбающегося, ласкового, одетого в золотое сияние Шутикова, то самодовольно закрывшего глаза Дроздова, то наивно удивленного, женственного Фундатора. И Дмитрий Алексеевич мгновенно уничтожал их всех. «Что же они говорят между собой обо мне?» — думал он и шептал: «Неприспособленный, труха! Нет пробивной силы!» «Хотел бы я хоть на час превратиться в кого-нибудь из них, посмотреть, что они думают. Видят ли, понимают ли, от чего могут гореть у человека глаза? Неужели видят, что я прав? Но тогда это — преступление! .. А если они не видят — значит дураки? Как же они сидят там, этот Шутиков, этот Дроздов?»

Иногда Дмитрий Алексеевич вдруг останавливался на улице, словно налетев на столб. Это вырастало перед ним неожиданное сомнение. «Неужели неправ я?» — думал он, бледнея, и лез в карман за кисетом. Закурив, с опущенной головой он медленно шел дальше, обдумывая все стороны своего дела. «Но ведь академик Флоринский с самого начала был за мою машину. И еще ведь были отзывы... А Галицкий — это же известный, серьезный работник! Во всяком случае опытный образец построить должны. Должны! Почему же они не строят? Государственную копейку жалеют?» — и, подумав об этом, Дмитрий Алексеевич неожиданно начинал смеяться, удивляя прохожих. Он не мог удержаться от этого громкого смеха, потому что вспоминал машину Авдиева, которая была построена, чтобы принести миллионные убытки. Не машина, а первобытное приспособление — и даже пятнышка не посадила на солидное имя этого «Колумба»!

Мысли его всего яснее были ночью. Он ворочался на своей кровати и по нескольку раз — в полночь и под утро — выходил покурить. Он приучил себя записывать мысли, и к концу каждой недели составлял из своих записок одно или два письма с ядовитыми намеками на некоторых особ, «превративших аппарат государственного учреждения в бюрократическую крепость», или с разоблачением круговой поруки монополистов, «уничтожающих живую мысль, рожденную в народе». Написав на конвертах адреса все тех же комитетов или редакций, он бросал их в почтовый ящик, и тут же разгоряченный ум подсказывал ему новый верный ход, новое письмо.

Бросая в лицо воображаемым Шутикову или Дроздову свои лучшие, логически связанные доводы, Дмитрий Алексеевич все чаще останавливался, чтобы перевести дыхание, и с удивлением щупал грудь там, где сердце, и на спине — где лопатка. Чем ярче была его мысль, тем сильнее давила его сзади в сердце незнакомая, растущая боль.

Он записался в поликлинике на прием к врачу и однажды утром, испуганный, вошел в белый кабинет, пахнущий валерьяновыми каплями. Он сразу же торопливо и подробно начал рассказывать врачу о своих болях. Две медсестры оглянулись на него, а врач, старая жен-

щина с желтыми крашеными волосами, заполняя карточку, несколько раз сказала ему: «Не надо волноваться! Товарищ, успокойтесь!» Прослушав его сердце и легкие, она обернула его голую руку черной полоской материи, от которой шли трубки к манометру и резиновой груше. Стала накачивать воздух, красная жидкость поднялась в трубке манометра и затем мягкими толчками стала опадать.

— Молодой челове-ек, — протянула женщина, следя за жидкостью, — у вас повышено давление. Вам надо спать и гулять, гулять и спать и ни о чем не думать. Кушайте фрукты, мяса и вина не употребляйте ни в коем случае. Эта вещь может кончиться очень плохо, не шутите с ней.

И Дмитрий Алексеевич с этого же дня приказал себе забыть и забыл о том, что он автор чего-то. Теперь он два раза обходил город по определенному маршруту — каждый раз по пять километров. После прогулки он глотал несколько пилюль и ложился спать, а если его ждало письмо, то письмо это летело нераспечатанным в чемодан, под кровать.

Этот режим продолжался дней десять, и дело с лечением, быть может, благополучно растянулось бы до месяца, но один случай многое изменил в судьбе Дмитрия Алексеевича. Однажды утром он шел по своему маршруту и просматривал по пути свежие газеты, расклеенные на деревянных щитах. Все было, как и вчера, все статьи проходили мимо его сознания, жестко заторможенного на время нежданной болезни. Он переходил от газеты к газете, рассматривал по пути дома, читал вывески. И если ему попадалось что-нибудь вроде «корсеты, грации и полуграции», он улыбался, потому что веселым вещам разрешено было входить в больной дом. Так он шел, бездумно повинуясь своей новой ленивой привычке, останавливаясь около газет и ничего не читая, и вдруг увидел на безразличном газетном фоне заголовок: «Шире дорогу новаторам!» Это была огромная статья, целый газетный подвал, и подписал ее не кто иной, как заместитель министра Шутиков!

Дмитрий Алексеевич удивленно улыбнулся, бегло просмотрел статью, сказал: «Ну-ну!» — и покачал головой. Он стал читать статью сначала и после первого же абзаца нахмурился и угрожающе зашептал: «Ч-черт... Ах, подлец... Нет, нельзя так оставить!» Потом он перебежал улицу, купил в киоске эту газету и широким шагом понесся в гостиницу, останавливаясь время от времени, чтобы записать удачную мысль.

В номере он сел за стол и весь день, до позднего вечера, писал письмо редактору газеты.

«Почему, — писал он, —почетная возможность обобщать достижения нашей техники на страницах вашей всеми уважаемой газеты, почему эта роль предоставлена тов. Шутикову? Может быть, статья была заказана ему как руководителю одного из больших разделов новой техники? Но опросите тысячу изобретателей — тех, кто имел дело с тов. Шутиковым, и я уверен, 95 процентов из них скажут, что тов. Шутиков им не помогал, а лишь топил изобретения. Большой мастер напускать туману, он обманул и вас, тов. редактор! «Только за прошлый год, — пишет он, — на предприятиях министерства было внедрено более четырех тысяч изобретений и рационализаторских

предложений». А спросите его, сколько им внедрено собственно *изобретений*, то есть таких новинок, которые в корне ломают старые процессы и требуют особого внимания со стороны начальства? Задав ему этот вопрос, вы сразу поймете, почему он объединил рационализацию с изобретениями: он поступает, как интендант, который заменил мясо сухарями и прикрыл эту операцию словом «продовольствие». Автор хорошо сказал в статье о преимуществах поточного производства и центробежного литья. Но ведь еще с 1944 года...» — дальше на двенадцати страницах шло подробное описание мытарств Дмитрия Алексеевича.

«По его вызову я оставил работу, — писал он поздно вечером, — и приехал в Москву. И здесь от него же я получил отказ: на средства, отпущенные для постройки моей машины, он строит машину Авдиева, которая ничего, кроме убытков, не принесет. Сейчас я снова по его вызову нахожусь в Москве. Недавно тенденциозно подобранный совет забраковал мой проект, я написал *шесть* писем тов. Шутикову, подробно сообщая о всех безобразиях, и не получил *никакого* ответа. Он обещал принять меня, я сделал уже 16 попыток добиться этого свидания, но принят не был, не был также соединен и по телефону».

Дмитрий Алексеевич решил сам отнести письмо в редакцию. Начистив пуговицы и ботинки, он точно в два часа дня вошел в розовое здание газетного комбината. Он сразу почувствовал здесь особый запах типографии, похожий на запах керосиновой лавки. Вместе с двумя фоторепортерами и курьершей, которая несла мокрые газетные листы, он вошел в лифт и поднялся на пятый этаж. Отдел писем был еще заперт. Дмитрий Алексеевич спросил у курьерши, когда его откроют, и получил непонятный ответ: когда окончится *летучка*.

Он решил подождать и пошел куда глаза глядят, с интересом читая таблички на дверях. Коридор привел его в просторное помещение с овальными колоннами и стеклянной стеной-окном. Здесь у круглого столика для посетителей редакции были поставлены тяжелые кресла, обитые лиловым, беспокойно мерцающим бархатом. Дмитрий Алексеевич сел в одно из них. Через минуту из коридора быстро вышел седой изнуренный старик с грязнобелыми усами, одетый в обвислое серое пальто, связанное, как чулок, из толстых ниток. Держа за спиной серую кепку, помахивая ею, он осмотрел помещение, быстро оглядел Дмитрия Алексеевича сквозь очки умными, лихорадочно сияющими глазами и, чуть заметно поведя плечом, отвернулся, сел в соседнее кресло.

Наступила тишина. Через полчаса Дмитрий Алексеевич мельком взглянул на своего соседа. Старик нервно играл носком черного ботинка с заплатой. «Саботаж, — вдруг шепнул он, — Какая-то злая направленность!» — и обернулся к Дмитрию Алексеевичу.

— Вам, товарищ, не приходилось быть литератором?

— А вы литератор?

— Вы представьте, статья была набрана, —проговорил старик, не отвечая на вопрос. — Стояла в номере! И редактор ее снял! — он зло покривился и покачал головой. — Все получилось, как у Шуберта в песенке: «Он снял ее с улыбкой, я волю дал слезам». Хотя вы этого не понимаете... Попробуйте придумать что-нибудь серьезное, какую-

нибудь вещь, машину, например. Сдайте. Пойдет на консультации. Вы увидите взоры, направленные на вас, — он затряс головой, забасил, — как на проходимца и жулика! Вот тогда поймете...

— Вы, наверно, изобретатель?

— Дорогой мой, не надо спрашивать... Что это у вас, письмо? Дай-ка сюда...

Он ловко выхватил из рук Дмитрия Алексеевича его листки и поднес их к очкам.

— Понятно! Значит, вы имеете авторское свидетельство! — приговаривал он, читая. — Значит, Лопаткин? Дмитрий Алексеевич? — он прямо на глазах добрел, менялся с удивительной быстротой. — Вы написали дельное письмо, Дмитрий... Дмитрий Алексеевич. Будь я начальником, — он усмехнулся, — я сразу наложил бы резолюцию: «к исполнению». Только я посоветовал бы вам учесть мой опыт и не тратить сил.

— Но ведь слушайте... Я же не в НИИЦентролит пришел, а в газету!..

— Дорогой мой! Дорогой мой! Кто же здесь сможет разобраться в том, кто прав: вы или ваш Шутиков? Пока прав Шутиков: он — лицо, облеченное доверием государства, а вы — улица многоликая. Вопрос ваш сугубо специфический. Это не жилищная тяжба... Чтобы решить ваш вопрос, надо послать письмо на консультацию к знающим. А много ли их? А где они? В том же вашем Центролите! Вы только переменили иглу, Дмитрий Алексеевич — так, кажется, вас звать? А пластинка старая-престарая, и она будет петь одно и то же: «отказать, отказать, отказать...»

Дмитрий Алексеевич нахмурился.

— Вы на меня-то не сердитесь! — старик стал еще мягче, повернулся к нему. — Вы посудите: письмо поступает к самому заву отдела писем. Он хочет вам помочь, он хороший человек. А письмо непонятно: какой-то ферростатический напор, какие-то свойства чугуна... Надо послать для апробации. Кому? Тут вы предупреждаете, что в Центролите — монополисты. Но кто возьмется это расследовать и, главное, кто сумеет доказать? А без авторитетного доказательства здесь не обойтись. Разве Красная Шапочка может знать, что в бабушкиной кроватке лежит волк? Попробуйте, назовите почтенную бабушку волком! Вы еще не выступали в роли клеветника?

— Н-нет...

— Это все закономерно. Вы даете новое, а на консультацию это новое пойдет к старому!

— А почему не к новому?

— Потому что около новорожденных всегда хлопочут старухи. Ведь вы же, вы — новое!

— В общем, все это мне понятно. Я особых надежд на это письмо и не возлагаю. Вот если бы вы мне сумели на основании своего опыта предсказать...

В это время коридор наполнился быстро идущими, жестикулирующими людьми — «летучка», видимо, окончилась. Старик встал.

— Предсказать нетрудно, товарищ. Давайте через полчаса встретимся. Здесь!

Он быстро ушел, по-молодому стуча ботинками, свернул в кори-

дор. Дмитрий Алексеевич подождал немного, потом поднялся и с равнодушным, даже беспечным видом прошел в отдел писем. Пожилая женщина, должно быть заведующая, усадила его против себя, внимательно выслушала, прочитала письмо.

— Будем проверять, товарищ, — сказала она, задумчиво, словно бы издалека, рассматривая его. — Пока ничего не скажу... Мы напишем вам.

Когда он вернулся к своему бархатному креслу, там уже сидел старик в очках, закусив кулак, напряженно думая о чем-то.

— Куда ни пойдешь, словно черт перед тобой бежит, — басисто шепнул он, глядя в сторону. — Гоните, мол, его в три шеи. Нет приема!

Потом старик поднялся, и они молча пошли по коридору.

— Одно время я применял неправильную тактику, — заговорил старик на лестнице. — Шумел, врывался в кабинеты. Теперь спохватился, но поздно — везде меня знают, как облупленного. Учтите это. Да... так вы спрашивали, что вас ждет. Слушайте, вот ваш путь: вы будете бегать, хлопотать и добегаетесь — ваше изобретение упорхнет за границу. — Последние слова он прошептал, таинственно блеснув глазами.

— Ну-у, этого как раз я меньше всего боюсь. Чепуха.

— Не зарекайтесь! — старик приблизил свои усы к уху Дмитрия Алексеевича. — Перед вами человек, который недооценил экономический шпионаж и пострадал от этого.

— Да ну! — говоря это, Дмитрий Алексеевич невольно осмотрел своего нового знакомца, его обвислое пальто, похожее на вязаную кофту, его серое лицо, водянистый нос и изжелта-седые усы. — Даже пострадали? Скажите пожалуйства!

Старик показал глазами: «выйдем на улицу». Они молча спустились по лестнице вниз, прошли через зеркальный лабиринт подъезда, и на тротуаре этот странный человек схватил Дмитрия Алексеевича под руку.

— Я не спрашиваю у вас документов, — сказал он, бегло взглянув по сторонам. — Я изучил ваше лицо. Это прекрасный паспорт изобретателя, в котором зарегистрировано все, в том числе и стаж. Так вот я вам расскажу. Я всю жизнь нахожусь под наблюдением иностранной разведки. Но они действуют очень грубо. Одно мое лучшее изобретение им удалось выкрасть. Остальное я надежно сохраняю.

— Вы разве не литератор?

— Вы же видите, какой я литератор! Я попробовал, написал сюда обзор технических журналов. Чуть не стал было литератором, но редактор спохватился во-время — послал на консультацию к моим друзьям. Да... Так давайте сначала познакомимся, раз на то пошло. Меня зовут Бусько, профессор Бусько, Евгений Устинович.

Дмитрий Алексеевич, предчувствуя интересную беседу, свернул цыгарку и протянул кисет профессору — закурить по случаю знакомства. Но тут они поровнялись с ларьком, около которого в свободных позах стояли пьяницы. Старик попросил прощения, подбежал к окошку, сосчитал деньги на ладони, помешкал немного, уплатил и быстро что-то выпил.

— Знаете, добегался! Все там простужено, хрипит, — сказал он,

возвращаясь к Дмитрию Алексеевичу и держась за грудь. — С чего же мы начнем? Да, так вот: моя специальность — огонь...

Так он начал свой обстоятельный рассказ. И, так же неторопливо, как текла их беседа, они двинулись в свою первую прогулку по городу.

В шесть часов вечера, когда Дмитрий Алексеевич уже узнал третью часть истории своего спутника — как был найден двадцать пять лет назад порошок, мгновенно гасящий пламя, как это изобретение начали браковать консультанты и рецензенты, и о том, наконец, как за границей появились огнетушители с этим порошком, — в шесть часов оба собеседника брели по темному от сумерек, узкому Ляхову переулку, что возле Сивцева Вражка. Дмитрий Алексеевич мог бы подумать, что сюда их завели ноги, которые во время беседы ученых или мыслителей сами выбирают маршрут. Но, пройдя несколько домов, профессор Бусько, умиротворенный рассказом о своих страданиях, вдруг остановился, протянул руку к двухэтажному облупленному дому, зажатому с двух сторон серыми каменными громадами, и сказал:

— Вот этот дом был построен еще до московского пожара. Не сгорел, хотя и деревянный. Ну, а сейчас и подавно не сгорит, — старик засмеялся. — Потому что в нем живу я.

3

Обе стороны Ляхова переулка были застроены громадными домами и маленькими оштукатуренными по дереву домиками. Старая Москва тихонько и упрямо жила рядом с новой Москвой, у подъездов которой стояли блестящие автомобили, с Москвой, построенной из стали, железобетонных блоков, одетой в сухую штукатурку и блистающей полированным гранитом цоколей. Дмитрий Алексеевич и профессор подошли к высокому дому с несколькими десятками обелисков на крыше и над подъездами. На боковой стене этого дома Лопаткин увидел громадный плакат с надписью: «Страхование имущества». Там была изображена пара — прилично одетые мужчина и женщина, неуверенно сидящие на диване по обе стороны открытого патефона. Слева и справа были нарисованы радиоприемник и зеркальный шкаф.

— Клавдию Шульженко слушают, — сказал Бусько, смеясь, беря своего гостя под руку. — Несколько лет все у патефона сидят. У нас в квартире есть такая пара.

Старик провел Дмитрия Алексеевича под высокой аркой во двор, и они очутились в старой Москве — среди флигелей и сараев с голубятнями. Они сделали еще несколько поворотов и опять увидели тот же ветхий барский дом, его колонны и каменные ступеньки, вросшие в землю. Поднялись на второй этаж, и, пока старик звенел в кармане ключами, Дмитрий Алексеевич в раздумьи осмотрел высокую изрезанную дверь, облепленную без малого десятком кнопок для звонков. «Звонить только Петуховым», «Синицкому», «Только Завише и Тымянскому», «Бакрадзе», — читал он надписи на бумажках под кнопками. «Газеты — Петуховым», — было написано на железном ящике для писем.

Наконец старик открыл дверь, и Дмитрий Алексеевич, озираясь, вошел в длинный сумрачный коридор с очень высоким потолком.

Только этот высокий закопченный потолок и остался от господских покоев. Все здесь было разгорожено на комнатки и комнатушки. Старая Москва была больна, и жильцы, переполнившие ее, даже те, кто любит старину, открыто мечтали о новых, хоть и с низким потолком, но зато отдельных квартирах.

— Между прочим, мое первое изобретение было посвящено этому, — сказал старик, угадав мысли Дмитрия Алексеевича, — кирпич и керамика.

— Между прочим, и мое... — Дмитрий Алексеевич вздохнул. — Мое тоже имеет отношение к строительству домов — трубы...

— Вы не обратили внимания на потолок? — сказал профессор. — Это ведь старинная лепка.

И пока Дмитрий Алексеевич силился рассмотреть эту лепку, профессор ловко выхватил что-то прямо из стены, оклеенной желтыми обоями. Дмитрий Алексеевич заметил только, как мелькнул в руке Бусько крюк из толстой проволоки. Старик повернулся спиной к своему гостю, что-то таинственно сделал этим крюком, и низенькая дверь открылась. На внутренней стороне ее был прилажен громадный деревянный запор с винтами и пружинами.

— Снип-снап-снурре... — страшным голосом сказал Дмитрий Алексеевич, разглядывая этот механизм.

— А?.. — профессор опешил, затих. Потом растерянное лицо его дернулось, неуверенно улыбнулось. — Это вы, кажется, из Андерсена? По моему адресу? Смейтесь! Это мой надежный сторож, а здесь есть что сторожить.

Профессор зажег яркий свет, и они вошли в комнатку, холодную и запущенную, как будто бы в ней никто не жил. Прежде всего Дмитрий Алексеевич увидел большую фарфоровую ступу на столе посреди комнаты, а рядом со ступой — сковородку с голубоватым салом. К этому салу пристыла обложка раскрытой книги с латинским шрифтом, брошенной на сковороду. Тут же, на столе, около немытого стакана лежали листы рукописи, развернутые веером и придавленные тяжелыми керамическими плитками и кубиками — это были, видимо, изделия профессора. На полу и на стульях пылились сваленные и сложенные стопами книги, на подоконнике тускло блестели грязные пробирки, причудливо изогнутые склянки, тарелки, чайник и были сложены пирамидкой такие же обожженные плитки и кубики. Половину стены закрывал большой чугунный станок — «чертежный комбайн», а за ним на длинном сундуке была смятая, неубранная постель хозяина комнаты.

Дмитрий Алексеевич, как в музее, рассматривал все подробности этой комнаты, а старик включил тем временем электрическую плитку, зажег керогаз и повесил на гвоздь пальто. Теперь он был в черном коротком пиджачке, с блеском на спине и локтях. Он остановился против своего гостя, быстро потирая руки, мелькая желтоватыми манжетами и старинными запонками.

— Вот и тепло. Садитесь. Дайте-ка вашего табачку, мы сейчас закурим и продолжим нашу беседу. Да, так вот...

И положив Дмитрию Алексеевичу в руку тяжелый керамический кубик, он стал рассказывать о своем втором открытии — о керамике, не требующей специальных глин. Можно было надеяться, что откры-

тие это еще не попало за границу, — во всяком случае, у автора не было таких сведений. Но зато как были похожи все эти истории одна на другую!

— . . .пишу потом на него жалобу в высшие инстанции, она, конечно, возвращается к Фомину, и тот организует техсовет, чтобы окончательно угробить. Тридцать послушных Фомину человек без меня принимают решение — все под его диктовку. — «Бусько — хулиган, Бусько должен научиться разговаривать с людьми». Так ты же государственный человек, у тебя должен быть и подход! Изобретатель не нравится, но изобретение-то может понравиться? А они вместо ad rem — ad hominem — не «что изобрел», а «кто он?». А потом те же члены совета растащили мою технологию по кускам. . .

— Да, — сказал Дмитрий Алексеевич, неопределенно вздыхая, больше для порядка. Он и верил и не верил старику.

— Вижу, что вы еще ничего не знаете. — Профессор выхватил у него из рук кубик и с досадой бросил на стол. — Здоров, талантлив, жизнерадостен! Разбираетесь вы хоть немножко в людях?

— Надо активнее разоблачать ловкачей, — сказал Дмитрий Алексеевич шутливым тоном, все еще с удивлением посматривая по сторонам.

— Активнее! Ученый не всегда приспособлен к такой борьбе. Иного за уши тащи бороться, а он не может. . .

— Евгений Устинович, а вы куда-нибудь писали? Не о журналах, а о себе?

Не ответив, в тишине старик прошел в угол, порылся там в книгах и бросил на стол пачку конвертов с черными и цветными штампами.

— Вот, пожалуйста! Здесь, кажется, восемь писем, я не считал. Милый, ведь это только штампы! Вы не на штампы смотрите, а вот сюда, кто подписывает. Кто такой, например, вот этот Минаев? Я его не знаю. А по ответу видно, что это юноша, который только и может сообразить, что это по такому-то ведомству, такому-то отделу — значит послать туда! Все письма возвращаются на круги своя. Текут реки в океан, а он не переполняется. И не возмущается. К тому месту, откуда реки начались, они возвращаются, чтобы опять течь. К тому, на кого жалуюсь!

Он остановился. В его темных, словно бы плавающих за очками глазах сияло что-то большое — не то огромный и грустный ум, не то сумасшествие.

— Вы не верите! Вам нужны документы! Пожалуйста!

И, отбежав в угол, он начал бросать оттуда на пол, к ногам Дмитрия Алексеевича голубовато-зеленые испачканные листы с красными печатями на шелковых ленточках. Дмитрий Алексеевич невольно ахнул. Это все были авторские свидетельства. У Лопаткина было одно такое свидетельство, а здесь к его ногам летели шесть. . . восемь твердых голубовато-зеленых листов! Дмитрий Алексеевич бросился их собирать.

— Вот он, народ, идет по улице, — кричал старик, все больше напрягаясь, стуча в окно, — и не могу ему отдать! Даром! Жизнь в придачу отдаю и. . . не могу!

Он отвернулся, украдкой поднес рукав к лицу, смахнул что-то, шмыгнул носом.

— Я сейчас, как дикарь, — сказал он, утихая. — Ум живет, мечтать могу о самолете, а сделать — средств нет. Все время терплю поражения. У меня нет лабораторной техники, нет сотрудников. При одном техническом сотруднике я утроил бы производительность! Вот видите, даже разревелся. Погодите, и вы заплачете. Побегаете к ним!

— Евгений Устинович! Я, например, если бы у меня не было заявлено, предложил бы им соавторство. Пусть берут себе девять десятых, даже все десять — черт с ними! Ведь не в этом же дело!

— А у меня не заявлено? Заявлено и у меня, сделал такую глупость! Они будут теперь искать только свое решение. «Никто на нас работать не станет» — это их девиз. А во-вторых, чего вы хотите? — Голос старика отвердел. — Фоминых кормить? Чтобы моя люлька досталась проклятым ляхам? Нет. Лучше я сгорю вместе с ней, как Тарас Бульба, — и он стал кривляться, как сумасшедший. — Они бы взяли все, что у меня лежит вот в этом сундуке, и продали бы за границу. Им подай! Только я теперь не заявляю о своих находках. Слава Богу, я уже пять лет, если выхожу куда, то только на разведку. Хватит. Бессмысленно иметь лишних врагов! Теперь я складываю все в сундук — сюда хоть шпионы не проникнут.

— Может, эти изобретения уже, так сказать... — начал было Дмитрий Алексеевич.

Старик посмотрел ему в глаза, угадал его сомнения. С неожиданной и удивительной силой, одной рукой, он отодвинул тяжелый чертежный станок и сбросил с сундука постель. Отпер массивный замок и, подняв крышку, с хищным удовлетворением заулыбался, глядя на дно сундука, молчаливо приглашая Дмитрия Алексеевича взглянуть на его сокровища. Подойдя к нему, Лопаткин удивился: в сундуке был строгий порядок, сияла, белела и поблескивала чистота. Богатство Евгения Устиновича состояло из нескольких десятков книг и папок, уложенных стопами на выстланном свежими газетами дне сундука. В картонных коробках блестели пробирки, отдельно были сложены малиновые, желтые и темнокоричневые керамические кубики, а вдоль стенки выстроились по ранжиру стеклянные банки с белыми, желтыми и серыми порошками.

— Я скупой рыщарь. Вот мое богатство. Миллионы! Вы думаете, они никому не нужны? — сказал профессор, с видом хозяина опираясь о крышку сундука. — Не нужны? Это вы хотели сказать? — Взяв из строя стеклянных банок самую маленькую, он встряхнул в ней белую тонкую пыль. — У меня украли порошок, гасящий пламя, и продают во всех странах мои огнетушители. А у меня сегодня в руках новое открытие, и о нем никто не знает. Этот порошок в три раза активнее того, чем Америка гасит пожары на нефтяных промыслах. Хотите продемонстрирую?

Сказав это, он проворно достал из сундука широкую кисть, которая называется у художников «флейц», и густо посыпал ее пылью из банки. «Это закуска», — проговорил он чуть слышно и, положив кисть на стул, взял из сундука большой пузырек с прозрачной жидкостью. «А это выпивка...» — И не успел Дмитрий Алексеевич сообразить, о какой выпивке идет речь, как Евгений Устинович, решительно нахмурясь, труся пузырьком, облил весь стол бензином — это был бензин, его острый запах! Скатерть быстро потемнела. «Отойдите», —

приказал старик. Оттолкнул Дмитрия Алексеевича, и весь стол глухо пыхнул и светло, весело запылал — профессор бросил туда горящую спичку.

— Ну вот, видите? Пожар, — сказал старик, неторопливо беря в руки флейц с порошком.

Он подошел к огню, выставив впереди себя согнутую руку, как бы закрывая лицо. Ударил кистью по руке, пламя хлопнуло, как хлопает под ветром простыня, и исчезло. Бегло взглянув на Дмитрия Алексеевича, старик молча, торопливо завернул свою кисть в газету, положил ее на дно сундука, запер сундук и бросил на него свою скомканную постель.

— Ну как? — спросил он, передвинув на место чертежный станок и выходя к столу. — Как вы говорите? Снип-снап-снурре? Не смотрите на стол! Все это сейчас высохнет. Это Б-70, авиационный. Не останется и следа. Вы мне скажите лучше: есть смысл экспериментировать над этой вещью? В более широком масштабе. Есть?

— Евгений Устинович, я считаю, что нужно немедленно...

— Ах, даже немедленно! Ну и прекрасно. А теперь забудьте обо всем, что вы видели. А то начнете думать, как я — днем и ночью, — и сойдете с ума. И давайте-ка расскажите о себе. Если я по глупости отнесу это, заявлю — сейчас же пойдут экспертизы, меня назовут проходимцем, вымогателем, любителем поживиться за государственный счет и прочая, и прочая, и прочая. Я не могу тягаться с ними в выдумывании таких слов.

Он открыл форточку, чтобы проветрить комнату. «Ага, на улице мороз. Очень хорошо», — прогудел он, доставая из-за окна подвешенный на шнурке чулок. Высыпал из чулка десять или двенадцать керамических кубиков и сделал отметку в записной книжке.

— Это я испытываю их. Всю зиму замораживаю и оттаиваю. А потом будем на механическую прочность... Так вот, слушаю вас. Давайте-ка расскажите о себе.

Дмитрий Алексеевич, немного смущенный, не сводя глаз с этого полусумасшедшего мудреца, рассказал свою историю, которая получилась очень короткой и бледной. Евгений Устинович перестал ее слушать уже на середине — он задумался, неподвижно замер, глядя на свой стол. Дмитрий Алексеевич поскорее закруглил свой рассказ. Наступила тишина, было слышно только задумчивое сопение старика.

— Да, — сказал он, стряхнув оцепенение. — Так где вы живете? Ах, да, вы не москвич. Что же вы — в гостинице? Два месяца жили? — Он задумался на миг. — Послушайте-ка, переезжайте ко мне. Тысяча рублей, которая у вас осталась, — это же капитал! Он позволит нам работать до лета, а там я вас научу добывать деньги! Так и сделаем! — С этими словами он вскочил и начал быстро перекладывать вещи в комнате. — Помогайте, помогайте! Надо быстрее очистить этот угол. Как можно скорее. Надо все делать быстро! Механическая работа отнимает у нас время. А временем измеряется жизнь. Надо все механизировать, чтобы человеку достался максимум времени для размышления...

Вдвоем они быстро очистили половину комнаты от ящиков с глиной и цементом, книг и мусора. После этого Евгений Устинович пере-

двинул чертежный станок на середину, разгородив им комнату на две части.

— Это будет ваша половина, — сказал он. — И не благодарите. Мне будет с вами веселей. А вот — чертежная доска. . . Прекрасная немецкая машина. Видите, с противовесом, все сбалансировано. Очень легко передвигается. Я вам ее дарю — мне на ней больше не работать. Ну-с, что еще. . .

Есть еще люди, которые не поняли бы ни профессора, ни Дмитрия Алексеевича, потому что первый, не имея денег, подарил незнакомому человеку вещь, которую мог продать за три тысячи, и притом постарался сделать это как можно незаметнее. А Дмитрий Алексеевич не бросился благодарить старика за этот царский подарок, а повел себя в том же духе: щелкнул пальцем по громадной чертежной доске: «Хорошая вещица».

Проделав всю работу, они сели и опять закурили, поставив свои стулья на «общей территории», у стола.

— Когда-то лет пятнадцать назад, я был профессором, — сказал старик. — Преподавал, был ученым, заседал в советах. Потом стал строптивым изобретателем, стал оспаривать мнения, и меня изгнали из рая. Директор НИИ сказал: «Может, вы перемените климат, Евгений Устинович?» Дал мне зарплату за два месяца вперед, и я ушел. Числился на работе, но уже не ходил. Да, братцы, — сказал он задумчиво. — А в общем, надо жить. Надо жить, обязательно жить! Иначе появятся странности, как у всех чрезмерно и односторонне сосредоточенных людей. Я вижу, вы как раз об этом думаете. Я все вижу. У меня глаз верный. Но вы все-таки наматывайте на ус. Может, вам что-нибудь пригодится. У меня главным образом неудачи. Вы должны будете найти другой путь. Но прежде всего — жить! Занимайтесь гимнастикой. Ходите в театры — на галерку. Читайте книги. Найдите знакомых, девушку, которая на все смотрит с детской улыбкой и верит каждому слову. Эти люди не дадут вам окостенеть. С ними, в их обществе, вы будете делать открытия: оказывается, есть солнце, лесная прохлада, веселые именины, цветы. . . С этими людьми вы будете отдыхать, приходить в себя.

Наступила пауза. «Любо, братцы, любо. Любо, братцы, жить, — затянул вдруг Евгений Устинович, с грозным весельем глядя на Лопаткина,— с нашим атаманом не приходится тужить!».

4

Пришла весна. Из комнатки, словно задернутой тихой пылью полумрака, особенно заметны весенние перемены в природе. С утра в комнату входит невидимое счастье. Подойдешь к окну — небо сияет и зовет. Утром оно не голубое, оно бесконечно бледное. Смотришь в него, и тебе кажется, что где-то что-то тебя ждет. Но нет, никто тебя не ждет, лучше не думать об этом. . .

Через час далеко за твоей спиной, за десятком каменных стен, поднимается солнце. Вот кого ждут! Небо распускается, это первый, самый лучший цветок весны, подснежник, которого летом вы уже не увидите. Откроешь форточку — вот его холодный подснежный запах! Доверчиво вдыхаешь его, забыв обо всем, как мальчик, случайно под-

несший к лицу маленькую женскую перчатку. Что делать? Куда пойти сегодня? Не ходи никуда, цветок этот не твой. Лучше сядь и поштопай свой китель, раскинь умом, откуда вырезеть два кусочка для заплат на локтях. И брюки — тоже. Не сделать ли их теперь без отворотов? А пальто? Снаружи у него еще сносный вид, но подкладка вся изорвалась полосами, обнажив секреты портновского дела.

Уже два месяца жил Лопаткин в комнате профессора Бусько. Вставали они рано — точно по расписанию, которое Дмитрий Алексеевич повесил на двери. День его начинался с зарядки. Присев положенное количество раз, помахав во все стороны тяжелым утюгом, размяв бока, он садился к столу, где его ждал профессор. Друзья пили чай с черным хлебом, потом закуривали и расходились к своим рабочим местам. Старик, напевая: «Любо, братцы, любо», — что-то растирал в своей громадной ступе или прокаливал в маленькой самодельной электрической печке. Дмитрий Алексеевич часами сидел перед приколотым к чертежной доске листом, на котором были нанесены чуть заметные контуры его машины.

Иногда, обычно утром, раздавался негромкий стук в дверь, и накрашенная черноокая Завиша в перламутровом халатике приносила Дмитрию Алексеевичу большой конверт со штампом какого-нибудь комитета. Бусько писем не писал и не получал. Завиша медлила, светилась любопытством, смуглая ее ручка с красными ногтями неохотно отдавала загадочный конверт. Иногда конверт приносил муж Завиши, Тымянский, или Бакрадзе — высокий франтоватый инженер и спекулянт фруктами. А бывало и так, что входили с конвертом сразу инспектор Госстраха Петухов, его жена, Завиша и Тымянский — это значило, что конверт был со штампом министерства. Они ждали — что же из него вынут? Но один из изобретателей, надорвав конверт и заглянув туда, непочтительно бросал его другому, а тот, просмотрев письмо, равнодушно прятал его в стол.

Дверь, разочарованно пища, закрывалась, и тут-то в комнате начинали греметь диалоги и монологи.

— Обыватель-то каков! — говорил старик. — Он все-таки что-то понимает. Смотрите, как он прет поглазеть на священный огонек! Как килька! Уверены, небось, что сам министр ведет с нами переписку!

— Да, наша лихорадка счастливо их миновала. Заразная штука, между прочим...

— Ничего-о. Насчет этого у них железное здоровье. Зачем им беспокоиться, что-то проталкивать, чего-то с трепетом ждать. К их услугам уйма сделанных открытий! Пожалуйста — триста рублей заплати и получай патефон. В изящном футляре. Пять рублей — и вот тебе пластинка, Утесов! С двух сторон! Новое открывать? Не к чему. Мир переполнен удобствами, и не бойтесь, обыватель не променяет их на письма министра. Ни Боже упаси!

Профессор даже басисто захохотал, а Дмитрий Алексеевич опустил глаза. Он-то видел, соседей все-таки тянуло сюда, на огонек...

— Нет, дорогой, здесь имеется надежный иммунитет, — басил профессор. — Они и дружат и любят так, чтоб от этой любви не нарушалось их материальное равновесие. Обывательница не выйдет замуж за нищего гения. Нет, пусть Дмитрий Алексеевич покажет ей сначала свои акции!

«Да, да... — думал Дмитрий Алексеевич, усмехаясь. — Она никогда не выйдет за меня. Не мешало бы сейчас явиться к ней победителем, со всеми признаками успеха — в хорошем пальто, с билетами в театр».

Но тут же он признавался себе, что и в Жанне иной, новый человек иногда чуть приоткрывал светлые глаза: в этом ведь и был секрет их отношений. С этого человека все и началось.

«Ну хорошо, — думал он. —Евгений Устинович и сам отлично понимает эту глубокую сторону жизни. Почему же он капризничает, ведет себя, как старый артист, потерявший голос? Ведь голос не потерян! Порошок, порошок ведь существует!»

И он задал однажды вопрос:

— Евгений Устинович! Вот вы счастливый из смертных. Ваш порошок — это, конечно, большое дело...

— Ну-ну... — Старик благосклонно выслушал эту часть вопроса. — Ну-ну... Продолжайте.

— Что же вы все-таки не хлопочете, не пишете никуда, не ходите? По-моему, в самом этом есть свое... — Он шуткой хотел смягчить неловкость, которую уже почувствовал. — Я нахожу в этом даже некоторое удовольствие.

— Какое?

— Здесь есть даже элементы игры. Надежда...

— Н-да. Надежда... Знаете, что сказал Дизель об этом? Он сказал так: чем становишься старше, тем меньше разочарований. Потому что отвыкаешь от надежд. Надежды, они больше юношей питают. Я действительно счастливейший из смертных. Мог быть. Потому что идея, подобная этой, — старик положил руку на свой сундук, — это действительно гора, великое счастье, клад. Только природа не любит несправедливостей. Если она даст тебе счастье, она обязательно навязывает и принудительный ассортимент, уравновешивает счастье заботами. Сыплет их столько, чтоб чашки весов уравнялись. Сил нет, Дмитрий Алексеевич. Приходится отказываться и от того и от другого.

— А почему же от первого отказываться? Оно же у вас!

— Нет, дружок. Когда знаешь заранее, что это дело не увидит света, когда между тобой и людьми лежит длинная дорога, которую уже не пройти, — счастья как не бывало. Как в сказке — одни головешки. Вы же знаете, какой длины эта дорога до готовой машины. Вернее, не знаете, потому что вы не прошли и половины...

— Но у вас ведь готовый порошок! Покажите...

— А я не показывал? Смотрят с удовольствием. Игрушка интересная... И вопросы задают с большим пониманием. Но назначить официальное испытание, чтобы с протоколом, копию которого автору, — не-ет...

— Почему? Ведь это настолько убедительно...

— Фомины тоже могут продемонстрировать такой номер. А для того, чтобы отличить настоящее от цирковых номеров, нужно кое-что знать. Одного того, что ты хозяйственник, — мало. Вот тут и начинается власть кучки «ученых мужей»...

После первого же такого разговора с профессором притихший, но упорный Дмитрий Алексеевич повесил на двери свое расписание, которому он теперь подчинил всю свою жизнь. Он пристально следил

за стариком, учитывал опыт Евгения Устиновича — тот опыт, о котором старик сам и не догадывался. Он понял, что нужно бороться прежде всего против усталости, против измены в самом себе.

В двенадцать часов, следуя жесткому расписанию, Дмитрий Алексеевич шел на прогулку. Подняв воротник, спрятав руки в пиджак, он пересекал широким шагом несколько площадей, сворачивал на улицу Горького и по этой магистрали шел до Белорусского вокзала, затем поворачивал назад. Эти прогулки вошли в него, стали его привычкой.

Выйдя из дому, сделав лишь несколько первых шагов, Дмитрий Алексеевич уже забывал обо всем, душа его покидала тело, улетала в мир машин, а ноги начинали работать сами, как часовой механизм с суточным заводом. Вдоль канавы рабочие укладывали канализационную трубу. Ноги Дмитрия Алексеевича сами останавливались здесь, в нужном месте, а мысль его уже хлопотала в цехах около машины, которая выталкивала из своего нутра такие же, только не остывшие вишнево-красные трубы. Выпустив десяток труб, устранив в машине некоторые неполадки и немедленно записав удачную мысль в блокнот, Дмитрий Алексеевич покидал цех, и ноги его опять начинали свою работу. Они шли по тротуару, вели его дальше, и он попрежнему ничего не замечал вокруг. Теперь он был лицом к лицу с прищуренным Дроздовым — спорил с ним. «Какой же я гений? Леонид Иванович! Я простой человек, тот мужик из «Подростка» Достоевского, который перехитрил иностранцев. Который сказал: то-то и есть, что просто, а ты, дурак, не догадался! Вот кто я, при чем здесь гений?» Потом вдруг налетела новая мысль: «Дожил до чего! Сидит перед тобой русский человек и грозит тебе великой опасностью — тем, что ты можешь стать в своей стране гением! Нельзя, нельзя быть рекой, можно быть только каплей. И это думает сын страны, которая насчитывает великие таланты десятками, могучими кучками! Черт с ним, со мной, моя машина — это мелочь, но ведь может прийти к Дроздову и новый Ломоносов. . .» Тут ноги Дмитрия Алексеевича подводили его к чугунному троллейбусному столбу. «Ага — пустой! Труба! — говорил он себе, постучав кулаком по чугуну, и сразу же взор его туманился. — Да, можно попробовать и такую трубу, но конус. . . как же быть с конусом?» — думал он, уже забыв о Дроздове.

Закончив свой восьмикилометровый маршрут, Дмитрий Алексеевич входил в комнату точно в три часа, и всегда к этому времени на столе стоял чугунок с горячей картошкой, а иногда и кислый огурец на тарелке. Друзья садились за обед.

— Дмитрий Алексеевич, — задумчиво спрашивал старик. — Сколько у нас осталось денег?

— Двести двенадцать, — отвечал Лопаткин.

— Ничего, скоро придут мои ребята. Будет хорошая работка.

В мае, однажды в воскресенье, к ним пришли двое рабочих в расстегнутых телогрейках — пожилой и молодой.

— Ну как, дед, будем нынче стучать? — спросил пожилой, садясь, заклеивая языком цыгарку.

— А что — есть?

— Барулин будто обещает халтурку. . .

— Хорошая халтурка?

— Будто ничего... На Метростроевской дом, энтот, от угла второй — знаешь, где магазин. Новое железо ставить. Сдирать и крыть. Крыша большая — покоем загибается.

— Там управдом не Молоканов?

— Он самый. Косится на меня, собака. Прошлый год забыть не может.

— Поладим! Бери. Мы быстро ее одолеем. Вот у нас еще один кровельщик — фальцы будет гнуть.

— Одолеем-то одолеем, Евгений Устинович. Ты сходи сегодня к Молоканову и крышу посмотри...

Ближе к вечеру Дмитрий Алексеевич, который, пожив три месяца с профессором Бусько, привык ничему уже не удивляться, отправился вместе с ним на Метростроевскую. Май в этом году был прохладный, друзья шли в пальто нараспашку, и старик все время прибавлял шагу и, вырываясь вперед, рассказывал о предстоящей работе.

— Наша артель собирается вот так каждое лето. И мы хорошо зарабатываем. У нас все операции идут по поточной линии, за выходной день мы делаем столько сколько рядовые кровельщики четвертого разряда за неделю не сделают.

А Дмитрий Алексеевич думал о других вещах. «Что, если это будет тот самый старый пятиэтажный дом? Вот он, испачканный ржавчиной герой, стучит железом во дворе, а она проходит мимо со своим маленьким военным. Капитан улыбается, а у нее слезы на глазах, потому что капитану все рассказано, и она не знает, что делать — здороваться с кровельщиком или не заметить его. Но само суровое молчание кровельщика говорит: победа будет за мной. И она может подбежать, восхищенная его живучестью, энергией и упорством. Ржавчина блестит для иных ярче всех военных пуговиц, вместе взятых. И, может быть, как раз ей захочется, как писали в старых романах, п о ц е л о в а т ь   э т и   т е р п е л и в ы е   р у к и, державшие и молоток, и учительский мел, и логарифмическую линейку, и вот опять взявшие молоток!» Тут Дмитрий Алексеевич едко засмеялся, и старик, который не переставал говорить, шагая рядом, обиделся.

— Не верите? Я вам слово даю. В прошлом году мы покрыли купол на церкви — можете сходить посмотреть на Таганке, полюбоваться! Не верит!

Дом, где их ждала работа, оказался в другом месте, в стороне, но все-таки почти напротив окон знакомого Дмитрию Алексеевичу пятиэтажного здания. Евгений Устинович пошел искать управдома, потом вернулся с дворничихой в фартуке. Она молча пошла впереди них — по лестнице на самый верх, на чердак и, наконец, на крышу, под холодный майский ветер.

Евгений Устинович натянул до ушей кепку, поднял воротник.

— Ох ты! Вот это тришкин кафтан! — сказал он, оглядывая огромное двухскатное, ржавое, с черными заплатами поле, уставленное запыленными кирпичными трубами.

Кто-то невидимый порывисто и громко вздыхал на крыше — то там, то тут. Друзья поднялись на конек и, придерживая развевающиеся под ветром полы пальто, прошли по коньку до самого конца. Дмитрий Алексеевич увидел отсюда глубокую, пересеченную проводами пропасть улицы, множество серовато-коричневых крыш и на перед-

нем плане освещенный дом, где жила Жанна. Четыре или пять окон его были открыты настежь. В одном из них, в глубокой тени, кто-то сидел на подоконнике, может быть, она . . .

Став на самом удобном и высоком месте, Евгений Устинович, щурясь, блестя очками, осмотрел Москву, все ее крыши и какие-то яркие предметы, чуть выступающие из туманных вечереющих далей.

— Прекрасно! Дмитрий Алексеевич, идите сюда! — позвал он. — Смотрите, как отлично все видно! Вот так видит свое дело открыватель нового. Он поднялся как бы на второй этаж здания и видит оттуда неудобные дороги, которыми люди идут к благополучию, и ухабы, где они разбивают носы. Он говорит: «Смотрите, надо итти вот так!» Он не может создавать ценностей первоэтажных, потому что для него это — пройденное. Это все равно, что копии снимать, вместо того чтобы создавать великие подлинники. Забыв о себе, человек второго этажа спешит охватить и передать народу все, что видит. Он создает величайшие ценности и говорит ученым-первоэтажникам: популяризуйте, размножайте! А те не понимают! Они ходят внизу, в кругу вещей знакомых, привычных, и гонят на-гора старинку. Разрабатывают, скажем, процесс, открытый еще Симменсом! Прекрасно оформляют, с цитатами. А открывателя хором объявляют сумасбродом... Как быть, Дмитрий Алексеевич? Вы же видели, как я гасил пожар! Мне скоро семьдесят — и вот я на крыше. Завтра начну производить ценность сугубо первоэтажную... Что это вы повернулись спиной? Беседует — и стал спиной, так сказать, к объекту!

— Сейчас я вам признаюсь. Евгений Устинович. В этом доме живет одна моя...

— Понимаю. Так зайдемте к ней!..

— Евгений Устинович, беда! Она целиком вся на первом этаже.— Дмитрий Алексеевич говорил тихо, словно боялся, что услышит Жанна. — Она не из мечтателей, не из романтиков. Если мы ввалимся к ней... — Он засмеялся. — Я не могу зайти к ней без серьезного достижения, причем это должно быть в первоэтажном плане, то есть признано и напечатано в газетах. Если у человека нет звезды, значит он не герой — вот психология! Для нее и для ее родителей я сегодня — сумасшедший.

— Уже! Несчастный человек! Сколько вам лет?

— Тридцать два, Евгений Устинович, тридцать два... Сейчас она, мне кажется, не совсем в этом уверена. Я слишком много наобещал ей... а если я появлюсь, вся иллюзия рухнет.

— Что же вы держитесь тогда за нее, за бабий подол?

— Не могу, Евгений Устинович. Мне часто казалось и сейчас кажется, что в ней иногда просыпается что-то, но не может окончательно проснуться. Может быть, я это сам придумал. Ну вот, кажется, и все... И мне хочется, чтобы эти ее глаза открылись...

— Операция эта будет стоить вам дорого. Она должна увидеть ваши страдания и свою вину. Первое она сможет увидеть. Она и сейчас может это увидеть, если посмотрит на вас... А вот второе — свою вину — этого они не умеют видеть. Нет. Нет...

Старик взглянул туда, на дом, где были открыты окна.

— Лучше тогда пойдемте вниз. Крышу мы посмотрели, одной этой крыши нам хватит до зимы. Вот и хорошо, и пойдемте...

И, обняв Дмитрия Алексеевича, он легонько толкнул его, и они, не оглядываясь больше, пошли по коньку назад, туда, где ждала их у входа на чердак молчаливая дворничиха.

— Первоэтажная психология — величайшее зло, — сказал задумчиво Евгений Устинович, когда они спускались по лестнице. — Она захватила много укрепленных позиций. Между прочим, — тут старик понизил голос и остановился, выжидая, когда дворничиха отошла подальше. — Между прочим, — шепнул он, — этим обстоятельством пользуется иноразведка. Шпионы ходят среди них, жмут ручку, любезничают, по имени-отчеству и так далее — и воруют ваши лучшие идеи, потому что первоэтажник охраняет не ценные идеи, а свои красивые популяризаторские брошюрки!

Когда профессор Бусько начинал говорить о шпионах, желтоватый ус его чуть заметно дергался, старик шмыгал носом, словно туда залетел комар, и сквозь очки на Дмитрия Алексеевича смотрели большие, темные, полные муки глаза. Бусько разглагольствовал, не замечая пристального взгляда товарища. Дмитрий Алексеевич больше не возражал ему и не спорил.

Через два дня, когда, совершив свою прогулку по городу, Дмитрий Алексеевич вернулся и сел за стол, против чугунка с горячей картошкой, он заметил, что сморщенные красные руки старика, снимая сковородку с чугунка, трясутся.

Дмитрий Алексеевич взял картофелину, не спеша посолил ее. И в эту минуту профессор спросил решительным, каким-то громовым голосом:

— Сколько у нас осталось денег?

— Шестьдесят! — Сказав это, Дмитрий Алексеевич с наслаждением откусил половину картофелины.

— Это у нас последняя картошка, — сказал старик. — Придется переходить на меню изобретателей.

— Очень приятно. А что это за меню, позвольте узнать?..

— Прежде всего хочу проинформировать вас. Барулин изменил нам. Больше крышами мы не занимаемся. Пока не наклюнется какой-нибудь новый Барулин.

— Очень приятно. Вы ешьте, Евгений Устинович, ешьте.

Друзья в молчании съели по картофелине.

— А что же это за меню?

— У меня стоит за сундуком бутылок рублей на пятнадцать. Память о лучших временах. — Профессор вздохнул. — Нам хватит всех денег на месяц. Будем покупать черный хлеб и рыбий жир. Калорийно и дешево. Открыто, правда, не мной...

— У нас есть выход на крайний случай, — сказал Дмитрий Алексеевич, спокойно посыпая картофелину солью. — Я ведь слесарь седьмого разряда. Правда, мне пока не хочется залезать в это дело, потому что я нащупал одну вещь... Насчет отливки водопроводных труб. Мне кажется, моя машина может быть универсальной. Вот мне и нужно почитать литературу и прикинуть. Если я пойду работать на завод...

— Зачем? Кого вам надо кормить? Меня? Уж будьте уверены, бутылок-то я насобираю нам с вами на хлеб! Потом вот: у меня есть еще один Барулин на лесоскладе. Два дня погрузим лес в машины — вот нам и месяц житья. Жить можно!

— Ну, раз можно, давайте жить!

Впрочем, режим этот соблюдался не больше двух недель. Наступили жаркие дни — прекрасное время для изобретателей. В это время весь город становился их мастерской. Земля — чертежная доска. Садись на лавочку и размышляй! Ночью можно спать с открытым окном. Кому — любовь и шепот листьев, а деловому человеку — экономия времени. С открытым окном можно выспаться не за шесть, а за четыре часа. Это так же проверено, как рыбий жир. Можно и не спать, а заработать за одну ночь сто рублей — на целый месяц. Иди на железнодорожную ветку и разгружай вагоны, сбрасывай камни, лес. А если в вагонах ранняя капуста, бери с собой мешок: наложат, сколько унесешь, только веселей работай.

Дмитрий Алексеевич и его седой неунывающий товарищ за лето хорошо поработали. Они купили себе по рубахе-ковбойке, а Лопаткин к тому же приобрел серые полушерстяные брюки в мелкую полоску. Он даже решился сделать подарок старику. Догадавшись об одной слабости Евгения Устиновича, он однажды принес и поставил перед ним на стол бутылку водки. Сколько потом было произнесено речей над этой бутылкой!

Но главное — в другом. У Дмитрия Алексеевича на чертежной доске был приколот большой лист, и на нем можно было увидеть контур новой универсальной машины для отливки чугунных труб любой формы — длиной до шести метров.

В августе, когда на железнодорожную ветку прибыл состав с арбузами и для наших двух друзей началась арбузная диета, Дмитрий Алексеевич приступил к работе над эскизным проектом.

Этот месяц прошел в работе над чертежами и в ночных погрузочных авралах — прошел гладко, если не считать одного обстоятельства, которое с полгода оставалось невыясненным и нарушило покой Евгения Устиновича. Однажды, когда Дмитрий Алексеевич вернулся с прогулки, старик, сделав равнодушное лицо, устроил ему допрос: знает ли кто-нибудь в городе, кроме министерских экспедиторов, его адрес? Были ли у него в Москве встречи с какими-нибудь женщинами? Не замечал ли он на улице каких-нибудь подозрительных субъектов, которые наблюдали бы за ним исподтишка? На все вопросы старик получил ответ один и тот же: «Нет. Не было. Не замечал». И тогда, хмуро помолчав, Евгений Устинович сообщил, что в отсутствие Дмитрия Алексеевича в квартиру позвонила неизвестная женщина и спросила, здесь ли живет товарищ Лопаткин. Ждать она не стала, хотя профессор любезно пытался ее задержать. Ушла, не сказав, кто она и по какому делу приходила. Женщина была словно бы взволнована, перебирала пальчиками сумочку, разглядывала стены. Она была достаточно сообразительна — согласилась ждать и под этим предлогом заглянула к ним в комнатку. Посидела, поерзала на стуле и ушла. Молодая, вроде студентки. Все на ней надето простое, строгое, но самое лучшее и хорошо сшито. Какой-то темный костюм. . .

Дмитрий Алексеевич нахмурился.

— Лоб у нее высокий? — спросил он вдруг. — Розовый? И кудряшки начесаны, а? Не заметили вы у нее такой привычки: все время краснеть? То покраснеет вся, до ушей, то отойдет. . .

Он подумал, что это Валентина Павловна по пути в отпуск загля-

нула в Москву. Но Евгений Устинович, направив мимо него вдаль свой встревоженный, острый взгляд, ответил, что н-нет, лоб у нее скорее низковатый, хотя, верно, закрыт волосами и волосы как будто бы вьются. Но она не краснела, а, наоборот, как будто была бледна.

Случай этот так и остался невыясненным, гостья больше не показывалась, и друзья забыли о ней — Дмитрий Алексеевич сразу, а профессор несколько позднее. Он боялся неясных положений и на всякий случай перепрятал несколько своих тетрадок и пузырек с белым порошком под плитку паркета.

А в остальном август прошел очень хорошо. Дмитрий Алексеевич начертил несколько узлов своей новой машины и по каждому узлу вычертил на отдельных форматках детали. Евгений Устинович тоже сделал успехи. Он нашел наконец несколько способов приготовления керамики — не из каолина, а из обыкновенной земли, выкопанной на Ленинских горах. Кроме того, все лето Дмитрий Алексеевич вел переписку с министерствами, комитетами и редакциями, и у него была теперь заведена толстая папка, куда подшивались все бумаги.

5

Пришла осень, на улицы спустился мокрый туман, мерно застучали за окном капли. В первый раз затопили печь, и треск дров сказал сердцу то, чего не могут выразить слова, — все предусмотрено, все готово к зиме! В сарае — дрова. На сберегательной книжке — фонд, которого хватит до самой весны. В сундуке — ватман, несколько стоп бумаги. Можно бороться.

Жизнь в маленькой комнатке изобретателей шла по расписанию, двигалась неслышно и быстро, и вот эта-то быстрота и четкость привели однажды наших друзей к неожиданному катастрофическому расходу.

В один из самых серых дней Дмитрий Алексеевич заметил, что Бусько молчит, энергично что-то растирая в ступе. Профессор не произнес в этот день ни одного монолога, но несколько раз принимался напевать себе под нос бодреньким вибрирующим баском. На следующий день он стал тише, а движения его быстрее. Он вскакивал и бегом несся на кухню за водой и, возвращаясь, оставлял иногда дверь открытой — этого Дмитрий Алексеевич еще за ним не замечал.

Потом началась уже настоящая суматоха. Профессору срочно понадобился пресс для того, чтобы делать особо прочные кубики. Старик стал уходить из дому на весь день. Лицо его стало острее, и на нем появилось выражение быстроты. Ночью он кряхтел, а рано утром опять исчезал — этот пресс не давался ему в руки.

— Дмитрий Алексеевич узнал в старике себя — свое молчание и свою собственную беготню в то время, когда рождался первый вариант его труболитейной машины. И, хорошо все понимая, старался не мешать, был тише воды.

Наконец пресс был найден, куплен и переделан по чертежам Евгения Устиновича. На это ушел весь «фонд». Впрочем, о «фонде» сгоряча не подумали — ждали результата. Потом Евгений Устинович принес из котельной соседнего дома несколько обожженных малиновых кубиков — тут опять было не до «фонда». Положили на стальную плиту

кусок обычной метлахской плитки, профессор, крякнув, ударил по ней молотком, и плитка нехотя распалась на две половинки. Затем Евгений Устинович торжественно положил на плиту малиновый кубик. Молоток он передал Дмитрию Алексеевичу, потому что удар был нужен верный, а у старика зуб на зуб не попадал. Но и Дмитрий Алексеевич два раза промахнулся — он волновался не меньше, чем старик.

А потом он попал молотком по кубику. Каменные брызги разлетелись во все стороны, комок спрессованных ударом розовых крошек прилип к плите...

— Ну уж! — Евгений Устинович даже закричал на него. Но тут же взял себя в руки; глядя в сторону, перемолчал первую, самую страшную минуту. — Обрадовался! Трахнул! Дайте-ка молоток. Вот как надо — одним весом молотка: в нем ведь все-таки килограмм!

— И, положив новый кубик, он ударил одним весом молотка. Неуверенно ударил: знал, что получится. И кубик, конечно, развалился на мелкие розовые кусочки.

В этот день Бусько только и делал, что разбивал молотком все новые и новые кубики. Что-то шептал, уходил в котельную, часами скрипел стулом, тер лоб, внезапно вдруг говорил: «тьфу!» — и опять брался за молоток. Потом признал свое поражение — молча взял веник и стал подметать каменные крошки.

— Это путь, — услышал Дмитрий Алексеевич его голос из-за чертежной доски. — Не конец, а только путь. — Старик уже успокоился, и ему хотелось порассуждать. — А цвет красивый! — сказал профессор немного погодя. — Живой красный цвет. Видите, и сюда ушла частица человека. Может быть, она и не погибла, если мне удастся... Ведь огонь я погасил тоже не сразу.

Но вот прошел еще день. Чувства улеглись, а строгий голос расписания опять призвал к делу. И Евгений Устинович, подсчитав деньги, которые нужно было платить за квартиру, за газ и электричество, опять сказал, что пора переходить на меню изобретателей. Капли стучали за окном, не обещая ни доброго лета, ни хорошего заработка. За обедом друзья съели последнюю картошку, и Евгений Устинович, вытирая усы и отдуваясь, не преминул сказать по этому поводу:

— Да... Последняя отрыжка... Как видите, к счастью, есть люди, которые соглашаются на такие колебания. На такую амплитуду. И человек при всем этом счастлив. Он получает новый тип радостей.

Старик чувствовал себя виновником этой «амплитуды» и старался побольше говорить, поднимал дух товарища.

— Разгрузочная диета, применяемая время от времени, ничего не принесет, кроме пользы, — сказал он и ушел на кухню мыть тарелки.

Потом вернулся и, пряча их в шкафик, сделанный из табуретки, обитой со всех сторон фанерой, продолжал бодрым голосом:

— Когда я работал над этой вещью, — он наступил на паркетную плитку, под которой лежали его тетради, — когда я шел к этому открытию, я не ел по два дня и не замечал этого. Между прочим, вы знаете вкус голода? Я пронаблюдал — это вкус нечищенной медной ложки. Так вот, я не ел, а мог ведь отсрочить дело и поступить куда-нибудь, хотя бы на тысячу рублей. Или пойти сдать бутылку и ку-

пить хлеба. Я шел по горячему следу, я преследовал и не мог отступиться, пока она, эта вот штука, не попала ко мне, не сдалась!

— Мне кажется, — сказал Дмитрий Алексеевич, улыбаясь, — что вы агитируете меня. Давайте лучше закурим, не надо меня агитировать. Я тоже сосал медную ложку. . . Ничего страшного в ней не нашел. На войне бывало и не так.

В тот же день Евгений Устинович купил в аптеке пузырек «рыбьего жира трескового» — красивый большой пузырек, и друзья весело отпраздновали переход на меню изобретателей.

И опять пошла ровная жизнь, тихие дни, нарушаемые только решительным звуком карандаша, проводящего на ватмане толстую линию, скрипом песка в ступе или неожиданным рассуждением Евгения Устиновича.

В один из пасмурных дней октября старик заглянул в старую сумку от противогаза, которая висела у него на гвозде в коридоре, и нашел в ней штук десять картофелин. Когда-то он забыл по рассеянности о них. Иногда, оказывается, и забывчивость может быть полезной! Находка была разделена на две части. Одну старик положил в чугунок с безразличным видом, даже напевая, отнес в кухню варить. Вторую часть отложил на завтра. Но это завтра заставило призадуматься обоих.

Когда Евгений Устинович собрался варить ту часть картошки, что лежала в сумке, он нашел не пять, а штук двадцать крупных картофелин. Сумка была полна доверху! Старик показал свою находку Дмитрию Алексеевичу.

— Варите! — сказал тот. — Потом обсудим.

— Я того же мнения, — согласился Евгений Устинович, недоверчиво глядя на картошку. — Но что делать с сумкой? Неизвестный добрый человек может подумать, что это нам понравилось и мы опять вывесили ловушку — авось что-нибудь попадется. А?

— Картошку разделим на три дня, а сумку больше вешать не будем, — сказал Дмитрий Алексеевич.

Когда чугунок с горячей картошкой появился на столе, друзья сели обедать и, взглянув друг на друга, оба притихли.

— Да... — сказал Дмитрий Алексеевич. Уже в который раз он испытывал чувство неоплатного долга перед обыкновенным, неизвестным человеком, который вдруг открывал перед ним свою простую, широкую душу и тут же уходил в недосягаемую тень.

— Не могу молчать, — сказал старик, качая головой. — И говорить нельзя о таких вещах простыми словами. Вот чудо — обыкновенная картошка может стать прекраснейшим блюдом, украшением стола, потому что к ней прикоснулся настоящий человек!

И Дмитрия Алексеевича и даже профессора это событие заставило по-новому взглянуть на соседей. Попрежнему маленькая крашеная Завиша приходила к ним в своем перламутровом халатике, стараясь подольше задержаться, пока изобретатели разрывают конверт. Но Дмитрий Алексеевич видел теперь в ее глазах, кроме любопытства, еще и грусть одинокой молодой женщины, несмотря на то, что рядом есть муж с томным взглядом и умеренными бакенбардиками. Приходил сам Тымянский, и Дмитрий Алексеевич думал: неужели он мог сделать это? А впрочем, чем черт не шутит! Брови можно брить и по

простоте, потому что это делают другие, и в то же время оставаться хорошим человеком, и даже быть несчастным — ведь у них нет детей.

Вот так они по-новому смотрели на каждого жильца, не зная, кому хоть взглядом сказать свое спасибо. А жильцов было много в этой квартире — что ни человек, то загадка, у каждого свой собственный звонок на двери.

Сумку они больше не вешали в коридоре. Два раза в день, как монахи, они садились за трапезу, преломляли хлеб и, жуя, спокойно рассуждали о природе людей и вещей. Евгений Устинович больше всего теперь говорил о неизвестном друге, для которого он трудился.

— Этот человек не ученый, а все поймет! — разглагольствовал старик. — Ему продемонстрируй мой пожар, и он, трезво взвесив все, скажет: «Надо попробовать! Вещь, пожалуй, полезная!» Беда в том, Дмитрий Алексеевич, что между нами и этим человеком стоит посредник, существо с важной осанкой, считающее себя служителем науки, государства. Оно добросовестно из года в год читает лекции по одному и тому же конспекту, консультирует, рецензирует. Или вот — хмурый начальник, готовый тысячу лет штамповать одну и ту же алюминиевую ложку. Конечно, с выполнением плана на сто два процента! Этот народец загородил нас от настоящего человека, который, между прочим, хотел бы иметь и ваши трубы и мои огнетушители...

— Это все констатация, — весело поддел его однажды Дмитрий Алексеевич. — Это все музыка для пищеварения. Под наше изобретательское меню. Вы скажите, как бороться!

— Я проворонил свою борьбу. Неверная тактика... Первые десять лет я норовил убрать с пути некое бревно. Известного вам Фомина. Все жалобы писал (он здравствует и по сей день). Прав ваш этот Араховский, который говорит, что нельзя выдавать себя врагу. Я выдал себя.

— Но ведь, маскируясь от врагов, маскируешься и от друзей! Открыто надо в бой идти, только открыто! И с развернутым знаменем, на котором отчетливо написан девиз. Крупными буквами!

— А что это, простите, за девиз? Я что-то не слыхал...

— Вы уже прочитали его. Потому мы и сошлись с вами.

— Мы сошлись потому, что вы мне понравились. Всего-навсего! Люблю фантазеров, которые не единым хлебом живы.

— Вот-вот. Вы почти в точку попали. — Дмитрий Алексеевич откусил порядочный кусок от своей краюхи и, энергично жуя, стал смотреть в окно. — Когда я загорелся вот этим, — он кивнул на чертежную доску, — в меня одновременно вошли мысли. Общего порядка. Вы верите в построение коммунизма?

Старик покраснел.

— Я как-то не очень задумывался...

— В мещанский коммунизм я никогда не верил, — продолжал Дмитрий Алексеевич. — Тот, кто думает, что при коммунизме все будут ходить в одеждах, расшитых золотом, ошибается. Привязанный к вещам мещанин может ждать от коммунизма одного: «Вот где покушаю!» А там как раз многие предметы сумасшедшей роскоши, рожденные праздностью богача, будут упразднены.

— Простите... Не заговаривайте мне зубы. Как увязать это с девизом? Как с машиной увязать?

— А вот увяжу самым простым образом. Когда я осознал значение вот этой машины и понял, что она нужна и что мне придется ради нее затянуть на брюхе ремешок... я ни секунды не колебался, с радостью нырнул в этот омут! — И Дмитрий Алексеевич туго затянул на себе ремень. — До последней дырки! Видите? Вот тут я сразу понял, что коммунизм — это не придуманная философами постройка, а сила, которая существует очень давно и которая исподволь готовит кадры для будущего общества. Она уже вошла в меня! Как я это почувствовал? А вот. Смотрите — никогда в жизни я так не работал, как сейчас. Я работаю по способности! В лес, как медведь, не гляжу. Экономлю время не для чего-нибудь, а для работы! Теперь о потребности. Я могу сейчас поступить на завод, заработать две тысячи и купить гору сала. В ладонь толщиной. Или записаться в очередь на покупку автомашины. Буду деньги откладывать на сберкнижку. Счет будет расти, а я все буду зарабатывать, зарабатывать! Но я совсем другой! У меня другие потребности, мне этого ничего не нужно. Я не хочу такого счастья, как в кино: еда, еда, квартира, спальня, кружева... То есть я, конечно, не отказываюсь. Но, имея одно это, я не буду счастлив. А если доведу дело до конца, а спальни у меня не будет, — я все равно буду счастливец!

— Фантазер! Какой же это коммунизм, если вы должны бросить дорогое сердцу дело, чтобы заработать на хлеб?

— А я и не говорю, что у нас коммунизм. Но мне он был бы сейчас нужен. Не для того, чтобы получать, а чтобы я мог беспрепятственно отдавать!

— Ну вот вы и пришли к моему положению. Помните, я говорил, что мы рано родились? Прячьте-ка и вы свою вещь под половицу.

— Нет! Не прятаться и не маскироваться! Мы должны быть откровенно самими собой, только так мы сможем находить друг друга. Вот мы с вами почему сошлись? Потому что увидели друг друга такими, какие мы есть.

— А что толку? — закричал вдруг старик. — Ну сошлись мы с вами! Ну набьется нас здесь в комнате двадцать дурачков с ласковыми глазами! Будем сидеть, как жуки под корой! Чем вы мне поможете? Чем я вам помогу? Знамя... Девиз...

Дмитрий Алексеевич вдруг опомнился и замолчал. Закусив губу, он смотрел некоторое время на Бусько, несколько раз окинул его взором — с ног до головы, как будто перед ним стоял призрак.

— Смотрите, смотрите, — сказал Бусько. — Делайте лицо, какое хотите. Это перед вами ваше будущее. А я буду смотреть на вас и тоже сделаю выражение на лице. Потому что вижу свое глу-у-пенькое прошлое!

Дмитрий Алексеевич хотел ответить, разразиться философской тирадой. Но понял, что перед ним действительно глухой призрак. И он шагнул к своей доске и принялся за работу. «Мне тридцать три, — летели его мысли,— а вам, дядя Женя, вдвое больше. Очень хорошо, что вы попались мне на пути: я во-время поверну руль покруче — подальше от вашего сундука, поближе к человеку — пусть даже вот к этому, с кнопками на дверях! Буду до конца искать в нем доброту и верность — они никуда не делись, без них жить нельзя. Верю в них. Тридцать лет! Впереди еще столько встреч!»

Он долго работал молча, а профессор смотрел на него, сидя за столом. Выждав длинную паузу, старик окликнул его:

— Дмитрий Алексеевич! Что вы там пальцы загибаете? Если это вы сроки прикидываете — когда и что у вас должно получиться, — умножайте, пожалуйста, на «пи»! — Короткий добродушный смешок подбросил его чуть ли не на полголовы. — Не забудьте умножить! Три целых и четырнадцать сотых!

— Я уже видел, — глухо сказал Дмитрий Алексеевич, — и вы увидите. На нашей сцене еще будут появляться новые действующие лица, которые. . .

— Которые будут вроде Фомина. . .

— Которые будут помогать нам так, как будто делают что-нибудь для себя.

Старик недоверчиво покачал головой: ему все-таки было шестьдесят девять. Он многое видел на свете.

Но жизнь все же так устроена, что может удивить человека даже на его семидесятом году.

Восемнадцатого октября, в двенадцать часов дня, вскоре после того, как Дмитрий Алексеевич ушел на утреннюю прогулку, в дверь резко постучали, и сразу же вошла невысокая, похожая на курьершу женщина в вязаном платке и с хозяйственной сумкой, сделанной из множества треугольных кусочков кожи. Она достала из сумки пакет необычной формы — небольшой, но толстый — и положила его на стол. Пакет был склеен из прочной оберточной бумаги. На нем было написано: «т. Лопаткину. Лично».

— Вы живете с товарищем Лопаткиным? — спросила курьерша. — Передайте ему лично этот пакет.

— Откуда это? — Евгений Устинович вышел из своего отделения, где он просушивал на плитке рыжую землю.

Но курьерша, должно быть, торопилась. Она уже ушла, громко хлопнув дверью. Евгений Устинович посмотрел на пакет, положил его посредине стола и мелко написал на стене: «18 окт. 12 час. 20 мин.». Он всегда был начеку.

В два часа он разрезал полкило хлеба на две части и ту часть, которая ему показалась большей, положил для Дмитрия Алексеевича. Затем он запел: «Любо, братцы, любо» — и стал помешивать рыжую землю в сковородке.

В эту-то минуту и вернулся с прогулки Дмитрий Алексеевич, мокрый, румяный, с глубоко запавшими щеками. Громко дыша после быстрой ходьбы под дождем, он снял пальто. Глядя на пакет, повесил на гвоздь шапку, вытер мокрые руки, повертел пакет в руках и надорвал его.

— Э-эй, друзья! — пропел он и быстро разодрал пакет. — Евгений Устинович!

— Вижу, вижу, — глухо сказал старик у него за спиной.

В пакете была плотная пачка денег. Дмитрий Алексеевич помолчал, взвесил ее в руке, посмотрел на старика, сел к столу и стал считать сторублевые билеты. Считая, он несколько раз приветливо взглянул на свою порцию хлеба. Потом отломил половину, полил рыбьим жиром, посолил и, жуя, продолжал считать деньги, деловито и равнодушно, как банковский кассир.

Он отсчитал три тысячи и тут лишь увидел в разорванном пакете листок бумаги с короткой надписью чернилами. Он вытащил записку и прочитал: «т. Лопаткин, эти деньги — Ваши. Спокойно распоряжайтесь ими по своему усмотрению».

— Записку эту надо сохранить, — сказал он, показав записку Евгению Устиновичу.

— А деньги? — испуганно спросил старик.

— О деньгах нам теперь не придется думать. Деньги у нас есть.

— Удивляюсь! Вы ребенок! Дайте эти деньги мне! Я сейчас же их отнесу куда следует вместе с запиской. Разве вы не видите, что это о т т у д а?

— Я вижу прежде всего, что это настоящие деньги, — сказал Дмитрий Алексеевич. — Здесь по-моему, шесть тысяч. Ну да, вот шестая пошла... А если они «оттуда», то тем более мы должны как можно скорее их истратить. Мы ведь не давали дьяволу расписки кровью!

— Кровью! — Глаза старика сделались страшными. Он метнулся к двери, приоткрыл ее, закрыл и, тряся пальцами перед лицом Дмитрия Алексеевича, горячо зашептал, упрашивая его отказаться от денег. Говорил он убедительно. Его не раз, оказывается, заманивали в подобные сети, он хорошо изучил приемы иностранных разведок, достоверно знает, что самый факт вручения Дмитрию Алексеевичу денег уже зарегистрирован. Для этого т а м имеются остроумнейшие средства. Путь к спасению может быть только один — немедленно отнести деньги и сдать их куда полагается, хотя и это надо сделать с толком, чтобы запутать врага.

— Вы меня убедили... сказал Дмитрий Алексеевич.

— Это удобнее всего сделать в пять-шесть часов, когда народ идет с работы, — продолжал старик, таинственно тараща глаза.

— Евгений Устинович, дайте договорить! — Лопаткин, разделив пачку, стал спокойно прятать деньги в карманы пальто. — Вы меня убедили в том, что я должен немедленно купить себе костюм и пальто, а также пополнить и ваш гардероб. И на книжку положить коечто не мешает, по крайней мере на полгода. Когда это все будет сделано, вечером за ужином мы с вами обстоятельно поговорим: кто мог дать нам эти деньги. А сейчас пойдемте-ка в Мосторг.

Евгений Устинович посмотрел на него, повернулся и ушел к своей электрической плитке. Дмитрий Алексеевич ничего не сказал на это и стал одеваться. Застегнув пальто, он взялся за ручку двери и весело спросил:

— Ну как, пойдем?

Старик, словно бы и не слышал, продолжал помешивать землю в сковородке.

— Евгений Устинович!..

— Пожалуйста, не втягивайте меня в ваши авантюры, — отчетливо сказал старик, глядя в окно.

И Дмитрий Алексеевич отправился делать покупки один.

«Кто?» — этот вопрос он сразу же задал себе, выйдя из дому. Кто мог прислать эти деньги? Сьяновы? Откуда у них быть таким деньгам? И при том не по почте. Послать надо Агафье тысячу — это будет верно. Но чьи же это деньги? Может, Валентина Павловна проездом?

Или Араховский? Скорее всего, он. «Ах, кто бы ни прислал, это очень, очень кстати!»

Вечером, когда Дмитрий Алексеевич вернулся, он произвел впечатление даже на рассерженного профессора. Он был в черном пальто и в черной шляпе. А когда снял пальто, там оказался еще и новый костюм.

— Эх! — не удержался, крякнул Евгений Устинович. — Что же вы, дорогой, купили? Костюм-то у вас в обтяжку, в дудочку! Сразу видно — изобретатель. Глиста глистой! Вам надо костюм на толстяка брать, чтобы свободно складки ложились. Перемените сейчас же!

— А ну его! Я его уже запачкал.

— Я чувствую, что вы будете академиком, — ответил на это Евгений Устинович.

Пальто он осмотрел и сдержанно похвалил. Дмитрий Алексеевич достал из круглой картонки черную шляпу и неожиданно надел ее на седую голову профессора.

— Я все-таки думал, что вы не захотите оставить меня одного в ловушке, и поэтому купил вам шляпу.

— Остряк, — сказал Евгений Устинович. — Я просто обдумал все и понял, что мы сами можем устроить для них ловушку. Если умело себя поведем.

И он направился к тому месту, где у него висел на стене кусочек зеркала.

— Ага! Как это Людмила вела себя у Черномора? — Дмитрий Алексеевич засмеялся. — Подумала и стала кушать!

— Одеваться надо, — заметил старик, между прочим. — Я знал одного человека, который не имел ни ваших талантов, ни вашего средневекового рыцарства — всего лишь внешность. Высокий рост и «умный» голос, и хорошо одевался — солидное пальто, воротник шалью и прочее. И знаете, преуспевал!

— Вот попробую. Может, и я начну преуспевать! — сказал Дмитрий Алексеевич.

6

Теперь, когда домашние дела наладились, внутренний голос опять напомнил Дмитрию Алексеевичу, что надо *жить*. Но напомнил настойчивее.

Да, нужна, нужна разрядка — это было теперь ясно. Нужно иногда выходить из своего заточения, смешиваться с людьми. Жить жизнью обыкновенного человека, имеющего все, кроме привычки сосредоточенно думать о каком-нибудь ферростатическом напоре.

Тут же Дмитрий Алексеевич, смеясь, заметил, что это получается, как у человека с больным желудком, которому предписали *пережевывать* пищу. Жуй, жуй старательно, вдумчиво, но это никак не будет похоже на жизнь! Если уж мы даем себе предписание — *жить*, то дело наше пропащее. Надо жить без рецепта. Мы ведь и живем, как можем!

Смех смехом, но Дмитрий Алексеевич вдруг вспомнил, как Бусько испугался денег, присланных неизвестным меценатом. «До семидесяти лет далеко — можно и не то нажить», — и он решил прикоснуться

немного к той жизни, которая до сих пор текла как бы мимо его окон.

Вместе со стариком он стал ходить на спектакли — три раза в месяц. Они слушали в Большом театре две оперы, в которых соединились два величайших гения — Пушкин и Чайковский. Евгений Устинович мешал ему входить в новую роль тридцатилетнего молодого человека. Старик рассматривал публику в партере и ложах и, как Мефистофель при докторе Фаусте, то и дело шептал Дмитрию Алексеевичу на ухо, напоминая о том, что душа его продана. В театре профессор видел только публику. Он изучал тех, кто сидит в партере и кто толпится на балконе. Везде ему чудились противники. Но иногда, дернув Дмитрия Алексеевича за пиджак, он указывал куда-нибудь на галерку: «Смотрите, вот наверняка изобретатель». Вообще он принимал всерьез только то, что относится к науке и изобретательству.

Вскоре выяснилось, что профессор не может терпеть и симфоний — глух к музыке, и это сохранило для Дмитрия Алексеевича много счастливых минут. Он стал покупать дешевые билеты в консерваторию и там, под потолком, сидел в полном одиночестве, и в нем оживали чувства давно умерших великих борцов и страдальцев. Чувства, к счастью, записанные и потому живые навсегда. Он слушал самые искренние, самые горячие слова, обращенные прямо к нему. Однажды он пришел на дневной воскресный концерт для школьников. Первым исполнялся Второй концерт для фортепиано с оркестром Шопена, человека, чью гипсовую, совсем детскую руку он видел только что в фойе, под стеклом. Дмитрий Алексеевич не знал ни дирижера — маленького, курносого, с кудрявой композиторской шевелюрой, ни пианиста — грузного, лысого, в черном фраке. Вокруг него сидели школьники и школьницы в пионерских галстуках. Мальчишки бросали друг в друга плотно свернутые и надежно пережеванные кусочки афиш. Девятиклассницы, обещающие стать красивыми, косились на Дмитрия Алексеевича и прыскали, обняв друг дружку. И, должно быть, именно потому, что аудитория была весенняя, еще не знающая, что такое тупая боль души, а Шопену, когда он писал свой концерт, требовалось сочувствие и ласка, именно поэтому композитор избрал во всем зале одного слушателя — бледного, худощавого, мужчину с мягко горящими серыми глазами, с большими и сильными, но худыми кистями рук. Сперва он негромко обратился к Дмитрию Алексеевичу, и тот, вздрогнув, почувствовал, что это говорят ему. Они сразу поняли друг друга — и тогда в полный голос зазвучала повесть, которая была и повестью Дмитрия Алексеевича. Он увидел героя, сгорающего, как комета в темном небе, маленького человека с рукой десятилетнего мальчика и с гигантской силой души, который собой, своей жизнью хочет пробить что-то для множества людей. Под шорох скрипок на этом страшном, многоликом фоне он увидел его отчаянный поединок с низко гудящими басами.

Когда концерт окончился, Дмитрий Алексеевич вышел на улицу, сжимая в карманах кулаки. Дойдя до угла, он подумал: «Вот я пошел в театр, вот моя разрядка!» — и усмехнулся. Попробуй, уйди от себя.

Но через несколько дней он опять купил билет в консерваторию. И на этот раз Рахманинов в своем Втором концерте сказал ему то же.

Он сказал это с первых слов, с первых аккордов: человек рожден не для того, чтобы во имя жирной еды и благополучия терпеть унижение, лгать и предавать. Радость червей, пригретых солнцем, — не его удел. Для такой радости не стоит и родиться человеком, гораздо удобнее быть червем. Человек должен быть кометой и ярко, радостно светить, не боясь того, что сгорает драгоценный живой материал.

Дмитрий Алексеевич вышел в антракте в фойе с таким чувством, будто покинул великого собеседника, простился с ним, и тот, пожилой, глубоко осевший в кресле, пристально глядит ему вслед.

«Это, должно быть, собственные мои мысли так напряжены, почему я и нахожу везде свои особенные отголоски — как раз то, о чем все время думаю». Но тут же Дмитрий Алексеевич вспомнил, что есть и иная музыка, слыша которую он ничего не чувствовал, никаких отголосков. «Так что эти отголоски зависят не столько от меня, сколько от композиторов! — открыл он вдруг. — Это все-таки их мысли. Остались жить!»

Тут его прервала молодая, очень подвижная женщина. Заметив кого-то рядом с ним, она вырвалась из медленно текущего потока публики.

— Сергей Петрович! Федя! — И, толкнув Дмитрия Алексеевича, она схватила за руки двух своих знакомых — огромного, усталого толстяка с седыми висками и желтолицего сморщенного малыша. Затрясла сразу две руки — тяжелую и легонькую — и быстро, быстро заговорила: — Знаете, я опоздала. Как вы есть организатор сегодняшней вылазки, спешу объяснить...

— Давай сочиняй мне оправдание, — добродушно проговорил огромный. — Иначе не отпущу. Проработочку устрою.

— Нет, я серьезно. Я доставала для Ивана «Физику твердого тела», Кузнецова. У нас в фонде такой не нашлось... А Иван пришел?

— Кузнецова-то достала?

— Достала. Надо пойти хоть сказать...

— Поди, поди. Успокой его.

— Слушай, Сергей, — посмотрев ей вслед, неторопливо заговорил великан. — Ты бы отметил, что ли, нашего библиотекаря. Этак как-нибудь в приказе. А может, и премию... Осторожненько, рубликов пятьсот.

— Я уже думал. — Маленький зачесал затылок.

— А ты еще подумай. Баба уже больно молодец. Обратно, детишки у нее.

И они замолчали.

— Иван-то волнуется. — опять заговорил Федя. — Я слышал, что Буханцев собирается прийти. Боюсь... Этот действительно иногда распоясывается. Парнас свой сберегает. Давеча как он Александра Федоровича...

Ну, если он такое позволит... — резко заговорил маленький, вскипев, блеснув глазами. — У нас тоже есть быстрые разумом Невтоны. Ваньку-то мы в обиду не дадим.

— Нельзя Ваньку в обиду давать, — согласился Федя, и они опять замолчали.

Потом Федя встрепенулся:

— Пошли к ребятам! — повернул за локоть малыша, и они быстро

и ловко прошли через толпу, как будто их обоих внезапно погнало одинаковое чувство.

Эта быстрота как бы толкнула, сорвала с места и Дмитрия Алексеевича, и он, еще не понимая, в чем дело, стал проталкиваться вслед за высоким Федей, стараясь не упустить его из виду. Он все-таки потерял его, пробежал вдоль фойе почти полный круг и так же неожиданно опять нашел. Прежде всего он увидел громадного Федю, который сидел в углу на длинном диване, с краю, занимая маленькое место, смиренно поблескивая очками. «Пьер Безухов», — подумал Дмитрий Алексеевич. На другом диване сидел Сергей Петрович, на третьем — библиотекарша. Им пришлось сесть там, где было свободное место, и теперь они переговаривались — коротким словом, движением глаз, жестом, чтоб не помешать посторонним, соседям, сияющим вечерней, концертной красотой. Вдоль стен тянулись еще диваны и кресла в белых чехлах — там тоже сидели друзья этих трех: то там, то сям поднималась приветливая голова; все говорили об Иване, который сидел среди них и которому предстояло какое-то серьезное испытание. Был их разговор похож на перекличку стайки птиц, опустившихся на сад.

И Дмитрию Алексеевичу вдруг захотелось к ним, на их деревья. Он подошел поближе. К его счастью, женщина, сидевшая рядом с Федей, поднялась и ушла. И Дмитрий Алексеевич поскорее сел на ее место — сел с такой поспешностью, что даже спокойного Федю это отвлекло от его беседы. Совсем другой, холодный человек посмотрел на этот раз через очки! Большой, усталый, седой Федя оберегал границу, за которой ему так хорошо жилось с этими молодыми и пожилыми «ребятами».

И Дмитрий Алексеевич опустил завистливые глаза. Он уже понял, что это, должно быть, сотрудники одного учреждения, скорее всего, научно-исследовательского. Наверно, вместе учились, а может быть, вместе организовали институт, боролись за него. Во всяком случае, их соединяло что-то, какой-то крепчайший цемент. Они были — вот, рядом, Дмитрий Алексеевич даже касался одного из них и в то же время не видел средства перейти т у д а. Он стал бы самым послушным и исполнительным работником! Но попасть т у д а — не в институт, а к н и м, можно было, только пройдя испытание, получив молчаливое «да» от всех.

«Может, я все это сочиняю! — подумал он. — Устал нести несправедливую печать индивидуалиста, хочу прибиться к живым людям?»

В это время вдали разлился звонок, свет в фойе померк, и «ребята» поднялись. Их было человек восемь. Отстав от публики, нестройной шеренгой они двинулись в зал. А Дмитрий Алексеевич, проводив их взглядом, побежал к лестнице на свою галерку.

«Да, я один, — думал он. — Один даже тогда, когда сижу в комнате с Бусько. С Евгением Устиновичем у нас нет э т о г о, того, что у э т и х. Мне нужно о многом поговорить, себя проверить, а у старика что-то основное в душе подорвано. Мы не открываемся до конца, потому что непонятны друг другу. Ах, Сьянов, Сьянов! Валентина Павловна! Вот кого мне не хватает. . .»

Но была еще девушка, та, что смотрит на все с детской улыбкой. Он всегда помнил о ней. Память о ней билась в нем незаметно, но сильно, как второе сердце. Теперь у Дмитрия Алексеевича были новое

пальто и шляпа, и он мог явиться к ней — препятствий не было.

И однажды на улице он несмело загородил дорогу Жанне, которая быстро шла домой с маленьким портфелем в руке. Она была в своем черном пальто, в светлозеленой пушистой шапочке с ушками, тонко перетянута кожаным ремешком и держала одну руку в кармане.

Когда высокий мужчина в черном пальто и черной шляпе вырос перед нею, она нахмурилась, глядя в грудь Дмитрию Алексеевичу, шагнула в сторону, на мостовую. И здесь, случайно подняв злые глаза, занеся руку с портфелем, чтобы угостить наглеца, она затряслась и бросилась бежать, но Дмитрий Алексеевич тут же со смехом ее поймал.

— Это ты? — спросила она недоверчиво.

— Я! — сказал Дмитрий Алексеевич, не выпуская ее руки. И здесь же, на мостовой, поцеловал ее несколько раз.

Это должно быть, убедило ее. Она покраснела и неуверенно, счастливо засмеялась.

— Пойдем скорей, здесь народ! — сказала она, и, взявшись за руки, они побежали, свернули в переулок. Здесь Жанна остановила Дмитрия Алексеевича и сама поцеловала несколько раз.

— Это ты? Послушай, а тогда ты был?

— Когда?

— Вон там, около витрины. . .

— Какая витрина? . .

Дмитрий Алексеевич сумел громко и натурально рассмеяться. Взглянув на его нездоровое лицо, Жанна с болью двинула бровкой. Что-то хорошее, понимающее, ласковое пробилось издалека, сквозь солнечную ясность, сквозь лесную прохладу и праздник ее души.

— Какая же витрина? — опять спросил Дмитрий Алексеевич.

— Глупости . . . Я все время тобой брежу. Наяву.

— Конечно, это глупости! — сказал Дмитрий Алексеевич. — Не стоит бредить, особенно мною.

— Ну что, ты приехал? Как у тебя дела?

«Что сказать? — подумал Дмитрий Алексеевич. — Кто она сегодня?»

— Ты все еще Мартин Иден? — спросила тогда она, безнадежно улыбаясь. — Когда бреешься, вешаешь перед собой что-нибудь, чтобы успеть прочитать?

— Нет, — сказал Дмитрий Алексеевич, глядя ей в глаза и все еще не снимая своей внутренней маски. — Я просто не бреюсь: больше выигрыш во времени.

— Ты все еще изобретатель? —тихо спросила она.

— Да, — коротко сказал он, приоткрыв на миг маску.

— Ты откуда сейчас? — спросила она, отойдя на шаг, оглядывая его. — Хорошее пальто купил!

— Откуда? С концерта, — сказал он.

— Вот даже как? У тебя успех?

— Успех. Видишь — новое пальто. В кармане — билет консерватории.

Она с недоверием опять посмотрела на его нездоровое лицо, в его страдальческие глаза, обведенные коричневой сияющей тенью.

— Ничего не понимаю. . . Ты ведь был хорошим учителем. Ты был

прекрасным учителем! Таким, что тебя все у нас полюбили — и мальчишки и девчонки.

Дмитрий Алексеевич пожал плечами. Он словно забыл улыбку на своем лице, и она, забытая, ждала, когда ее кто-нибудь найдет, снимет с неудобного, открытого места.

— Послушай, Дим... Давай поедем учителями куда-нибудь? — Она быстро, жалобно взглянула на него и отвернулась.

— Жаннок, — сказал Дмитрий Алексеевич, — у меня в руках очень большое дело, и я не могу бросить его. Дело это верное. Я уже почти переплыл Ла-Манш и вижу берег...

— Все? — спросила она неприятным голосом.

Нет, это не легкомыслие говорило в ней. Дмитрий Алексеевич понял, что это он утомил и состарил ее. Несколько лет гордо и красноречиво расписывал ей свою машину, и каждый раз, когда приходил срок, она видела только одно: его исхудалое лицо, блестящие глаза и потертый китель.

— Мне все время попадаются очень хорошие люди, — заговорил он быстро. — Они все время приходят на помощь, и мы скоро пробьем нашу машину. Жанна! Ты слышишь? Тебе ведь еще два курса кончать. Милый мой, за это время я гору сверну!

— А я вот не вижу берегов, — сказала она. — Ни твоих, ни своих. Я видела очень много всего. И попробовала не думать. Знаешь — лучше!

И они замолчали. Жанна махнула портфелем, прошлась, с грустью посмотрела на Дмитрия Алексеевича. Он не удержался, крепко прижал ее и поцеловал в холодную щеку, и, словно выдавленные поцелуем, в ее сомкнутых ресницах сверкнули слезы. Увидев их, Дмитрий Алексеевич прижал ее послушную голову к себе и сам зажмурился.

— Димка, ты меня предаешь! — сказала она, уже по-настоящему рыдая. — Зачем ты ухо-о-о... — она горько и тихо застонала, ударяя его головой в грудь. — Зачем? Ведь я же тебя люблю! Что тебе еще надо? Хочешь, брошу все! Дай я тебя хоть поцелую еще раз! Не уходи!

Они замолчали и так, закрывшись от улицы большой спиной Дмитрия Алексеевича, стояли молча, чуть-чуть покачиваясь, чувствуя после слез странную, облегченную пустоту. Потом Жанна достала платочек и высморкалась, жалко улыбнувшись Дмитрию Алексеевичу.

— Ты надолго в Москву? — спросила она.

— Я уеду завтра, солгал Дмитрий Алексеевич. — Я думаю, что осталось не так уж много дела. Скоро будем строить машину. Я еду завтра утром в Кузбасс, договариваться с заводом...

— Это правда? — Жанна ожила.

— Честное слово, — сказал Дмитрий Алексеевич, твердо беря на душу новый грех.

— Так ты мне пиши! Ты скоро вернешься?

— Нет. Переписываться не хочу. Бывают непредвиденные вещи. А ты очень злые письма посылаешь. А в трудную минуту такое письмо не облегчает положения.

— Потому что ты все не так, как люди, делаешь. — Опять этот же неприятный голос! — Есть путь, которым большинство моих знакомых идет, и все они счастливы. И мне это понятно. А тебя никто не поймет: вот видишь, ты уже злишься, как только я это сказала...

Они долго еще бродили по переулку. Молчали: все ждали, пока пройдет неизвестно откуда пришедший холодок. Ждали оба, наконец расстались, и Дмитрий Алексеевич ровным, широким шагом отправился домой.

Вот он и отдохнул в обществе девушки «с детской улыбкой»! Отведал лесной прохлады, солнца и веселых именин!

Острый на ухо и подозрительный, Евгений Устинович несколько дней подряд слушал его затаенные вздохи и, почувствовав неладное, потребовал Дмитрия Алексеевича к ответу. Выслушав его исповедь, старик воспламенился, выкатил глаза и собрался было сказать речь против мещанства, уничтожив «эту, как ее зовут...», но вдруг померк, задумался и, помолчав некоторое время, сказал:

— Многие настоящие открыватели, знакомые мне... все, с которыми знаком, не имеют семьи. Причины... хотя лучше не думать об этом. Работайте. Еще недельку — и все забудете.

И действительно, в январе Дмитрий Алексеевич уже больше не вспоминал о Жанне. Только сидя у чертежной доски, гудел себе под нос, повторяя то, что сказал ему Шопен и что подтвердил в своем концерте Рахманинов. Дело его быстро продвигалось к концу, он повеселел, стал опять ходить в консерваторию.

Однажды, впервые услышав «Прелюды» Листа, которые так и остались звучать в нем, посеяли странную тревогу, он спустился с галерки в фойе, чтобы постоять у колонны. Вместе с другими молчаливыми молодыми людьми он прижался к колонне — так, чтобы не выделяться среди соседей, и украдкой стал смотреть на женские лица, которые все еще — и помимо воли — притягивали его. Почти у всех самых хорошеньких были солидные, все время острящие кавалеры. «Смейтесь громче! — подумал Дмитрий Алексеевич. — Оснований для тревоги нет! Сам Шутиков, сам Авдиев вас в этом заверяют! Новаторам открыты все пути!»

— У вас всегда такое лицо, что его можно найти, даже если вас не знаешь, по описанию, — услышал он как бы в тумане чей-то голос.

«Да, они слишком спокойны, — думал Дмитрий Алексеевич. — Они могут судить о том, что делается в нашем углу только по статьям таких безусловных сторонников прогресса, как Шутиков».

— Куда вы смотрите, Дмитрий Алексеевич? — сказал кто-то рядом с ним.

Мысли его спутались. Он несколько секунд боролся с этим насильственным пробуждением и вдруг увидел перед собой красивую, молодую, полненькую девушку с замшевой родинкой на щеке. Он всмотрелся, и произошло чудо — девушка эта превратилась в Надежду Сергеевну Дроздову, одетую в строгий темносерый, с сиреневым отливом костюм.

Дмитрий Алексеевич, как два года назад, в Музге, спокойно и прямо посмотрел на нее. Взгляды их на миг столкнулись. Лопаткин почувствовал легкое приятное удушье, а она покраснела. Может быть, сказалось то, что в памяти Дмитрия Алексеевича еще звучали «Прелюды» — музыка чистая и откровенная. Дмитрий Алексеевич опять посмотрел на Дроздову и даже кашлянул, чтобы заполнить молчание.

Она протянула ему теплую, мягкую руку. Он взял эту руку и что-то сказал. Потом Надежда Сергеевна на секунду повернулась, и он увидел ее шею — гордую, белую, как неснятое молоко.

— Вы знаете что... — сказал он. — С вами что-то случилось. Вы, как говорят, расцвели... Вы простите, я просто не узнал вас. Вернее, узнал, но смотрю: не та Надежда Сергеевна.

— Да, — задумчиво сказала она и осторожно высвободила свою руку из его пальцев. — Да, не та... Ну, а как вы? Не потеряли еще голову?

— А что там... Я знал наперед. Знал, что будет не сладко. Предвидел все и боли не чувствую.

— Ну-ка пойдемте сюда. В общий хоровод. — Она взяла его под руку. — Расскажите-ка мне, как дела у вас? Подробно обо всем. Я вижу костюм...

— Не только костюм. Есть еще и пальто и шляпа.

— Ого! Вы теперь богач!

— А история-то какая! — И Дмитрий Алексеевич стал рассказывать историю с шестью тысячами. Сразу куда-то пропали опасные встречи глаз, и «Прелюды» притихли. Теперь Дмитрий Алексеевич говорил товарищу интересные и смешные вещи. А товарищ так и впился в него жадными глазами.

— Иностранная разведка! — говорил Дмитрий Алексеевич. — Ловушка! Старик уперся и никак не хочет брать денег. А я так положил в карман: пока они начнут осуществлять свои планы, мы все проедим...

— Правильно! — Надежда Сергеевна рассмеялась, глядя на него сбоку.

— Очень кстати пакетик пришел. А то мы со стариком уже гадали: не поступить ли мне на завод. Если бы поступил, пришлось бы затянуть дело с машиной...

— Вы и так, по-моему... Дроздов говорил, что вы ослабили наступательную активность. Мне даже не нравится это. Я ведь болею за вас...

— Скоро начну битву. Я разработал новый вари...

Тут Дмитрий Алексеевич осекся, кашлянул. Он вспомнил, с кем имеет дело...

— Вы что?.. Вы почему не договариваете? — тихо спросила Надежда Сергеевна, словно мертвея. — Вы что... считаете, что я... — Она тряхнула головой, и серые глаза ее увеличились от слез.

— Я не считаю этого... — Он тоже покраснел. — Да... Да, я боюсь... Не боюсь, но мне для моих интересов не нужно... Видите ли, Надежда Сергеевна, если уж говорить начистоту, — сказал он твердо и зло подобрал губу, — вы жена моего противника. Для вас это — зрелище. В лучшем случае... бой гладиаторов. А ведь я-то бьюсь из последних...

— Я с ним не знакома! Знать не хочу его! Замолчите! — зашипела она, и несколько человек впереди оглянулись.

Они молча прошли половину круга.

— Это что, правда? — спросил наконец Дмитрий Алексеевич. — Давно?

— Почти два года... Не сошлись характерами...

Они молча сделали несколько шагов. Потом Надежда Сергеевна подняла на него виноватые глаза.

— Дмитрий Алексеевич... Я вас никогда не предам. Даю вам честное слово... Клянусь сыном.

Чуть двинув локтем, он прижал ее руку и отпустил.

— Надежда Сергеевна, я сделал новую машину. Универсальную, для литья самых различных труб. Сейчас я сам вижу... мне кажется, что это серьезная находка.

— Они тоже машину делают.

— Кто такие?..

— Они кончают уже. — Надежда Сергеевна сама испугалась этих слов, заторопилась. — Сейчас я вам скажу кто. Вот эти двое, что с вами были, — Максютенко и Урюпин. Дроздов «наблюдает», Фундатор, Авдиев и еще кто-то консультируют... Забыла остальных.

По лицу Лопаткина, по тому, как он глубоко вдохнул воздух и весь окаменел, наливаясь смертельным холодом борьбы, Надежда Сергеевна поняла все.

— Дмитрий Алексеевич, — осторожно позвала она, гладя его рукав. — Дмитрий Алексеевич! Я все разузнаю...

Раздался звонок. Это был уже третий. В фойе погас свет.

— Приходите через неделю. Девятнадцатого. Днем. Все будет... В двенадцать часов дня!

— Куда?

— Куда-нибудь. Ну вот в нотный магазин, на Неглинке. Вы только не расстраивайтесь. Подождите расстраиваться. — Она пожала ему руку. — Я вам обязательно помогу! До свидания!

Она, может быть, ждала, что он ей предложит встретиться после концерта. Но Дмитрий Алексеевич пожал ей руку, молча повернулся и исчез в толпе. Он даже на второе отделение не остался — сразу же ушел домой.

Девятнадцатого января в полдень Дмитрий Алексеевич шел по Неглинной. Воротник его пальто был поднят и шляпа плотно нахлобучена, потому что валил мокрый снег. У нотного магазина он остановился, посмотрел по сторонам и нажал было на бронзовый поручень двери, но тут от стены к нему шагнула женщина в черном широком пальто и в большом, мягко упавшем на лоб берете из дымчато-голубого фетра. Это была Надежда Сергеевна. Она ждала Дмитрия Алексеевича.

— Здравствуйте, — чуть слышно сказала она, подавая руку в перчатке из тонкой черной кожицы.

— Надежда Сергеевна! — весело воскликнул Дмитрий Алексеевич и смолк, увидев ее лицо, печальное и красивое. Оно сразу скрылось под косо нависающей, голубоватой сенью берета. Надежда Сергеевна опустила голову. — Надежда Сергеевна! — сказал он тише. — У вас что-нибудь случилось?

— Я просто не смогла вам ничего достать...

— Вот и хорошо. И черт с ним. Меньше забот.

—Дмитрий Алексеевич... нам надо куда-то пойти, я вам должна многое рассказать. Вот. Они вас обокрали, теперь я хорошо это поняла.

Хотела я вам нарисовать их машину, только ничего не получилось. Я издалека только увидела один раз вот такую штуку на чертеже... Я ее поскорей нарисовала.

Она достала из сумки сложенную бумажку. Дмитрий Алексеевич развернул ее — и опять, уже в третий или четвертый раз, увидел тот же знакомый круг и в нем шесть кружков поменьше, направленных на него, как револьверные пули. Это была машина Урюпина и Максютенко.

— Они строят эту машину у нас на заводе, у Ганичева.

— Это все очень важно, — задумчиво, как бы для себя, проговорил Дмитрий Алексеевич. — Это все очень важно. — Он покачал головой. — Дело вон куда, оказывается, шагнуло. Пока мы тут капусту выгружали... Да-а... Хорошо. — Он вдруг воспрянул. — Пойдемте, послушаем вас, чем вы меня порадуете еще. Не пугайтесь, вы меня действительно радуете. Вы вооружаете меня, даете мне и щит и меч! Только скажите, если не секрет, зачем вы это делаете?

Он посмотрел на нее прямо, и она опустила глаза. И долго стояла, оцепенев, повесив руки, глядя вниз, то улыбаясь, то краснея и ничего не говоря.

— Ну вот... — сказала она, так и не ответив Дмитрию Алексеевичу. — Вы, конечно, помните, сначала была построена машина Авдиева... — И она начала рассказывать Лопаткину о центробежных машинах и трубах — то, что он и сам хорошо знал.

7

После переезда в Москву отношения с мужем у Нади остались такими же неопределенными. Теперь она отчетливо видела, что ошиблась, выйдя замуж за своего сибирского героя. Если в первые дни замужества она гордилась его властью над людьми, восхищенно слушала, как он шутил, беседуя ночью по телефону с грозной Москвой; если Надя позднее жалела его, измученного тяжелыми заботами о комбинате, и прощала ему за это недостаточную грамотность и отсутствие малейшего намека на музыкальный слух, то теперь она еле удерживалась, чтобы не сказать ему с обидным спокойствием о том, как она его ненавидит. Она ненавидела его манеру закрывать глаза, потому что ясно видела в ней рисовку начальника, желающего показать, как утомляют его государственные заботы. Когда за столом он начинал чавкать, она краснела и опускала голову. Но еще больше раздражали ее философские рассуждения Леонида Ивановича, который ловко умел сказать к месту: «базис», «государственный долг», «коллектив» и тому подобные слова, прикрывая ими любой свой интерес, любую свою слабость. Это раздражало ее еще и потому, что Леонид Иванович, начиная говорить эти слова, странным образом обезоруживал ее, как бы лишал дара речи. И она, чувствуя очередную несправедливость, допущенную мужем, не могла ему возразить. Это бесило ее, но, стоя рядом с ним, она по старой привычке, по глупой рабской привычке, все еще подгибала колени.

Сам Леонид Иванович, став москвичем, не переменился. Как и в Музге, он попрежнему посматривал вокруг себя глазами беркута, сидящего в степи на телеграфном столбе, и был в этих глазах металли-

ческий блеск. В Москве оказалось в непосредственной близости над ним много начальников. Дома по ночам часто трещал телефон. Говоря серьезным служебным тоном в трубку: «Есть, будет сделано», Леонид Иванович оставался самим собой — закрывал глаза, сопел и подмигивал жене — мол, ладно, там еще посмотрим. Лишь иногда на него вдруг накатывало тихое бешенство — в тех случаях, когда требовали, чтобы он сделал какую-нибудь глупость. Но и тут начальник слышал в трубке только веские доводы против, и в большинстве случаев победа оставалась за Леонидом Ивановичем. Если же начальник настаивал на своем, Дроздов говорил: «Есть, будет сделано», а для жены, повесив трубку, цитировал слова Суворова: «Прежде чем командовать, научись подчиняться».

Еще в первый год Надя стала уединяться в своей комнате. Играла с маленьким сыном, радуясь тому, как он отчетливо говорит: «Дай-дай-дай» — слова, которые, по выражению Леонида Ивановича, уже обеспечивали ему прочное положение в мире. Чтобы скрыть свое физическое отвращение к мужу, она иногда жаловалась на боли в пояснице и стала обвязывать себя шерстяным платком. Леонид Иванович послал ее в поликлинику. Она долго объясняла недоумевающему врачу, что у нее болит, говорила о своей неблагополучной беременности и добилась своего: больной были предписаны тепло и покой. Вскоре Надя окончательно покончила с недоверием мужа, уставив подоконники в своей комнате коробочками с «крупой», как называл Дроздов гомеопатические лекарства.

Надя чувствовала, что поворота назад не будет, что надвигается новая, большая перемена в ее жизни, и сурово готовилась к ней. В своей комнате, лежа на диване с книжкой в руке, она иногда вспоминала Музгу и вздыхала, как будто там осталась ее юность. Глядела исподлобья в стену, оклеенную сиреневыми обоями, и видела милую пыльную Восточную улицу, по которой она шла однажды, нет, два раза, вверх, на самую гору. «Дмитрий Алексеевич», — чуть пошевелила она губами. Да, это была ее юность. Была и прошла стороной, лишь повеяв на нее своим теплом. Какое было бы счастью! .. Он, наверно, и сейчас ходит по ней, по Восточной, один готовится к бою, не верит ни в чью помощь. Хотя, может быть, Валентина Павловна... «Какие люди! Что я наделала!».

Старуха Дроздова вызвала из Музги Шуру — нянчить внука, и Надя, несмотря на возражения домашних, сразу же поступила на работу в школу, преподавать географию. Все в семье пошло привычным, ровным ходом. Но однажды Дроздов, приехав с работы, весело нарушил этот ход.

— Надюш! Этот-то наш. Земляк-то! Какой бой закатил на техсовете!

— Ты про кого?

— Да Лопаткин же! Изобретатель наш!

— Он в Москве? — равнодушно спросила Надя, но комната вокруг нее как бы внезапно осветилась, и Наде пришлось опустить глаза

— Я же говорю тебе — проект недавно защищал в Гипролито!

— Ты не видел еще, какой костюмчик я купила для Николашки? — спросила Надя и, отложив атлас, по которому она готовилась к урокам, приподнялась на диване.

— Погоди про костюмчик! Я говорю, Лопаткин в Москву перебрался.

— Он еще и пробьет свое изобретение. Ты же знаешь, он какой...

— Наши корифеи начеку. — Леонид Иванович встал в свою любимую величественно-шутливую позу. — Наука ревниво охраняет свои рубежи от всяческих... вторжений.

— Что, забраковали?

— Вышел еле живой. Как говорится, шатаясь. Они бьют-то — знаешь? — без синяков! — Леонид Иванович улыбнулся, собрав на желтом лице множество веселых морщинок.

— Ну как он? Как выглядит?

— Был он сегодня у меня. В своем... мундире. Я тебе говорил? Он отказался от костюма. Предлагал я ему как-то в Музге...

— Обедать будешь? — спросила Надя, поднимаясь с дивана. Она была в длинном халате из темнолилового шелка, с редко разбросанными по этому фону красными и золотистыми ветками и стеблями. Халат был полуоткрыт на груди.

— Обедать? — спросил Леонид Иванович, обнимая ее и притягивая к себе. При этом он пощупал, на месте ли шерстяной платок — платок был на месте. — Н-да-а, — сказал он несколько разочарованно. — Что-ж, пожалуй.

И они прошли в соседнюю комнату, где старуха расставила уже приборы. Сев на свое место, Дроздов взял графин, который был поставлен для него под правую руку. Выпив рюмку водки, он поддел вилкой из общей миски ком кислой капусты и, громко хрустя, засмеялся. Он вспомнил что-то веселое, но капуста не давала ему говорить.

— Максютенко! — сказал он и не удержался, прыснул.— Ох, голова!.. Слышишь? Наш музгинский донжуан... Я хотел ему, Максютенке, подсказать, зная его натуру, а он уже сам влез в историю. Предъявил свою конструкцию машины! Всякая мразь ночная хочет славы героя! Спер идею у Лопаткина, добавил еще от заграничных авторов что-то... и, кажется, сволочь, удачно выбрал момент!..

Тут Леонид Иванович налил себе еще рюмку, быстрым движением выплеснул водку в рот и стал хлебать суп.

— Мама, здесь все свои, дай-ка мне деревянную ложку, — сказал он, и Надя вспомнила, что эти слова так понравились ей когда-то, в первый день замужества.

— Ты говоришь, удачно, — спросила Надя. — Чем же?

— Ах, да... Я же тебе не рассказал! Тут целая история! Шутиков-то, наш зам. Он ведь неспроста занимается трубами. Плана такого у нас нет... то есть имеется, конечно, план по канализационным трубам, но для внутреннего употребления. Для собственного строительства. Но зам наш газеты читает и сиживал на совещаниях в высокой инстанции, когда там была поставлена задача создать центробежную машину. И через год был — когда ругали нескольких министров за то, что они машину не могут дать. Раз ругают, два ругают, а наш сидит и — молчок! О-о, Шутиков человек с перспективой! Он дело сделает. Те все обещают и просят денег, а он решил без шума сделать машину и скромненько отрапортовать. А чтобы было скромненько и быстро, не надо ругаться с институтами. Надо с ними находить общий язык. Вот он и нашел: сделали машину Авдиева. Потерпели убытки — ничего...

— Почему же он Лопаткина не поддержал? — воскликнула Надя и побледнела, но Леонид Иванович этого не заметил.

— Погоди... — Он любил рассказывать. — Погоди товарищ... гм... Дроздова. Может, он и поддержал бы Лопаткина, Шутикову все равно кто — ему важно сделать машину и подать на стол готовую трубу. Но Лопаткин — это лошадка, на которую нельзя ставить. Создавать ему отдельное конструкторское бюро — хлопотно. — Передать в институт — нельзя, не уживется с Авдиевым. Только угробят средства. Тут нужен человек, который способен пойти на компромисс. У ученых свои интересы. Им нужно, чтобы все машины были сделаны на основе их многолетних творческих, углубленных, плодотворных изысканий. И Шутиков прекрасно знает, что с Господнею стихией... как ты это читала мне?..

— ...царям не совладать, — подсказала Надя.

— Вот-вот. С Господнею стихией царям не совладать. Если бы в самом начале Лопаткин нашел общий язык с институтами, у него бы пошло. Правда, с Авдиевым трудно — кремень. Надо перед ним просто капитулировать — на его милость, что оставит. Ну и то, Авдиев мужик умный, что-нибудь бросил бы ему со стола. Так что Лопаткин допустил стратегический просчет. А теперь, когда дело запатентовано, Лопаткин в институты и не суйся.

— Печально... — сказала Надя, косясь на мужа, выжидая. — Ты попробуй-ка вот, телятина очень вкусная сегодня.

— Телятина? Хо-хо! — сказал воинственно Леонид Иванович и положил себе в тарелку кусок граммов в четыреста. — Так вот, — сказал он, быстро жуя и двигая при этом всем лицом, — Максютенко... Мать, а ты хорошо телятину нынче сварила! Так я говорю, Максютенко. Дурак, а во-время ведь сунулся! Его сейчас расцелуют. И правильно сделают! Они уже далеко зашли с авдиевской машиной и со своими диссертациями. Им теперь не то что сюрпризы, убытки надо списывать! Вот они и спишут, скажут, что все пошло на поиски, на разработку, на подходы к новой машине. Молодцы! — Он крякнул и, стуча ножом по тарелке, стал резать мясо. Разрезав, он положил в рот большой кусок, и твердый желвак заходил на его щеке, словно Дроздов подпер ее изнутри языком. Надя, нервно шевельнув ноздрями, пристально посмотрела на этот желвак и отвернулась.

— Все-таки свинство, — сказала она. — Человек работал столько лет...

— Конечно, это так. Но если посмотреть с холодным вниманием, — Дроздов шевельнул бровью и, ткнув вилкой в новый кусок, стал водить им по краю тарелки, размазывая горчицу, — открыть, придумать — это еще десятая часть дела. Сколько благих порывов кануло в истории без вести! Все потому, что их не могли провернуть, не нашлось надлежащего о р г а н и з а т о р а. И то, что кидаются на нашего Лопаткина такие люди, как Максютенко, как Авдиев и как Шутиков, — все это естественно. Идея, если она правильная, начинает жить самостоятельно и ищет своего сильного человека, который обеспечит ей процветание. Идея предпочитает брак не по любви, а по расчету. — Сказав это, Леонид Иванович, торжествующе посмотрел на жену. — Идея охотно изменяет своему первому любовнику в пользу влиятельного и энергичного патрона.

— Творческую часть не может заменить делец, — сказала Надя чуть слышно. Настолько тихо, что Леонид Иванович получил право не ответить. И он сделал вид, что не расслышал ее слов. И Надя все это поняла.

Обед затянулся — и не по вине Леонида Ивановича, который быстро расправлялся с едой, громил еду. В этот день Надя что-то медлила за обедом, шевелила ложкой в тарелке и почти не ела. «Вот оно, надвинулось», — радостно и испуганно говорила она себе. А Дроздов, видя, что она не собирается подниматься из-за стола, подкладывал себе в тарелку, чтобы убить время. И, перехватив лишнее, отдуваясь, ушел наконец в свою спальню соснуть часок.

Надя решила разыскать Лопаткина. На следующий день по дороге из школы она остановилась у справочного киоска и, купив бланк адресного стола, заполнила его: «Лопаткин, Дмитрий Алексеевич». Через час она получила ответ о том, что «таковой» не проживает. «Да, так оно и есть, так и должно быть. Где ему жить здесь?» — грустно подумала она и медленно пошла по улице, теребя справку, пуская по ветру с ладони мельчайшие бумажные обрывки.

Вечером она спросила у мужа мимоходом, как бы рассеянно, где же он ночует, этот изобретатель. Ведь все-таки же зима! «Черт его знает, у них шкура ведь, как у волков, холода не боится», — ответил Леонид Иванович. Повторить свой вопрос она не решилась, и опять потекла ровная жизнь: завтрак — в час, обед — в семь вечера, чай — в одиннадцать. Дроздов больше не упоминал о Лопаткине. Если что и рассказывал, то это были министерские анекдоты. О том, например, что есть у Шутикова референт Невраев, которого называют министерским барометром. . .

— Молодой, любит, правда, выпить, но чутье — я никогда такого не встречал, — одобрительно улыбаясь, говорил Леонид Иванович. — Гроза всей министерской мелкоты! Вот он сегодня с тобой любезен — значит можешь спать спокойно. Если сам подошел здороваться — значит скоро поедешь в командировку за границу или тебя сделают начальником отдела. А вот если ты к нему зайдешь и он занят, не замечает тебя, куда-то спешит — значит все. Твоя фамилия будет завтра или послезавтра в приказе министра. Жди! Он и нашим вещим Олегам иногда предсказывает: «Получишь ты смерть от коня своего».

В конце февраля Дроздов за обедом сказал Наде:

— Шутиков завтра в газете выступает. Подвал о новаторстве. Писал, конечно, не он — Невраев. Невраев и газетчики, вместе. А нашему Павлу Ивановичу дали оттиск. Он подписал — слышь? — потом прочитал и говорит: «Вот здесь у м е н я шероховато. Исправьте». «У меня!»

И где-то далеко в его умной, лукавой улыбке промелькнула и скрылась досада.

— Ты, наверно, тоже не прочь был бы выступить? — сказала Надя с невинным видом.

— Надежда! — предупреждающе, но так же весело возвысил голос Леонид Иванович. — Я понимаю вас, товарищ. . . гм. . . Дроздова. Если я буду выступать со статьей, то мысли в ней все-таки будут мои. Бывают такие неграмотные мужички, которые диктуют грамотным. И бывают грамотные, — он сделал здесь ударение, — грамотеи, которые

только и могут что записывать чужие мысли. А наоборот их поставить нельзя. Мужик не сможет писать, а писарь — ха! — диктовать. Если я и выступлю, то сотрудничество у меня будет только такое: делового мужика с писарем.

Он задумался после этих слов, рассеянно жуя, и Надя еще яснее почувствовала тайную досаду, которая убивала на этот раз его аппетит.

Весна в тот год не принесла никаких перемен, май прошел в школьных заботах, в экзаменах, а в июне Надя вместе с ребенком и Шурой села в «Победу» и уехала на Волгу. Лето было солнечное, без дождей, без ветра и тревожное. Надя каждый день уходила одна далеко по поющим пескам, и там, на косе, среди мелководных заливов и рукавов, загорала, принималась читать «Утраченные иллюзии» и бросала, не понимая, что же с нею делается. Она купалась — то плавала, отдаваясь прохладной быстрине, то барахталась в теплом сусле заливов, — и это было приятно, но тихая грусть, странные порывы раздражения не оставляли ее. В июле за деревней, в жаркой тишине, на полях стали выгорать хлеба. Надя видела на крыльце правления колхозников, загорелых, с белыми пятнами соли на пыльных гимнастерках — где спина и плечи. Они молча курили, плевали на землю и следили за москвичкой голубыми, как бы выцветшими на солнце глазами. Надя понимала, что у них начинается беда, и не могла ничем помочь. Но ей теперь нельзя было уйти и на пески — они раскалились и гнали прочь одинокую, скучающую, загорелую дамочку в сарафане. И Надя уходила в прохладную избу, чтобы никто не видел ее веселого зонтика и книги. В начале августа Надя не выдержала и послала мужу телеграмму. Прибыла «Победа», и дачники ночью сбежали в Москву.

Муж встретил ее обычной умной улыбкой. Хотел похлопать жену по плечу, но почему-то не получилось. «Дела у меня неплохи», — загадочно ответил он на ее равнодушный вопрос. А вечером к нему пришли. Надя сразу узнала Максютенко. Он пополнел и был одет в темносиний костюм, с обвислыми плечами. Увидев Надю, он быстро шагнул к ней и вложил ей в руку коробочку с духами — ленинградскую «Сирень», о которой в те дни много говорили. Вторым гостем был худощавый полуседой мужчина, с металлическими звуками в голосе. Он легонько, но все же больно пожал Наде руку и назвался Урюпиным.

Надя подумала, что будут выпивка и песни, но гости и Леонид Иванович закрылись в средней комнате, которую называли столовой и гостиной, и развернули на столе чертежи. Совещание их длилось три часа. За это время Надя из своей комнаты услышала их голоса только один раз — это был дружный взрыв смеха: стонущее аханье мужа, металлический, генеральский смех Урюпина и кобылье ржанье Максютенко.

Потом был организован чай и пригласили к столу Надю. Был разлит по рюмкам и мужской «чай», от которого Надя отказалась.

— Вот! — обратился Максютенко к Наде после первого тоста и показал пустой рюмкой на Дроздова. — Не хочет нам помогать!

— Ты не передергивай, Максютенко, — строго сказал Леонид Иванович, закрывая глаза. — Помогать я не отказываюсь, но соавтором быть не хочу. А помощь — пожалуйста. Наоборот, если хочешь знать, если ты не забыл, предложил-то ваши кандидатуры я...

— Вот мы и хотим, чтоб ты был с нами, Леонид Иванович, — сказал Урюпин. Худощавое его лицо улыбнулось, и серая густая шевелюра вдруг, словно автоматически, передвинулась вперед — к сморщенному лбу.

— Ну-ка, ну-ка, — Дроздов захохотал, — ну-ка, еще двинь!

Урюпин быстро взглянул на Надю и нахмурился. Он не хотел выставлять свой изъян на посмешище, и именно поэтому волосы его двинулись быстрее, чем обычно, к бровям и обратно.

— Ты нервный! — сказал Дроздов. — Тебя выдает это. . .

— Так как мы решим? — спросил Урюпин, багровея.

— Формально, ради будущей медали, быть участником вашей группы я не могу. Проектировать тоже не буду. Мне надо работать. Поеду вот на заводы. Вы подключите, кого я сказал: Воловика, Фундатора и Тепикина. Только слышите? Они сами к вам не придут. Они красные девицы, им хочется, но служба заставляет опускать глазки. Я их уже подготовил. Теперь вы должны сказать свое слово. Конечно, хорошо бы и Шутикова сюда, но вы сами, дураки, изгадили все. И меня подвели. Я не знаю, какие у него соображения, но вообще, друзья, некоторые отверстия надо всегда держать закрытыми. Вот он со мной теперь не разговаривает. Два слова — здравствуй и прощай! И все! Видите, что вы наделали.

Во время этой речи Максютенко, виновато розовея, все время говорил: «Леонид Иванович! Леонид Иванович!» Когда Дроздов сердито замолчал, он опять сказал: «Леонид Иванович. . .» Тот с грозной улыбкой посмотрел на него.

— Вольно, Максютенко! Можешь исполнять! . .

Вскоре гости ушли. Дроздов, проводив их, потянулся в передней, хрустнул суставами.

— Вот так, сдуру, могут такую пилюлю поднести. . . Пришли к Шутикову, предлагают ему возглавить группу и бряк: мол, Дроздов советовал подключить! Тот, конечно, улыбнулся, а потом с глазу на глаз подошел и говорит мне: «Вы зачем меня в эту, как ее, группу тянете?» Я ему: ваша же инициатива, Павел Иванович! Он прямо зашипел: «Какая моя инициатива? Ерунду какую говорите!» И до сих пор поглядывает. Матерый волк, так ему везде псина чудится. Эх, Надюша, не так-то просто все. . .

Надя, не дослушав его, молча ушла к себе. Леонид Иванович придержал ее дверь. Можно?

— Ни в коем случае, — сказала Надя. — Никогда.

— Что так строго? А я вот войну. На основании брачного свидетельства. — Он засмеялся и вошел.

— Что ж, войди. А я выйду.

— Что так?

— Я тебя не люблю.

— Напрасно, — сказал он. — Обязана любить.

— Знаешь, не зли меня. Ты такой оказался мелкий. . . Человека убиваешь живого! Ведь он тебе даже дороги не перешел. Ты сам, сам лег на его дороге! Он и не подозревал, а ты накинул петлю и давишь, Ты смотри, какой он живой, как он не сдается. А ты все давишь, давишь. . .

— Ну во-от, задави такого! — попробовал пошутить Леонид Иванович, и лицо его желчно дернулось. — Ты послушай-ка, послушай...

Николашка, светлоголовый мальчик, стоял около своей кроватки, стучал по ней флаконом ленинградской «Сирени» и, смеясь, смотрел на обоих. Надя взяла его на руки и повернулась к мужу спиной.

— Послушай-ка... — сказал Леонид Иванович, морщась. — Лопаткин один погубил бы свою идею. Мы, если хочешь, в интересах государства были обязаны вмешаться. Нам нужны трубы, а не твой Дмитрий, как его...

— Не хочу тебя слушать. — Глядя в пространство, она прижала губы к теплой головке сына. — Ты всегда говоришь то, что в данный момент тебя оправдывает, ты всегда прав. Дави его! Но я тебе больше не жена...

После этого разговора у них все пошло как будто бы попрежнему. Они вместе садились за стол и даже обменивались несколькими словами — о погоде, о здоровье сына, о том, что развелась моль... Но Леонид Иванович больше не рассказывал анекдотов, и Надя ни разу не улыбнулась при нем.

В двадцатых числах августа она попросила у мужа «Победу» и вместе с Шурой поехала в центр делать покупки для сына к зиме. Когда машина миновала Белорусский вокзал и остановилась у светофора, Шура вдруг дернула Надю за рукав жакета.

— Глядите-ка, наш! Музгинский учитель! Вона впереди вышагивает!

Надя вздрогнула. Кровь больно толкнулась в голову.

— Фу, как ты меня испугала! — сказала она. — Кого ты там высмотрела?

И, взглянув в косое окно машины, она сразу увидела Дмитрия Алексеевича, который шагал по тротуару, направляясь к центру. Лицо его было неподвижное, строгое, он был такой же, как в Музге, — ничего не видел кругом, ничего не слышал и был занят собственными мыслями.

Милиционер на перекрестке, махнув палочкой, повернулся, над ним в светофоре выпрыгнул зеленый огонек, и машина двинулась дальше, покатила по улице Горького, а Дмитрий Алексеевич остался позади.

— Сережа, остановите вот здесь, — сказала Надя. — Я пройдусь по магазинам.

Машина затормозила у тротуара. Надя вышла и, еле сдерживая дрожь в голосе, стала неторопливо перечислять Шуре все, что надо купить к обеду. «Лучше всего взять осетрины, если будет крупная, — говорила она. — Может, есть копченый угорь, надо обязательно купить Леонид Иванович любит. Непременно посмотри кур», — и захлопнула дверцу. Немного подождала, пока машина не исчезла вдали в общем автомобильном потоке, затем повернулась и побежала, сияя, шевеля губами. Она на ходу придумывала какую-нибудь ложь, которая оправдала бы ее внезапное появление перед Лопаткиным. Но ничего не могла придумать.

Потом Надя остановилась: она сообразила, что нельзя вот так рисковать удачным моментом — может быть, вторично им не удастся

встретиться. А сейчас Дмитрий Алексеевич может оказаться не в духе. Возможно, что ему ни с кем не хочется разговаривать, тем более сейчас, да еще с женой Дроздова. Поздоровается и пойдет дальше. Нет, так нельзя.

И Надя поскорее отошла к газетному киоску. Сделано это было вовремя: она успела лишь открыть сумочку и посмотреть на себя в зеркало, и вот уже мелькнул в толпе зеленоватый китель. Надя подняла сумочку повыше, но предосторожность эта была лишней. Дмитрий Алексеевич быстрым, гибким шагом словно бы вырвался из потока пешеходов и так же быстро исчез. Надя захлопнула сумочку и бросилась вслед за ним. Вскоре она догнала его. Он шел так же ровно, не ускоряя и не замедляя шага.

И так шагов на пятьдесят позади Дмитрия Алексеевича, Надя прошла всю улицу Горького, Моховую и Волхонку. Он задал ей работы! Иногда ей казалось, что Лопаткин заметил ее и нарочно кружит по городу, чтобы посмеяться над нею. И она, покраснев, замедляла шаг, шла так, чтобы он не мог ничего заметить — даже оглянувшись, даже заподозрив неладное.

Но Дмитрий Алексеевич ни разу не оглянулся. Он спокойно закончил восьмикилометровую прогулку, свернул в свой Ляхов переулок, прошел через двор, мимо сараев и голубятен, и по ступеням поднялся в подъезд старинного дома с облезлыми колоннами. Надя осмотрела издали эти колонны, покрытые внизу отчетливыми письменами, характерными для середины двадцатого столетия. Осмотрела двор, запомнила номер дома и, выйдя к бульвару, села в такси.

Через несколько дней, после долгих колебаний, она решила навестить Дмитрия Алексеевича. В то ясное утро, когда это решение было принято, Надя впервые на московской квартире запела. В девять утра она вымыла голову, долго сушила и расчесывала свои не очень длинные, но густые темнорусые волосы, которые после мытья словно сошли с ума — поднялись дыбом и громко трещали под гребешком. Расчесав, она заплела их в две толстые косички и уложила на затылке в тугой жгут. На затылке все получилось как надо, а вот впереди и вообще вокруг головы летало очень много рыжеватых паутинок — это был милый пух юности, который с годами исчезает, но Наде он не понравился, и, распустив косы, она снова сердито стала их расчесывать. «Что такое?» — подумала она вдруг, неожиданно поймав эту свою злость, и испугавшись простого ответа, который был почти готов, она с непонятной радостью рассмеялась и запела.

Вот так, тщательно причесанная, но все же с паутинкой, она и предстала перед нашим Евгением Устиновичем, который сразу же стал искусно ее допрашивать. Но все искусство его разбивалось о рассеянность Нади. Она отвечала «да» почти на все вопросы старика, и этим навела его на серьезные мысли. А рассеянность ее была особого рода. Прежде всего она заметила целую стаю звонковых кнопок на двери и задумалась. Потом, узнав, что Дмитрия Алексеевича нет дома, она опять вспомнила о кнопках и поняла, что каждая кнопка — это сосед Дмитрия Алексеевича, и притом, как ей показалось, сосед нелюдимый и злой. Старичок, встретивший ее, предложил зайти, посидеть, и она вошла к ним в комнату, пропахшую табачным дымом, и села на шаткий стул. Вот здесь и услышал от нее профессор Бусько те «да», кото-

рые так его насторожили. Надя увидела на грязном столике два куска черного хлеба, оба одинаковой величины, и лежали они точно друг против друга. На каждом куске лежала половинка соленого огурца.

— Вы живете здесь вдвоем? — спросила она.

— Да, да, — сказал старичок и тоже что-то спросил, и она ответила: «да»...

Потом она увидела чертежную доску и на ней ватманский лист с чертежом. Она хотела подойти рассмотреть чертеж, но старичок сказал: «Извиняюсь» — и, пробежав вперед, проворно завесил чертеж газетой.

— Да, да, — сказала она ему и опять взглянула на куски хлеба, сжала в руках сумочку, где лежало двести рублей. Потом вышла в коридор и, не отвечая старичку, ровным шагом направилась к выходу.

Она твердо решила помочь двум людям, из которых один в этот день поднялся в ее глазах еще выше. «Что же сделать? — думала она. — Двести, пятьсот рублей — это не деньги». Больше достать она не могла, потому что расход денег в семье Дроздовых контролировала старуха.

Прошло полтора месяца. Начались дожди, а Надя все еще искала деньги и не могла ничего придумать. Однажды днем позвонила по телефону, а затем и приехала к Наде Ганичева. Она гостила в Москве уже несколько дней. Накрашенная, кривоногая, пахнущая все теми же неистовыми духами, она расцеловала Надю и, целуя, рассматривала все кругом и примечала. Она сразу же увидела пакетики с нафталином на столе и открытый шкаф.

— Это я вот... вынула манто, хочу проветрить, чтобы моль не завелась, — сказала Надя, взглянув на Ганичеву, и неожиданная дрожь пронзила ее.

— Ну-ка погоди, дай-ка я примерю. — Ганичева словно читала надины мысли. Она надела манто, рассыпав по ковру шарики нафталина, и подошла к зеркалу.

— Длинновато... — сказала Надя.

— Это чепуха. — Ганичева повернулась перед зеркалом в одну сторону, в другую. — Слушай, продай его мне! А?

Надя не ответила.

— Честное слово, — сказала Ганичева. — Вы сколько за него отдали?

— Двадцать две...

— Ну, таких денег у меня нет, положим. И потом реформа... а вот за девять я бы взяла.

Надя молчала, побледнев, глядя в пространство. Это было невозможно — продавать вещь, которую для нее купил Дроздов. Именно потому, что покупал Дроздов, — он купил, он сам платил, сам считал деньги. Если уходить от него, то манто это надо оставить ему. Но девять тысяч...

— Ну, что ты там... — сказала Ганичева. — Вот я тебе даю десять. Окончательно.

— Зинаида Фоминична, — торопливо заговорила Надя, — мне очень нужны деньги...

— А я чего? Это что — не деньги?..

— Мне только нужно, чтобы муж не знал. До зимы...

— А что у тебя? — Ганичева понизила голос. — Ладно, не говори. Это не мое дело. Так что мы... решаем?

И Надя решила. На следующее утро Ганичева привезла ей шесть тысяч, сказав, что остальное пришлет из Музги... Манто было уже завернуто в газеты и перевязано шпагатом. Ганичева очень ловко вынесла его на лестницу, показала Наде рукой, что все будет шито-крыто, и уехала.

А через два часа, когда все улеглось в душе и когда исчез тревожный запах нафталина, Надя завернула деньги в серую, грубую бумагу, все уголки свертка подклеила и, прихватив с собой Шуру, поехала в центр за покупками. В Ляховом переулке они вышли из машины. Шура сразу поняла свою роль и, бросив на Надю веселый и ободряющий взгляд, убежала под высокую арку.

Так Дмитрий Алексеевич стал обладателем нового костюма, пальто и шляпы. Увидев его в фойе консерватории, Надя, прежде чем подойти, осмотрела его со всех сторон и решила, что костюм очень хорош, что он выбран со вкусом. В отличие от Евгения Устиновича, она видела в этом костюме только хорошие стороны. И здесь, глядя на Лопаткина, она освободилась наконец от ощущения вины перед мужем.

Давно забытое чувство свободы подхватило Надю, и она полетела так, как летают во сне. Все движения ее теперь были собранны и быстры. Она бегала даже по комнате — ей нехватало времени. Надо было успеть в школу, потом, пока было не поздно, она спешила к сыну, к попрыгушкину, к Николашке. Перед ним она не могла оправдаться, особенно, когда он, соскучась, бросался к ней и падал, потому что слабо держался на ногах. Он падал, а она замирала от боли. Но Николашка, посидев у мамы на коленях, сползал на пол, чтобы поднять пуговицу и положить в рот. Он был спокоен, в его жизни ничего не изменилось. Все тревожное горело, оказывается, только в ней.

— Где вы пропадаете по вечерам? — шутливо спросил Леонид Иванович, поймав ее однажды в коридоре. Она бежала из ванной. — Вы, по моему, температурите, товарищ... Дроздова!

— Ах, Господи! — раздраженно отмахнулась она. — Отстань, пожалуйста...

Она спешила: дело шло к вечеру. Надя собиралась не в кино и не в театр. Одеться ей нужно было п о п р о щ е, а это не легкое дело. У нее оставалось в распоряжении всего лишь полтора часа, всего лишь! А надо было еще запереться, расчесать волосы и уложить косы, припудрить сухой, горячий румянец на щеках и попытаться понять ту, чужую, сумасшедшую, которая в последнее время стала появляться в зеркале и пугала ее.

8

Надя была уже своим человеком в Ляховом переулке. Все получилось само собой. А как? Это могла бы объяснить только та, что являлась в зеркале. Она являлась только Наде, только наедине, а выйдя из комнаты, умела сразу же стать скромной, тихой и совсем затаивалась, исчезала, когда Надя приходила к Лопаткину и профессору Бусько.

Комната их к этому времени уже изменилась. На столике появилась клеенка, воду кипятили в новом чайнике, заваривали чай в ма-

леньком круглом пузанчике с вострым носом и разливали в немецкие белые кружки со стенками толщиной в палец: их нельзя было разбить. Все это привезла Надя уже после того, как Дмитрий Алексеевич сам привел ее в комнату и представил профессору.

Теперь она входила смело и тихонько, чтобы не помешать изобретателям, ставила что-нибудь на стол: какую-нибудь мелочь, вроде хорошей, прочной сахарницы. Дмитрий Алексеевич хотел было возразить против этих покупок, но не смог, потому что все Надя делала разумно и все было недорого и нужно. Покупая эти вещи, она помнила о характере их будущих хозяев. В магазинах, конечно, ею руководила та, хитрая, которую она видела в зеркале.

Это ее голос подсказал Наде однажды купить для Дмитрия Алексеевича сорочку и галстук. Развернув набрежно брошенный Надей на стол сверток, Дмитрий Алексеевич вспыхнул — и она тоже. Но потом он внимательно посмотрел — сорочка была из какого-то сверхпрочного крученого шелка — и подумал: «Эта штука переживет всех нас!» За время невзгод у него выработалась непобедимая страсть к надежным, долговечным вещам. И если дух его в таких случаях еще протестовал, то рука в открытую брала подарки. Поэтому он не сумел рассердиться. И та, сумасшедшая, хитрая, на миг торжествующе проглянула из глаз Нади, пошла в наступление, и Дмитрий Алексеевич был побежден!

Пишущая машинка Нади стояла теперь тоже здесь на столе или отдыхала на полу в футляре. Для нее наконец нашлось верное, постоянное дело. Надя взяла на себя заботы по переписке Дмитрия Алексеевича.

С профессором у нее сложились особые отношения. Когда она первый раз, впереди Дмитрия Алексеевича, вошла в комнатку, старик поднялся, обомлев. Дмитрий Алексеевич представил Надю. «Мы уже знакомы», — сказала она, и профессор ответил, что да, он уже имел счастье. . . Он о чем-то догадывался, старался быть незаметным, а если бросал на нее случайный взгляд из-за чертежной доски, то это был взгляд веселый и разоблачающий, и Надя чувствовала приятное смущение, слегка розовела.

В первых числах февраля Дмитрий Алексеевич дал Наде пачку листов, исписанных крупным, решительным почерком.

— Перепечатайте, пожалуйста, в четырех экземплярах. — Он сказал это так, как говорят секретарю, и старался не смотреть на нее.

Через пять дней весь текст был перепечатан. Получилось двенадцать страниц. Письмо было адресовано в несколько инстанций и заканчивалось такими словами: «Посмотрите на номер этой жалобы, подумайте, что он означает, и вызовите меня хотя бы для пятиминутной беседы».

— Согласны с текстом? — спросил Дмитрий Алексеевич.

— Согласна, — шепнула она.

В письме Лопаткин скупо перечислил все надежды и разочарования, начиная с первого дня, когда он сдал маленький чертежик в бюро изобретений музгинского комбината.

— Лучше нет способа приобщить вас к нашей борьбе, — сказал Дмитрий Алексеевич. — Эти письма вы сами отнесете и сдадите в со-

ответствующие окошки. А ответ мы получим от одного из референтов Шутикова или от научного сотрудника НИИЦентролита. Внимание! — Он засмеялся, и Надя вздрогнула. — Прошу запомнить день, сегодня седьмое февраля. Надежда Сергеевна, я вручаю вам это. Занесите, пожалуйста, в реестр. Это будет у нас жалоба номер...

— Сорок шесть, сорок семь и сорок восемь, — сказала Надя.

— Я теперь знаю, — вполголоса сказал Дмитрий Алексеевич старику, — надо посылать письма сразу в несколько адресов. Надо бить не по одной цели, а по площадям... дробью... Так мы скорее нащупаем...

Надю поразило то, что он говорил эти невероятные слова спокойным тоном, словно это была не шутка, а обычное деловое замечание.

Через несколько дней пришел ответ в красивом специальном конверте.

— Распечатайте сами, — резко сказал Дмитрий Алексеевич, не отрываясь от работы.

Надя разрезала конверт. Там был вложен бланк: «Ваша жалоба направлена в... (здесь чернилами было написано: «НИИЦентролит») для рассмотрения по существу». В этот же день Надя получила еще два бланка. Жалобы были направлены — одна министру и вторая — в НИИЦентролит.

— Они даже не прочитали до конца, — удивилась Надя. — Что же это такое?

— Равнодушие, — отозвался старик со своего рабочего места. — Пережиток капитализма.

Надя громко засмеялась, и Евгений Устинович, удивленный, высунулся из-за чертежной доски.

— Муж часто говорит такие слова! — Она, все еще смеясь, покачала головой и стала подшивать бланки в папку входящих бумаг.

— Надежда Сергеевна... — подбирая слова, недовольным тоном возразил старик. — Вы несколько поверхностно и, я бы сказал, книжно понимаете это дело. Книжки — одно, а жизнь — другое. Книжки, знаете, отражают жизнь, но не всегда прямо — иной раз и наоборот. Пережитки существуют. Иногда они, правда, не похожи на то, что мы читаем в книжках. Но жизнь — она имеет много тайных, не исследованных сторон, в отличие от явных. Вот взять, скажем, кого бы... Ну, возьмем кровельщика из нашего домоуправления. Получает он четыреста рублей, у него есть жена и ребенок, но он не уходит на завод, потому что здесь у него уйма свободного времени. По утрам он во дворе делает матрацы, а по воскресеньям организует частное предприятие из таких же, как он, кровельщиков и подрабатывает — строит и красит гаражи для владельцев «Побед». Недавно он купил телевизор. Вот вам два лица одного человека. Теперь возьмем нашего соседа — инженера Бакрадзе. Он зарабатывает гораздо больше, чем кровельщик, и у него нет семьи. И все-таки ему везут из Абхазии фрукты и лавровый лист. Их он продает на базаре! Вот вам его второе лицо. Пойдем дальше... Возьмите начальника вот этой канцелярии, который отослал нашу жалобу и не прочитал ее. Он не спекулянт. Нет! Начальник этот иногда произносит даже речь. О чуткости и демократии. Но если бы он был чуток, если бы он наслаждался процессом защиты правых и наказания виновных, ему пришлось бы рабо-

тать, вертеться, как белка в колесе! Потому что только по одной нашей жалобе ему хватит работы на месяц. А жалоба-то не одна! Ему пришлось бы ночами не спать и разрабатывать схему такого разбора жалоб, где было бы все учтено. Чтобы жалоба на Авдиева не попадала к Авдиеву! Прощай дача, прощай рыбалка, футбол — или он запустил бы хозяйство и был бы снят! А хозяйство у него, если вы туда заглянете, в полном ажуре. Все в ящичках, картотечках и красиво расположено — как клавиатура у баяна. И он играет на этом баяне. И может прекрасно наслаждаться личной жизнью, без тревог, без страданий, без боли. А речи говорит о чуткости! Вот опять две стороны — скрытая и явная!

— Да, — сказала Надя задумчиво. Она вспомнила Дроздова. Вот ответ на его бесконечные речи!

— Так что вот, Надежда Сергеевна, вот он каков, пережиток капитализма в его естественных условиях. Ты можешь загородиться от него четырьмя стенами и стены оклеишь плакатами, перестанешь с ним бороться, будешь довольный сидеть, гордый своей непогрешимостью, а он уже в тебе! Проник!

Такие речи звучали в этой комнате довольно часто, причем Евгений Устинович всегда с удовольствием поворачивал их в конце, чтобы на богатом фоне показать Наде еще одно достоинство Дмитрия Алексеевича. Лопаткин молча дарил старику один из своих хмурых, угрожающих взглядов. Надя, как ученица, скромно слушала. Но та, другая, прыгала в ней, вырывалась наружу, а Евгений Устинович ей-то и адресовал свои немного старомодные хитрости.

То же существо, своевольное и злое, заставляло Надю каждый раз, когда она собиралась навестить своих друзей в Ляховом переулке, надевать что-нибудь новое *попроще*. Если вчера она приходила в стареньком темносинем жакете, на фоне которого нежно выделялся цвет ее шеи, то сегодня жакет отдыхал. Сегодня на ней были: узкая черная юбка и белая тонкая кофточка, которая Наде раньше не нравилась тем, что в ней ужасно торчала грудь. А назавтра вместо кофточки был сиреневый пружинистый свитер — он целомудренно сжимал все выпуклости, и шея в нем казалась тоненькой, талия — почти такой, как шея, зато волос как будто прибавлялось вдвое!

Дмитрий Алексеевич не знал, что эти превращения имеют связь с ее *простой* одеждой, что это обычный обман зрения. Ему казалось, что это в его душе разыгралась новая магнитная буря, и компас его потерял свой север и свой юг. Он сурово молчал перед чертежной доской. Но каждое появление Нади ударяло его неожиданностью, путало мысли, и он грыз карандаш, стараясь сосредоточиться, ругая только себя. А Надя совершенно спокойно ставила на стол машинку и, прикусив губку, начинала искать нужные клавиши, и в комнате раздавался уже привычный неуверенный стук.

На жалобы ответов больше не было, и даже Евгений Устинович, знающий все наперед, начал удивляться, потому что *цикл* еще ведь не закончился. Он должен был завершиться обстоятельным ответом с несколькими пунктами, доказывающими, что машина Лопаткина дорога, неэкономична, малопроизводительна, опасна в работе и по идее своей не нова. И, конечно, «сложна и громоздка».

В двадцатых числах февраля, когда Надя пришла однажды под вечер, Дмитрий Алексеевич, грустно усмехаясь, передал ей новый документ, держа его с усталой небрежностью: между указательным и средним пальцами.

— Зарегистрируйте, пожалуйста, этот... входящий.

«Гражданину Лопаткину Д. А., — было напечатано на белой глянцевой бумаге. — С получением сего предлагается Вам 21-го февраля с. г., в 11 час. утра явиться в прокуратуру района, комната 9, к помощнику прокурора тов. Титовой для объяснений по касающемуся Вас вопросу».

Надя прочитала, опустила глаза и молча раскрыла свой реестр.

Дмитрий Алексеевич был готов и к такому обороту дела, знал, что сумеет ответить на любой вопрос, и его грустный, усталый взгляд был вызван не страхом перед возможными превратностями судьбы. Он просто увидел в это утро бесконечно далекую дорогу с одинаковыми путевыми столбами, на которых были цифры: 33, 34, 35... — знакомые цифры, потому что ему скоро должно было стукнуть 33. Где-то в конце этой дороги стояла его готовая машина. Но какой номер был выбит там, на столбе?

Эта грусть вдруг вошла в него тихой иглой, а когда он взглянул на Надю, пронзила и ее. Но сам он — суровый, тренированный путник — нахмурился, стал темнее тучи, подбросил котомку на плече повыше и побрел дальше: не назад, а вперед. А Надя омертвела. Она ничего не сказала ему. И только позднее, через два часа, когда Лопаткин провожал ее по темному Ляхову переулку, она вдруг взяла его под руку и остановила.

— Дмитрий Алексеевич... Зачем они вас вызывают?

— Кто они? — Он усмехнулся. — Я полагаю, что это Авдиев хочет уточнить наши отношения.

— И вовсе не к чему шутить так. — Она обиделась, и в темноте блеснули ее слезы. — Я вас серьезно спросила...

— Надежда Сергеевна, — он машинально положил руку ей на плечо и сразу отдернул, — жаль, что вы не можете понять, насколько серьезно я вам ответил. Это очень серьезно...

Двадцать первого февраля, выбритый, в новом галстуке, Дмитрий Алексеевич постучался и вошел в ярко освещенный зимним солнцем кабинет к помощнику прокурора Титовой. Это была строгая, коротко остриженная женщина, в коричневом пиджаке с зелеными кантами и белыми узкими погонами. Перед нею на столе лежали дела в папках, а на делах — пачка папирос «Беломорканал» и коробка спичек. Когда Дмитрий Алексеевич вошел, она глуховатым голосом пробирала кого-то по телефону, курила и, не глядя, стряхивала с папиросы пепел куда-то в сторону, на какое-то дело.

— Перестаньте мне голову морочить, товарищ эксперт... Перестаньте. Дядя Коля... экспертиза эта у вас займет от силы четыре часа.

Окончив разговор, она положила трубку, быстро и недобро взглянула на Дмитрия Алексеевича, сказала: «Садитесь» — и закурила новую папиросу.

— Так что же, товарищ... Лопаткин, кажется? Да, Лопаткин. — Она переложила на столе дела, нервно забарабанила рукой по столу,

встала, отошла к окну. — Так что же это получается, товарищ Лопаткин? — сказала она, глядя в окно. — Одни двигают вперед советскую науку, промышленность, творят, а другие охаивают? А?

Дмитрий Алексеевич не ответил, только посмотрел на нее с интересом.

— Так получается? — Она опять села за стол и опять переложила дела.

— Я никого не охаиваю, — спокойно возразил Дмитрий Алексеевич. — Вы неверно информированы.

— А это что? Что же тогда это? — Она раскрыла папку и подала Дмитрию Алексеевичу отпечатанные на машинке копии восьми или десяти его писем, заявлений, жалоб, написанных в разное время. Здесь же была и копия его письма в редакцию по поводу статьи Шутикова. Письмо попало в институт, а «эксперты» отослали его сюда.

— Это жалобы, — тихим, ровным голосом ответил Дмитрий Алексеевич. — Критика.

— Есть критика и есть клевета на честных людей.

— Совершенно верно, — ответил Дмитрий Алексеевич. Не выдержал и улыбнулся ей в суровое лицо. — Кто же нам определит, что есть клевета?

— В прокуратуру поступила жалоба от группы ученых...

— Ах, понимаю. Разрешите ознакомиться?

— Ознакомьтесь. — Она подала ему эту жалобу, отпечатанную на восьми листах, причем половину последней страницы занимали подписи.

Дмитрий Алексеевич неторопливо, внимательно прочитал ее, поднимая бровь, когда ему попадались особенно крепкие выражения — «беспрецедентная вылазка», «с непонятным рвением» или «вынуждены искать защиты у советского закона».

— Ну как, нравится вам? — спросила Титова.

— Недурно составлено, — сказал Дмитрий Алексеевич, немного обескураженный, потому что за один раз принял на себя целый заряд таких слов, как «матерый клеветник», «лженоватор» или «вымогатель». Он помолчал, потом кивнул Титовой: — Ничего, подходяще.

— А вот нам это не нравится, товарищ Лопаткин. — Титова впервые подняла на него глаза. — Нам это очень не нравится.

— Вы сами в этом виноваты, товарищи...

— Как это понимать?

— Простите, вы сколько лет работаете прокурором?

— Непонятно... Ну, допустим, восемь.

— А сколько вы привлекли к ответственности людей, зажимающих новое в технике? Ни одного? Так что же вы спрашиваете? Вот мы и жалуемся!

В тусклых глазах Титовой вдруг загорелся живой огонек. Она улыбнулась на миг, поднесла ко рту папиросу и исчезла в белом дымном облаке.

— Вот вы им поверили! — Голос Дмитрия Алексеевича окреп, он подался к Титовой, вытянул вперед худую кисть с мощными суставами. — А ведь все эти ученые — Авдиев, Фундатор, Воловик, Тепикин — едут на технике вчерашнего дня! Они, как тутовые черви, ткут из своей слюны одежды для себя же. Вам, может, приходилось ви-

деть на улице такую картину: стоит заграничный автомобиль с флажком. Как живая птица. Сияет весь... А вокруг него толпа наших... Приходилось? Так вот, я когда вижу это, у меня сразу начинает вот здесь жечь, вот тут, слева. Мне кажется, что если я еще минуту постою там, посмотрю на это, то упаду и не встану. Это они, товарищ Титова, обрекают нас на этот позор. Монополия! Они не признают скачков — только ровное, еле заметное восхождение. И бьют всех инакомыслящих! А инакомыслящих уничтожать нельзя — они, как совесть, нужны тебе же!

— Значит, по-вашему, мы должны пощадить и врагов?

— Вот-вот! Они как раз и считают инакомыслящих врагами. В технике! Но какой же я враг? И ведь норовят кличку приклеить! Машина моя не нравится одному человеку, и они тут же что-то вроде вейсманизма-морганизма придумают — шлеп на спину, и пошел человек гулять с пятном! А дело не так просто. Все зависит от цели. Если вы преследуете ту же высокую цель разными способами, — спорьте! Ваш спор принесет только пользу. Сравнение выбросит из жизни всех — и больших и малых иждивенцев. Имейте в виду, я уверен, что Авдиев не прав. Видимость правоты у него получается исключительно в силу его высокого положения.

Серые глаза Дмитрия Алексеевича зажглись туманной, бархатной темнотой. Он твердо клал перед Титовой каждое слово и подчеркивал его худым сильным пальцем. Он не объяснялся с прокурором, а был преподавателем в классе — учил и убеждал. И Титова уже не прятала улыбки, задумчиво курила и рассматривала этого странного агитатора с увядшими, тусклыми волосами.

— А мы с ними действительно враги. Мы не только инако мыслим, но у нас и цели разные, — терпеливо, мягким голосом разъяснял Дмитрий Алексеевич. — Цели, цели разные. Я это говорю, находясь в полном душевном здравии. Они глядят уже не вперед, а назад. Их цель — удержаться в кресле и продолжать обогащаться. А открыватель нового служит народу. Открыватель — всегда инакомыслящий, в любой отрасли знаний. Потому что он нашел новую, более короткую дорогу и отвергает старую, привычную.

— Ну хорошо, — сказала Титова, помолчав. Папироса ее погасла. Она взяла новую. — Все это верно. Ближе к делу. Что вы скажете по существу?

— Конечно, отвергаю! И обвинения и обвинителей. На мои жалобы должен быть один ответ: надо построить машину и проверить, кто из спорщиков прав. Но они боятся диспутов и экспериментов. Здесь — смерть для них. Они сразу к прокурору! Прошу вас, товарищ Титова, иметь в виду, что есть еще группа ученых, которые поддерживают меня. Но они, увы, в меньшинстве.

— Хорошо. Проверим. — Титова вздохнула, поднялась. — Вот рядом стол, сядьте и напишите объяснение. Только, пожалуйста, — она улыбнулась, — пожалуйста, ближе к фактам.

Через час объяснение было готово. Дмитрий Алексеевич вручил его Титовой. Пожал ее твердую, сухую руку и вышел из ярко освещенного кабинета в полумрак коридора. Здесь сразу же кто-то мягко ткнулся ему в грудь. Глаза его привыкли к полумраку, и он прямо

перед собой увидел большой серо-голубой берет Надежды Сергеевны.

— Вы меня извините, Дмитрий Алексеевич, — тихо сказала она. Вскинула глаза и опустила. — Я очень, наверно, дурная!..

Дмитрий Алексеевич оглянулся по сторонам, чтобы удержать неожиданные слезы. «Черт, что-то стало с нервами», — подумал он. Быстро прижал к себе ее берет, они взглянули друг на друга и счастливо рассмеялись. И с этим счастливым смехом Надя крепко взяла Дмитрия Алексеевича под руку, встряхнула его, и они пошли — быстро, в ногу, молча — из коридора на лестницу, вниз, по улицам, по переулкам. И оба со страхом чувствовали, что в их отношениях произошел какой-то новый сдвиг.

В этот же вечер она написала письмо в Музгу — Валентине Павловне. Письмо начиналось такими словами: «Милая Валентиночка Павловна, я встретила и, кажется, полюбила вашего, вы знаете кого. Я не знала любви, теперь я знаю и понимаю вас. И знаю, что вы мне простите это — ведь я не виновата. И, кроме того, меня постигла ваша участь — он признает только дружбу...» Тут Надя бросила ручку и покраснела от счастливой надежды, вспомнив, что было три часа назад, — свою короткую дивную прогулку с ним после визита в прокуратуру.

9

Она решила позвать их к себе в гости. Именно их, потому что она знала, что один, без товарища, Дмитрий Алексеевич к ней не пойдет. Ей хотелось сделать так, чтобы было похоже на простой, человеческий выходной день. Посадить их на диван, заварить покрепче чай, поговорить с ними (с ним!) так, чтобы не было поблизости чертежной доски, и, может быть, даже сыграть что-нибудь на пианино.

Эта мысль несколько дней не давала ей покоя. Надя разработала подробный план, но он чуть было не провалился: у Дмитрия Алексеевича тоже был план, где надин вечер не значился. Выручил профессор — он вспомнил какой-то давний разговор о необходимости ж и т ь и о том, как опасна чрезмерная сосредоточенность. Дмитрий Алексеевич нехотя согласился. Он чего-то опасался и, дав согласие, нахмурился.

В назначенный вечер они позвонили — чисто выбритые, молчаливые. Вошли и остановились в передней, не отходя друг от друга даже на полшага, — не привыкли ходить по гостям. Веселая, нарядная Надя отобрала у них шляпы, повесила их пальто, и в эту минуту профессор наступил Дмитрию Алексеевичу на ногу и поглядел на вешалку. Там висела хозяйственная сумка, сделанная из множества кожаных треугольников. Сумка эта произвела впечатление. Дмитрий Алексеевич оглянулся на Надю и сказал: «Гм, да...»

Собственно говоря, он и раньше догадывался кое о чем — еще тогда, когда Надя начала приносить к ним свои обдуманные недорогие подарки. Но тогда это были неуверенные догадки, подозрения. Сумка — другое дело: даже профессор вытаращил на нее глаза, а он знал цену доказательствам.

— Раз напали на след — хватайте скорее своего шпиона! — тихо прогудел Дмитрий Алексеевич и опять оглянулся — не слышит ли

Надя. Но ее не было в передней. Она убежала на кухню и там негромко разговаривала с недовольной басистой старухой.

Потом Надя вернулась. Гости прошли в ее комнату и рядышком сели на диван. Николашка стал посматривать на них из-за стула круглыми глазами. Дмитрий Алексеевич погрозил ему пальцем, мальчик посмотрел на мать, бровки его поднялись жалобными свечками, и он заплакал.

— Ничего, ничего, милый. — Надя, взяв его на руки, стала успокаивать. — Это хороший дядя.

— Это очень хороший дядя, — подтвердил Евгений Устинович.

Надя посадила сына в кроватку, и он громко заревел, так, что пришлось его опять пустить на пол. Он сразу спрятался за стул, сунул палец в рот и стал смотреть на дядю.

— Надежда Сергеевна, — заговорил профессор. — Мы вот беседовали часто о вас, так сказать, обо всем... и о других, некоторых ваших загадочных поступках, которые нам известны, — кто вы такая?

Надя у стола передвигала тонкие пузатенькие чашки. Она быстро обернулась, некоторое время молча смотрела на старика. И просто ответила:

— Я неоплатная должница Дмитрия Алексеевича.

В это время Николашка, осмелев, вышел из-за стула и даже шагнул в сторону дяди. Дмитрий Алексеевич пальцами показал ему «козу рогатую», и мальчишка, сверкнув глазами, бросился за стул.

Надя стала наливать чай. Первую чашку она, конечно, подала Евгению Устиновичу, и профессор чуть заметным наклоном головы выразил ей свою признательность.

— Вы мне все больше нравитесь, Надежда Сергеевна, — сказал он.

— Накладывайте варенья, оно вкусное. — Надя подвинула к нему вазочку.

— Ах ты, разбойник! — сказал в это время Дмитрий Алексеевич, сделав Николашке грозные глаза. Тот запрыгал, затопал от страха и удовольствия, скрылся и опять выглянул.

— Бесстыдница! — мужским басом сказала старуха в коридоре, прямо как будто в замочную скважину. И прошла, шлепая подошвами домашних туфель. Но в комнате никто не дрогнул, не остановился, не шевельнул бровью — потому, должно быть, что сидели здесь люди, достаточно испытанные жизнью.

— Я люблю такой чай, — сказал старик. — Вы хорошо завариваете. Но я как-нибудь вас научу одному секрету. Правда, крепкий чай опасен: у вас прекрасный цвет лица.

— Если бы вы знали, как я о нем забочусь...

— И не надо! Там, где щедро позаботилась природа, нет нужды в слабых человеческих усилиях, — с рыцарским, чуть заметным поклоном сказал старик и подвинул к чайнику свою уже пустую чашку. Дмитрий Алексеевич весело поднял брови, а Надя с подобающей учтивостью поблагодарила рыцаря и налила ему крепкого чаю.

— Благодарю вас. — Евгений Устинович принял чашку из ее рук и продолжал, не забывая о варенье: — Я часто задумывался о природной, физической красоте человека...

— Такой красоты нет, — проговорил вдруг Дмитрий Алексеевич.

— Мирон, Фидий и Пракситель дали нам прекрасные образцы, которые...

— Вы не ссылайтесь на авторитеты, — смеясь, возразил Дмитрий Алексеевич. — Большинству людей нравятся не красивые, а симпатичные. Это слово и появилось для того, чтобы подчеркнуть разницу между правильностью черт лица и внутренней, духовной красотой.

— А почему же мы ошибаемся? — спросила Надя каким-то тихим, упавшим голосом. — Встречаем человека с некрасивой наружностью, он пленяет нас своей внутренней красотой, а потом оказывается, что и ее нет!

Дмитрий Алексеевич сразу понял, о каком человеке она говорит, и задумался. Нужно было ответить так, чтобы Надя не заметила своего нечаянного саморазоблачения, чтобы не смутилась.

— Есть частные отклонения от закона... — ответил он и опять замолчал. — Есть огромная шкала отклонений...

— А мой, мой пример? — спросила Надя. Она поняла осторожность Дмитрия Алексеевича и взглядом разрешила ему говорить все.

— Влюбленный характер надевает брачный, праздничный наряд — играет всеми красками, — сказал Евгений Устинович и с одобрением взглянул на Надю.

— В таких случаях бывает полезно посмотреть, как этот человек ведет себя в отсутствие «ее», — добавил Дмитрий Алексеевич. — Каков он с другими людьми. Многое открывается.

— Да, — сказала рассеянно Надя. — Это верно. Открывается многое.

Потом она подняла глаза и, не отрываясь, стала смотреть на Дмитрия Алексеевича, как бы проверяя свое отношение к нему. Дмитрий Алексеевич узнал этот взгляд и отвел глаза: в Надю словно переселилась ласка и преданность Валентины Павловны. Он опять взглянул на нее и опять отвел взгляд — она все так же мягко и преданно смотрела на него.

— Этот вопрос иногда бывает неразрешимым даже для весьма тонких людей, — сказал Евгений Устинович, как бы очнувшись. — Или поздно разрешимым... Один такой молодой человек, очень, как мне кажется, внутренне одаренный, однажды ехал в поезде... Нет, начнем не так. Была у меня знакомая, которая мечтала выйти замуж. И вот как-то в поезде в нее влюбился некий молодой человек. Да так решительно, что предложил ей сойти с поезда и ехать к нему, стать его женой. Она: «Как же? Как это так, сразу?» Обывательница, и притом москвичка, а тут надо было сойти где-то в Белгороде, на другом конце земли. Небось, там и хлеба-то нет, подумала она, и отказалась. А он ей нравился, и весьма. И так они расстались, и она жалела об этом очень долго. И сейчас, по-моему, жалеет. Между прочим, так и осталась в девах. И он, конечно, жалел. А если бы я его встретил, я сказал бы: это ваше счастье, что вам не удалось ее убедить. Вашей женой будет та, которая с радостью, смело прыгнет с вами со своего поезда. Это я хочу сказать и вам, Дмитрий Алексеевич, на тот предмет, чтобы вы не очень преследовали бедных обывателей. Пускай себе живут, думают о своих тряпках, о своих капитанах... Не мешайте им. Да,

кстати, — профессор вдруг подвинулся на диване к маленькой этажерке, сплошь набитой книгами. — Это у вас Бальзак? Ага! — Взяв одну из книг, он раскрыл ее, потом опомнился, поискал близорукими глазами свою чашку, придвинул к себе чашку Нади и отхлебнул глоток. — Ага! Это «Утраченные иллюзии»! Ах, как я люблю эту вещь, здесь есть чудеснейшие места! Это настоящая, большая литература!

Дрожащими пальцами он стал перелистывать книгу, а Дмитрий Алексеевич и Надя вдруг остались наедине.

— Сыграть вам что-нибудь? — спросила она тихо.

— Да, да, — согласился Дмитрий Алексеевич, словно пригибаясь под ее взглядом.

— Что же вам сыграть? .. — Она подошла к пианино и, открыв его, стала играть. — Вы знаете, что это?

Дмитрий Алексеевич узнал. Это был Второй концерт, вторая часть. То место, где начинается грустное раздумье героя, где Шопен, верящий, что есть на свете человек, открытый для звуков, рассказывает ему о том, как иногда бывает нелегко и как прекрасно сочувствие друга...

Если бы Дмитрий Алексеевич в эти минуты поднял глаза, он увидел бы за пианино странное существо, очень похожее на Надю, которое, грустно сияя, смотрело прямо на него. Но он не поднял глаз. Он собрал на лбу резкие морщины и даже опустил голову, глядя словно бы под стол.

— Повторите, пожалуйста, это место, — попросил он.

И Надя повторила — еще и еще раз, потому что и самой ей это место нравилось. Она р а з м ы ш л я л а для Дмитрия Алексеевича, и, с мягкой силой нажимая на клавиши, она глядела на него, как бы говоря ему звуками то, что не могла сказать словами. И он слушал, понимал эти звуки почти так же. Но где-то чувства его и Нади расходились врозь. Ему казалось, что это его умершая в одиночестве мать, забыв о своих горестях, с лаской смотрит на него, роняя слезы, радуясь на своего большого и такого славного единственного сына...

— Вот! — перебил их профессор, и Надя остановилась. — Прекраснейшее место. — И он стал читать, не замечая улыбок Дмитрия Алексеевича и Нади: — «Не все изобретатели отличаются хваткой бульдога, который издохнет, но не выпустит из зубов добычи». Каково сказано? Какая сила! — Тут он взглянул на Дмитрия Алексеевича, на Надю, увидел их улыбки. Сказав «эх!», он потряс книгой и опять сгорбился на диване. Он и в литературе понимал только то, что относится к изобретателям.

Надя мягко опустила руки на клавиши.

— Я знаю, что вам нравится, — сказала она. — Вам нравится вот это!

И, сжав губы, ударила по клавишам — это было то место, где после минутной слабости герой, выпрямясь, бросается вперед. И Дмитрий Алексеевич через несколько секунд сам, почти неслышно, угрожающе загудел, исполняя партию оркестра, помогая герою.

Битва кончилась, Надя опустила руки, и Дмитрий Алексеевич на этот раз не попросил ее повторить, потому что такие вещи повторять нельзя. Наступила тишина.

— Ах ты, асбойник! — отчетливо раздалось вдруг около дивана.

Это Николашка подошел наконец к дяде. Он уже несколько раз трогал его колено и теперь теребил его, приглашая поиграть.

— Ага-а! — Дмитрий Алексеевич, рыча, схватил малыша, поднял, посадил к себе на колено и открыл рот, чтобы проглотить. Николашка зажмурился, но все же хихикнул, показав редкие молочные зубки. Потом уселся у Дмитрия Алексеевича на колене и стал серьезно рассматривать большого дядю и щупать его пуговицы.

— Он вам теперь покоя не даст! — сказала Надя и стала тихонько наигрывать что-то незнакомое: она задумалась.

— Вот! — закричал торжествующий Евгений Устинович. — Да слушайте же вы! Дмитрий Алексеевич, ваши слова! «Куэнтэ наживутся на моем изобретении; но, в сущности, что я такое в сравнении с родиной? .. Обыкновенный человек. Если мое изобретение послужит на пользу всей стране, ну что ж, я буду счастлив!»

Отхлебнув из надиной чашки, старик опять словно исчез из комнаты, и тогда-то, под тихий говор пианино, щекоча носом затылок Николашки, Дмитрий Алексеевич вдруг спросил себя: «Что же это я? Зачем?» И он увидел Жанну, ее слезы и растерянность. Он любил ее когда-то, любит и сейчас, и нельзя же так просто изменить ей и бросить девчонку, которая никак не найдет себе места! Она погибнет! Там сейчас же этот капитан... женится, купит ей чернобурку и заставит целыми днями вышивать салфеточки... «Но почему же меня тянет к этой, к той, что вон там сидит? .. Она позвала меня в гости, и я обрадовался!» И он хмуро взглянул на Надю. Она прочитала его мысли, сразу опустила глаза — тише воды — и продолжала играть.

«Мы не поздно засиделись? — кашлянув, показал он ей рукой и бровями. — Не мешаем начальству отдыхать?»

«Начальства нет дома», — покачала Надя головой. И, не переставая играть, шепотом добавила:

— Уехал в Музгу. Машину строят.

«И он?» — показал бровями Дмитрий Алексеевич.

— Неофициально, но уже возглавил, — отчетливо сказала Надя.

«Надо поторапливаться», — подумал Дмитрий Алексеевич и вдруг неожиданно для себя встал, чуть не уронив Николашку. Он спешил к чертежной доске, и ничто не могло его задержать.

10

В середине марта Дмитрий Алексеевич закончил свой новый проект. Это было вечером. Он встал, схватился за стойку чертежного станка, крепко потянулся, сдвинув станок с места, и впервые за несколько месяцев ясно улыбнулся Наде.

— Все, — сказал он, выйдя на середину комнаты, взял утюг и стал им размахивать. — Теперь опять начнем канитель. Заново! Начнем новую, прекрасную, многолетнюю канитель! — весело запел он, крутя утюгом. — Завтра мне стукнет тридцать три года. Дядя Женя, — крикнул он, — я теперь тоже не маленький — шесть лет в изобретательском строю!

— Давайте маршируйте! — отозвался профессор. — Дизель говаривал...

— Я знаю, что он говаривал! — Лопаткин перехватил утюг другой

рукой. — В этих словах страшна усмешка. Она действительно страшная. А смысла ведь нет. В жизни — наоборот, чем старше, тем все больше надежд... Шансы увеличиваются, и надежд все больше. Они-то нас и затягивают и затягивают в это дело.

— А вы были когда-нибудь стариком? — спросил невинным тоном Евгений Устинович. — Не были? То-то...

— Вы тоже надеетесь, Евгений Устинович, — сказала Надя. — Вы, я знаю, любите выпить, а пьете редко. Это — доказательство номер один...

— Надежда Сергеевна, пить нельзя, когда у тебя в руках ценность, которую ты должен передать... так сказать... народу.

— Ага, значит, вы все-таки надеетесь передать!

— Нет, я уверен, что не передам. Но, пока я живу, я должен беречь... Это главная часть моего существа. Человек ведь состоит из двух частей: из физической оболочки — она обязательно умрет, о ней нечего жалеть, — и из дела. Дело может существовать вечно. Если когда-нибудь попадет к людям...

— Евгений Устинович! — Лопаткин сказал это торжественно. — Если только я вручу, вторым моим делом обязательно будет ваш...

— Не клянитесь. Вы поклялись — и уже испытали бесплатное удовольствие помощи ближнему. И вас авансом поблагодарили. — Старик привстал и поклонился. — Так что второй раз получать то же самое вы, может быть, и не захотите. Тем более, что за повторное удовольствие придется платить: исполнять клятву!

— Хорошо. Беру свои слова обратно...

— Не клянитесь, — повторил профессор, вынимая из пресса глиняный кубик. — А в особенности при людях. Публичная клятва доставляет больше удовольствия, но зато потом человек думает не о долге, а о процентах, о том, что люди помнят его клятву. Заверения даже в любви...

— В любви действительно нельзя клясться. Это правда, — сказала Надя. — Надо просто любить. Но клятвы так приятно слушать!

— Человеку любящему или ненавидящему, пожалуй, верно, не нужна парадная присяга, — согласился Дмитрий Алексеевич.

— Я вижу, все согласны, — продолжал Бусько. — И это действительно так. Дмитрия Алексеевича, например, никто не заставлял быть верным его идее. Надежда Сергеевна печатает ваши, Дмитрий Алексеевич, жалобы, хотя никто не отбирал у нее никаких клятв. Больше того. Она даже нарушила некоторые формально принятые обязательства, потому что в этих жалобах встречается фамилия Дроздов, и скоро люди начнут говорить о том, что она отступила от человеческого закона.

— Уже начинают, — шепнула Надя задумчиво, водя пальцами по клавишам машинки. Старик испуганно уставился на нее.

— Надежда Сергеевна! Это вы обо мне? Если я первый это сказал — простите! Ведь я вас понимаю и говорю с вами, как с собой!

— Нет, Евгений Устинович, — Надя очнулась, — я совсем о другом. — Она глубоко вздохнула. — Ах, я совсем, дорогой Евгений Устинович, о другом...

— Так вот, товарищи соратники, не клянитесь. Если вы все-таки захотите дать большой обет — делайте это один раз в жизни и при

этом молча, и чтоб это не было похоже на спектакль. Поднимитесь куда-нибудь повыше, чтобы оттуда была видна вся земля, и молча примите решение. В этом случае вас хоть будет беспокоить совесть, боязнь того, что вы станете трусом, мелким человеком.

Наступило молчание. Дмитрий Алексеевич, опустив голову, ушел на свою половину и там молча стал складывать чертежи — лист, газета, опять лист — и так до конца, все четырнадцать листов. Потом, сосредоточенно напевая, он свернул все это в толстую трубу и перевязал обрывком шпагата. Надя, двигая гибкими русыми бровями, следила за его суровыми ухватками, смотрела исподлобья с таким выражением сдержанной любви, что профессор оставил свою работу, направил на нее туманные очки, втянул голову и притих.

Похоже было, что Надя в молчании давала в эту минуту свой большой обет — но ей не требовалось подниматься на высокое место, чтобы увидеть всю землю: она давала обет не перед землей, а перед человеком.

На следующий день ближе к вечеру, когда зажгли электричество, Надя опять пришла. В руках у нее был громадный сверток, перевязанный вдоль и поперек шпагатом. Дмитрий Алексеевич взглянул и чуть заметно поморщился — должно быть, Надя опять принесла дары, и он чувствовал, что надвигается решительная минута объяснения, неприятного и для него, а для нее в особенности. Плохо, когда человек не знает меры!

Надя сняла берет, сняла свое черное пальто, мокрое от мартовского снега, и оказалась в кофточке из нежного пуха живого зеленого цвета. Кофточки эти — с очень короткими рукавчиками — в то время только лишь начинали входить в моду среди девушек танцулек. Причем мода эта шла не своим обычным путем, а, наоборот, перелетев из-за границы, сперва проросла на периферии, эпидемией разразилась в Музге и лишь затем проникла в Москву. Голые почти до плеч, младенчески нежные руки и рядом теплый, толстый пух, июль и январь, — нужна была большая смелость, чтобы зимой продемонстрировать где-нибудь в клубе подобное сочетание. И на Наде эта кофточка оказалась, конечно же, по вине той сумасшедшей, которая в последнее время опасно осмелела. Поэтому, сняв пальто и почувствовав на себе суровый взгляд Дмитрия Алексеевича, Надя вспыхнула чуть ли не до слез, призвала все свое мужество и, чувствуя себя голой перед двумя мужчинами, пронесла свой громадный сверток к столу и там стала с досадой ножом разрезать на нем веревочные путы.

— Это что — еще подарок? — спросил Дмитрий Алексеевич, кладя руку на сверток.

— Пожалуйста, не говорите ничего! — Надя взглянула на него и сразу же опустила глаза.

«Хорошо. Помолчим», — сказали упрямые глаза Дмитрия Алексеевича. И в тишине Надя опять стала резать и разрывать прочные шпагатные путы. Потом она остановилась и, обращаясь к обоим, сказала:

— Не смотрите на меня, пожалуйста. Я сделала ужасную глупость, надела для праздника вот это... Это музгинские девчонки придумали такую моду.

— Должен сказать, что ваши музгинские девушки — неглупые создания, — вполголоса, в нос пропел Евгений Устинович.

Но тут назрели новые события. Надя, как капусту, развернула листы оберточной бумаги и вытащила оттуда большой темнокоричневый портфель из той толстой кожи, которая идет на кавалерийские седла. Ручка его была очень удобна и крепилась капитальными шарнирами из латуни.

Стараясь не смотреть на портфель, Лопаткин сказал:

— Надежда Сергеевна. Я не имею возможности возвратить те деньги, что вы нам присылали, хотя долг этот мною записан. Но больше мы ничего от вас не примем. Давайте я вам помогу завернуть. . .

— Не торопитесь, — возразила Надя, упрямо наклонив голову. — Станьте ровнее. Евгений Устинович, идите сюда. Пусть он попробует. . . — И, торжественно шагнув вперед, протянув портфель, она сказала Дмитрию Алексеевичу: — Поздравляю вас, товарищ изобретатель, с днем рождения! Пусть ваши проекты, которые вы будете носить в этом портфеле, пусть они будут одобрены. . .

— И пусть они надежно служат народу, — добавил Евгений Устинович.

Так что и на этот раз Дмитрию Алексеевичу пришлось принять подарок Нади. Он открыл портфель, пощелкал массивными замками и по-детски улыбнулся, потому что мужчины тоже любят игрушки. А Надя тем временем доставала из вороха бумаги маленькие свертки в промасленном пергаменте, пакеты, пакетики, булки и, наконец, выставила одну за другой целых четыре бутылки вина.

— Я не знаю, кто что пьет, — сказала она. — Вот это вино — кагор. Его люблю я. Вот это портвейн. Здесь еще портвейн, другого сорта. А это напиток, который, как я слышала, пьющие называют вином, а непьющие — водкой. Я думаю, что не грех отпраздновать день рождения одного из нас, тем более, что он закончил вчера большую работу.

— Это верно, — согласился Евгений Устинович и суетливо стал убирать со стола. Вытер и без того чистую клеенку, сбросил со стульев окурки и бегом унес на кухню ворох бумаги. Затем он вернулся и, выставив вверх локоть, принялся откупоривать бутылки.

Наконец все приготовления были закончены, и друзья сели к столу, на котором в тарелках были разложены семга, черная икра, сыр, ветчина, масло и гора нарезанного хлеба.

— Ну что же, нальем? — спросила Надя. — Вы, Евгений Устинович, пьете, конечно, э т о?

— Белое вино, — ответил профессор и, присмирев, подвинул свою чашку.

— А вы? Белое вино или водку? — спросила Надя Дмитрия Алексеевича и засмеялась. — Ох, знаете, я, кажется, уже пьяна!

— Мне немножко, — сказал Лопаткин, протянув свою чашку. — Довольно!

Но Надя ухитрилась налить ему немного больше и опять рассмеялась. Себе она налила полчашки кагора.

— Давайте выпьем по очереди за всех! — предложила она. — За именинника!

— Дмитрий Алексеевич, — сказал профессор и поклонился Лопаткину.

— Дмитрий Алексеевич! — И Надя, смеясь, повторила это движение.

Все выпили по-разному. Дмитрий Алексеевич — как воду и даже удивился, что столичная водка так слаба. Профессор побагровел, вытер слезы и поскорее схватил заранее приготовленный спасительный бутерброд. Надя в несколько маленьких глотков выпила свой кагор и ни с того ни с сего рассмеялась в чашку.

— Что такое делается со мной, не знаю!

— Я сейчас вам объясню, — сказал Евгений Устинович, жуя. — Все очень просто... Надежда Сергеевна. Вы сама — вино. Когда-то, гм... и я был таким, а сейчас вот... чтобы находиться в беседе на уровне вашего темперамента, я должен, я вынужден... это прекрасно тонизирует! .. — Взяв бутылку, он с грустным видом налил себе полчашки, сказал Наде: — За ваше вино! — и, выпив, припал к бутерброду.

— А вы что же мало едите? — спросила Надя, быстро взглянув на Дмитрия Алексеевича, и стала ему накладывать в тарелку всего, что было на столе.

— Он не ест по идейным соображениям, — быстро жуя, промолвил Евгений Устинович. — У него теория есть... Этот хороший кусочек следовало бы не ему... Дайте-ка его сюда, — и, пальцем сняв с надиной вилки кусок семги, профессор отправил его в рот, измазав жиром усы.

Надя звонко захохотала.

— Смотрите, что профессор делает! Какая же теория? Дмитрий Алексеевич!

— Никакой теории нет. Видите, ем! Все будет съедено! Этот старый вульгаризатор сегодня ночью продолжал со мной спорить и докатился до того, что в красоте человека, говорит, внешность — решающее дело. Вы что же, не видели красавиц с собольей бровью? К которым не то что равнодушен — на них страшно смотреть! Он скоро скажет, что красоту составляет одежда! Собственный автомобиль!

Евгений Устинович посмотрел на него поверх очков, как старый барсук, на которого нападает неопытная такса.

— У Дмитрия Алексеевича есть теория о том, что пища и одежда — зло. Эта теория нас вполне удовлетворяла до тех пор, пока неизвестный агент не принес нам в сумке из кусочков кожи... Разрешите мне эту бутылку, я хочу попробовать... Никогда не пил армянских портвейнов.

— Нет, вы скажите-ка Надежде Сергеевне ваше кредо!

— Мое кредо! Его придерживается громадное большинство.

— Нет! Это — кредо потребителя! Что, не верно?

Дмитрий Алексеевич поторопился, выразив недоверие к «столичной» водке. Он не поморщился, когда пил, и пустил в свою крепость опасного врага. Этот враг начал действовать — заставил его громко говорить. Дмитрий Алексеевич побледнел, как бледнеют от вина все истощенные, ослабевшие люди. Движения его стали точными и быстрыми, взгляд потемнел.

— Не кажется ли вам, — сказал он, пытаясь разрезать кусок ветчины, стуча ножом, — не кажется ли вам, что внешнюю красоту человека творит не столько природа, сколько сам человек, его характер? Глупо жадный, невоздержанный, ленивый, слабовольный чаще всего

бывает толстым. Видящий весь смысл жизни в приобретении земных благ имеет особый «земной» вид...

— Подождите... — возразил было профессор, но в эту минуту Надя закричала: «Выпьем за красоту!» — и он благоговейно опустил седую голову и подал чашку.

Дмитрий Алексеевич второй раз выпил свою водку — словно допил чай — и продолжал наступление.

— Разве не правда, что первый взгляд, брошенный на человека, дает нам часто верное представление о нем! Хоть и подсознательное? А? Вот вы меня с первого взгляда поняли, даже сказали что-то насчет лица и паспорта! Помните? То-то. По улице, дорогой Евгений Устинович, идут не шубки, не глазки, а сплошные характеры!..

— Дорогой... Дмитрий Алексеевич! Ведь вы совсем другой человек! Вы что-то и в музыке понимаете, способны, во всяком случае, хоть досидеть до конца. Обладаете какой-то твердостью. Я же вооружен только математикой и химией, хотя имею дерзость утверждать, что более дивной музыки, чем музыка теории чисел, я не слышал. Должен заметить, что сегодня вы говорите значительно яснее и логичнее, но, к сожалению, после этих тостов я ничего не могу понять...

— За последние слова я готов вам простить все! — воскликнул, смеясь, Дмитрий Алексеевич.

— Тогда вот что, — сказал вдруг Евгений Устинович своим обычным серьезным голосом. — Налейте, Надежда Сергеевна, наши бокалы.

Надя налила и пустую бутылку из-под водки поставила под стол.

— Товарищи, совсем неожиданно выяснилось, что я должен вас покинуть, — тихо продолжал Евгений Устинович. — Я как-то говорил Дмитрию Алексеевичу, что у меня должна состояться встреча... с одним человеком, с которым у меня связаны некоторые надежды. Эта встреча должна состояться сегодня. Как это я забыл о ней?.. Надежда Сергеевна, скажите, пожалуйста, который час?

— Без четверти десять, — сказала Надя.

Дмитрий Алексеевич нахмурился.

— Да, я уже опоздал на сорок минут. — Старик засуетился, надел пальто, нахлобучил шляпу. Остановился, стал загибать пальцы: — Трамвай, электричка, там ходьбы минут десять, — в общем получается полтора часа. Бегу! С вашего разрешения... — Он поднял чашку. — За то, чтобы я не опоздал... Надежда Сергеевна! За успех моего предприятия, ради которого я должен покинуть такой прекрасный стол и такую прекрасную компанию.

Выпив водку, он схватил кусок хлеба, положил на него пласт ветчины, поклонился Надежде Сергеевне и, жуя, вышел. По коридору, удаляясь, глухо и тупо стучали его шаги. Решительно и бесповоротно — на всю квартиру — хлопнула вдали дверь. Дмитрий Алексеевич и Надя сразу отрезвели. Словно по уговору, они взглянули на свои чашки и отодвинули их, хотя тост уже был произнесен и даже п о ч а т профессором.

— Как он вдруг... сказала Надя. — Ни с того ни с сего...

— Он что-то мне говорил, дня три назад...

— Правда? Говорил? — Надя оживилась. Ей чуть не отравило весь вечер одно внезапное и нелепое подозрение. — Где же этот человек живет?

— В Малаховке.

— Ах, даже вот как!..

Надя совсем успокоилась. И тогда грудь ей приятно сдавило знакомое, запретное чувство, грех, который смело распоряжался в ее душе, потому что он уже был ей ведом. Она покраснела и опустила голову, чувствуя, что преображается в т у, обитательницу зеркала. Она сама еще не знала ее, боялась, что Дмитрий Алексеевич будет недоволен этой переменой, но удержать т у уже было невозможно. Тишина сгустилась над ними и зазвенела.

— Который час? — спросил Дмитрий Алексеевич сдавленным голосом.

— Без трех минут десять. — Надя встала и прошлась по комнате. — Это у вас радио? Можно, я включу?

И старый, рваный репродуктор завибрировал эстрадным баритоном, сладким и страстным, как духи Ганичевой.

Дмитрий Алексеевич и Надя громко рассмеялись: певец сразу же выгнал из комнаты весь страх. Он продолжал и дальше, делая кокетливые вздохи почти перед каждым словом:

Ах, первое письмо, ах, первое письмо...
Ах, вы найдете слезинку между стро-о-ок...

— Ишь ты, какой молодец! — сказал Дмитрий Алексеевич.

Надя выдернула вилку из штепселя, и баритон умолк.

— Зачем? Дайте ему допеть. Он сейчас не то еще покажет! — Дмитрий Алексеевич привстал, повернулся и схватил вилку, чтобы скорее включить... Но это была мягкая рука Нади. Они оба в одно и то же время включили радио и отдернули руки. Баритон неистово завибрировал, зажужжал: «Я пьян от счастья, любви и трево-о-о-ог!» Но ни Надя, ни Дмитрий Алексеевич не услышали его. Тихий звон наполнил комнату. Ничего не видя, Дмитрий Алексеевич опустился на свой стул.

— Допьем? — сказал он, кашлянув. — Тут вот осталось...

— А? — спросила Надя. И что-то подтолкнуло ее поближе. — Что вы сказали?

Он ничего не ответил.

— Вы что-то сказали? — растерянно спросила Надя, подходя к нему сзади, наклоняясь над ним. — Что-то допить?..

И пальцы ее ласковыми змеями вползли, проникли, перебирая его волосы.

— Дмитрий Алексеевич! — каким-то новым голосом сказала она, с силой прижимая большую послушную голову к своей груди. — Дмитрий Алексеевич!

«За одну минуту счастья с ним отдам все», — мелькнули в ее памяти чьи-то знакомые слова.

Он обнял ее, повернул вокруг себя, с каждой секундой чувствуя себя сильнее, и она как бы опутала его со всех сторон. Он хотел прижаться к ней лицом, но Надя, взяв его за голову обеими руками, удержала и стала смотреть на него, тревожно водя зрачками, ловя его глаза, а он их прятал, почувствовав вдруг опять минутную неловкость. «Милый! — говорил ее взгляд. — Подожди, дай мне посмотреть на те-

бя. Наконец-то ты мой! Что — поцелуй! Я готова отдать тебе всю себя, всю свою жизнь! Будешь ли ты меня любить?»

И, высказав все это, она сама прижалась лицом к его губам, к глазам, к твердому выступу на щеке, смеясь, шепча безумнейшие слова.

В два часа ночи Дмитрий Алексеевич, широко раскинув руки, спал на своей постели из ящиков, на сером, сбитом в ком байковом одеяле. Пиджак его Надя повесила на стул, рубаху расстегнула, обнажив худую грудь с крупными выпуклостями ребер. Он глубоко и жадно дышал и был похож на большого измученного птенца. В эти минуты многое можно было прочесть на этом бледном лице с горько сдвинутой бровью, на этой усталой, широкой груди, которая в студенческие годы Дмитрия Алексеевича, наверно, не раз обрывала ленточку финиша.

Надя сидела около него, на том же одеяле, и не сводила грустных глаз с его лица. Иногда вдруг сжимала руки. Слезы, скользнув по щекам, падали на его рубаху. И шепнув: «Нет, я тебя не отдам!» — она целовала его мощную ключицу и слышала, как бьется под нею его большое сердце. Слезы быстро высыхали, лицо Нади прояснялось, и, шмыгнув носом, она осторожно шевелила, перебирала волосы Дмитрия Алексеевича, убирала с большого, прорезанного острой складкой лба. Складка эта и во сне не стала мягче. «Господи, а я искала героя! — счастливо оцепенев, думала она. — Неужели я им владею! Нет! Я теперь тебя опутаю! Ни к кому ты от меня теперь не уйдешь, ни к какой Жанне».

Так, сторожа Дмитрия Алексеевича, она просидела до утра. На рассвете она подошла к окну и увидела пустынный Ляхов переулок, скованный морозцем, распахнутые ворота и пустой двор дома на той стороне. Все было мертво, тихо, и только вверху, на крышах, растекались, ширились светлые веселые полоски: где-то сзади поднималось солнце.

Надя оглянулась на Дмитрия Алексеевича и задумалась. Вот и она прыгнула со своего поезда. Это был головокружительный прыжок. Новыми глазами она осматривала все вокруг себя: здесь был дом, куда привел ее неожиданный попутчик. Что ждало ее? Да... Она все-таки отважилась! Хотя ее, кажется, не особенно звали...

«Я проснулся на мглистом рассвете неизвестно которого дня, — вспомнились ей стихи Блока. — Спит она, улыбаясь, как дети, — ей пригрезился сон про меня».

Нет, не она спала, а он спал, и в снах его не было Нади. Там было что-то большое и тяжелое. А она, на этом мглистом рассвете, тихо просыпалась от своих детских снов. Растерянная улыбка тихо угасала на ее лице. Надя взглянула на чертежную доску — громадную, уходящую вверх, в полумрак, оглядела комнату, где все было, как у солдат — по-походному, — и вспомнила другие строки из того же стихотворения: «Заглушить рокотание моря соловьиная песнь не вольна!».

Потом она опять повернулась лицом к безжизненному переулку и отпрянула, медленно заливаясь краской. Там, на той стороне, по тротуару, неспешно пошаркивая, оттянув кулаками карманы вязаного, как чулок, пальто, шел Евгений Устинович. Он остановился, посмотрел на свой дом, на свое окно, поднял повыше воротник, мотнул головой от холода и пошел дальше — бочком, бочком, притоптывая, как это делают ночью дежурные дворники. «За успех моего предприятия!»

— вспомнила Надя его рыцарский тост. «Ах ты, обманщик, лиса, коряга противная», — смеясь, шепнула она и показала кулак ему вслед, его согнутой спине.

А переулок, между тем, светлел; в бледном, золотисто-зеленом небе появился телесный оттенок, оно отогревалось, все больше прибавлялось в нем живой теплоты. А из-за ярко освещенных крыш словно доносились радостные трубы зари. Да, в Москве начинался новый день, а для Нади и новая жизнь. Начиналась она, правда, не в отдельной квартире, полуголодная жизнь, но с большими радостями и большими горестями, жизнь настоящая. Счастье! Оно никогда не бывает сладким и не похоже на плакаты по страхованию имущества. Оно подкрашено горечью и об этом Наде предстояло узнать очень скоро.

В семь часов утра она убрала в комнате изобретателей, еще раз поцеловала спящего Дмитрия Алексеевича, оделась и тихонько вышла. Все было спокойно, никто не встретился ей в коридоре. Она закрыла за собой наружную дверь и облегченно вздохнула. Но тут Надя вдруг отчетливо увидела своего покинутого Николашку, с вытянутым личиком, с большими удивленными глазами: он стоял в кроватке и не плакал, смотрел на пустую мамину кровать и на дверь. Бровки его были жалобно подняты, он ничего не понимал. «Милое мое, золотое, как же можно быть живым и так долго не видеть мамы — даже ночью, даже утром!» — Ахнув, браня себя, Надя поспешила вниз, через двор, к воротам. Далеко в переулке светилась зеленая лампочка такси. Надя добежала, дернула ручку, упала на мягкое сиденье, и только тогда, когда замелькали справа и слева столбы и дома, она подумала, что теперь придется отказаться от некоторых привычек, от таких вещей, как такси. «В последний раз, — решила она. — Будем жить построже, как полагается учительнице географии».

Дома все было в порядке. Николашка сидел за столом на своем высоком стуле. Шура кормила его кашкой, он двигал щеками и тянулся ручонками к блюдцу.

— Ах ты, моя дорогая-золотая! — тихо запела Надя, еле удерживаясь, чтобы не стиснуть, не расцеловать своего мальчугашку. Но она сперва сбросила пальто и, приговаривая: «дорогая-золотая, серебряная», — побежала на кухню мыть руки. Николашка громко заревел — ушла мамочка. Но вот она уже вернулась и взяла его на руки. Посмотрела не подопрели ли ножки, и, поцеловав несколько раз сына, раскрасневшись от счастья, она принялась его кормить.

— Все, все Леониду скажу, — пробасила старуха в дверь. — Погоди вот. Пусть только приедет.

— Приедет — на него тогда и шипите, — ответила Надя через плечо. — За то, что он бросил первую жену с двумя детьми.

— Во-он чего! Та сама ушла. Такая же гулящая дрянь была. . .

— От него и третья уйдет, — сказала Надя, целуя Николашку. — А со мной, пожалуйста, не разговаривайте. Я вас знать не хочу.

Днем Надя была в школе, давала уроки, а под вечер, то глубоко вздыхая, то задерживая дыхание, уже стояла перед высокой дверью с множеством звонковых кнопок, высыпавших, как мухи на солнцепек.

Дверь открыл Евгений Устинович.

— Здравствуйте, Мефистофель, — негромко сказала ему Надя.

Они замолчали, глядя друг на друга.

— Здравствуйте, Маргарита, — в нос, негромко пропел наконец старик, заставив Надю покраснеть. Но тут же он сообразил, что ему, как приехавшему из Малаховки, полагается ничего не знать. Он нерешительно посмотрел на Надю. — Простите, а как я должен понимать ваше столь необычное приветствие?

— Шутки шутками, а я хочу вам по секрету сказать одну вещь, — шепнула Надя. — Я видела агента иностранной разведки.

— Не может быть! Где? — Глаза профессора округлились за стеклами очков. Он оглянулся и приблизил к Наде ухо, из которого, как порванные струны, торчали седые завитки.

— Я твердо в этом убеждена, — сказала Надя. — Он дежурил сегодня всю ночь у нас под окном. Надо было бы поймать этого шпиона и наказать.

Старик постоял, наклонив голову, подумал, строго посмотрел на Надю.

— Дело серьезное. Да. Очень серьезное... А стоит ли его наказывать? Ведь он, бедняга, на своей работе насморк получил!..

Надя, пряча улыбку, хотела было пройти дальше, в коридор, но профессор остановил ее.

— Надежда Сергеевна, пожалуйста, ничего не говорите Фаусту. У него сегодня дурное настроение. Он меня съест за это.

— А что он?..

— Лежит до сих пор. Мрачен. Мысли...

Дмитрий Алексеевич еще не поднимался с постели. У него болела голова. Весь день он лежал на своих ящиках, щупал лоб, смотрел в стену и думал — все об одном и том же.

«Ханжа! — говорил он себе уже в который раз. — Ты ведь изменил Жанне! Так продолжай — что ж тут охать?»

И, охнув, поворачивался на другой бок. «Нет, это не было изменой, — отвечал он себе, — а в общем, там будет видно...»

«Что будет видно? А что же будет с т о й? — возникала вдруг новая мысль. — Она скажет: нет на свете ничего доброго!»

Потом его пронзил страшный вопрос: «А что будет с э т о й? Почему я не отверг ее сразу? Зачем надежды подавал? Слаб? Или люблю, может быть? Она-то любит, это видно... потому и пошла на все. Она может потребовать от сердца отчета. А если отчета не будет — зачем обманул? И придется все-таки ей что-то сказать, хотя пробуждение будет для нее тяжелым. Но я-то — разве я ее обманул? Ведь она нравилась мне, я не смог...»

— Ах, — сказал он и повернулся на спину, закрыл глаза рукой. «А та? — подумал он с болью. — Совсем еще девчонка. Она там надеется, что я в Кузбассе, поверила опять, что я не сумасброд, что есть герои на свете! Можно ли сейчас, в такую минуту, и так ее предавать! А Надя... Что же — сказать ей «до свидания»?...»

«Хорош, хорош! — услышал он вдруг новый, твердый голос. — Ты так и будешь теперь размышлять!.. А машина? Ведь ее все-таки надо в р у ч и т ь? Сколько сегодня на твоем путевом столбе? Тридцать три? Так о чем же надо сегодня думать — решать детские головоломки или думать о главной части твоего существа — деле?»

И этот голос решил все. Дмитрий Алексеевич нахмурился и спустил ноги с постели. В эту минуту и вошла в комнату Надя.

— Здравствуй...те! — сказала она радостно. Тревога ее была искусно спрятана.

Дмитрий Алексеевич виновато посмотрел в сторону. Помедлив, он набрался сил и поднял голову, чтобы сказать Наде решительные слова. И она поняла все.

— Не говори! Я все понимаю. — Она села рядом с ним. — Дмитрий Алексеевич, подождите еще один день! Дайте мне этот день... Мы побудем вместе, куда-нибудь пойдем...

«И не вернемся», — подумал Дмитрий Алексеевич, невесело улыбаясь.

— Нет, — он вздохнул и пощупал пальцами лоб. — Да... это я и хочу сказать. Нам нельзя продолжать это. Вот это...

Они оба замолчали. Вошел Евгений Устинович, быстро взглянул на них и стал вытирать чистую клеенку.

— Погодка хорошая! — закричал он, чтобы прогнать их смущение. — Ах, молодые люди, молодые люди! Шли бы на улицу.

Дмитрий Алексеевич молчал. Надя смотрела на его бледное лицо, читая все его мысли, понимая все. В ней что-то происходило — в ответ на его молчание. В эти минуты она словно вырастала в матери этому громадному человеку. А то сумасшедшее, милое существо, которое еще вчера она не могла в себе удержать, оно незаметно таяло в ней, исходя тихими слезами.

Надя встала, быстро сняла и повесила пальто. Сегодня она была одета в свой учительский строгий темносиний костюм. И она повернулась к Дмитрию Алексеевичу, словно ожидая рабочих распоряжений, чтобы все увидели: если так надо, она станет другой. Это был ее ответ на первую горечь счастья.

ТРЕТЬЯ ЧАСТЬ

1

Возможность увидеть настоящий героизм представляется не часто. И не потому, что героев мало, совсем по другой причине. Герой восходит на вершину своей высокой жизни, еще не имея на груди привлекательного золотого значка. Как раз тогда-то он и герой! Восхождение это иногда длится годами, десятилетиями, а подчас остается незамеченным до самого конца. Герой рядом с нами, и мы его не видим — вот как бывает иногда! Поэтому, должно быть, и находятся люди, которые говорят, что героев вообще нет, а есть расчетливые сеятели, засевающие поле, чтобы собрать затем сам-десять.

Но посмотрите: вот Дмитрий Алексеевич — его жатва зреет уже шесть лет, а колосьев еще не видно. Работая слесарем седьмого разряда или преподавателем математики, он мог бы за последние два года приобрести все вещи, нарисованные на огромном плакате «Страхование имущества», вывешенном в его переулке! В том-то и чудесно непонятная особенность этих людей, что они несерьезно смотрят на громадный и, несомненно, нужный плакат, не вникают в его существо, не боятся ни огня, пожирающего имущество, ни стихийных бедствий. Ни большие, ни малые деньги не задерживаются в их руках, не оседают на текущем счете и не превращаются в добротные вещи, которые можно застраховать. Они шутят между собой над тем, что коекому из нас кажется серьезным. А то, над чем иные опрометчиво подшучивают, — для них святыня. «Автор», впервые пришедший на прием к академику, тих и скромен. Но, если этот ученый (например, академик Флоринский) скажет ему, что он прав и что открытие его представляет большую ценность, тогда он становится человеком конченным и может показаться опасным. Он ни за что не бросит дело, не свернет в сторону и будет ломиться во все двери и стучать кулаками до конца, хотя он знает, что конец этот часто бывает грустным.

Профессор Бусько, ссылаясь на Дизеля, говорил, что будто с годами отвыкаешь от надежд — но это было всего лишь красное словцо! Никогда еще он не цеплялся за надежду так, как ухватился после близкого знакомства с Дмитрием Алексеевичем, который упорно доказывал ему, что от друзей может быть прок. Сказав Лопаткину «не клянись», он все же клятву его принял, чувствуя, что новый друг в случае успеха сразу же протянет руку и ему, поможет вручить порошок для тушения пожаров.

И сам Дмитрий Алексеевич с годами не отвыкал от надежд. Правда,

лицо его было равнодушно, когда он, например, давал Наде для перепечатки жалобу, письмо или протест, он даже смеялся над ними, но чувства его Надя уже умела читать. Ей легко далась эта грамота, недоступная для многих. И она знала, что Дмитрий Алексеевич ждал результата от каждой, самой маленькой бумажки. Он целыми днями обдумывал свои ходы.

Однажды, приблизительно в мае, Надя подошла к нему, чтобы спросить о чем-то. Дмитрий Алексеевич в это время наклонил голову, и Надя беззвучно ахнула: его светлорусые волосы, которые становились все болезненнее на вид и как бы смирнее, эти дорогие ей пряди были попросту на треть седыми! Это все сделали надежды. Они не сбылись.

Но еще больше было у Дмитрия Алексеевича надежд свежих, не проверенных. Он отослал в несколько инстанций свой новый, улучшенный проект и месяца три ходил уже по приемным, встречая везде знакомые вежливые взгляды с насмешливой оглядкой в сторону. Взгляды, к которым нельзя привыкнуть, так же как нельзя отвыкнуть от надежд.

Кто же смеялся? Сердиться нельзя было на этих людей. Это все были честные работники стола, отлично знающие, что все, что можно было изобрести, изобретено в прошлом веке. Их смешило, что «педагог» — как они прозвали Лопаткина — писал по своему вопросу в самые высокие адреса. Чудак! Мало ему было таких авторитетов, как Авдиев, как академик Саратовцев!

Некоторые из этих людей принимали Дмитрия Алексеевича строго, говорили с ним колючим басом и морщились. Они смотрели на него, как им казалось, с государственных позиций. «Сколько ненужной волокиты вносят в аппарат вот такие изобретатели кислых щей, — говорили их взгляды, — сколько средств уходит на всю эту дурацкую переписку с бездельниками и проходимцами!»

Но Дмитрий Алексеевич понимал их и не злился, а лишь все терпеливее сжимал губы.

Вот так, получив очередной отказ, ответив вежливым поклоном на знакомую вежливую улыбку, он шел однажды по длинному коридору министерства, заставленному шкафами и старыми письменными столами. Дело шло к июлю, было очень тепло, даже душно. Самые неожиданные шумы министерской жизни обдавали Дмитрия Алексеевича. Доносился треск машинок, и через открытую дверь он видел потолок и стены бюро, обтянутые кремовой тканью. Потом налетал порыв тишины — это Дмитрий Алексеевич проходил мимо приемной начальника. Через дверь он видел собранные кверху шелковые шторы и сверкающие стекла открытых настежь окон, стол с телефонами и секретаршей и посетителей на диванах и стульях. В соседней комнате шло совещание. Дальше был зал, столов на сорок, и за каждым сидел человек. И везде — в коридоре, в дверях, в углах за шкафами — стояли по двое — по трое люди, сложив руки за спиной, прислонясь к стене, и все что-то обсуждали. Громадный корабль министерства летел вперед, все матросы добросовестно несли свою вахту, и никому не хотелось всерьез возиться с каким-то проектом машины для литья чугунных труб, проектом, не предусмотренным никакими планами.

Пройдя весь этот корабль насквозь, Дмитрий Алексеевич вздохнул, постоял, провел рукой по лицу и стал спускаться вниз. Из вестибюля он умело проник в лабиринт зеркальных дверей и вышел на яркую от летнего солнца улицу. Здесь, на тротуаре, он чуть ли не лицом к лицу столкнулся с секретаршей Дроздова, с той самой, которую он назвал когда-то «Русской зарей». Заря была в узком платье, с коротенькими рукавчиками покроя «японка», которые так хорошо обнажают руку и делают плечики покатыми. Волосы секретарши были коротко подстрижены и окружали ее голову желто-белым веночком, открывая детскую шейку. Заря шла и кушала мороженое из вафельного стаканчика.

Дмитрий Алексеевич чуть заметно поклонился ей и ускорил шаг. Но девушка остановила его.

— Господи, как вы изменились! Лопаткин, кажется? — Она покачала маленькой головой. — Все ходите?

Дмитрий Алексеевич ответил: «Да, хожу» — и приготовился отвечать на неприятные вопросы. Но девушка, быстро взглянув на него, с болью двинула морщинкой на переносице, отвернулась, задумалась, глядя на вафельный стаканчик. У нее на груди был комсомольский значок, и этот маленький значок, должно быть, сейчас жег ее, требовал решительного поступка. Заря опять взглянула на Лопаткина и вдруг решилась:

— Знаете что, товарищ Лопаткин... Дайте мне ваш проект — общий вид и описание. И вот еще что. Пойдемте со мной, вы напишете коротенько на имя Афанасия Терентьевича.

— Вы разве не у Дроздова?

— Нет, я у министра.

Дмитрий Алексеевич молча наклонил голову. Они вошли в лабиринт из зеркальных стекол, вахтер спросил было пропуск у Дмитрия Алексеевича, но девушка смело перебила его:

— Это по вызову Афанасия Терентьевича.

Они прошли незнакомым коридором, потом поднялись по узкой лестнице на второй этаж. Здесь их встретил еще один вахтер, и девушка опять сказала:

— Этот товарищ вызван.

Дмитрий Алексеевич оказался в широком и длинном зале с красной мягкой дорожкой во всю его длину. Девушка подвела его к круглому столу, накрытому стеклом.

— Вот здесь есть ручка и чернила, — сказала она негромко. — Пишите так: министру, товарищу Дядюра, Афанасию Терентьевичу. Ни на кого не жалуйтесь персонально. Просто укажите, что несколько лет не можете продвинуть... Пишите, я сейчас приду.

Она ушла по мягкой красной с зеленым дорожке в самый конец зала. Ушла особой секретарской походкой, не ускоряя и не замедляя шага, и исчезла за высокой полированной дверью. Вскоре она вернулась. Письмо было написано. Дмитрий Алексеевич молча передал его вместе с уменьшенной фотокопией проекта. Взяв бумаги, девушка проводила его до лестницы, и здесь, глядя на него так, как чувствительные люди смотрят на осужденного, жалея, но боясь прикоснуться, она сказала:

— Позвоните через два дня, утром, в приемную. Спросите Михе-

еву. Что-нибудь сделаем. Он любит открывать изобретателей и вообще таланты...

Через два дня, утром, Дмитрий Алексеевич позвонил в приемную министра и спросил товарища Михееву.

— Что вам угодно? — отозвался дисциплинированный голосок секретарши министра. — Ах, это товарищ Лопаткин! — и голосок сразу потеплел. — Это вы, товарищ Лопаткин? Афанасий Терентьевич примет вас в пятницу. Да, приходите, пожалуйста, в четыре часа дня. Пропуск я закажу.

В течение двух дней, что остались до пятницы, Дмитрий Алексеевич ничего не писал и не чертил. И Евгений Устинович приостановил свою работу. По вечерам, открыв окно, не зажигая света, они сидели молча друг против друга. Изредка звучало в тишине нечаянно сказанное слово, и лишь по этому можно было догадаться, что идет беседа.

— В пятницу... — говорил Дмитрий Алексеевич. — Может, на этом все и кончится...

— Ну, ну... Сходите, сходите... — отвечал профессор после некоторой паузы, и опять наступила тишина.

В пятницу Дмитрий Алексеевич побрился, отгладил костюм и начистил ботинки. В половине четвертого, держа в руке надин портфель, он поднялся на второй этаж по парадной лестнице министерства. Здесь у Дмитрия Алексеевича вторично проверили пропуск, и он вошел в длинный зал с ковровой дорожкой от одних высоких дверей до других. Пройдя через вторые двери, Дмитрий Алексеевич очутился в приемной. Это был тоже большой зал, квадратной формы, и стены его сверкали полированным деревом, лаком и свежей краской. Вдоль стен стояли диваны в белых чехлах. На них раскинулись в ожидании вызова привычные посетители — молодые и пожилые люди в белых кителях и с громадными портфелями. За одним из двух столов сидел молодой человек с красиво выписанными черными бровями и, не поднимая глаз, с непонятной улыбкой слушал седого и полного добряка, должно быть директора завода, который склонился к нему с искательным видом. За вторым столом строгая Заря снимала телефонные трубки, сразу по две и вполголоса что-то говорила сразу в обе.

Дмитрий Алексеевич чуть заметно поклонился ей. Она посмотрела на него и даже не двинула бровью. Дмитрий Алексеевич понял все и подошел к молодому человеку.

— Лопаткин? — сказал тот, не поднимая глаз, — присядьте, пожалуйста. — И так же, не поднимая глаз, ответил добряку, раскрывшему перед ним портсигар. — Спасибо, не курю.

Дмитрий Алексеевич сел на диван. Несколько минут длилась та особая, настоящая тишина, которая бывает в комнатах с хорошей звуковой изоляцией. Потом в приемную быстро вошли, шаркая и сживленно беседуя, заместитель министра Шутиков и начальник технического управления Дроздов. Дмитрий Алексеевич поднялся, приветствуя своих старых знакомых, но те его не заметили.

— У себя? — спросил Шутиков.

— Да, да... — ответил молодой человек и встал, одергивая пиджак.

И оба они, секунду помешкав, вошли под синюю портьеру, в кори-

дорчик, который вел к двери министра. Опять наступила тишина. Дмитрий Алексеевич знал, что в кабинете министра сейчас говорят о нем. «Ах, как это долго», — подумал он и вдруг почувствовал сильнейший укол в груди — это засипел электрический сигнал за спиной молодого человека. Тот мгновенно встал и ровным шагом ушел под портьеру.

«Меня», — подумал Дмитрий Алексеевич. Но молодой человек вернулся и как ни в чем не бывало сел за свой стол. Опять потекли долгие минуты. Потом еще раз засипел сигнал, молодой человек ушел под портьеру, вернулся и чуть не убил Дмитрия Алексеевича тихими словами:

— Товарищ Лопаткин...

Пройдя полутемным коридорчиком, Дмитрий Алексеевич открыл высокую дверь, облицованную карельской березой, и увидел еще один зал с громадными окнами в двух противоположных стенах. Это и был кабинет министра. У правого окна, ближе к дальней стене, стоял письменный стол и перед ним два кресла. За столом сидел министр в генеральских белых погонах. В креслах — Шутиков и Дроздов.

Дмитрий Алексеевич пересек обширное светлое и мягкое поле ковра, и. когда он уже подходил к столу, министр встал и поспешил к нему навстречу, наклоняясь вперед, протянув руку. Он был коренаст, плотен и не стар —лет пятидесяти. Он сильно встряхнул руку Дмитрия Алексеевича, сказал ему «садитесь», и Дроздов тотчас вскочил со своего кресла и пересел на стул около окна. Дмитрий Алексеевич подержал мягкую, с жемчужным глянцем руку Шутикова, потом пожал сухонькую, но сильную ручку Дроздова и осторожно сел в нагретое кресло.

— Так я разбирался, товарищ Лопаткин! — сказал министр. Лицо у него было лобастое, под глазами коричневые мешки, взъерошенные волосы стояли над костяным лбом, он был похож на портрет Бетховена. — Идея мне нравится, — сказал он. — Только я не все тут понял...

— Может, вы разрешите доложить? — спросил Дмитрий Алексеевич.

— Ну, ну! Показывайте, что тут у вас...

Дмитрий Алексеевич сразу же развернул и положил на стол большой лист.

— Вишь ты, изобретатель! — Министр ухмыльнулся. — Уже и фотокопию успел сделать!

Он внимательно выслушал объяснения автора, ни разу не перебив его. Только один раз спросил осторожно:

— Что же это у вас — шток, кажется, неравнопрочен?

— Он не инженер, Афанасий Терентьевич, — защищая Лопаткина, ответил Шутиков. — Это мы исправим...

И приветливо засветился желтым золотом коронок и тонкой золотой оправой очков.

В эту минуту дверь кабинета вдали приоткрылась.

— Можно, Афанасий Терентьевич? — спросил молодой человек с круглыми бровями. Неслышно ступая на носках, он подошел и положил с краю на стол штук пятнадцать мраморно-разноцветных тя-

желых дощечек с наклеенными на них бумажками — должно быть образцы каких-то материалов.

— Все здесь? — спросил министр. Не глядя, протянул руку в сторону, потрогал, передвинул образцы, и молодой человек, так же неслышно ковыляя на носках, ушел.

— Да... так идея мне нравится, — сказал министр Шутикову. Потом, положив руку на чертеж, он посмотрел на Дмитрия Алексеевича. — У нас уже делают одну такую машину. Максютенко со товарищи. Вот... Леонид Иванович Дроздов опекает. Вы не знакомы с их машиной?..

— Как же! Приходилось, — сказал Дмитрий Алексеевич с недоброй улыбкой. Недобро улыбнулся и Дроздов, не глядя на Лопаткина. Но министр ничего этого не заметил.

— Леонид Иванович! Твой соперник! Ты должен быть благородным! А? Соревноваться придется! — Он засмеялся, и Дроздов, улыбаясь, наклонил голову.

Потом министр нахмурился.

— Вы что-то пишете, вас два года мариновали? — Сказав это, он достал из ящика объемистый портфель из матово-шоколадной толстой кожи и одну за другой стал укладывать дощечки в его атласное нутро.

— Это гипролитовцы. Не разобрались сразу, — сказал Шутиков.

— Так вот какая история, — с серьезным видом перебил его Дроздов. — Разрешите, Афанасий Терентьевич? Так вот, у товарища Лопаткина был другой проект, встретивший ряд принципиальных возражений как со стороны нашей науки, так и стороны...

— Вот из этого негодного проекта вы и взяли идею для своей машины, — сказал ему Дмитрий Алексеевич. — Для той, которую вы строите.

Министр захохотал и припал к столу, качая головой.

— Ах ты, Господи! Молодец! Ей-Богу, молодец! Сразу видно — изобретатель! Ну, честное слово, все по одной мерке скроены!

Только сейчас Димитрий Алексеевич заметил, что министр куда-то торопится. Афанасий Терентьевич смеялся, движения его были свободны, но рука — рука выдавала все. Она дрожала, ей хотелось побарабанить по столу. Она не удержалась, протянулась к портфелю и громко защелкнула замок.

— Так что ты говоришь, Леонид Иванович? — спросил министр.

Дроздов, который смеялся вместе с Шутиковым и министром, откашлялся и продолжал, весело косясь на Дмитрия Алексеевича:

— Тот проект встретил ряд возражений по существу, и товарищ Лопаткин это знает. Что касается волокиты с этим, с новым вариантом, то...

— Что же вы не позвонили, Дмитрий Алексеевич? — мягко удивился Шутиков. — Я же вам говорил тогда, в личной беседе: звоните заходите! В одиночку вы не сможете протолкнуть самый идеальный проект. У нас в институтах, знаете, нужно итти напролом, как идет лосось. Видели когда-нибудь, как лосось прыгает вверх через водопад? Нет? Ну, так когда-нибудь мы с вами съездим на Карельский перешеек...

— Погоди, рыбак, — сказал ему министр. — Про рыбу потом.

И Шутиков, виновато сияя, стал смотреть на свои колени.

— Что же мы будем делать с товарищем Лопаткиным? — спросил министр.

— На заключение? — осторожно предложил Дроздов.

— Ты кого имеешь в виду?

— Василия Захаровича Авдиева.

— А он не угробит? Василий Захарович-то! Может, Флоринскому — для разнообразия? Авдиев-то теперь все оправдаться норовит. А?

— Он даст объективный отзыв, — уверенно сказал Шутиков. — Отзыв, по-моему, должен быть положительным.

— Что ж. Если отзыв будет благоприятный, создавайте группу. Пусть прикидывают. И автора — в штат. Ну ладно. — Министр встал, и все поднялись за ним. — Вот так, значит, и сделаем. А вы, товарищ Лопаткин, если что, не стесняйтесь, звоните сразу мне.

Когда они вышли из кабинета, Дроздов весело посмотрел на Дмитрия Алексеевича черными глазами. «Как это ты сумел прорваться к министру?» — спрашивали эти умные живые глаза.

— Павел Иванович, смотрите, а ведь это лосось! — сказал он одобрительно.

— Лосо-ось, — согласился Шутиков, обнимая Дмитрия Алексеевича, сияя ему прямо в лицо своей золотой улыбкой. — Ну что же, пойдем ко мне?

Кабинет Шутикова был на том же втором этаже. Перед ним блестела свежей краской такая же просторная приемная розовато-молочного цвета. А в кабинете по всем четырем стенам шла панель из темного ореха вперемежку с экранами, затянутыми темнозеленым сукном.

Войдя в кабинет, Шутиков бросился на большой диван, сделанный словно из множества кожаных подушечек. Он шутя потянул Дмитрия Алексеевича за пиджак, и тот упал рядом с ним, и диван мягко принял обоих. Шутиков раскрыл портсигар, и они закурили. В открытое окно была видна отвесная стена огромной пропасти — министерского двора. На дне ее вдруг зашумел автомобильный мотор и раздалось грозное «би-би».

— Уже поехал! — сказал Шутиков.

Дмитрий Алексеевич понял, что речь идет о министре.

— Задержали мы его, — сказал Шутиков. — Н-да-а. — И он улыбнулся в потолок. — Право, как интересно складывается судьба! Наблюдаешь так... Самые неожиданные сочетания!.. Это я говорю о вас, Дмитрий Алексеевич, — сказал он и вдруг застенчиво улыбнулся. Вы все время действуете так... Каждый ваш шаг вызывает против вас огонь. Даже я, скажу вам по чести, даже я был вынужден иногда преграждать вам путь. Потому что вы ничего не видите и не знаете, кроме вашей машины, и даже мешаете иногда проводить важную работу.

Дмитрий Алексеевич усиленно дымил и хмурился, стараясь понять, куда гнет этот ласковый, светлый, как летний день, человек в дорогом тонком костюме цвета цемента.

— Ничего не понимаете? — спросил Шутиков и рассмеялся. — Сейчас поймете. Вот я. Начальству было угодно взвалить на меня от-

ветственность за выпуск труб, в частности за труболитейную машину. Вникнув в это дело, я видел, что, кроме меня, существует целая группа людей, чья жизнь связана с этим самым делом, с трубами. Связана намертво. Они устроили себе нечто вроде этакого скифского городища, обнесли его стеной, разделили обязанности и живут по Мальтусу, ограничивая рождаемость. Городища этого не видно, а оно существует! Как град Китеж, во-о-от как!

— Вы хотите, чтобы я отказался? — хрипло сказал Дмитрий Алексеевич.

— Вы хватаете мысль налету. Как форель мушку! Не я хочу, а они хотят. Вы же сами видите, они закрыли для вас ворота!

— Хорошо . . . А почему вы . . .

— Почему я иногда должен преграждать вам путь? Вот почему. Нам важно не то, кто даст машину, а важна сама машина. Это задача государственной важности. Мы побольше вашего заинтересованы. Нам нужны трубы. Дешевые, хорошие и чтоб, как гвозди, летели из машины. Вот что нам нужно. Не нам, конечно, а государству. Поняли?

— Так вот же! Берите!

— А кто нам скажет, что эта машина будет работать? Что она эффективна? Ведь это же риск на несколько сот тысяч рублей! Мы, конечно, поверили бы вам, если бы вы были крупнейшим специалистом в этом деле, как профессор Авдиев. Но тогда вы жили бы в Китеже и были бы у них первым шаманом! А в нынешнем положении . . .

— Но сделал же этот шаман негодную машину?

— Эта история с ошибкой Авдиева . . . — Шутиков пустил мягкие клубы ароматного дыма. — Эта история — правда, ее можно бы уже забыть — имеет свою положительную сторону. Благодаря ей я получил наконец возможность контролировать и требовать. Теперь вместо обещаний они с Максютенко и Урюпиным дадут нам сносную машину, что и требуется.

— А зачем же тогда мою . . .

— Вашу мы попробуем проверить . . . Но Китеж существует, Дмитрий Алексеевич, Китеж существует. То, что вы добились приема у министра, — ваша удача. Но ученые — это ученые. Это такой айсберг, о которой разбился уже не один «Титаник». Затевать с ними тяжбу . . . Нет, это не есть ближайший путь к решению хозяйственной задачи . . .

Наступило молчание. Шутиков курил и, искоса поглядывая, изучал лицо изобретателя. Изобретатель тоже поглядывал на него усталыми серыми глазами. Он чуть заметно хмурился, но не сжимал губ и не двигал грозно желваками. Лицо его было непроницаемо — признак самой сильной воли.

— Да, Дроздов прав! — сказал Шутиков. Обнял Дмитрия Алексеевича и похлопал его по боку. — Вы лосось! Беда только, что самые упорные лососи, знаете, такие полутораметровые красавцы, выметав икру, скатываются иногда в море мертвыми. — И Шутиков засмеялся, тиская плечо Дмитрия Алексеевича. — У вас есть шансы добраться до цели, — сказал он, становясь серьезным. — Но нужно многое учесть. Как у вас со здоровьем?

— Нормально. Нервы и аппетит в порядке, — сказал Дмитрий Алексеевич.

— И потом вот: надо еще подумать, что это вам даст. Вот машина ваша сделана, вам выдадут, конечно, некоторую сумму, но она вас разочарует. Вознаграждение далеко не оправдывает издержек автора. Нет, на этом строить расчеты нельзя. Да-а. И вот вы опять приходите в школу . . . С перерывом в стаже . . .

Он вопросительно посмотрел на Лопаткина. Дмитрий Алексеевич ничего не сказал.

— У вас есть еще одна возможность, — негромко продолжал Шутиков и посмотрел на него полузакрытыми, на миг омертвевшими глазами. — Вы математик и неплохой инженер-практик. Я не льщу, вы соображаете лучше многих наших конструкторов. Ваше призвание — механика. И я уверен, что вы смогли бы, — здесь он усилил голос, — вы смогли бы вести отдел в том же Гипролито. Но, — он спрятал голову в плечи и развел руками, — сначала вам надо избавиться . . . или, как хотите, приобрести некоторые деловые качества. Познать жизнь. Человек на нашем этапе несовершенен. Я говорю хотя бы о наших китежанах. Это живые люди, с отрицательными и положительными качествами. Надо это знать и с этим считаться, если хочешь работать с пользой для общества.

— Попробую . . . Может быть, приобрету нужные качества, — негромко сказал Дмитрий Алексеевич и слабо улыбнулся. Он хитрил и Шутиков сразу это понял.

— Я вам серьезно говорю, — возвысил он голос, пробивая слабую улыбку Дмитрия Алексеевича своим омертвленным взглядом. — Вылезайте, вылезайте из коротких штанишек. Что вам далось это изобретательство? Только гробите энергию, знания и время на глупейшую волокиту. Толковые люди везде нужны. Я с радостью поручу вам ответственную работу, как только буду уверен . . .

Говоря это, Шутиков поднялся и двинулся к выходу. У дверей он пожал Дмитрию Алексеевичу руку, задержал ее в своей и вдруг просиял своей золотистой улыбкой, улыбкой человека, любящего детей.

— Очень рад, что мне удалось с вами ближе познакомиться. Надеюсь мы поймем друг друга и будем друзьями. Да . . . Проект ваш! Вы передайте его Невраеву, он тут сидит, в комнате сразу же после приемной. Так, Дмитрий Алексеевич! Пожелаю вам! . .

Две недели спустя Дмитрий Алексеевич стоял в кабинете Невраева у открытого окна, облокотясь на подоконник, и смотрел на улицу. Рядом с ним лежал на подоконнике Вадя Невраев, инженер, референт и журналист. Лицо у него было круглое, налитое молодой кровью, редкий ежик волос — соломенного цвета, и сквозь него просвечивало что-то розовое. Светлосерый пиджак Вади был расстегнут, под ним виднелась шелковая голубая сорочка и галстук, сбитый в сторону. От Невраева чуть-чуть тянуло не то фиалкой, не то водочкой. Слегка перевесясь через подоконник, он благодушно смотрел на улицу. Глаза его были зеленовато-голубые, цвета стекла на изломе, — зеленая улица отражалась и играла в них.

Между Дмитрием Алексеевичем и этим добродушным человеком, лет двадцати пяти, а может быть и тридцати пяти, любящим выпить, посмеяться и поболтать о «женском вопросе», с первого же дня знакомства установилось что-то вроде дружбы. Они два раза уже ездили купаться в Химки. В ясных глазах Невраева, пронзительно голубых,

когда Вадя был на пляже, около голубой воды, черновая сторона жизни не отражалась. Он смотрел на все окружающее благодушно и всегда был чуть-чуть навеселе — ровно настолько, чтобы не заметил Шутиков, который за обедом тоже выпивал стопку.

— Вот подъезжает наш дорогой медведик, — сказал Вадя, не меняя положения. И Дмитрий Алексеевич увидел длинный черный «ЗИС», который ехал по осевой линии улицы. Машина замедлила ход, сказала отрывистое «би-би» и свернула под арку министерского здания.

— Дима, мне очень хочется закурить. Разрешите? — спросил Невраев.

— Что же спрашивать? — удивился Лопаткин. — Вы же, по-моему, не курите!

— Но вы разрешаете? — сказал Невраев, не улыбаясь.

Дмитрий Алексеевич достал пачку «Беломора» и вытряхнул из нее несколько папирос — одну папиросу на руку Невраева, другую взял сам. Затем он зажег спичку и протянул ее Вадиму, но тот отказался.

— Закуривайте, я сейчас достану одну вещь. . .

Пока Дмитрий Алексеевич торопливо и жадно закуривал, Невраев достал из стола кнопку и приколол свою папиросу высоко к окну.

— Это знак для некоторых щепетильных авторов, — любуясь папиросой, но не улыбаясь, сказал он. — Чтоб они не стеснялись курить в моем кабинете. И вообще, чтобы они меня поменьше стеснялись.

После этого они долго молча смотрели на улицу. Дмитрий Алексеевич время от времени улыбался краем рта, а Невраев благодушно посматривал вниз на тротуар, как бы не замечая этих улыбок.

— Во-от, — сказал он вдруг. — У меня в кабинете есть и другое обязательное правило. Чтобы вы всегда вот так улыбались, как сейчас. Это нравится хозяину кабинета.

Они опять замолчали и минут десять в тишине лежали на подоконнике.

— И еще одно правило есть, — сказал вдруг Невраев. — Не нервничать и не волноваться.

Дмитрий Алексеевич действительно волновался. Через сорок или пятьдесят минут должно было начаться совещание при начальнике технического управления, созванное специально для обсуждения его проекта.

— Это последнее правило трудно соблюсти, — сказал Дмитрий Алексеевич.

— В этом кабинете все правила надо блюсти, — благодушно заметил Вадя. — Ага, вон показалась колымага академика Флоринского. Вот видите, у вас нет оснований для дурного настроения, товарищ Лопаткин.

Невраев проворно соскользнул к телефону, набрал номер и сказал:

— Лида, Флоринский приехал. Скажите, чтобы встретили.

К главному подъезду министерства медленно подкатил черный «Паккард». Остановился, постоял некоторое время. Потом из него спиной вперед вылез белоголовый старик с тростью, распрямился, потрогал очки, выставил вперед трость и неуверенно шагнул. Тут из подъезда выбежали два тонких молодых человека и подхватили старика под руки.

— Слепнет дед, — сказал Невраев. — Саратовцев старше года на два, а как водку пьет! Нет, Дима, вы не должны нервничать в моем кабинете. Давайте лучше решим, не сходить ли нам на уголок?..

— Знаете что? Мы сходим. Но только после совещания — если решение будет в мою пользу...

— Постойте. Я люблю точность, — сказал Невраев, глядя на улицу. — Что здесь является решающим моментом — «после совещания» или «решение в вашу пользу»?

— Конечно, решение в мою пользу!

— Тогда надо сейчас итти.

— Почему?

— Потому, что решение уже зафиксировано.

— Где?

— Вот здесь... — И Вадя, не улыбаясь, а, наоборот, даже насупившись, слез с подоконника. — Вот здесь зафиксировано, — сказал он равнодушным тоном, открывая ящик стола. — Вот, можете почитать... Дмитрий Алексеевич. Это вам касается, как говорит доктор наук Тепикин. Пункт второй. Я его вчера кончил фиксировать.

И он подал Лопаткину отпечатанное на машинке «Решение совещания при начальнике технического управления». В пункте втором было сказано: «Поручить Гипролито проектирование труболитейной машины тов. Лопаткина с участием автора, с учетом поправок, внесенных участниками данного совещания».

— А вы уверены, что оно не претерпит изменений? — спросил Дмитрий Алексеевич, улыбаясь. Ему нравился Невраев, нравился его благодушный вид, этот угасающий серьезный голос.

— Уверен, — еще тише ответил Вадя.

— Почему?

— Я очень хорошо, долго фиксировал это решение. Я жалею, что не могу зафиксировать так прочно вашу улыбку. Дима, пожалуйста, улыбайтесь почаще, мне это нравится. Ага, кто-то еще подъехал. Василий Захарович Авдиев. Надо итти...

Из сверкающей «Победы» вышел высокий мужчина в просторном светлосером костюме, в белых туфлях и в расстегнутой русской косоворотке, ярко расшитой на груди. Богатая, золотисто-седая шевелюра его свилась над висками в множество колец, как нарезанный лук. Он остановился, посмотрел вдоль улицы, и Дмитрий Алексеевич на миг увидел его грозное лицо того красновато-колбасного цвета, какой бывает у рыжих.

— Пойдемте, вы еще налюбуетесь на своего противника, — сказал Невраев, доставая из стола папку. Тут же он передвинул на место свой галстук, провел расческой по жидкому ежику волос, и они вышли в тот длинный зал, где Дмитрий Алексеевич две недели назад писал свое заявление на имя министра.

Совещание должно было происходить на четвертом этаже, в кабинете Дроздова. К двенадцати часам дня в приемной собрались приглашенные — человек восемь незнакомых Дмитрию Алексеевичу, из которых одна часть была в белых кителях, с белыми погонами — инженеры, а другая в летних тонких костюмах светлых тонов — ученые. Невраев, как только вошел в приемную, сразу стал другим. Теперь пиджак его был застегнут на одну пуговицу и словно отвердел,

стесняя не только движения, но даже не давая повернуть шеи. Вадя порозовел от усердия. Вальяжной походкой, со строгим видом, он обошел всех присутствующих, подал каждому руку и удалился в кабинет Дроздова, даже не оглянувшись на Дмитрия Алексеевича.

Вскоре он вышел оттуда и сказал:

— Товарищи, заходите.

Все столпились у двери, вошли в кабинет, расселись на стульях против стены, на которой были уже приколоты листы с проектом Дмитрия Алексеевича. Дроздов сидел за своим столом, и был он сегодня одет в китель из бледнозолотистой чесучи. Рядом с ним сгорбился академик Флоринский, опираясь на трость, время от времени кивая, хотя никто ничего ему не говорил. С другой стороны стола, в кресле, потряхивая желтоседыми кудрями, раскинулся профессор Авдиев. Он курил, пуская дым к потолку, сбивая пепел с папиросы в чугунную пепельницу Дроздова. Это был громадный мужчина с розовым широким лицом и с розовой могучей шеей, покрытой желтыми крапинками. Дмитрия Алексеевича удивили его глаза — бледноголубые, мутные голыши, сумасшедше-веселые. Удивителен был и голос Авдиева — как будто говорила женщина, простуженная почти до шепота.

— Дмитрий Алексеевич, доложите совещанию...— сказал Дроздов.

— А чего докладывать, все ознакомились, — глухо сказал Авдиев и, скрипя креслом, круто повернулся. — Все знают?

— Знакомились, знаем, — сказали несколько человек.

— Какие будут мнения? — спросил Дроздов.

— Институт придерживается своей прежней позиции относительно необходимости научной разработки главных вопросов, связанных с принципиальными особенностями этой схемы, — без передышки проговорил Авдиев, не поднимаясь. Он говорил только Дроздову и стенографистке. — Однако, учитывая, так сказать, злобу дня, назревшую необходимость в такой машине, мы считаем возможным построить . . . ммм . . . экспериментальный образец в данном варианте, предложенном товарищем изобретателем . . . Машина заслуживает внимания и проверки наряду с той, которая строится сейчас в Музге . . . хотя та конструкция, которую министерство строит, — я имею в виду конструкцию Урюпина и Максютенко, — она обещает нам успешное решение задачи . . .

— Петр Иннокентьевич, вы, кажется, хотели . . . — сказал Дроздов академику и спохватился. — Простите, Василий Захарович, вы закончили?

— Да что ж тут . . . — хрипло отозвался Авдиев, двинул могучей спиной и достал из портсигара новую папиросу. — В общем, нынче будем с трубами. — Он повернулся и сумасшедше-весело глянул на Дмитрия Алексеевича, держа папиросу в крепких зубах.

Академик Флоринский, прежде чем заговорить, несколько раз кивнул, оперся посильнее на трость.

— Я рад слышать здесь положительный отзыв профессора Авдиева. В дополнение к сказанному, — он возвысил голос и заговорил отчетливо и звонко: — в дополнение я прошу зафиксировать следующую основную мою мысль. — Он перевел дух, напрягся и стал диктовать сидевшей сзади него стенографистке: — Машина товарища

Лопаткина ... рождена как бы по велению нашего нового века. Она наивыгоднейшим образом ... воплощает в себе идеи потока ... и дает увеличение производительности труда при литье труб .. минимум в четыре раза. Однако для того, чтобы представить себе ... реальную пользу этой машины ... надо полученные результаты умножить на два, потому что машина ... имеет вдвое меньшие габариты по сравнению с существующими конструкциями. Таково мое заключение. — Он стукнул тростью в пол и несколько раз кивнул.

— Еще кто-нибудь желает? — спросил Дроздов. — Нет? Тогда разрешите мне. — Он встал. — Техническое управление не может не отметить той громадной работы, которую провел товарищ Лопаткин над своей машиной ...

И он сказал в меру длинную речь, умеренно похвалил машину, отметил несколько ее конструктивных недостатков, сказал, что поддержка передовой технической мысли является первой обязанностью ... и так далее.

Когда он говорил все это, Авдиев перестал курить и странно светлыми глазами смотрел на него, словно вдруг увидел гения.

Потом было предоставлено слово товарищу Невраеву. Вадя, порозовевший от усердия, вышел вперед, надулся и, кашлянув, зачитал знакомое Дмитрию Алексеевичу решение, которое он так прочно «зафиксировал» несколько дней назад. Решение это было одобрено всеми присутствующими, Дроздов объявил совещание закрытым, и все заспешили к выходу.

В коридоре Дмитрия Алексеевича догнал Невраев. Он опять был мил и ясен, и пиджак его был расстегнут.

— Куда спешите, товарищ Лопаткин? — спросил он угрожающе тихим голосом. — Объяснитесь!

Дмитрий Алексеевич понял его. Ему не очень хотелось пить водку. Гораздо лучше было бы поднести этот стаканчик профессору Бусько. Но Вадя нажимал.

— Вы что, манкируете? Я вас никуда не отпущу, Дима!

И, подавив вздох, Дмитрий Алексеевич так же серьезно ответил:

— Я готов, как говорил.

И они молча стали спускаться по лестнице.

— Дима, — тихо и скромно сказал Вадя в вестибюле. — Я готов произвести поставку за свой счет, по ленд-лизу. Мне известно, что вы скоро сможете делать ответные поставки.

Они вышли на улицу, пересекли ее и вошли в пивную на углу. У стойки толпились любители выпить.

— Кто крайний? — спросил Вадя слабым голосом.

— Я последний, — вызывающе ответил ему интеллигентный пьяница в пенсне. — «Крайний» — это не по-русски.

— А товарищ Тепикин говорит — «крайний», — ровным, тихим голосом возразил Вадя.

— Какой там еще Тепикин?

— Если вы не знаете товарища Тепикина, значит вы не знаете новых правил русской грамматики, — сказал Вадя, и человек в пенсне вытаращил глаза. — Да, я вижу, что вы не знаете. Очень жаль ... — Присмирев, Вадя проглотил слюну. — Однако, Дима, давайте обсудим, чем вас обмывать ...

2

Несмотря на то, что дела Дмитрия Алексеевича двигались теперь с удивительной быстротой, и двигались благоприятно, его не покидали подозрения, и сейчас он нервничал больше, чем в самые тяжелые минуты голодного затишья. В разгаре беседы или работы он вдруг останавливался, захваченный врасплох внезапно возникшим вопросом. Таких вопросов накопилось много, и ни на один не было ответа.

Почему Шутиков повел такой прямой разговор? Что в нем по-настоящему прямо? Что значат его предложения? Не отдают ли они угрозой или предупреждением? О чем? Чего ждать? И еще вот — почему вдруг Авдиев выступил «за»? Что толкнуло Дроздова на такую торжественную речь и почему он так быстро «провернул вопрос»?

Дмитрий Алексеевич был уже достаточно опытен и знал, что все эти похвалы и улыбки были вызваны не симпатией к нему и не радостью по поводу удачного решения задачи с литьем труб. Но до настоящих причин докопаться он не мог. Все было очень странно, все развивалось гладко, с угрожающей быстротой. Директор Гипролито выделил двух лучших конструкторов — Антоновича и Крехова, инженера, который восхищался тем, что Авдиев пришел в науку в лаптях, «уперся лбом и раздвинул все и вся». В один день была организована группа, для нее отвели отдельную комнату, и сразу же все начали работать. Сам директор каждый день, как больничный врач, наведывался в группу — проверял, как идут дела.

Евгений Устинович тоже чувствовал беспокойство.

— Горит лес, Дмитрий Алексеевич, — говорил он, округлив глаза. — Горит лес. Но где — никак не могу понять.

Эта тревога передавалась и Надежде Сергеевне, и однажды придя к ним после занятий в школе, она сказала:

— Я сегодня на уроке вспомнила один разговор с Дроздовым...

Она теперь называла своего бывшего мужа только так — по фамилии.

— Я вспомнила, — сказала она. — Шутикову предлагали участие в разработке машины — той, урюпинской. И Шутиков отказался, испугался, даже заподозрил Дроздова. Думал, что тот хочет подложить ему свинью. Несколько месяцев косился.

— Прежде всего, — задумчиво сказал Евгений Устинович, — это говорит нам, что вся история с машиной у них плохо сшита. Кое-как. Она может рассыпаться. Иначе, чего бы ему отказываться? Шутиков ваш, должно быть, далеко видит...

— Подождите, а с какой стати он вообще трубами занимается? — спросил вдруг Дмитрий Алексеевич.

— Очень просто, — горячо заговорила Надя, что-то вспомнив, что-то открыв для себя. — Дроздов говорил, что у Шутикова особые интересы...

— Ну да, конечно... — заметил профессор вполголоса.

— Подождите! Шутиков часто бывает на заседаниях... Как говорил Дроздов, в большом доме. Так вот, в Большом доме очень часто говорили о центробежном литье. А соответствующие министры все никак не могли это литье освоить... И Шутиков решил потихоньку сделать эту машину, поставить всех перед фактом...

«Нам срочно нужна машина. Не нам, конечно, а государству», — вспомнил Дмитрий Алексеевич слова Шутикова.

— Да, ему, конечно, неважно, кто достанет жемчужину со дна морского, — заметил профессор, задумчиво ковыряя в ухе. — Ему важно ее получить и выгодно продать. Покупатель видит товар и улыбающегося продавца . . .

— Улыбаться он не умеет, — заметил Дмитрий Алексеевич.

— Как же! Почему только он вдруг взял машину этих, как их? . .

— Дмитрий Алексеевич — лошадка, на которую ставить нельзя, — сказала Надя, с чуть заметной грустной лаской посмотрев Дмитрию Алексеевичу в глаза.

— Не понимаю, это сожаления личного порядка? Или цитата? — настороженно спросил профессор.

— Конечно, цитата! Дроздов мне специально разъяснял, почему они остановились на Урюпине. Потому, что Урюпин пойдет на все, что ему предложат.

— Ваш Урюпин — это же, собственно, тоже перекупщик. Он ведь не нырял за жемчугом!

— Меня удивляет одно, — сказал Дмитрий Алексеевич, хмурясь, — что смотрят люди — все эти конструкторы, доценты, инженеры, вся публика, которая наполняет эти здания? Неужели нет среди них честного человека?

— Дмитрий Алексеевич! Честность — это всего лишь пятая доля того, что нужно иметь, чтобы поднять голос против монополии.

Дмитрий Алексеевич и Надя поняли, что сейчас начнется проповедь античного философа.

— Во-первых, конечно, нужно быть честным, — сказал старик. — Большинство — честные, но не все. Вот вам первый этап отсева. Затем нужно еще иметь смелость, а этот дар дан не каждому. Дальше — нужен ум. Мы видывали смелых, которые бестолково кричат и дискредитируют самую идею критики. Наконец, честный, умный, смелый может находиться в плену устоявшихся канонов. Вот в чем еще беда! Ему скажет тот же Авдиев, профессор, доктор, многолетний авторитет, что идея Лопаткина порочна, а сам Лопаткин — авантюрист, — и он честно, с сознанием долга будет вас охаживать оглоблей, пока вы не протянете ноги!

— Что же делать? — спросила Надя испуганно.

— Что делать? Нужно подумать. У меня такое впечатление . . . Я слышу, чую, что они расставили для Дмитрия Алексеевича большущий невод. Я бы не дался им . . .

— А я думаю так, — горячо заговорила Надя. — Не даваться — это само собой разумеется. Но если в вас есть чувство любви к родине . . . — Тут Надя вдруг остановилась и покраснела. Потом тряхнула головой. — . . . Почему-то мы стесняемся так говорить. Когда война — тогда мы говорим и так . . . Потому что опасность. А я считаю, что и сейчас . . . потому что корень, с которым мы боремся, — живой, не дается и растет. Вы должны продолжать нужное для н е е дело. Даже тогда, когда она отвергает ваши подвиги. Когда она осуждает вас устами тех своих служителей и судей , которые произносят от ее имени несправедливый приговор. Тогда только ваша заслуга и будет иметь вес, когда вы сделаете то, что кажется невыполнимым.

— Но что же это такое, Евгений Устинович? — заговорил Дмитрий Алексеевич, которому в эти дни было не до античных бесед. — Вот вы, мудрец. Что же такое: они торопятся, делают проект моей машины. Ведь этак мы к сентябрю все закончим!

— Как это ни досадно, но придется дать противнику развернуть войска. В конце концов все выяснится.

Но прошли последние дни июня, пошел июль. Дмитрий Алексеевич как инженер, участвующий в проектировании, получил уже полумесячную зарплату — семьсот рублей, а обстановка все еще не прояснилась. «Платят деньги, торопятся, работают, и честно работают», —думал Дмитрий Алексеевич, глядя на серьезних пожилых людей, ломающих голову над его проектом. То один, то другой, они подходили к его столу и приносили честные мысли, основательно выношенные в тишине и покое конструкторской комнаты.

«Посвящены ли они?» — спрашивал он себя и пристально изучал интеллигентные затылки и лысинки. Нет, эти люди оценили машину, они приняли и ее и автора. Старый конструктор Крехов, худущий, с толстыми черными бровями и с золотым кольцом на пальце, тот даже обмолвился однажды, сидя к нему спиной:

— Счастливый вы человек, Дмитрий Алексеевич! Я понимаю вас.

Он говорил это как бы от имени всей группы. Нет, он, конечно, ничего не знал!

Но самому Крехову казалось, что он очень тонкая штучка и во всем хорошо разбирается. Он даже заставил Дмитрия Алексеевича впервые за много дней улыбнуться, задав ему хитрейший вопрос. Это было в обеденный перерыв, после очередного визита директора. Держа руку в кармане, генерал в сопровождении Дмитрия Алексеевича и Крехова обошел чертежные станки конструкторов и удалился. Крехов вернулся на свое место и, достав бутылку с кофе, сидя спиной к Дмитрию Алексеевичу, сказал:

— Приятно работать, когда знаешь, что проект пойдет не на полку.

— А вы уверены, что не на полку? — спросил Лопаткин.

— Э-э, дорогой Дмитрий Алексеевич! Уж мы-то видали виды! Сам Авдиев — «за»! Вы лучше скажите, — теперь мы вроде как свои, — какую вы применили тактику?

— Я был на приеме у министра...

— Ну во-от, был у министра ... — запел Крехов. — Ладно. Может. действительно нельзя говорить. Но при всем вашем недоверии к нам — вы молодец. Заставить противников, всех без исключения, повернуть на сто восемьдесят градусов — это знаете ли...

Дмитрий Алексеевич был для них кузнецом своего счастья, победителем!

Человек не может увидеть себя со стороны, глазами своего соседа. У Дмитрия Алексеевича была, оказывается, неизвестная ему еще самому, вторая сущность — она-то и привлекла к нему симпатии конструкторов. Как оказалось, он был необыкновенно талантлив. За какие-то два или три года он стал инженером-механиком. И, кроме того, настолько изучил процессы твердения расплавленного металла. что сумел поколебать научные построения таких корифеев, как Фундатор и даже Авдиев (а там, попросту, не было никаких построений!). Конструкторы считали, что Дмитрия Алексеевича никак нельзя наз-

вать «металлистом». Он, по их мнению, мог бы шутя получать четыре-пять тысяч, ему даже предлагали одно место, но он ответил отказом. (Услышав об этом, Дмитрий Алексеевич испугался, как бы Шутиков не принял его за болтуна). Еще сообщалось, как неоспоримый факт, что Лопаткин добился положительной резолюции от одного исключительно важного лица (от кого — не говорили). Было известно также, что автору труболитейной машины не везет в личной жизни, что он аскет, нелюдим, что он избрал в жены свою машину.

Все это понемногу, по частям раскрывал перед Дмитрием Алексеевичем Крехов — в форме вопросов, на которые невозможно было отвечать. Начался июль, вечера были очень хороши, и получалось так, что каждый раз Дмитрий Алексеевич, возвращаясь домой, шел по бульварам вместе с этим словно бы влюбленным в него конструктором.

— Скажите, Дмитрий Алексеевич, — спрашивал Крехов, посмотрев сначала по сторонам. — Что же, о н вас лично принял? Или просто письмо дошло?

— Кто? О ком вы спрашиваете? — смеялся Лопаткин. — Выше министра меня никто не принимал!

— Ну хорошо, оставим это. Я понимаю, могут быть разные соображения . . . Я спрашиваю с практической целью. Вы как — почтой посылали или сдавали в экспедицию?

— Я всегда стараюсь сократить количество инстанций.

— Ага . . . Понятно! . . — Крехов считал себя дипломатом и любил иносказания. — Кстати о письмах. Я слышал, что вы ставите номера. Вы, должно быть, очень много извели бумаги, прежде чем . . .

— Извел-таки, — согласился Дмитрий Алексеевич.

— Ага . . . Значит, это верно . . .

— Что верно?

— Да так, пустяки. Вы энергичный человек. В вас есть это . . .

— Что — «это»? У вас превратное представление обо мне!

Таких возражений Крехов терпеть не мог.

— Знаете что, — сказал он однажды, — я верю во все, кроме скромности. Это ломанье вам не к лицу. Имейте в виду, что мы понимаем ваши достоинства, но не забываем и о себе. В нашем институте большинство — изобретатели или потенциальные ученые.

Дмитрий Алексеевич, закусив губу, покосился на него, и Крехов оценил это, как удивление.

— Ничего удивительного! Все нормальные люди рождаются с творческими задатками. Большинство из них даже осознает в себе эти возможности.

— Почему же вы не реализуете? . . Простите, может быть, я ошибаюсь? . .

— Ничего, ничего. Вы не ошибаетесь. Мы, Дмитрий Алексеевич, незаметно заросли. Получаем прилично, свиньями стали. Кто же захочет возвращаться к тому замечательному времени, когда твоим хлебом, твоей подушкой и твоим пиджаком была несбыточная надежда! Нельзя, нельзя вмешиваться в техническую политику . . .

— Но вот некоторые же вмешиваются!

— Вот нам и хочется узнать — кого эти некоторые сумели привлечь на свою сторону. Мы реалисты, хотим попробовать вашу дорожку. Как наш собрат, вы обязаны были бы помочь . . .

— Я вам даю слово, что как только... — начал было Дмитрий Алексеевич, но вспомнил профессора Бусько, его «не клянись». — В общем, ладно, — сказал он. — А что вы изобрели?

— Я-то ничего, — проговорил Крехов. — А вот один товарищ, вы его не знаете, — тот изобрел... Он до некоторой степени ваш конкурент. У него тоже литейная машина.

Сказав это, он посмотрел на Дмитрия Алексеевича, но тот разочаровал его. Не испугался возможной конкуренции и даже не насторожился.

— Молоденький мальчишка, а ведь сумел додуматься! Машина для точных отливок из стали, под давлением, — сказал Крехов, помолчав. — У нас сейчас льют под напором алюминий, цинк — легкоплавные металлы. А у него сталь! Он совсем по-новому решил это дело. Магнитное поле у него создает напор, оно же отсекает порцию металла и оно же подогревает. Чудеса! Верно?

— Чудеса, — согласился Дмитрий Алексеевич.

— А ведь эта адская машина могла бы уже работать две пятилетки!..

— Почему же... — начал было Дмитрий Алексеевич, но спохватился и со смехом махнул рукой. Он сам мог бы ответить на свой вопрос.

— Видите ли, — сказал негромко Крехов, — у этого мальчишки еще нет силы пробивать такие вещи. И потом, в его министерстве нашлась публика, которая создала барьер... Не везде встретишь таких объективных, принципиальных людей, как Василий Захарович Авдиев...

Дмитрий Алексеевич только крякнул от неожиданности. Он даже остановился. Но тут же взял себя в руки и ничего не сказал — пусть жизнь говорит. Она скажет еще свое слово и этому человеку.

После бесед с Креховым Дмитрий Алексеевич твердо понял, что конструкторы ничего ему не смогут предсказать. Они были уверены в его успехе.

Он и сам готов был поверить в благополучное окончание длинной истории с машиной, но одна неожиданная встреча приоткрыла ему глаза. Случилось это так. Он ехал утром в институт, покачивался на сиденье троллейбуса, смотрел в открытое окно, за которым мелькала яркая улица. И, как всегда, не видел ничего — только свою машину, один неподатливый ее узелок. Рядом с ним бежали по пыльному асфальту автомобили, и вот пепельно-серая «Победа» поравнялась с его окном.

— Товарищ Лопаткин! Изобретатель Лопаткин!

В этой «Победе» рядом с шофером сидел Галицкий. Он высунулся до половины окна, кричал, махал рукой:

— Вылезайте, вылезайте! На остановке!

Дмитрий Алексеевич сразу же протиснулся к выходу и на остановке сошел на тротуар. Серая «Победа» уже стояла впереди, и из нее махала ему длинная рука Галицкого. Они поздоровались.

— У меня нет времени, садитесь в машину, — приказал Галицкий. — Сейчас отвезем меня в мое министерство, потом вы поедете, куда вам надо. Садитесь и рассказывайте!

Дмитрий Алексеевич открыл дверцу, согнулся, упал на мягкое сиденье, и машина тронулась.

— Вы что, в министерстве работаете? — спросил он, с недоверием глядя на высокий детский затылок Галицкого с черными, давно не стриженными волосами.

— Я член коллегии, — сказал Галицкий, не оборачиваясь. — Вы думаете, доктор наук не может быть членом коллегии? Говорите лучше вы. Вкратце. Имейте в виду, что кое-что и я знаю. Быстро!

Дмитрий Алексеевич, не переводя дыхания, отрапортовал ему обо всем, что произошло с ним за последние месяцы.

— Ясно, — сказал Галицкий. — Ни в коем случае не верьте им! Есть люди, которые полетят со своих мест, если вы осуществите проект. Вам это известно? Будьте уверены, вашу идею они поняли и оценили. Этот Урюпин добавил в нее что-нибудь свое, чтобы не было похоже. Сделают уродца и будут его разрабатывать и «доводить» лет пять. Для этого нужен покой. А вы кричите, пишете. По логике вещей они сейчас должны вплотную заняться вами.

— Может, Шутиков, как человек заинтересованный, понял, что мой проект лучше?

— Шутиков действительно заинтересован. Но он невинный младенец в технике. Он думает так: та машина, эта машина — один черт лишь бы машина! Конструкция, идея — это, по его мнению, чепуха по сравнению с другими задачами, которые он считает важными. Он великий спец по устройству отношений между людьми. Здесь и надо искать... Но посмотрим. Посмо-отрим, — угрожающе протянул Галицкий. — Жаль, нет у меня сейчас времени...

Они молчали целую минуту. Галицкий, должно быть, все это время обдумывал свое расписание, искал свободные часы.

— Нет, пока не смогу, — сказал он наконец. — Вы, небось, думаете: «Копни, копни из личного запаса времечко! Копни, раз сам назвался груздем!» А? Нет, Дмитрий Алексеевич! Нет личного запаса. Не совру вам: у меня есть прекрасные ружья, а охоту все откладываешь на завтра! Не знаю, верна ли эта линия, — люди вон говорят, что хорош тот руководитель, вокруг которого дело кипит, а сам он свободен, отдыхает. Я пока еще не научился так. И потом, у нас столько еще прорех, что самый хороший руководитель, у которого все кипит, может найти себе работу... если он ее любит. До конца дней, наверно, ни черта ни разу не съезжу пострелять... — Это он сказал с неожиданной досадой и умолк. Достал записную книжку, сердито черкнул в ней что-то, вырвал листок и через плечо подал Дмитрию Алексеевичу.

— Мой телефон. Когда определится судьба, звякните. Вот я уже и приехал. Шофер вас отвезет. До свидания...

Так шли дни Дмитрия Алексеевича, спокойные и тревожные. Проект быстро двигался к концу, а где-то за укрытием противник разворачивал войска.

Они были развернуты в полной тишине, и в последних числах июля начался разгром, которого по эту сторону фронта никто не мог предвидеть.

Все началось с телефонного звонка. Дмитрий Алексеевич снял

трубку, сказал несколько слов, и Крехов увидел, как он весь словно чуть-чуть опустился.

— Подождите, Вадя, — сказал он. — Я ничего не пойму, какие трубы?

— Чугунные, — насмешливо запищала трубка.

— Ну и что?

— Как что? Поздравляю вас с решением проблемы.

— Так мы же еще не реши...

— Дмитрий Алексеевич, если вас поздравляет референт замминистра, значит проблема решена. Можете убедиться. Грузовик скоро прибудет.

— Какой грузовик?..

— По-моему, трехтонный.

— Вадя, скажите мне яснее, в чем дело?

— Я все ясно говорю, — сказала трубка замирающим голосом. — Из Музги прибыл рапорт об успешном испытании машины и первые трубы, сделанные товарищами... Погодите, я сейчас загляну в проект приказа... Сделанные товарищами Урюпиным и Максютенко.

— А что за приказ? — тихо спросил Дмитрий Алексеевич.

— Приказ голов не вешать, а идти вперед, Дима. Приезжайте, посмотрите заодно и приказ.

— Хорошо, еду, — сказал Дмитрий Алексеевич и бросил трубку. Упираясь большими кулаками в стол, он замер на несколько секунд и посмотрел вдаль, как будто не было перед ним желтоватой стены. Не совсем ясно, но он уже видел замысел своих врагов. Это было что-то новое и, кажется, неодолимое.

Конструкторы молча сидели и стояли у своих станков, только головы их наклонились ниже, чем нужно. Дмитрий Алексеевич прошел мимо них, у дверей спокойно сказал: «Еду в министерство часа на два» — и вышел.

Выпрыгнув из троллейбуса у громадного министерского здания, он сразу же увидел грузовик против главного подъезда. С этого грузовика рабочие снимали окрашенные черным лаком чугунные трубы и уносили их в подъезд. Дмитрий Алексеевич подошел, потрогал трубы. Да, отлиты центробежным способом, и отлиты неплохо. «Неужели я просчитался?» — подумал он и почувствовал, что потеет.

— Фу, черт, жарко, — сказал он и опять стал рассматривать трубы. «Не я так не я, — подумал он. — Жаль, правда, столько лет потеряно».

— Нет! Ничего не было потеряно! У него ведь была лучшая машина! А эта... Она больше двадцати труб за час не даст. Отлить хорошую трубу можно и вручную. Не в этом дело!

И как бы в подтверждение его мысли рабочий нечаянно стукнул концом трубы об асфальт и выругался. От трубы отвалился косой черепок с серебристо-серыми кристаллами на изломе.

«Отбел, — подумал Дмитрий Алексеевич. — Да, они ведь охлаждают водой».

На втором этаже в приемной и кабинете Шутикова все двери были открыты настежь. Там гулял июльский ветер и приятно звучали веселые мужские голоса. Человек десять инженеров в белых кителях, юноши — секретари и референты — окружали в кабинете длинный стол для заседаний. На этом столе на зеленом сукне, как орудийные

стволы, в ряд лежали пять или шесть труб — гладкие, блестящие, словно обточенные на станке. Здесь же, около труб, был, конечно, и Шутиков. Он сиял, похлопывал трубы, присев, просматривал их насквозь и успевал с радостным видом отзываться на сочувственные речи инженеров, которые пришли поздравить его с выдающимся достижением.

Когда Дмитрий Алексеевич входил в кабинет, до него донесся довольный голос Шутикова:

— Да, верно. За границей льют трубы так. Но, товарищи, мы применили новинку: сменность изложниц! Это дает колоссальный эффект. Колоссальнейший! А вот и товарищ Лопаткин пришел порадоваться с нами...

Все расступились. Шутиков вышел навстречу Дмитрию Алексеевичу, обнял его и подвел к столу.

— Вот наконец и итог нашего совместного труда. Посмотрите-ка, вы ведь специалист... Недурно, а?

Дмитрий Алексеевич заглянул внутрь трубы. Он не знал, что делать. Не радоваться? Но вот стоит вокруг стола народ... Среди них есть честные люди. Вот и рабочие подошли — эти радуются откровенно! Если не радоваться с ними вместе, они подумают, что вот соперник надулся, сразу видно — частник, ему даже победа коллектива нипочем!

Но радоваться Дмитрий Алексеевич не мог, несмотря ни на что. Ведь перед ним играла черным лаком труб, сияла золотом начальственных очков беда — тончайший обман всех этих доверчивых людей, которые всерьез думают, что решено большое государственное дело. Вот и сам Павел Иванович ходит — светлосерый, сияет больше, чем следует. Труб не было — трубы есть! Об остальном беспокоиться нечего — Авдиев постарается разукрасить результат своих исследований. Павел Иванович не считает нужным скрывать свое торжество: окружающие не расшифруют. Все видят бескорыстного, неутомимого деятеля, который гордо отказался от заманчивого участия в разработке проекта. Все видят красивые блестящие трубы! Но сколько они будут стоить? На чью шею ляжет эта стоимость? Они же заметно утолщены, здесь явный перерасход чугуна! А отбел? Сколько труб будет разбито в дороге, на строительных дворах? А производительность труда? Ведь уже есть, есть более совершенная машина! Разве можно это допустить — чтобы она погибла?..

Лучше бы ему откровенно надуться! Он не догадался во-время. А бледное лицо его, между тем, кривлялось, борясь с улыбкой и с выражением отчаяния. И это произвело на людей самое худшее впечатление. Все внимательно посмотрели на изобретателя и переглянулись.

Шутиков понял это. Он взял Дмитрия Алексеевича под руку и повел по кабинету, как бы обсуждая с ним трубные дела. А сказал он ему вот что:

— Я вас понимаю, Дмитрий Алексеевич. Надо мужественно переносить. Переломите себя. Я надеюсь, что вы придумаете еще что-нибудь новенькое...

— Как — новенькое! А машина?

— Министр распорядился прекратить работу над нею. Я, конечно, дам вам еще деньков пять, чтобы вы закончили проект, но на этом будет поставлена точка. Вы молоды, энергичны, вы не пропадете. У

вас здесь кое-что имеется. — Он ткнул себя пальцем в лоб. — А сейчас вас выручить может только чудо. Вы же не можете вот так — раз, два — и поставить здесь свою машину в готовом виде! Такую, чтобы она давала нам хотя бы на пять труб больше...

— Я напишу в Цека, — не дослушав его, сказал Дмитрий Алексеевич.

— Ну и что? Вы думаете, что каждый, кто пишет туда, бывает удовлетворен? Нет. Удовлетворен будет только тот, кто прав. Ваш вопрос сугубо специальный. Решить его без специалистов нельзя. И мнение их будет спрошено. А оно уже сейчас известно и мне и вам.

— Но я знаю еще одного авторитетного судью в области специальных вопросов. Это — испытание опытного образца. Надо построить и испытать.

— Ну что ж... постройте. Стройте! Ах, у вас нет средств... Что ж, просите в министерстве. И мы опять спросим...

— Авдиева?

— А что? Почему бы не его? Мы спросим его и других ученых, стоит ли отпускать средства. Ведь у нас есть уже машина! Зачем нам две?

— Но это ведь тоже моя! — шепотом закричал Дмитрий Алексеевич. — Если бы они не мудрили с нею, она дала бы вдвое!

— Успокойтесь и не говорите чепухи. Между прочим, я не забыт... Помните, мы так хорошо беседовали на этом вот диване. Я и сейчас готов пойти вам навстречу... И пойду, если вы продумали... В общем, звоните мне. По этому вопросу я вас приму всегда.

Высказав все это мягким голосом и пожав расстроенному изобретателю локоть, Шутиков вернулся к трубам. А около Дмитрия Алексеевича оказался Вадя Невраев. На этот раз у него был вальяжный вид, пиджак его был застегнут на одну пуговицу, и держался Вадя молодцом.

— Дмитрий Алексеевич, — сказал он вполголоса, — не обнажайте меча против мельницы.

— Он предложил мне...

— Не об-на-жайте! — сурово протянул Вадя. — Взгляните на минуту туда. Как по вашему, почему он так часто заглядывает в трубу, что он там видит? Не знаете? Дмитрий Алексеевич, он видит на том конце этой трубы некое солидное кресло. Так что не обнажайте. А отступное советую принять. Пока не поздно...

С этими словами Вадя повернулся к Дмитрию Алексеевичу спиной, отошел к столу и, обняв за талию одного из инженеров, с улыбкой заговорил с ним.

В тот же день и в тот же час Дмитрий Алексеевич прошел в приемную министра и спросил у молодого человека с изогнутыми бровями, нельзя ли попасть на прием к Афанасию Терентьевичу. Молодой человек повернулся к нему боком и стал набирать номер телефона. Вот что он сказал, набрав номер:

— Это ты, Николай? Ты свободен вечером? Афанасий Терентьевич занят. Нет, это я не тебе, это здесь... Так слушай, позвони мне...

Услышав в этих словах то, что относилось к нему, Дмитрий Алексеевич поклонился в затылок молодому человеку (проклятая воспитанность!), отошел и сел за пустой столик. Здесь он написал на имя ми-

нистра письмо, перечислив в спокойном тоне все убытки, которые может понести государство в связи с работой новой труболитейной машины, сделанной в Музге. Затем он попросил разрешить дальнейшую работу над его, лопаткинской, машиной, учитывая то, что на проектирование и консультацию уже затрачено немало денег. Он заверил министра, что его машина будет давать не меньше пятидесяти труб в час, не говоря уже о том, что трубы эти будут прочными. И еще он обратил внимание министра на одну особенность своей машины: она годится и для литья водопроводных труб...

Тут на него вдруг накатил приступ отчаяния, он бросил ручку и оцепенел, безнадежно глядя на бледнорозовую стену с плавающим на ней солнечным пятном, отраженным из полоскательницы с водой. Но через минуту он встрепенулся и заставил себя дописать письмо. Он написал и второй экземпляр для надиной канцелярии, и перечитал письмо. Все было в порядке, слово «министр», как полагается, везде было написано с большой буквы. Дмитрий Алексеевич расписался и передал лист молодому человеку с изогнутыми бровями. Тот начал сразу читать заявление и на осторожный поклон Дмитрия Алексеевича ответил, не поднимая глаз от бумаги: «До свидания».

Евгений Устинович, как только Лопаткин открыл дверь, с первого взгляда понял, что дела плохи. Старик как раз приготовил обед и, сидя у открытого окна, поджидал товарища. Дмитрий Алексеевич вошел, сел перед столом и стал бросать на клеенку пятиалтынный.

— Уж если изобретателсь начинает задавать вопросы судьбе, дела действительно плохи, — сказал профессор. — Что у вас случилось?

Дмитрий Алексеевич подал ему копию своего письма на имя министра. Старик медленно провел бумагой перед очками снизу вверх и положил письмо на стол.

— Квадратура круга, — сказал он, и в комнате надолго наступило молчание. Дмитрий Алексеевич опять стал подбрасывать на столе монету.

— Знаете, о чем я думаю? — спросил он с бесшабашно веселым видом. — Я думаю, не принять ли предложение Шутикова.

— А что?

— Да вот... Откажись, говорит, от всего. Получай хорошее место с соответствующим окладом.

— Говорит открыто? Значит, считает дело решенным. Но я вижу, что Дизель прав. Вы начинаете отвыкать от надежд!

— Как вы думаете, письмо попадет к министру?

— Что же, доложат. Сегодня ночью. Избави Бог, они не волокитчики. Только к а к доложат! В общем, бумажка будет завтра подшита в дело, и на ней этот ваш мальчик с бровями напишет: «Доложено министру такого-то». Ми-илый! Я колени, а не то что брюки издирал по приемным! Дело не в министре.

— Но ведь без него ничего не делается...

— Не так: без него никто не остановит и не накажет ваших «друзей». А без них к нему не пройдешь, чтобы пожаловаться. Без них он вам и не поверит. Так что вот... Давайте пообедаем и подумаем, что нам делать.

С этими словами Евгений Устинович направился к своей постели. Там, под подушкой, завернутая в одеяло и газету, томилась у него

кастрюля с борщом. Он поставил на стол эту кастрюлю, купленную когда-то Надей, достал из шкафика две тарелки. Затем снял с кастрюли крышку, сказал: «Чувствуете, как пахнет?» — и налил Дмитрию Алексеевичу полную тарелку темнокрасного жирного борща.

— То, что с вами произошло, я мог бы предсказать, — проговорил он, наполнив вторую тарелку и принимаясь за еду. — Это было и со мной, только меня подвела память. Расчет у вашего Шутикова, помоему, такой. Теперь вы больше не сможете жаловаться на него. Министерство затратило на вас немало денег. Вас обсуждали, вас дважды проектировали, вам дали лучших конструкторов, с вами возились. А то, что в результате творческого соревнования победила другая машина, так — Господи! — должен же кто-нибудь победить! Должен же кто-нибудь оказаться внизу! Ваши жалобы будут признаны нормальной реакцией побежденного. Вот над чем мы ломали голову! Теперь все ясно...

— Кроме одного... — вставил Дмитрий Алексеевич. — Что нам делать?

— Пожалуй, вы правы... Действительно, начнешь задавать вопросы судьбе!

— Все равно к Шутикову работать не пойду. Я уже думал, Евгений Устинович! Не двинуть ли нам с вами куда-инбудь в Саяны, на Енисей? А? Чтоб было небо и земля, и чтоб были дети. Первые классы. Евгений Устинович! Толкните меня, а я вас — и проснемся где-нибудь далеко-далеко! Где кочуют туманы!

— Решайте, — сказал профессор. — Я пойду за вами.

3

Весь следующий день Дмитрий Алексеевич звонил министру из уличной кабинки по телефону-автомату. Ему отвечали: «министр еще не приезжал», «министр занят», «министр уехал». На второй день Дмитрий Алексеевич поехал в министерство и, пользуясь своим постоянным пропуском, сумел войти в приемную министра. В приемной никого не было, кроме Зари, которая, мечтательно согнувшись, читала толстую растрепанную книжку.

— Афанасий Терентьевич сегодня будет к вечеру, — сказала Заря, неохотно отрываясь от книжки. Потом она очнулась. — Ах, это вы, товарищ Лопаткин...

Голос ее опять ожил, но на этот раз перед Дмитрием Алексеевичем была другая Заря — не грустно-сочувствующая, а брезгливо-гневная.

— Он вас не примет, товарищ Лопаткин, — сказала она. — Я спрашивала. Он приказал с вами не соединять. А вы тоже! — Она сразу как-то осунулась, враждебно выпятила нижнюю губу. — Нельзя же до такой степени быть эгоистом! Машину все-таки не для вас строят, а для людей, для народа. Я бы никогда так... Я бы поздравила. Сделали — и очень хорошо, и спасибо! Нельзя так... Я никогда не думала, что вы...

Она умолкла, и в приемной, которая была отрезана от мира непроницаемыми для звуков стенами, наступила тяжелая, как бы звенящая тишина.

— Афанасий Терентьевич сказал, чтобы больше вы сюда не приходили. . . — подавленно прошептала Заря.

— Хорошо. Не приду, — чуть слышно сказал Дмитрий Алексеевич. — До свидания. . .

И выбежал. Он даже не заметил, как очутился внизу, на тротуаре, — его гнал стыд. «Все!» — сказал он себе и пошел к остановке. «Все! Все! — шептал он в троллейбусе. — До свидания, товарищи! Хватит!»

— Все! — сказал он дома, быстро входя в комнату. Сел на свою кровать и оцепенел, словно ему надавали пощечин.

Евгений Устинович, лежа на сундуке, делал вид, что читает книгу. Кроме него, в комнате была Надя в пестреньком летнем платье. Теперь у нее начался двухмесячный учительский отпуск, и она пришла проведать их с утра.

— Что все? — спросила она, осторожно подходя к Дмитрию Алексеевичу. Должно быть, она все уже знала. — Что все, Дмитрий Алексеевич?

— Эгоист! — сказал он, зажмурясь. И слезы брызнули, потекли из его глаз. Он зло закрыл лицо рукой, размазал слезы. — Все! Никуда не пойду больше!

— Дмитрий Алексеевич! — Надя села рядом с ним, положила руку ему на голову. — Ничего ведь страшного не произошло! Дмитрий Алексеевич. . .

Она прижала к себе эту большую седеющую голову и стала тихонько покачиваться, как будто в руках у нее был ребенок. Прошла минута, две. . . И Дмитрий Алексеевич, вдохнув успокаивающий запах ее духов, почувствовал вдруг утреннюю легкость в душе. Он выпрямился, посмотрел на Надю.

— Да. . . — сказал он и оцепенел, ничего не думая, отдаваясь чувству легкости. Все в нем было как после сильного дождя с градом.

— Насколько я понимаю, это остатки наивности, — отозвался со своего места профессор. — Ваш Шутиков неосторожно задел их рукавом, и все эти фарфоровые слоники полетели вниз и разбились. . . И слава Богу! Изобретателя ничто не должно расстраивать.

— Мне нельзя больше показываться в министерстве! — воскликнул Дмитрий Алексеевич. — Меня все там считают шкурником, эгоистом, частником и предателем общественных интересов! Я позавчера перед всеми подтвердил ту аксиому, что изобретатель — отмирающий пережиток!

— Интересно, как это вы сумели. . .

— Там был праздник, все радовались, все приходили и поздравляли друг друга с победой. А я один не проявил должного энтузиазма. Я сам не знаю, как это получилось. . . Но все это заметили. Если бы вы слышали, чего мне сегодня наговорила одна девчонка. . . секретарша. Как она на меня смотрела, бедняга. . . Но это так ужасно! Когда считают сумасшедшим, это в сто раз лучше.

— Ничего-о, — тихо говорила Надя, грустно любуясь им сбоку. — Ничего, все это пройдет. И пройдет очень скоро. У меня для вас есть одна интересная вещь. Хотите, покажу?

— Опять галстук? — попробовал он пошутить.

— Нет. Не галстук и не чашки. Получше. — И она прошла к столу, где лежал ее маленький школьный портфель.

В последнее время Надя по поручению Дмитрия Алексеевича ходила в Ленинскую библиотеку, читала литературу о центробежном литье, о трубах и составляла аннотации статей. Задача была нелегкая, но Надя нашла выход из положения. Он почти полностью переписывала статьи в толстую тетрадку. Вот и сейчас, расстегнув свой портфель, она достала эту тетрадку.

— Чепуха, — сказал Дмитрий Алексеевич. — Я уже отдал концы. Отплыл. Меня нет.

— Подождите отплывать. Вот смотрите, какие бывают на свете трубы. Это должно быть вам интересно. Видите? Биметаллишес рор. Труба из двух слоев. Верхний слой — простая сталь, а внутренний — кислотоупорная. Для химической промышленности. . .

— Ну и что? Ага. . . — И Дмитрий Алексеевич замолчал, перелистывая тетрадку. — Это можно делать на моей машине! — вдруг угрожающе загудел он.

— Мы с Надеждой Сергеевной того же мнения, — скромно сказал профессор с сундука. Он тоже был в курсе дела.

— А как же, интересно, делают они?

— Никак. Это труба, которой у них нет. Здесь сказано: на протяжении последних четырех лет наши конструкторы и технологи ищут путей. . . Они бьются над этим делом, не найдут никак решения. . .

— Ах, они еще не делают! . .

— Вот именно! — сказала радостно Надя. — Они ставят стальные трубы и каждую неделю меняют — разъедает. А такая вот труба им нужна — с внутренним покрытием . . . Предложим?

— Кому? Немцам?

— Зачем? Ничего не понимает! Мы их опередим. Кому-нибудь и у нас такая труба нужна! Узнаем и предложим.

— Вы уверены, что там не найдется Шутикова? Нет! Никуда я больше ходить не буду. Писать — только одной вам. Буду жить в лесу и молиться колесу. . . Два слоя? Ай-яй-яй, какая идея! — закончил он неожиданно.

Надя взглянула на профессора. Тот выразительно повел глазами, как бы говоря: конченный человек! Никуда он не поедет от своей машины! Вот, смотрите, вот он уже сидит на любимом коньке!

Дмитрий Алексеевич вскочил с постели и высунулся далеко в открытое окно, лег на подоконник и так лежал минут двадцать, время от времени ероша волосы. Потом он встал, и оказалось, что он там что-то царапал — гвоздем на железном листе, прибитом с той стороны подоконника.

— Ай-яй-яй. . . — сказал он, оглядываясь издалека на свой железный чертеж. — Фу-фу-фу, вот так идея!

— Ну, во-от. Я же говорила! — Надежда Сергеевна, стараясь скрыть свою радость, обмахивала лицо тетрадкой. — Товарищи, смотрите, какая жара начинается!

— Надежда Сергеевна, это реальная вещь! — сказал Дмитрий Алексеевич. Сел. Потом встал. Поднял с пола изорванный конверт и, выхватив из кармана авторучку, подсел к столу. — Вы мне подали мысль. . .

— Не я, — мягко возразила Надежда Сергеевна. — Это ваша собственная. . .

— Мы подадим заявку за двумя подписями!

— Не рекомендую, — предупреждающе прогудел с сундука профессор. — Никаких заявок.

— Решено! — сказал Дмитрий Алексеевич. — Теперь нас двое.

Надя покраснела и ничего не сказала. Еще в библиотеке, увидев статью о двухслойных трубах, она сразу поняла, что перед ней важное открытие, еще один вопрос, на который Дмитрий Алексеевич, сам того не зная, давно уже ответил. Пальцы ее задрожали, перелистывая статью. Надя почувствовала, что впервые становится настоящей помощницей этого необыкновеного человека с простым именем: Дмитрий Алексеевич. «Дмитрий Алексеевич...» — повторила она и вот так же покраснела от счастья.

— Я бы все-таки порекомендовал вам... Хоть позвоните вашему Галицкому, посоветуйтесь с ним. — Евгений Устинович с беспокойством посмотрел на Лопаткина. — Я его не видел, но, по вашим рассказам судя, это такой человек, каким мне рисуется настоящий партиец.

— Да, да... Верно. Есть смысл. — Дмитрий Алексеевич поднялся. При этом он не сводил глаз с Нади. «Да, да, верно. . . — думал он. — Ей хотелось получить что-то, какой-то знак. Получи, милый друг! Не могу тебе дать больше, но это — твое.»

— Вы позвоните все-таки, — напомнил Бусько.

Дмитрий Алексеевич вынул из кармана пятиалтынный и посмотрел на него.

— Ага! — догадался старик. — Это тот, что вы вчера подбрасывали. Бегите, опускайте его в автомат. Это ваша судьба!

Дмитрий Алексеевич вышел, и Надя легко, как девочка, выскочила за ним из комнаты. Они уже были счастливы! Сбегая по лестнице, Надя даже рискнула — оперлась на его плечо и прыгнула сразу через несколько ступенек. Они прошли двор, держась не то чтобы за руки, а зацепившись мизинцами и перешагивая через голубей, которые бежали перед ними, мелко-мелко перебирая розовыми лапками. Посмотреть со стороны — счастливые молодые люди! Вот и телефонная кабинка. Дмитрий Алексеевич вошел в нее, опустил монету, набрал номер, и в ухо ему забасили гудки. Потом что-то щелкнуло, и раздался женский голос:

— Алло?

— Товарища Галицкого, будьте . . .

— Товарищ Галицкий получил новое назначение.

— Куда, не скажете?

— Таких справок по телефону не даем.

— Но он в Москве?

— Нет.

— Простите... Может он скоро...

— Товарищ, я же говорю вам: он откомандирован на постоянную работу!

«Пи-пи-пи-пи-пи...» — замигали тонкие гудки. Это там, в министерстве, секретарша положила трубку.

— Галицкого нет в Москве, — отрывисто сказал Дмитрий Алексеевич, выходя из кабины. День вокруг него был такой же яркий, но стал он как будто суше, как будто прибавилось в воздухе пыли, запахло

бензиновой гарью, и назойливее, беспощаднее закричали в переулке стремительные автомашины.

Надежда Сергеевна ничего не сказала. Они молча вошли во двор, и лилово-шоколадные голуби в белых штанишках опять побежали перед ними. Привели их к крыльцу и здесь разлетелись.

— Ну? — сказал Дмитрий Алексеевич, со слабой улыбкой взглянув на Надю. — Бьются слоники?

— Дмитрий Алексеевич! — Надя вздохнула. — По-моему, они уже давно все разбиты. А какие слоники были! . .

— Впереди громадный, да?

— Он первый и упал. Но мне все-таки повезло. Я его спасла. А остальные, поменьше — те все побились.

— Того, который остался, Надежда Сергеевна, разбейте скорее! Больнее будет, когда его кто-нибудь. . .

— Ничего вы не понимаете, — ласково сказала Надя, поднимаясь по ступенькам. — Нет, я его буду беречь. . .

Евгений Устинович встретил их наверху, на площадке лестницы. «Ну?» — молча спросил он, подняв брови.

— Неудачный пятиалтынный, — отрывисто сказал Дмитрий Алексеевич. — Галицкий уехал из Москвы. Совсем. Да. . . верно он себя охарактеризовал. Все на завтра откладывает и ничего не успевает. . .

И один за другим они молча побрели по коридору к своей комнатке. Профессор шел последним и, сопя, шаркая по полу, вполголоса повторял:

— Уехал. . . А я почему-то надеялся. . . Мне этот человек рисовался. . . Н-да-а. . . Ах, как мне все это знакомо! И как это все-таки тяжело! . .

Они вошли в комнату, сели — кто на стул, кто на кровать, — и наступила тишина. И все трое вдруг заметили, что жизнь попрежнему идет. На улице звенели детские голоса, хлопали крыльями голуби. Мальчишка крикнул: «Пускай белого!» Вдали играл патефон — в эту страшную минуту кто-то учился танцевать. . .

— В такой тишине, — сказал Евгений Устинович, — чувствуешь, насколько мелки наши беды перед лицом времени и пространства. . . Дмитрий Алексеевич, — добавил он, помолчав, — я думаю, что сейчас как раз самое время пообедать.

Надя сразу же вскочила и, взяв с пола кастрюлю, унесла ее на кухню. Проводив ее глазами, профессор наклонился в сторону Дмитрия Алексеевича.

— И еще, я думаю, не вредно будет подсчитать наши ресурсы и ввести карточную систему.

Ближе к вечеру, когда Надя ушла, друзья составили бюджет. Он был не так уж строг. До рыбьего жира дело не дошло. Больше того, были даже выделены деньги на покупку ватмана для нового проекта.

Профессор был доволен результатами этих расчетов. Дмитрий Алексеевич тоже повеселел и сказал, что наступает эпоха восьмикилометровых прогулок. Все это было уже знакомо.

Но где-то за сотней каменных стен в нескольких домах тоже сидели люди и составляли иные планы, разговаривали по телефону, диктовали машинисткам приказы, в которых упоминалось: Д. А. Лопаткин.

По этой-то причине в расчеты изобретателей на следующий же день была внесена поправка.

Когда Дмитрий Алексеевич утром пришел в институт, он прежде всего заметил, что группа за время его отсутствия за целый день ничего не сделала. Люди знали уже обо всем и не хотели работать на полку. «Они правы! Что толку бумагу переводить!» — подумал Дмитрий Алексеевич. Он приветливо здоровался со всеми, переходя от станка к станку. Лицо его было светло, и это представлялось настолько необычным, что Крехов не выдержал:

— Дмитрий Алексеевич! Чудо! Вы идете, как Христос по волнам!

Лопаткин расхохотался.

— Нет, в самом деле! Ведь вас, простите меня, колуном хватили по голове. Я бы не выжил, честное слово. . .

— Что вы говорите? — с веселой рассеянностью переспросил Дмитрий Алексеевич. — Это все чепуха. Если бы вы знали, какая сейчас у меня в голове идея!

Все переглянулись. «Изобретатель-то наш немного того», — говорили эти взгляды. Дмитрий Алексеевич не заметил их, и полдня в группе потихоньку толковали о том, что да, изобретательское дело, оно такое — сегодня здесь, а завтра в Белых Столбах, палата номер шесть!

Работа не клеилась. То и дело раздавался на соседнем столе телефонный звонок, и трубка женским голосом громко спрашивала: «Можно позвать к телефону товарища Антоновича?» Старый, бритый, молодящийся модник Антонович, нервно дергая щекой, подходил. «Это ваше объявление висит на Арбате? — говорила трубка. — Скажите, вы действительно одинокий?» «Да, да!» — говорил Антонович. «Как же это так до сих пор? Знаете, я тоже ищу комнату». «Так что же?» «Не снять ли нам одну вместе? Я тоже одинокая, интеллигентная. . .»

— Ха-а-а! — радостно закатывалась вся группа.

— Безобразие! — говорил Антонович, бросив трубку. — Это кто-то из копировщиц! Черт знает что такое. . . Дети! Игрушку нашли! . .

До этого дня Дмитрий Алексеевич не подозревал, чтобы такие солидные люди, как Крехов, могли подобным образом веселиться. А тут и он вышел как будто бы купить папирос, а несколько минут спустя затрезвонил телефон. Антонович подошел, сказал солидно: «Вас слушают», — и в ответ на всю комнату задребезжало: «Мне одинокого, интеллигентного инженера. . .»

— Я узнал вас, Крехов! Послушайте. . . — угрожающе начал Антонович, но трубка перебила его:

— Погоди ругаться, Андрей Евдокимыч. Тут я сейчас на углу читал твое объявление. Оно, знаешь, с ошибками.

— Какие ошибки?

— А вот. В слове «интеллигентный» одно «л».

— Не может быть!

— Чего ж не может, поди сам посмотри . . .

И Антонович ушел смотреть. И, конечно, второе «л» стояло на месте — ведь он был интеллигентный! Но Крехов, лучший конструктор, солидный человек со старомодным кольцом на пальце, был очень доволен этой проделкой. Он уселся на свое место, и вид у него был такой, словно он хорошо отобедал. Он дружелюбно поглядывал на телефон, ожидая от него каких-нибудь веселых неожиданностей.

И телефон не заставил себя ждать — мелко затрясся, затрезвонил на всю комнату. Шутники были наготове — поднялись было, но Крехов опередил всех. Раз, два — всего два длинных шага, — и он снял трубку.

— Да! — сказал он и вдруг подобрал губу. — Сейчас-с-с. Товарищ Лопаткин!

«Кто там еще? ..» — подумал Дмитрий Алексеевич, беря трубку.

— Товарищ Лопаткин? — сказал в трубке кто-то неторопливый, строгий.

— Да. . . — хрипло ответил Дмитрий Алексеевич и нервно откашлялся. — Да, да! Это я!

— Это звонят по поручению товарища Галицкого.

— Так он же уехал!

— Совершенно верно. Но у нас тут было техническое совещание. . . Вы можете зайти к нам в управление?

— Конечно, могу! Простите, с портфелем мне приходить или без?

— Лучше с портфелем. Хотя мы знаем вашу труболитейную установку. В общем, приходите. Знаете что. . . Вы можете сейчас? Можете? Так я пришлю машину. . .

Да, это был на редкость веселый денек! Положив трубку, Дмитрий Алексеевич посмотрел на телефон с подозрением. Уж не вздумал ли кто-нибудь подшутить и над ним. . . Но все же он подошел к открытому окну и стал ждать. . .

И через двадцать минут, как в сказке, плавно выкатилась из-за угла серая машина и затормозила внизу у подъезда. Это была та самая серая «Победа», в которой прежде ездил Галицкий.

Дмитрия Алексеевича уже не удивляли новые истории с многообещающей завязкой, даже если они налетали так неожиданно. Встречая их, он вел себя теперь ровнее, заранее предвидя одинаковый для всех этих историй исход. Пока он ехал в серой «Победе», в его душе пролетела еще одна трехминутная буря — сломила деревья, снесла крыши, — но, сжав губы и закрыв глаза, он быстро утихомирил ее, затаил все разрушения. И в кабинет на третьем этаже незнакомого желтоватого дома с колоннами вошел тот изобретатель, которого боятся в министерствах, — человек с особенной, мучнистой бледностью на лице — бледностью нервных. Улыбка его выдавала готовность к резкому отпору, насмешливую ненависть к красивым шторам, дорогому чернильному прибору и белому с голубыми и красными узорами ковру.

Но те, кто сидел перед ним в дорогих креслах, кто стоял с загадочным видом у красивых штор или медленно ходил по белому ковру, начальники и инженеры, и щеголеватый генерал в черном костюме с голубыми лампасами и гражданскими белыми погонами, — они-то, должно-быть, видывали изобретателей. Таким они себе и представляли инженера Лопаткина, героя шестилетней истории с труболитейной машиной. Никто не улыбнулся за его спиной, хоть и наступила тихая пауза, когда он вошел. Но эту паузу сейчас же, не сговариваясь, прервали. Кто-то предложил Дмитрию Алексеевичу кресло, генерал, выйдя из-за стола, сел против изобретателя и раскрыл для него свой портсигар. Остальные придвинули стулья.

— Дмитрий Алексеевич, — негромко начал генерал и, щелкнув за-

жигалкой, поднес Лопаткину голубой огонек. Оба они окутались клубами дыма. — Дмитрий Алексеевич, — повторил генерал, — мы хорошо знаем вашу машину, здесь нам уже обстоятельно все растолковал товарищ Галицкий...

— Простите, а где Галицкий? — осведомился Дмитрий Алексеевич.

— Нас интересует вот какая штука, — продолжал генерал, который не любил, видимо, когда его перебивали. — Могли бы вы дать варианты вашей машины применительно к отливке некоторых тел вращения, с внутренними пустотами. Ну, скажем, оживальной формы. Вот таких, например...

К этому времени рукой проворного референта были аккуратно разложены на столике четыре квадратика ватманской бумаги с жирно вычерченными на них симметричными фигурами: сигара, желудь, сахарная голова и труба со ступенчатыми утолщениями.

— Относительно этой сигары... Здесь, видите ли, какая штука, — начал Дмитрий Алексеевич, но генерал перебил его:

— Работать беретесь?

— Берусь, — сказал Дмитрий Алексеевич, чувствуя, что новая радостная буря поднимается в нем, и генерал кивнул референту. Тот быстро собрал листки ватмана.

— Будете работать в том же институте, в той же группе и в том же помещении, — сказал генерал. — Деньги будете получать из того же окошка, тот же оклад. Проведем это как наш заказ институту. Работа секретная, как вы понимаете. Ваши друзья захотят узнать — Шутиков, Дроздов, Авдиев, — не говорите им... Инструкции вам даст товарищ Захаров, Владимир Иванович. Это будет представитель заказчика. Вы что-то хотите добавить?

— Да, я могу добавить... Принцип машины дает нам такие возможности... Мы, например, собираемся получить на ней двуслойную трубу — из двух металлов.

Генерал пристально посмотрел на Дмитрия Алексеевича, затем вскинул глаза на старого чистенького инженера, который до этого молчал.

— Или из стали двух разных сортов... — сказал Дмитрий Алексеевич.

Инженер чуть заметно улыбнулся, провел сухими пальцами по столу и, не поднимая глаз, покачал головой.

— Не следует распыляться... Нет. Это пока проблема...

— Вы не заявляли в БРИЗ? — живо спросил еще один седой старик с изнуренным лицом и блестящими черными глазами, должно быть ученый. — Нет? По-моему, надо включить и заявить через наш отдел. Чтобы сохранить хотя бы секретность. Потому что, как бы это ни было проблематично, сама идея эта есть уже открытие. Самый путь обещает интересное решение. Мы можем получить целый комплекс...

— Мы начали работу, — сказал Дмитрий Алексеевич. — Во всяком случае, уверены, что получится.

— Кто такие «мы»? — спросил генерал?

— Я и мой соавтор. У меня есть соавтор. Надежда Сергеевна Дроздова. Она в курсе дел.

— Пусть будет соавтор. Запишите соавтора в приказ, — сказал ге-

нерал, и референт сразу же нагнулся над столом и черкнул что-то карандашом.

Было решено включить в план работы и литье двуслойных труб. Генерал вызвал еще двух начальников, и после небольшого совещания решили этот пункт поставить первым. Затем было сказано еще несколько слов — о сроках, о возможном создании специального конструкторского бюро в зависимости от результатов работы. Вдруг все сразу поднялись, отодвинули кресла и вышли на середину белого ковра, и Дмитрий Алексеевич понял, что совещание окончено.

— Вы спрашивали о Галицком, — сказал генерал. — Он теперь на Урале. Начальник нашего крупнейшего завода. Я завтра вылетаю к нему, могу передать привет. А засим . . .

Он подал руку, за ним и остальные подошли проститься с изобретателем, и Дмитрий Алексеевич заметил, что они при этом соблюдали какое-то привычное старшинство. Последним был референт. Он вышел вместе с Дмитрием Алексеевичем в коридор и здесь записал для себя адрес автора и часы, когда его можно застать дома.

— Машина вас ждет, — сказал он.

Дмитрий Алексеевич попросил отвезти его в Ляхов переулок. Всю дорогу он то улыбался, то вдруг начинал быстро-быстро перебирать пальцами на колене и, кашлянув, оглядывался на шофера, — он уже улетел на полгода вперед, был уже в цехе, испытывал опытные образцы своих машин. Выскочив из машины около своего дома, Дмитрий Алексеевич пробежал по двору, вспугнул голубей, в три прыжка взлетел по лестнице на площадку, и звонок неистово залился за дверью, сообщая всем о его радости.

Евгений Устинович поспешно прошаркал и, открыв дверь, подозрительно прищурился. Он был одет в длинную белую рубаху поверх полотняных брюк и подпоясан свободно обвисшим, узким ремешком.

— Ну что, ну что, ну что-о! — с места весело закричал Дмитрий Алексеевич. — Говорил я вам, что мне удатся вручить? Кто мне пророчил неудачи?

Старик молча пропустил его в коридор.

— В одном вы не ошиблись! — сказал Дмитрий Алексеевич. — Галицкий действительно хороший человек. Он сделал больше, чем мы могли ожидать. Теперь нам никакие Шутиковы . . .

Друзья прошли в комнату, и здесь, сев на табуретку против профессора, наклонясь к его уху, Дмитрий Алексеевич рассказал ему о своем разговоре в другом министерстве. Он умолчал о фигурах, вычерченных на квадратиках ватмана, но Бусько, выслушав его, все же насторожился.

— Говорите, дело секретное? Зачем же вы доверяете эту тайну мне?

— Евгений Устинович, я вам еще ничего не доверил!

— Самая главная тайна, если хотите знать, в том, что вас засекретили. Собственно, меня вы должны предупредить, потому что я в курсе ваших дел. . . Но вообще этот разговор следовало бы вести на улице.

Он внезапно открыл дверь, выглянул в коридор, снова сел и, помолчав, заговорил громко и внятно:

— Да, я давно говорил вам, что у этого певца редкостный голос. Я слышал его в первый раз в роли князя Галицкого. Нет, слух меня никогда еще не подводил. Конечно, надо вас поздравить. Это истори-

ческий поворот... в вашем музыкальном образовании. Но радуюсь ли я за вас? Вот вы пренебрегаете некоторыми моими советами...

— Чудеса! — Дмитрий Алексеевич не слышал его. — Снип-снап-снурре! — и пошел по комнате, прищелкивая каблуками.

— Я заметил, у вас получается то плюс, то минус, — заговорил старик с грустью. — Как и у меня было. И маятник все время раскачивается. Все больше и больше. Сейчас у вас начинается какой-то громадный плюс. Я бы просил вас не играть с этим...

— Колдун!

— Ребенок!

— Колдун!

— Ребенок! Если потом дело покатится в сторону такого же минуса... Поняли? Лучше остановите маятник, как это сделал некто поопытнее вас. Если у вас кончится катастрофой, этого я уже не выдержу. Поверьте мне, что все это пустое. Отойдите во-время. Дмитрий Алексеевич, а?

— Не верю! — сказал Дмитрий Алексеевич. — Поплыву в неизвестные моря, как Магеллан!

Весь следующий день Дмитрий Алексеевич, сидя в институте за своим столом, ждал дальнейших событий. Душная предгрозовая теплынь заставила всех конструкторов приумолкнуть. Пиджаки висели на спинках стульев, на подоконниках выстроились граненые стаканы и пустые бутылки из-под лимонада. Радостная лихорадка тревожила Дмитрия Алексеевича. Он жил от одного телефонного звонка до другого, но телефон звонил не для него.

В пять часов, незадолго до конца занятий, через открытую дверь из коридора проплыл Вадя Невраев, весь словно бы выцветший на июльском солнце. Светлосерый пиджак висел на одном его плече, голубая тенниска была расстегнута настолько, что можно было увидеть малиновую розовость обожженного солнцем тела.

— Кто здесь будет товарищ Лопаткин? — чуть слышно спросил Вадя. — Гражданин, вы будете товарищ Лопаткин? Можно с вами познакомиться?

— Я с вами познакомился лет пять назад, — сказал Дмитрий Алексеевич. — Не помните?

— Что-то не помню. Не хотите же вы сказать, что знакомство наше началось с тех неприятных бумаг, которые я исполнял... Вы злопамятен, Дима, как говорит доктор наук Тепикин, вы на меня зол!

Вместо ответа Дмитрий Алексеевич хлопнул его по плечу, и Вадя упал на стул. Нельзя было сердиться на этого человека!

— Эта рука прикасалась и к добрым делам, — убитым голосом оправдывался Вадя. — Вам известна такая статья: «Шире дорогу новаторам»? Там тоже стояло «исп. Невраев». Редактор, к сожалению, вычеркнул... И сейчас у меня серьезные намерения, Дмитрий Алексеевич. Я пришел попенять вам на то, что вы забросили общественную работу, уклоняетесь от коллективных мероприятий...

— От каких мероприятий? — Дмитрий Алексеевич опять доверился его простой улыбке. Ему говорили уже не раз, что Вадя — барометр министерства, но ничего не поделаешь — ему было приятно смотреть в эти ясные глаза, выдающие бесхитростную дружбу.

— Я хотел написать по этому поводу в стенгазету, — продолжал Вадя, словно умирая от жары, — но решил ограничиться личным контактом. Дмитрий Алексеевич, — он понизил голос, — если вы сию минуту не отправитесь со мной...

— На уголок не пойду, — сказал Дмитрий Алексеевич, смеясь. — Жара. Разве вы не видите?

— Я ее не вижу, — серьезно сказал Вадя. — Поэтому я вас приглашаю в Химки.

— Не могу и в Химки. Я сейчас должен находиться здесь. Вы же знаете мое положение — осталось три дня, и Шутиков закроет лавку...

Дмитрий Алексеевич здесь схитрил и тут же увидел, как заработал в министерском барометре загадочный механизм.

— Вам опасно сидеть сейчас около телефона, — сказал Вадя чуть слышно. — Вас могут неожиданно убить какой-нибудь новостью.

«Неужели знает?» — подумал Дмитрий Алексеевич.

— Ну, новостью меня не прошибешь, — сказал он. — Сам черт не придумает такой пакости, чтобы меня испугать.

— Зачем пугать? Можно и обрадовать! К этому вы, по-моему, еще не привыкли... Лучше пойдем, Дима...

— Нет, давайте так: я вам позвоню завтра, и мы...

— Ну смотрите. Значит, вы хотите все-таки остаться у телефона. Если что будет — помните, я вас предупредил.

Он собрался уйти, но Дмитрий Алексеевич поймал его за пиджак.

— Идите-ка сюда. Скажите мне что-нибудь путное.

— Путное? Я познакомился на пляже с одним очень интересным ребенком. Если поедете со мной, могу показать.

— Нет, вы мне отчетливо что-нибудь скажите. О чем вы меня предупреждали?

— Ничего не знаю. Тренируйте волю.

— Хорошо. А откуда вы узнали, что я должен быть готов к новостям?

— Для этого надо обладать искусством своего мастерства, как говорит один вам известный доктор наук.

Вадя ушел. Никаких новостей в этот день Дмитрий Алексеевич не услышал. А на следующее утро он был вызван к директору института, и тот ровным голосом сообщил ему, что группе поручается ответственная, секретная работа. Директор знал, что с автором должны были уже поговорить там, в другом ведомстве, что всему этому должен был предшествовать какой-то закулисный маневр, о котором Лопаткин осведомлен лучше, чем кто бы то ни было. Зная, что слова его ничего не стоят, он, между тем, что-то говорил, что-то приблизительно такое:

— Посоветовавшись, мы решили рекомендовать твою кандидатуру, учитывая то обстоятельство, что ты в этой области имеешь достаточную эрудицию. Крехов съел собаку в механике, и Антонович тоже. Они дополнят... По-моему, ничего, получится...

При этом он изучал лицо Дмитрия Алексеевича, который, помня указания, помалкивал и кивал головой.

— Там у тебя, говорят, соавтор объявился? — спросил он и, заржав, вышел к нему из-за стола. — Как, ничего соавтор?

Затем была вызвана к директору вся группа, а генерал повторил

свою речь, обращаясь уже ко всем. И здесь слова его звучали не совсем естественно, потому что, умудренные опытом, конструкторы и техники после первой минуты изумления задумались, начали искать корни всей истории. И именно после этого совещания Дмитрию Алексеевичу стали приписывать еще одно качество — пробивную силу.

4

Миновал август. Пошел сентябрь, сквозь ясную синеву остывающего неба потянуло первым холодом еще далекой зимы. Незаметно вошла и распространилась осень — время, когда в парках появляются задумчивые и одинокие пожилые люди со шляпами в руках. Сентябрьские дни — солнечные и холодные — самое лучшее время и для дел, целиком захватывающих человека, для работы, которая гонит прочь пустые воспоминания о невозвратимом.

Пугающее чувство неожиданной струей пронзило Дмитрия Алексеевича в эту осень, когда однажды он по пути из НИИЦентролита в свой институт решил срезать угол и пошел через Сокольнический парк. Он очутился вдруг в пустой и желтой кленовой аллее, и ему на миг показалось, что он видит и свою близкую осень. И он, может быть, поспешил бы ее предупредить, в нем уже открылись светлые, юные глаза, как вдруг перед ним мелькнула вездесущая кабина телефона-автомата. И это еще ничего — входя в кабину, он был еще похож на того Дмитрия Алексеевича, который так нравился девочкам из десятого класса. Он решил позвонить Крехову, узнать, как там дела.

— Дмитрий Алексеевич! — ответила ему трубка голосом Крехова. — Шутиков к нам заходил. Пожаловал собственной персоной. Какое впечатление? О впечатлении я вам в устной форме... Все совершенно ясно, — добавил он тише, должно быть приставил к трубке кулак. — По-моему, товарищ ищет ключик... Ключик, ключик ищет подобрать! Улыбается, но улыбочка, знаете, осенняя...

И сразу закрылись светлые, юные глаза, и могущественная осень отошла от этого человека, который, выскочив из кабины, быстро зашагал по аллее, увлеченный своей борьбой, и даже засмеялся:

— Собственной персоной! Ключик! Дожидайся, подберешь ты теперь!

Прошло еще полмесяца. Начались октябрьские дожди. Комендант решил опробовать систему отопления, и в результате этой пробы получился потоп в комнате конструкторской группы Дмитрия Алексеевича. Пришел слесарь вместе с пожилым, словно бы сонным истопником Афонцевым. Обнаружили трещину, стали менять батарею. Должно быть, резьба в соединении приржавела, а может быть, там и накипь наросла, да и мастера к тому же принялись за дело грубовато, и Дмитрий Алексеевич сердцем слесаря почувствовал, что сейчас вот-вот перекрутится и лопнет вдоль по шву старая труба. Он вскочил из-за стола, снял пиджак и возглавил работу. Заставил ребят принести паяльную лампу. Подогрели муфту, или, как говорят водопроводчики, сгон, и он со скрипом повернулся на резьбе. Общая победа привела и к общей перекурке, и, когда Дмитрий Алексе-

евич повернулся, чтобы взять со стола свою пачку папирос, он увидел посредине комнаты громадную фигуру Авдиева.

Профессор был в светлосером костюме с чуть заметной полоской. Расстегнутый пиджак был непомерно длинен и просторен и свалился в сторону, на руку, оттянутую тяжелым портфелем. Недовольно щурясь, он слушал Крехова, а тот, выйдя из-за своего«комбайна», разведя рукой с кольцом на пальце, говорил ему, что не имеет права знакомить посторонних даже с деталями секретной работы. Пожалуйста, вот автор — Дмитрий Алексеевич Лопаткин. Если он найдет возможным . . . .

Вот так все меняется! Авдиев извинился и поспешно отошел от запретного чертежа.

— Верно ведь, черт его . . . — заговорил он своим хриплым женским шепотом. — А я как раз вижу, табличка появилась: «Посторонним воспрещается». Что тут за атомная лаборатория, думаю . . . Может, я и не совсем посторонний, дай загляну. Где же Лопаткин? Дмитрий Алексеевич, это ты, что ли? Чего это ты без пиджака? Охота тебе ржавчиной мараться? Ты, я вижу, с рабочим классом заигрываешь . . .

Дмитрий Алексеевич вытер руки газетой, поздоровался с Авдиевым, и профессор с вопросительным приветом посветил в его лицо своими мутноголубыми голышами. В этих каменных глазах вместе с сумасшедшим весельем перебегало что-то тревожное.

— Чем ты тут занимаешься? — Он оглядел комнату. — Секреты говоришь, развел?

— Чепуха, какие там секреты! Машину проектируем, — небрежно ответил Дмитрий Алексеевич. И он достал из шкафа папку с чертежами, с тем проектом, который был почти закончен еще тогда, когда в министерство привезли из Музги готовые трубы.

— Вот видите. Василий Захарович, — сказал он. — Проектируем помаленьку . . . с вашего благословения . . .

— А чего ж это они тебя? . . «Посторонним воспрещается» . . . «Секретно» . . . Никогде не было такого. Чего это ты?

— Это комендант прибил. Генерал распорядился . . . *Ты узнай* у него, поинтересуйся. . .

— Ха, чудак! — И Авдиев тряхнул желто-седыми кудрями. — Его спрашивают как человека . . . Комендант, говоришь? — Он покачал головой, постоял немного, глядя в пол. — Ну давайте, действуйте . . .

И, махнув портфелем, вышел.

Что-то осталось после него в комнате — тяжелое чувство серьезности положения. Дмитрий Алексеевич понял: все, что он видел раньше, все это еще не было борьбой. Во всяком случае для них — для Авдиева, Шутикова и Дроздова. Для них это были игрушки. А сейчас, когда эти люди, может быть первый раз в жизни, почувствовали настоящий крах и настоящую ненависть, — сейчас они поднимут и всю свою силу, тоже, может быть, первый раз в жизни. И, потемнев, он приготовился встретить это предельное усилие врага.

Крехов угадал мысли Дмитрия Алексеевича. Он подошел к нему и, водя пальцем по бумаге, вполголоса сказал:

— Закопошились!.. Скоро засвистят... И он тихонько просвистел в точности так, как свистели немецкие мины.

Но похоже, что все это были ложные тревоги. Осень грязно текла к ноябрю, работа благополучно двигалась. В комнату были внесены еще два стола, за ними теперь работали копировщики. Первый вариант шел к окончанию! И Надежда Сергеевна, которая этой осенью, как Дмитрий Алексеевич, однажды услышала в вечном шуме желтых листьев грустное предупреждение, — она чувствовала, что путь Дмитрия Алексеевича к людям, отмеченный бесконечными верстами, кончается. Скоро путник свалит с плеч свою ношу, и тогда Надя тихонько опять попробует разбудить его. А может быть, и сам он проснется — она видела однажды, как приоткрылись его глаза.

Она не надоедала ему своим присутствием: придет и уйдет, оставив у него на столе что-нибудь очень нужное: очередную находку, ради которой она по нескольку вечеров просиживала в Ленинской библиотеке. Дмитрий Алексеевич просил ее остаться. Он даже сказал ей как-то: «У меня никого нет, кроме старика и вот... вас». Но Надя уходила — для того, чтобы через несколько дней опять услышать, может быть, эти же самые слова. Кто-то упорный продолжал уверенно руководить ею.

На правах автора она теперь появлялась в комнате конструкторов и даже подписывала чертежи: сначала ее подпись, а ниже — подпись Дмитрия Алексеевича. На этом настаивал Лопаткин. Он как бы отвечал этим на намеки некоторых любопытствующих конструкторов. Не только здесь, в группе, но и в других комнатах института уже знали об интересном соавторе Лопаткина. И не раз уже Дмитрию Алексеевичу приходилось прямым взглядом, суровым словом останавливать неловких разведчиков.

Даже Антонович, человек щепетильный в таких делах, и тот не удержался и однажды осторожно коснулся тайны соавторства. Побледнев и даже задержав на миг дыхание, Дмитрий Алексеевич ответил:

— Раз навсегда, Андрей Евдокимович! Лучше нам не трогать этого. Чтоб вы поняли все, я должен рассказать шестилетнюю историю наших отношений. А это, знаете, долго и невесело...

Антонович, смущенный, отшатнулся и притих.

Самая процедура подписывания чертежей вызывала у Нади легкое смущение. Раньше, когда Дмитрий Алексеевич рисовал для нее на листке бумаги и х машину, она все понимала. А сейчас, рассматривая листы проекта, где были вычерчены детали, как бы просвечивающие насквозь, а кое-где и рассеченные рукой опытного анатома Крехова, — сейчас Надя с трудом угадывала знакомые части машины.

— Ничего, — успокоил ее однажды Крехов. — Вы мне можете напеть мелодию, а я ее запишу и даже аранжирую и нарисую вам таких нотных значков, что сам черт в них не разберется. Если, конечно, он не пианист. А сыграют — вы увидите, что мелодия ваша.

Надя была благодарна ему за эти рыцарские слова, но тут же, покраснев, задумалась: не отдают ли они фамильярностью, нет ли здесь тончайшего намека на отношения между соавторами? Не снимает ли этот интеллигентный старик шляпу перед нею, чтобы вы-

разить этим свое уважение и одобрение ее спутнику? Осторожно, исподлобья она присматривалась к Крехову, заранее бледнея, готовая сейчас же встать и уйти, умереть от гнева. Но нет, это был бесхитростный, по-настоящему чистый человек.

Но все же ее ждало испытание. Оно пришло с другой стороны — неожиданно и грубо. Однажды, когда она заглянула на полчаса в институт, чтобы взять от Дмитрия Алексеевича какое-то поручение, в комнату боком ввалился располневший и румяный Максютенко и за ним — мускулистый, поджарый Урюпин. Оба они после Музги побывали на Кавказе, загорели и теперь, надев новые кители из серого коверкота, играющие свежим зеленым кантом, обходили отделы института.

— Привет! — коротко возгласил Урюпин и по-спортивному вскинул руку вверх — копченую, сухую руку с бледными ногтями, на которой были громадные черные часы.

Приветствие адресовалось Дмитрию Алексеевичу. Он встал, чувствуя, что сейчас придется выпроваживать посторонних. Но тут Урюпин, держа руку вверх, еще не закончив своего бодрого движения, вдруг почти рядом с собой увидел за столом Надежду Сергеевну. Густая, серая от седины, стоячая шевелюра его плавно передвинулась ко лбу и отпрянула назад.

— Надежда Сергеевна? Не верю! Какими судьбами? — И, приложив руку к груди, он шагнул назад и наклонил голову. — Рад приветствовать ваше появление в этих стенах!

Надежда Сергеевна холодно посмотрела на него и чуть наклонила голову.

— Я смотрю, вы здесь прочно устроились... сказал Максютенко, краснея и оглядываясь на Урюпина.

— Надежда Сергеевна — наш автор, — заметил Крехов.

— Ха-ха-ха! — отчетливо захохотал Урюпин и осекся: он увидел на столике перед Надей форматку с чертежом, которую она только что при нем подписала. — Ха! — озадачено кашлянул он, двинув шевелюрой. — Валерий Осипович, глянь-ка на эту форматку. Ты видишь, что делается? Это действительно автор! Надежда Сергеевна, вот вы автор... Я вижу здесь... Не кажется вам?

Это начинался уже экзамен. Надя посмотрела на Дмитрия Алексеевича и испугалась. Он как-то медленно, не сводя глаз с Урюпина, выходил из-за своего стола.

Но в дело неожиданно вмешался старый модник Антонович.

— Позвольте товарищи! — Он вышел из-за своего «комбайна», одетый в длинный пиджак с обвислыми плечами и застегнутый на одну пуговицу. — Минутку, товарищ Урюпин. Вы имеете разрешение заглядывать в секретные чертежи?

— Ага! Вот и Антонович! Ну, как вы с квартирой... — начал было Урюпин, но Антонович надвинулся на него и показал пальцем на дверь.

— Вы читали надпись на двери? Прочитайте, товарищи, там есть надпись. Да-да... Потрудитесь ознакомиться...

И как гости ни отшучивались, а пришлось им выйти в коридор.

Опять ровно потекли одинаковые октябрьские дни. Не чувствовалось в них никакого напряжения, ничем они не угрожали, с удивительной четкостью проходили они, похожие один на другой, мирные

осенние дни. Приезжали с курортов загорелые веселые люди и окунались в московский мокрый, прозрачно-холодный воздух.

Как не верить в успех! Вот сидит Крехов в синих сатиновых нарукавниках и, поворачивая голову то вправо, то влево, переносит на ватман устройство, которое он сам придумал. Вчера он подошел к Дмитрию Алексеевичу и вполголоса, будто между прочим, спросил: не многовато ли места отведено для станины? Дмитрий Алексеевич изобразил на лице самое крайнее удивление: а куда девать качающийся стол? «Стол? — ответил Крехов. — А мы его разрежем на три части и поместим одну под другой... так, вот так и еще так — и пространство у нас будет покорено!» Старикан действительно сумел разрезать стол, придумал фокус с рычагами и противовесом, и станину решили после этого укоротить на целый метр! Вот он теперь сидит и чертит, довольный сам собой, и даже приговаривает:

— Настоящую машину узнаешь постепенно, как человека. Сначала нас поражает идея — мы снимаем шляпу перед автором. А потом, когда познакомишься подробнее с узлами, оказывается, она вся еще набита кое-какими мелочишками... Довольно небезинтересными! Конструктор тоже не дремал! Такую машину я признаю. Это действительно совершенство.

Ясно, о какой машине идет речь!

В последнее время Дмитрию Алексеевичу начало казаться, что он уже много лет работает в этой группе, с Надей, Креховым и Антоновичем. Однажды он вспомнил о своих прошлогодних посещениях консерватории — и сказал в утренней рабочей тишине ни с того ни с сего:

— А не организовать ли нам, товарищи, вылазку? Как-нибудь взять да и налететь на Малый театр всем косяком!

Группа дружно поддержала это предложение. Наде поручили достать билеты. Но тут набежало облачко. Дмитрий Алексеевич встретил на улице Вадю Невраева. Одетый в пальто из серого ратина, солидно нахохлившись, розовый от усердия, Вадя нес толстый портфель. Он шел на Дмитрия Алексеевича, смотрел ему в лицо дурными голубыми глазами и прошел мимо, как слепой. Дмитрий Алексеевич засмеялся и поймал его за ватное плечо.

— Не могу. В следующий раз, — сказал Вадя, вырвался и так же ровно пошел дальше. И он шел так до самого конца длинной улицы, как по доске, и ни разу не сбился с шагу, не оглянулся.

Через час Дмитрий Алексеевич уже забыл об этой странной встрече. А между тем резкая перемена в поведении Вади Невраева имела под собой серьезные основания.

За два дня до этой встречи заместителю министра Шутикову принесли несколько сколотых вместе секретных бумаг, которые заставили его прекратить все дела.

«Павел Иванович! Особые обстоятельства заставляют меня направить это на Ваше усмотрение. Полагал бы привлеч», — коричневым карандашом было написано на верхнем листке, вырванном из блокнота. Под тем местом, где должен был стоять мягкий знак, повис кривой росчерк, похожий на кнут, — подпись Дроздова.

Прочитав записку, Шутиков пожал плечами. Переходя к следующей бумаге, он уселся поудобнее, и сразу же рот его открылся.

«Секретно. Начальнику технического управления тов. Дроздову Л. И., — прочитал он. — При сем препровождаю докладную записку инженеров Урюпина А. И. и Максютенко В. О. о преступном нарушении правил ведения секретного делопроизводства Лопаткиным Д. А. Произведенной мною проверкой изложенные факты в докладной подтвердились. О чем и докладываю на ваше распоряжение».

— Эту бумагу подписал директор проектного института.

На третьем листе женским почерком Максютенко была написана пространная докладная записка. Шутиков припал к ней, и бледное его чело покрылось мелкими блестками пота.

«Руководящий конструкторской группой, выполняющей секретный государственный заказ особой важности, инженер Лопаткин Д. А. допустил к ознакомлению со всеми материалами группы гр-ку Дроздову Н. С., которую оформил в качестве соавтора. Названная выше гр-ка Дроздова просматривает и подписывает все чертежи секретного проекта, хотя не только не является инженером, но даже не понимает многих простейших элементов машиностроительного чертежа. Большинство сотрудников видят, что эта гр-ка Дроздова является не чем иным, как подставным лицом и лжесоавтором. О корыстных или иных личных мотивах подобного злоупотребления могут судить только органы расследования. Мы же считаем своим служебным долгом довести до Вашего сведения об этом факте разглашения особо важной государственной тайны. Максютенко. Урюпин».

Дочитав докладную записку, Шутиков задумался. Потом лицо его опять засияло золотым спокойствием, чуть заметной улыбкой, тайными мыслями. Он снял трубку и не спеша завертел диск телефона.

— Леонид Иванович? Да-да, получил. Ты почему не наложил свою авторитетную визу на этих петициях? Что-что? Ай-яй-а-ай! Ай-яй-яй-яй-яй! Да-да-да-а-а . . . Я обратил внимание, думал — однофамилица . . . Ай-яй-яй-яй . . . Ну ладно, я понимаю тебя. Ладно.

Положив трубку, он улыбнулся, крякнул и покачал головой. Потом снял трубку с того телефона, на котором была надпись: «Министр»

— Афанасий Терентьевич? Вы позволите мне на минуту? Очень интересное дело . . .

Министр разрешил, и, положив трубку, Шутиков почти бегом направился к нему, дергая плечом, улыбаясь и воодушевленно покашливая.

Министр сидел за столом и ждал его. Он чуть кивнул на приветствие заместителя, всем видом своим говоря: «Скорее, что там у тебя?» Шутиков положил перед ним бумаги и начал докладывать.

— Опять трубы? — перебил его министр. — Это что, тот самый инженер Лопаткин, который тогда был?

— Ошибка, Афанасий Терентьевич. Он не инженер, а учитель. Из музгинской школы.

— Так-так . . . По-моему, он толковый парень . . .

— Весьма. В то время, когда он разговаривал с вами, у него уже было соглашение с Галицким. Все дела с трубами сейчас ведь проведены как секретный заказ со стороны. Ваш приказ . . .

— Так что, он уже тогда вел переговоры? Чего же он ко мне пришел? На два фронта? Впрочем, так ведь вернее. — Министр засмеялся, сощурил глаза на Шутикова, и тот развел руками. — Та-ак, —

протянул министр, читая бумагу. — Разгласил государственную тайну особой важности... А что это за женщина, ты не интересовался?

— Жена нашего Дроздова.

Министр прянул назад.

— Сведения точные?

Первоисточником является сам муж.

— Это что же — он, значит, у Дроздова бабу отнял?

— Отнял!

Наступило молчание.

— А он ведь проходимец, — сказал наконец министр, задумчиво качая головой. — Это он с целью. Соавтора-то подобрал. Через жену действовал. Жена-то у Дроздова молодая?

— Двадцать шесть, кажется, лет...

— Вот-вот... Парень-то оказался не промах. А Дроздов шляпа. И все они там шляпы. Ну что ты тут решаешь? Где виза Дроздова? Ах, да... Ему неудобно. Как рогоносцу. А ты что же?

— Полагаю, надо передать органам следствия? Это же злоупотребление, по-моему?..

— Ну напиши, что ты полагаешь. Вот здесь. И оставь мне. Я еще подумаю над этим.

Двадцать третьего октября днем, когда Дмитрий Алексеевич был в институте, в комнатку к профессору Бусько чуть слышно постучали. Старик открыл дверь. За дверью стоял солдат в мокрой шинели.

— Здесь живет гражданин Лопаткин?

И он передал профессору конверт на имя Дмитрия Алексеевича. Старик подумал сначала, что это письмо от генерала — нового начальника Дмитрия Алексеевича, что-нибудь по поводу проекта. Но тут же он увидел на конверте косой чернильный штамп: «Военная прокуратура». Усы его дернулись, он еще раз посмотрел на солдата, на его мокрую синюю фуражку, и дрожащими пальцами расписался в разносной книге.

5

Следователь капитан Абросимов ходил на работу пешком. Ему нравилась Москва, и он с удовольствием каждое утро совершал прогулку по Садовому кольцу. Вот и сегодня, выйдя из подъезда своего дома — громадного нового дома, в котором жили военные и их семьи, —и мельком взглянув на свои зеркально-чистые сапоги, он не спеша пошел по тротуару, поглядывая по сторонам и слегка подламываясь в талии. Это был высокий, тонкий молодой военный в коверкотовом пальто мышиного цвета, с бронзовыми пуговицами, белолицый и одухотворенный, как молодой священник. Усы его вились, и он их так подстригал, чтобы они были похожи на запущенные усики юноши. Его массивная каштановая шевелюра выбивалась из-под синей фуражки. Он был выше всех встречных на полголовы.

Когда он прошел два квартала, легкое, домашнее выражение его лица сменилось служебной задумчивостью. Дома, в обществе жены, он был одним человеком, а в прокуратуре — другим. Он нахмурил свои

темные вьющиеся брови, белый лоб стал как бы еще прозрачнее. И взгляд темных карих глаз сурово устремился вдаль, уже не чувствуя препятствий. «Каков же он, этот Лопаткин? — думал следователь. — И что собой представляет эта женщина?»

Несколько дней назад он был вызван к начальству, и тот вручил ему новое дело — сколотые вместе листки с размашистой резолюцией на верхнем: «Тов. Абросимову. Принять к производству». Просмотрев бумаги, он сразу увидел, что дело это не относится к числу тех определенных дел, по которым не может быть двух решений. Когда речь идет об убийстве, растрате или хищении, в этих случаях самый факт ясен, требует немедленных мер; преступники, чувствуя свою вину, заметают следы, скрываются, а следователь должен их разоблачить. Дело Лопаткина было другим. Начальник сказал, что по этому делу ничего не нужно доказывать: разглашение государственной тайны налицо. Есть субъект преступления, которому тайна вверена. Есть объективная сторона — этот Лопаткин открыл доступ к тайне лицу, не имеющему на то право. «Хотя бы одному лицу», — говорит закон. И тем не менее Абросимов чувствовал беспокойство. Правонарушение, так определенно очерченное указом, в жизни всегда было связано с многими обстоятельствами, которых следователь не мог предвидеть. Оно лежало на той границе между преступлением и проступком, где ничтожное колебание, малейшая подробность вырастали в решающую деталь и вели к противоположным выводам: в одном случае человека надо было судить, в другом — следовало ограничиваться служебным взысканием. Дела эти таили опасность для следователя, а капитан Абросимов, судя по квартальному отчету, имел нуль процентов брака. Поэтому «финичек», как он называл такие неопределенные и опасные дела, сразу же не понравился ему.

— Почему этого Лопаткина судят? — спросил он у начальника.

— Важная государственная тайна. Особой важности, — ответил тот. — Генерал звонил. Приказал, чтобы дело передать, между прочим, лично тебе...

Эти слова приятно затронули самолюбие Абросимова. В приказах генерала уже несколько раз упоминалась его фамилия — всегда в связи с примерами находчивой, оперативной работы. «Значит, действительно важная тайна, — подумал он. — Это уже легче».

Раз «финичек» был все-таки передан для ведения Абросимову, следовало хорошенько подумать о тех его сторонах и мотивах, которые перетянули на весах. И «проявить» их, чтобы дело изменило свой вид, из неопределенного стало определенным, и чтобы мысль прокурора, возбуждающего дело, была ясна для судьи.

Равным образом Абросимов мог «проявить» и другие, смягчающие мотивы, если бы предание Лопаткина суду генерал признал нецелесообразным. Таково свойство неопределенных дел. Абросимов не любил их, но дела такие почему-то поступали именно к нему.

Он унес бумаги в свой кабинет и там, в тиши, стал их изучать. Просмотрев пять или шесть препроводительных секретных отношений с разноцветными и размашистыми подписями начальников, он еще раз почувствовал с удовлетворением, что на него возложено ответственное дело. Две подписи были ему знакомы — известный ученый и известный заместитель министра считали, что Лопаткина следует судить за

разглашение важной государственной тайны. Абросимов был с ними согласен. Вот и докладная записка Максютенко и Урюпина. Внимательно прочитав ее, он подчеркнул красным карандашем слова: «к о т о р у ю о ф о р м и л в к а ч е с т в е с о а в т о р а» — и засмеялся: «Все ясно!» Дальше шли две характеристики Лопаткина, одна — подписанная директором института, а вторая — на шести листах, присланная группой докторов и кандидатов наук. Первая характеристика вполне удовлетворила Абросимова. Из нее он увидел, что Лопаткин был облечен доверием государства и что доверие это он не оправдал. Во второй характеристике капитан сразу заметил досадное противоречие. Ученым, должно быть, основательно досадил этот дотошный изобретатель, и они решили бросить свой камень хотя бы ему вдогонку — потребовали привлечь его к ответственности еще и за злостную клевету на советскую науку и советских ученых. Труболитейную машину Лопаткина они объявили «фантазией безграмотного авантюриста, который единым росчерком пера хочет зачеркнуть все исследования советских и зарубежных ученых». Лопаткина они назвали лжеизобретателем, использовавшим доверие и некомпетентность некоторых работников аппарата и подсунувшим негодный проект под видом новой идеи.

Дочитав эту характеристику, Абросимов с едкой улыбкой скользнул взглядом по длинному столбцу фамилий и росчерков на последнем листе. Сами того не ведая, все эти Тепикины и Фундаторы осложнили работу следователя, убедительно доказав, что никакой государственной тайны нет. Абросимов сказал об этом начальнику, и тот распорядился: письмо ученых в дело не подшивать, а передать секретарю для наблюдательного производства как документ, не имеющий прямого касательства к делу и вносящий ненужную путаницу. Начальник рассудил так: если в действиях Лопаткина и есть состав преступления, именуемый клеветой, в чем можно еще сомневаться, то во имя ясности дела и быстроты расследования можно пренебречь этой мелочью. Ведь за нее и полагается всего лишь денежный штраф — мера ничтожная по сравнению с наказанием, которое ждет разгласившего государственную тайну. И притом это — дело частного обвинения, пусть подают отдельно в народный суд.

В тот же день Абросимов допросил Максютенко и Урюпина и узнал несколько интересных подробностей о свидетельнице Дроздовой. Он вдруг почувствовал, что есть большая группа людей, по разным личным причинам заинтересованных в обвинении Лопаткина. Но все это были ненужные оттенки, которые могли только помешать. В ученых и ведомственных кругах любая история всегда обрастает интересами самыми противоречивыми. Копаться в них — значит растянуть срок следствия, заволокитить дело и прийти опять-таки к одному и тому же выводу. Надо искать основу — разглашение государственной тайны и причину этого разглашения, которая, между прочим, уже ясна: «Ищи женщину». А прочее все — от лукавого. Этой линии и решил придерживаться следователь и выписал повестки: Лопаткину — на утро двадцать четвертого, а Дроздовой — на двадцать пятое октября.

Он шел теперь в прокуратуру, обдумывая вопросы, которые нужно было задать Лопаткину.

Дмитрий Алексеевич сидел в полутемном пустом коридоре, чув-

ствуя во всем теле щекочущую слабость, и вытирал иногда сухой подбородок и щеку, как будто на них еще остались слезы Нади. Расставание с нею было очень тяжелым.

Раздались шаги. В конце коридора показался молодой военный с бледным лицом и вьющимися усами. Он пристально посмотрел на Дмитрия Алексеевича и, пока неторопливо шел по коридору, не сводил с него темных изучающих глаз.

— Лопаткин? — учтиво спросил он, отпирая ключом дверь в комнате номер семь, против которой сидел Дмитрий Алексеевич. — Ничего, сидите, я вас позову, — добавил он, видя, что Лопаткин встал.

Дверь была закрыта минут двадцать, потом следователь выглянул и так же учтиво пригласил Дмитрия Алексеевича. Сам он сел за свой стол и белыми с голубизной, поповскими пальцами начал перелистывать пухлое дело страниц на четыреста. «Мое дело! О чем же это?» — растерянно подумал Дмитрий Алексеевич. Он не знал того, что Абросимов специально для этого эффекта положил на стол старое и запутанное хозяйственное дело о хищении фуража — уловка, придуманная следователями, наверно, еще лет двести назад.

— Ну хорошо. Давайте знакомиться, — сказал вдруг следователь, отодвинув папку и кладя перед собой бланк с надписью: «Протокол допроса». Он неторопливо вписал в протокол фамилию, имя, отчество, возраст Дмитрия Алексеевича и официальные подробности его жизни. Предупредил его об ответственности за дачу ложных показаний, дал ему расписаться, затем написал в протоколе: «По существу дела мне известно следующее» — и положил ручку.

— Расскажите-ка мне по порядку все, что касается вашего изобретения.

— Курить можно? — спросил Дмитрий Алексеевич и, не успев получить разрешения, с треском зажег спичку и глубоко затянулся папиросой. Сделав в молчании несколько затяжек, вздохнув несколько раз, приспособляясь к своему новому положению подследственного, он начал обстоятельный рассказ с того момента, как он с экскурсией школьников пришел в литейную комбината в Музге. Обо всем этом он когда-то рассказывал Надежде Сергеевне — о дедовских приемах при литье труб, об автомобильном конвейере и о старичке Иване Зотыче.

Следователь слушал его минут сорок. За это время он нарисовал на листке бумаги женскую голову, затем пририсовал ей усы, очки и шляпу. Потом, перечеркнув свой рисунок, он поднял на Дмитрия Алексеевича внимательные глаза.

— Хорошо. Я понял вас. Теперь вот так же подробно начните с того времени, как вам дали секретное поручение. . .

У капитана Абросимова за несколько лет следственной работы выработалась своя особенная манера допрашивать. Он вел допрос осторожно, без нажима, как загоняют голубей в голубятню. Дмитрий Алексеевич последовательно рассказал ему со всеми подробностями о своем знакомстве с новыми заказчиками, начиная с того момента, когда за ним приехала пепельно-серая «Победа». Затем перешел к работе в проектной группе. Видя, что он не упоминает имени Надежды Сергеевны, Абросимов подумал: «Не пройдет!» — и, мягко перебив его, попросил

перечислить всех сотрудников группы. Дмитрий Алексеевич назвал всех и опять ничего не сказал о Надежде Сергеевне.

— Вы забыли еще одну сотрудницу, Дроздову, — спокойно напомнил ему капитан.

— Она не состоит в штате, — возразил Дмитрий Алексеевич.

Наступила пауза. Следователь, скрипя пером, писал. Потом он посмотрел на окно, закурил и сквозь дым, словно издалека, взглянул на Дмитрия Алексеевича.

— Говорите, не в штате? — Он словно бы очнулся. — А какое она имеет к вам отношение? Почему она ходит к вам? Она имеет допуск?

— Она мой соавтор.

— Ах, вот как! Она что — специалист по труболитейному делу?

— Нет, она учительница географии... Мы с нею давно знакомы и она постепенно вошла в курс. Сейчас она во многом разбирается. Она мне подала идею отливки центробежным способом двуслойных труб.

— Не знаете, она замужем?

— Да, она была женой начальника технического управления Дроздова. Не знаю, как у них сейчас. По-моему, они разошлись.

— А у вас на какой почве знакомство?

— Мне кажется, что она ко мне немного... неравнодушна.

— А как вы к ней относитесь?

— У меня к ней сложные чувства. Иногда мне кажется, что и я... Например, сегодня, когда мы прощались...

— Так... — Абросимов окутался голубым облаком дыма и, нажимая подбородком на руку с папиросой, спросил между прочим и весь напрягся: — У вас с нею не было половой связи? Извините, в нашей работе приходится иногда прикасаться...

Дмитрий Алексеевич затянулся папиросой, помолчал и сухо ответил:

— Нет.

И Абросимов, склонив голову набок, заскрипел пером.

«Что ему нужно?» — подумал Дмитрий Алексеевич.

В эту минуту открылась дверь, и в кабинет, держа руку в кармане, степенно вошел пожилой добродушный майор с желтоватым, водянистым лицом — начальник Абросимова. Он любил лично принять участие в допросе и всегда путал карты капитану — вспугивая его голубей. Вот и сейчас он подошел к Абросимову и через его плечо стал читать протокол допроса.

— Темнишь, Лопаткин, темнишь, — сказал он, выходя из-за стола.

Абросимов побледнел и двинул ноздрями. Дмитрий Алексеевич сощурился, посмотрел на майора с холодным любопытством и ничего не сказал.

— Да, — сказал майор и прошелся по кабинету. — Не годится. Лопаткин, государственную тайну разглашать. Враг только и ждет, чтобы такие вот... Которые свои личные интересы ставят превыше государства...

«Вот оно что-оо!» — подумал Дмитрий Алексеевич.

— Но ведь она же соавтор! — закричал он.

— Брось ты, Лопаткин, вола вертеть, — сказал майор. — Небось, щупача ей каждый день устраивал. Порисуешь часок-другой — и щу-

пача! Давай, Абросимов, нечего церемониться с ними. А то они тебе наговорят здесь...

Когда он ушел, Абросимов некоторое время помолчал, как бы приходя в себя. Потом посмотрел на Дмитрия Алексеевича.

— Вы были предупреждены о том, что работа ваша секретная?

— Был. Но я считаю, что авторы в силу своего положения не могут не знать того, над чем они работают.

— Опять авторы. Значит, вы настаиваете на том, что Дроздова является вашим соавтором?

— Совершенно верно! — подтвердил Дмитрий Алексеевич.

— ... И что между вами не было физической близости...

— Нет, не было, — солгал Дмитрий Алексеевич.

Если в первый раз он скрыл правду, чтобы защитить Надежду Сергеевну, то сейчас он уже защищал себя. «Сказать «да» — значит нужно к этому короткому звуку присоединить еще трехчасовой анализ наших отношений, — думал он. — А капитану требуется только этот короткий звук — «да», «нет». Пусть будет лучше «нет».

Между тем капитан закончил протокол и, положив его перед собой, доставая новую папиросу, стал читать его вслух. Все было записано очень точно, и Дмитрий Алексеевич подписал протокол внизу каждой страницы.

— Можно идти? — спросил он.

— Подождите минутку в коридоре. — сказал следователь.

Он вышел вслед за Дмитрием Алексеевичем, запер кабинет и, стуча сапогами, ушел в дальний конец коридора. Через полчаса он вернулся, держа в руке белую бумажку.

— Знаете, — сказал он, отпирая кабинет.

И когда Дмитрий Алексеевич сел на свое место у стола, следователь стоя сказал ему:

— Мы берем вас под стражу. Вот постановление, прочитайте!

Дмитрий Алексеевич взял постановление, стал его читать: «Учитывая, что подследственный Лопаткин Д. А., находясь на свободе, может скрыться от суда или помешать раскрытию истины...»

— Понятно вам постановление? — сказал следователь. — Распишитесь.

Дмитрий Алексеевич послушно расписался. Следователь пристально посмотрел на него.

— Не здесь, а здесь, вот видите — черта...

И Дмитрий Алексеевич послушно расписался еще раз. Он сразу стал каким-то тихим, чуть согнулся, чуть побледнел. Но его не тюрьма испугала. Нет. Он словно поднялся на гору и смотрел сквозь эти стены на внезапно открывшиеся новые дали. Там вилась, уходя к новым горизонтам, все та же дорога, и на ней маячили новые, далекие столбы...

6

Надежда Сергеевна получила повестку в тот же день, что и Дмитрий Алексеевич. Конверт был вручен ей тем же солдатом в мокрой от дождя шинели, и, прочитав о том, что ей надлежит явиться в военную прокуратуру, Надежда Сергеевна за полгода в первый раз решила

сама заговорить с мужем. Когда Леонид Иванович приехал на обед и уселся один за большим столом (теперь он обедал один), Надя вошла к нему и положила перед ним повестку.

— Ты не знаешь, что это может быть?

— Откуда же мне знать? Желтое лицо Дроздова хранило спокойствие. Он закрыл глаза, потом медленно открыл их, словно просыпаясь. — Когда здесь — двадцать пятого? .. Полагаю, двадцать пятого вы узнаете все, что вас интересует.

Он уже полгода говорил Наде «вы», но и такие разговоры, с обращением на вы, происходили между ними редко.

— Может, я и смог бы построить какую-нибудь догадку, но вы же не ставите меня в известность о своей деятельности — куда вы ходите, что затеваете... Вы теперь самостоятельный человек, так чего же...

Надя видела по его умным, холодно-насмешливым темным глазам, что он многое знает, и сказала это:

— Я уверена, что вы все знаете...

— ... Вы ничего мне не говорите, — продолжал Дроздов, проводя руками по лицу, и между пальцами на нее вдруг глянул его веселый глаз. — Не сказали, например, что вы продали...

— Да, я продала манто.

— Зачем?

— Деньги были нужны. Не думайте, не на личные нужды.

— На государственные?

— Да, если хочешь, на государственные.

— Это что же, заем? Эскадрилья имени... как его фамилия, этого?..

— Ты когда-нибудь убедишься, что я правильно сделала.

— Так что придется вам потерпеть... до двадцать пятого...

Леонид Иванович все, конечно, знал. Докладная записка Максютенко и Урюпина в первую секунду прозвучала для него, как выстрел над ухом. Человек заревел в нем, получив рану. Он вдруг пережил бессильную тоску, почувствовал себя ненужным стариком, понял, что самые бесповоротные, беспощадные симптомы старости — это те, которых ты сам не можешь увидеть. Потом его окатила холодом мысль, что за дверью кабинета, в бесчисленных сотах министерства уже идет, шумит насмешливая молва. Когда Леонид Иванович узнал, что дело ушло в прокуратуру, он сразу решил помочь Наде и Лопаткину, чтобы дело заглохло: он не мог допустить публичного допроса этих двух сумасшедших любовников, допроса, для которого фоном служил бы он, Дроздов. Но Шутиков сказал, что процесс будет секретный и закрытый. И Леонид Иванович успокоился. К нему даже вернулось хорошее настроение: Леонид Иванович понял, что с арестом Лопаткина будут наконец решены все самые тревожные вопросы его служебной и личной жизни. Все наладится, и даже Надя останется за ним — никуда она не уйдет от ребенка.

Действительно, их сейчас соединял только сын, и Леонид Иванович умело пользовался этой связью. Надя не решалась нарушать привычный для Николашки порядок в семье. Отец и мать, не сговариваясь, до поры до времени поддерживали при сыне что-то от внешней стороны прежних отношений. Но мальчик видел все и смотрел на обоих родителей, тревожно подняв бровки. Он был все время в тревоге. Бабка прибаловывала его, задаривала конфетами. Надя ревниво

соперничала с нею, и, может быть еще от этого, мальчик худел и становился все более капризным.

Леонид Иванович видел все это. От него не ускользали и бегающие взгляды Нади, иногда затемненные паникой. Иногда при нем Надя вдруг сжимала тонкие пальцы, словно от боли. Он знал, что судьба сына, предстоящий арест Лопаткина и даже позиция его самого — без вины страдающего мужа, который понимает жену и не устраивает ей сцен, — все это сложится в конце концов в непреодолимую, решающую силу.

Вот как Дроздов вел себя в эти дни. Вот почему он невольно улыбнулся в разговоре с Надей.

Взяв повестку, она молча вышла. В этот день она рассеянно вела уроки в школе: перед нею так и стоял синий конверт прокуратуры — первая повестка в жизни. Когда стемнело, она спустилась в метро и через полчаса уже бежала по Ляхову переулку, под невидимым в темноте осенним, безрадостным дождем. Она пять раз нажала кнопку общего звонка, но никто не открыл ей. Она еще пять раз позвонила, и, прошаркав домашними туфлями, дверь ей открыл Тымянский.

— Что, нет дома? — спросила Надя.

— Нет, сидят. Что-то обсуждают.

Надя тихонько стукнула в дверь, стукнула еще раз погромче и приятно вздрогнула, услышав недовольный оклик Дмитрия Алексеевича — громкий и резкий:

— Кто там? Войдите!

Все сжалось в ней от покорного чувства. Она любила этот голос, потому что он отражал всего Дмитрия Алексеевича.

— Войдите! Кто это? — еще резче крикнул Дмитрий Алексеевич и распахнул дверь.

Она вошла и сразу увидела на столе такой же синий конверт, с чуть заметным чернильным штампом военной прокуратуры.

— Что это? — спросила она.

— Вызывают. — Дмитрий Алексеевич растерянно улыбнулся и развел руками. — На утро завтра.

Она села на табуретку.

— Меня тоже вызвали...

Положила свою повестку на стол и посмотрела на сразу притихших Дмитрия Алексеевича и профессора. Старик взял повестку, провел ею перед очками, как бы проверяя качество бумаги.

— По одному и тому же делу. И дело, конечно, касается не Крехова и не Антоновича, а вас, я это сразу сказал. Помните, я говорил насчет маятника. — Он выразительно взглянул на Дмитрия Алексеевича, оперся локтями на стол, стал смотреть в сторону, дуя в кулак, выставив детские плечи.

— Что же это может быть? — Резкая складка на лбу Дмитрия Алексеевича стала острее, изогнулась, небритые щеки глубоко запали.

— Дроздов знает, — заметила Надя и коротко передала свой утренний разговор с мужем. — Он знает, только не говорит.

— Вот и давайте подумаем, давайте как следует все вспомним... — предложил старик. Надя, сжав пальцами лоб, наклонилась вперед, стала смотреть в пол. Дмитрий Алексеевич то ходил по узкому пространству, то налегал на дверь и, морща лоб, разводя пальцами, раз-

мышлял вслух: «Если Крехов что-нибудь — этого не может быть. Антонович — вряд ли. . .»

Так они прикидывали и вспоминали несколько часов и ни к чему не пришли. Когда в репродукторе зашумела полночь, загремели кремлевские куранты, Дмитрий Алексеевич махнул рукой и сказал:

— Прав Дроздов, Завтра все будет ясно. Всего не предусмотришь! А сейчас я лягу спать.

В восемь часов утра Надежда Сергеевна опять постучалась к ним в дверь. Дмитрий Алексеевич был одет, выбрит, причесан и встретил Надю ясным взглядом человека, готового к любым неожиданностям. Он надел пальто. Старик, держась за его рукав, проводил их на лестницу и там, громко сморкаясь и вытирая глаза грязным платком, сказал:

— Если что — я приму все возможные меры. Все сделаю, что смогу. Иди. Будь только внимателен, взвешивай каждое слово.

Они быстро пришли к чугунной ограде, где за клумбами, окружив полдвора, изогнулось двухэтажное здание с белыми карнизами и колоннами. До десяти часов оставалось еще пятьдесят минут. Они перешли проезд и медленно двинулись по пустому бульвару. Говорить было не о чем. Мир, в котором так просто звучат слова, как бы отодвинулся от них. Дмитрий Алексеевич посматривал по сторонам — на дворников, которые сметали желтые листья с асфальта, на женщину с собакой. Надя обеими руками сжимала его сильный локоть и смотрела на него, тревожно приподняв бровь.

Они прошли до конца бульвара, повернули. Здесь Дмитрий Алексеевич наконец сказал:

— Ну что вы смотрите, Надя. . . — Он, оказывается, все время наблюдал за ней. — В жизни человека бывает и такая глава, ее надо терпеливо прочитать. Если что — вы будете мне писать т у д а?

— Неужели вы думаете. . .

— Я сейчас прихожу к этому выводу. Вы говорили: Дроздов улыбнулся. Это еще не все. Я недавно встретил Невраева. Он прошел мимо, смотрел в лицо мне и не поздоровался. Теперь я понимаю. . . Это действительно барометр. Черт их знает, что там они могли придумать.

Тут он поспешно взглянул на часы.

— Десять минут осталось. Нам надо договориться. Вы идете сегодня в школу?

— У меня свободный день, — солгала Надя.

— Очень хорошо. Я сейчас пойду. Если к двум часам дня я не выйду к вам, хотя бы на минутку. . . Я отпрошусь. . . Вот сюда, к этой лавочке. . . Если не выйду — значит тогда все.

И он мягко посмотрел ей в глаза. Не говоря ни слова, Надя бросилась на него. Обняла, повисла. И грудь ее вдруг начала подниматься и резко опадать. Он осторожно отвел ее к скамейке и усадил. Надя молча держала его за руку. Он разжал холодные пальцы, поцеловал ее где-то около уха и быстро, прямо пошел прочь, мимо прохожих и дворников, которые встретили и проводили его неопределенными улыбками любопытства.

Надя, полулежа, как оставил ее Дмитрий Алексеевич на скамье, смотрела на чистое и холодное осеннее небо. Чуть заметный, как белое перышко на воде, скользил там утренний месяц.

Сначала Наде казалось, что Дмитрий Алексеевич выйдет к ней через час или, может быть, через два. Но сроки эти прошли — и первый и второй, а он не показывался. К часу дня небо стало серым и в желтых листьях деревьев сонно зашуршал осенний дождь. Надя не замечала его. Стрелка ее маленьких часов шла к двум. Потом она спокойно миновала этот рубеж. Прошло еще полчаса. За чугунной оградой показалась группа военных в синих фуражках и серых коверкотовых пальто. Среди них выделялся один — высокий, тонконогий, бледный, с мягкими темными усами. Военные прошли наискосок через бульвар, о чем-то оживленно споря, и скрылись в переулке. У них, видимо, был перерыв на обед, потому что через час все они поодиночке вернулись, выходя из того же переулка. К четырем часам дождь прошел, серые и желтоватые занавесы на небе стали медленно раздвигаться, открывая вечереющую бледную синеву. Открылись и красные облака и полосы в той стороне неба над крышами. куда ушло солнце. Они наливались красным светом и перестраивались, как на учении. Потом все еще больше покраснело. Облачные эшелоны нахмурились, вытянулись один за другим и под музыку алых и лиловых красок ушли на ночь в свою казарму, очистив зеленоватые разводья. И все кругом стало затихать. Но вот внизу, в темноте, понеслись трассирующие огни машин, заплясали огненные плошки на мокром асфальте, и Надя поднялась и, чувствуя тяжесть и боль во всем теле, медленно пошла по бульвару. Что же случилось? Почему Дмитрий Алексеевич не вышел к двум часам? Завтра она все узнает...

Назавтра, в десять часов, она прошла длинным коридором военной прокуратуры и постучалась в дверь с табличкой «7». Войдя в кабинет, пропахший табаком, она увидела гладко выбритого, сдержанно вежливого военного с красивым бледным лицом, с вьющимися усами и бровями и с высокой, густой, вьющейся шевелюрой, которая портила его красивое лицо, придавая ему оттенок женственности. Надю пригласили сесть, и начался допрос. Следователь записал все подробности, касающиеся ее личности, и строго предупредил ее об ответственности за ложь в показаниях. Затем он вынул из ящика длинную полоску бумаги, где у него был по пунктам намечен какой-то план, и стал допрашивать Надю по этим пунктам. После каждого вопроса он склонял голову набок и долго писал, скрипя в тишине пером.

— Вы что же, являетесь соавтором Лопаткина? — спросил он...

Надя решила защищать Дмитрия Алексеевича до конца.

— Это чепуха. Пустяки. Моя роль в создании его машины ничтожна. Настоящий автор — Дмитрий Алексеевич.

Не сказав ни слова, следователь принялся усердно писать. Потом он взглянул на свой план и задал еще один вопрос:

— Скажите, вы лично внесли что-нибудь в его машину? Может быть, вы создали принцип машины, а он ее облек в формы?

— Да нет же! — горячо ответила Надя. — Идея машины целиком принадлежит ему.

— Подождите, — остановил он Надю и начал писать. — Хорошо, — продолжал он через минуту или две, положив ручку. — Ну, а вы имеете какую-нибудь специальную подготовку, которая дала бы вам хотя бы возможность компетентно...

— Я географ, — сказала Надя. — Никакой подготовки у меня нет. Дмитрий Алексеевич — вот кто . . .

Голос ее гордо возвысился, но следователь остановил ее и стал писать.

— Еще один вопрос, — сказал следователь. — Давно вы с ним знакомы?

— Мне кажется, что мы с ним не были чужими никогда.

Следователь улыбнулся.

— Нас учили, что душа не может быть вечной . . .

— Я познакомилась с ним в сорок четвертом . . . нет, в сорок третьем году . . .

— Вы любите его?

— Его нельзя не любить, — сказала Надя со скрытой страстью.

Следователь замолчал и посмотрел на нее.

— А он вас любит? — спросил он, помолчав.

— Не знаю. Скажите . . . вы ему не задавали этого вопроса?

— Теперь вот еще . . . — сказал следователь, не отвечая Наде. — Была у вас физическая близость?

Этот вопрос капитан задал спокойно. Но Надя вдруг почувствовала в сидящем против нее военном странную напряженность, которая испугала ее. Он повторил вопрос.

— Отвечайте. Вот этот вопрос записан в протоколе. — И он начал рассматривать пуговицу на рукаве.

Надя прочитала. Вопрос был сформулирован очень точно. Не понимая, в чем дело, краснея, она ответила:

— Да . . .

И следователь выдал себя: стал поспешно записывать ее ответ. У него получилась длинная фраза: «Да, я действительно . . .» — и так далее. И Надя с ужасом почувствовала, что именно этим ответом она решила судьбу Дмитрия Алексеевича. Капитан взглянул на нее и понял свою ошибку. Бросив писать, он небрежно потянулся за портсигаром. Закурив, тряхнул волосами, затеяв с Надей беседу о школе, о раздельном обучении мальчиков и девочек. Он был противником совместного обучения. «Если их посадить вместе, они слишком рано начинают думать о соавторстве», — сказал он смеясь.

— Да, так на чем же мы остановились . . . Он внезапно оборвал шутки. — Ага! Собственно говоря, мы исчерпали все. Вот прочтите . . .

Пока Надя читала протокол, он длинными шагами мерял кабинет и курил. В протоколе все было записано правильно. Надя расписалась на каждой странице, и следователь, уже не скрывая своего удовлетворения, положил листы в папку.

— Скажите, — тихо обратилась к нему Надя. — Вы арестовали его?

— Да, он арестован.

— За что?

— Мы не имеем права говорить . . . Это тайна следствия. Вот так, Надежда Сергеевна! Не могу! К сожалению, не могу! Вы найдете выход? Прямо, направо и вниз. До свидания!

7

В первых числах ноября Дмитрия Алексеевича утром перевезли из тюрьмы во внутренний двор уже знакомого ему бледно-зеленого здания с белыми карнизами и колоннами. Машина подъехала к тому его крылу, где помещался трибунал. Арестованного провели по коридорам в зал судебного заседания, который после темноты коридоров показался ему необыкновенно светлым. Дмитрий Алексеевич был в том же сером, чуть измятом костюме. Его голова, остриженная в тюрьме под машинку, стала белой, и на ней теперь выделялись по-детски крупные шишки черепа. Лопаткин сел, молча повел темными глазами и увидел около двери на стуле Надю. Она так и подалась к нему. Но в эту минуту раздались шаги. Из боковой двери вышли трое военных. Суд занял свои места за длинным столом. В центре сел и сразу же раскрыл папку с делом старик подполковник с гладко расчесанными на пробор голубовато-серебристыми сединами и строгими чертами худощавого бритого лица. Корпус он держал непреклонно прямо, голову — высоко. Справа и слева от него сели полный капитан с лоснящимся лицом, плешивый на макушке, и молодой майор с обыкновенными, незапоминающимися чертами чуть рыжеватого русского парня, скуластый, невысокий, с большими кулаками. Он мог бы казаться очень широким в плечах, если бы подложил в нужные места кителя вату, как это сделал другой судья — капитан. Но он ничего не подложил туда, а мощные плечи его, как у грузчика, были покаты.

Отдельно от них, в конце того же длинного стола, разместился секретарь — младший лейтенант, который сразу же начал писать, перекосив плечи и держа ручку, как папиросу, между указательным и средним пальцем.

Надев роговые очки, председатель объявил об открытии судебного заседания, и начался опрос подсудимого: как его фамилия, где он родился, когда... Потом судья снял очки, положил их на раскрытое дело.

— Свидетель Максютенко?

— Явился, — донесся из глубины почти пустого зала не совсем спокойный голос.

— Свидетель Дроздова?

— Здесь, — ответила Надя.

Судья предложил свидетелям встать и предупредил их об ответственности перед законом за дачу ложных показаний. Надя и Максютенко расписались на листе у секретаря и, не глядя друг на друга, вышли в коридор. В течение тридцати или сорока минут после этого Надя сидела в полумраке, прислушиваясь к далеким и неясным звукам большого и таинственного дома.

А в зале все шло своим чередом. Председатель разъяснил подсудимому его права и спросил, не желает ли он иметь защитника. Дмитрий Алексеевич пожал плечами и сказал, что дело его ясно и что защитник ему не нужен. Потом председатель, слегка отодвинув от себя папку, зачитал обвинительное заключение, где было сказано, что Лопаткин Дмитрий Алексеевич обвиняется в том, что он, будучи начальником конструкторской группы, разрешил доступ к докумен-

там, представляющим государственную тайну, постороннему лицу, а именно Дроздовой Надежде Сергеевне, оформив ее мнимое участие в работе группы под видом соавторства, хотя такового не было, — чем совершил преступление, предусмотренное статьей такой-то указа от такого-то числа.

Дочитав до конца, председатель предложил Дмитрию Алексеевичу встать и спросил, признает ли он себя виновным. Тот упрямо наклонил стриженую голову и ответил:

— Не признаю.

— Расскажите по порядку все, что вам известно по делу.

И Дмитрий Алексеевич, помолчав несколько секунд, подумав, начал обстоятельно рассказывать о тех трудностях, с которыми он столкнулся, неожиданно для себя став изобретателем. Он хотел после этого сказать, что уже одной той постоянной поддержки, которую оказывала ему Надежда Сергеевна, было бы достаточно для признания ее соавтором.

Но председатель мягко перебил его:

— Вы отклоняетесь от существа дела.

— Наоборот, я хочу ввести вас в курс, в самое существо, — возразил Дмитрий Алексеевич.

Тогда председатель, сохраняя ту же непреклонную прямоту в фигуре и в посадке головы, сказал:

— Ответьте на вопросы. Содержит работа, которую вы вели в группе, государственную тайну?

— Конечно, содержит, — сказал Дмитрий Алексеевич, пожав плечами.

— Обозревается копия приказа министра об особой секретности сведений, разглашенных подсудимым, лист дела двадцать восьмой, — сказал председатель, и за столом наступило молчание. Судьи один за другим быстро просмотрели документ.

— Кто является главным лицом, ответственным за неразглашение этой тайны? — опять заговорил председатель

— Повидимому, я...

— Повидимому? А точнее?

— Я.

— Была ли посвящена Надежда Сергеевна Дроздова в эту тайну?

— Была.

— Была посвящена, — раздельно повторил председатель и посмотрел на секретаря: успел ли тот записать. — А кто открыл ей эту тайну? Кто ознакомил ее со всеми деталями дела?

— Она ознакомилась с ними еще до того, как машину засекретили.

— Кто сообщил Дроздовой о том, что машину засекретили? Кто ознакомил ее с дальнейшими изменениями проекта?

— Я. Но ведь она числится моим соавтором. Приказ есть.

— Вот мы сейчас и установим, были ли основания для подобного приказа...

— Хорошо. Скажите тогда, что я разгласил? Если тайна разглашена, она должна быть известной вам!

— Не задавайте вопросов суду.

— Ладно, не буду. Я заявляю ходатайство: прошу суд установить, что я разгласил.

— Суд отклоняет ваше ходатайство, так как не место и не входит в наши цели выяснять существо секретных сведений — именно в силу их секретности. Известно из официального источника, что они по перечню, установленному соответствующим постановлением, признаются строго секретными. Этого достаточно. Отвечайте на вопрос суда: кто является автором, творцом всей первоосновы вашей машины?

— Я, а в варианте с двуслойными трубами мы вдвоем — я и Дроздова. Она подсказала мне идею...

— Могла она сделать это сознательно? Имеет ли она для этого необходимые знания?

Дмитрий Алексеевич не ответил. Он глубоко задумался. Все получилось так, что он действительно разгласил тайну. Но почему же он тогда почувствовал, что обязан поставить фамилию Нади рядом со своей? Хотя что тут спрашивать — все ясно. Он и сейчас поступил бы так. Но как сказать суду об этом?

— Скажите, подсудимый, — по-деревенски медлительно заговорил вдруг рыжеватый майор и подался вперед. — Почему вы пытались скрыть от следователя ваши личные отношения?..

— Личные отношения с кем?

— С Дроздовой, — три раза низко протрубил майор, у которого особенно кругло получался как раз звук «о».

Дмитрий Алексеевич посмотрел на него, пытаясь понять, к чему ведет этот вопрос, но не понял.

— Хотел избавить ее от неприятных объяснений. Она женщина...

Тут вмешался председатель:

— А не потому ли, что вы соединили интимную сторону своей жизни со стороной деловой, одомашнили секретную государственную работу, а когда началось следствие, хотели скрыть это?

— Нет, не поэтому. Я ходатайствую о вызове в качестве свидетелей представителя заказчика и генерала...

Председатель посмотрел на своих соседей, сперва на капитана, потом на майора.

— Трибунал отклоняет ваше ходатайство. Эти лица были введены вами в заблуждение, эта сторона дела совершенно ясна.

— Еще один вопрос, — медленно выговорил майор — Каким образом, по-вашему, можно было бы доказать, что Дроздова действительно подала вам эту идею?

— Я же говорю...

— Подождите маленько. Не торопитесь. Можно доказать экспертизой?

— Мою машину потому и начали проектировать всерьез, что решили обойтись без экспертов, обошли на этот раз князей науки. Обошли — и вот возникло уголовное дело... Если вы перелистаете дело, да если бы еще вы просмотрели мою шестилетнюю переписку, вы увидели бы, что все обвинители мои — люди, которые шесть лет не давали мне ходу...

— Переписка ваша отношения к делу не имеет, — перебил его председатель. — А что касается ваших обвинителей, то они просто проявили бдительность. Бдительность! То, чего не смогли проявить вы. Так... Еще есть вопросы?

Вопросов больше не было, и председатель вызвал первого свидетеля. Вошел Максютенко. Держа руки по швам, он рассказал суду о том, как он увидел Надежду Сергеевну в комнате группы и как удивился, что она соавтор. Урюпин попытался проэкзаменовать ее, и она смутилась после первого же вопроса, не зная, что отвечать, но ее выручил один из сотрудников, Антонович, который выставил Урюпина за дверь, как постороннего. Еще Максютенко сказал о том, что он давно знает подсудимого и знает также, что он всегда работал над машиной один. Никаких соавторов.

Все было ясно, и свидетеля отпустили без дополнительных вопросов.

Когда в зал суда вошла Надежда Сергеевна, председатель снял очки, внимательно посмотрел на нее и, опять надев, предложил рассказать, что ей известно по делу.

После его слов в зале наступила давящая тишина. Надя стояла и ничего не говорила.

— Мы вас слушаем, — сказал председатель.

И опять навалилась тишина.

— Я не знаю... Мне ничего не известно, — наконец слабо прозвучал голос Нади.

— Вы подтверждаете полностью показания, данные вами на предварительном следствии? — Председатель начал листать дело.

— Подтверждаю, — тихо сказала Надя.

— На листе дела номер тридцать два... — сказал председатель в сторону секретаря.

Он зачитал все вопросы, которые капитан Абросимов задал Наде, и все ее ответы. Прочитав каждый ответ, председатель поднимал на Надю глаза, и она тихо, все тише отвечала: «Да».

— Таким образом, вы утверждаете, что Лопаткин является автором своей машины и что никто, кроме него, в том числе и вы, не вносили никаких существенных элементов в принцип изобретения?

— Да... конечно... — И она, оглянувшись, ласково посмотрела на Дмитрия Алексеевича, словно ободряя его.

— Дело не в принципе, — отчетливо сказал вдруг Дмитрий Алексеевич. — Соавтор может подсказать и применение принципа...

— Вы дезорганизуете работу суда, — перебил его председатель привстав.

— Простите. Могу я задать свидетелю вопрос? — сказал Дмитрий Алексеевич.

Председатель полистал дело, помолчал и движением бровей показал: спрашивайте. Дмитрий Алексеевич повернулся к Наде.

— Вы знаете основные чертежи проекта? Знаете, где хранится основная переписка? Я имею в виду несекретную, ту, что вы подшивали...

— Конечно, знаю.

— Задавайте вопросы по существу, — сказал председатель.

— Вы знаете, что, если я буду осужден, их нужно будет непременно спасти? — спросил Дмитрий Алексеевич.

Председатель посмотрел на него и покачал головой.

— Поняла все, — прошептала Надя и кивнула несколько раз

Дмитрию Алексеевичу. Она со страхом посмотрела сперва на него, а потом на судей.

Председатель опять принялся листать дело. Должно быть он счел все выясненным. Закрыв дело, он повернулся к капитану, и тот поспешно кивнул. Потом майор что-то зашептал ему на ухо, сдержанно потрясая рукой, как бы убеждая. Председатель пожал плечами и опять открыл папку. Тогда майор повернулся к Наде и заговорил, громко выпевая свои гудящие «о».

— Вот вы так лестно и убежденно охарактеризовали работу подсудимого. Скажите, а лично вы помогали ему чем-нибудь?

— Я делала кое-что.

— Расскажите, что это такое — это «кое-что».

— Я ходила для него в библиотеки, читала иностранную техническую литературу . . . На машинке печатала . . . Ну . . . вела его деловую переписку. Еще по хозяйству иногда . . .

— Когда мне приходилось туго, неизвестный меценат прислал мне как-то шесть тысяч, — вставил Дмитрий Алексеевич, — а у свидетеля Дроздовой не стало мехового манто. Будем откровенны, Надежда Сергеевна! Вы дали подписку суду насчет ложных показаний.

Дмитрий Алексеевич шутил, но глаза его оставались строгими, будто он разучился улыбаться.

— Было это? — спросил майор.

— Было, — тихо подтвердила Надя.

— А один раз она пришла из библиотеки и говорит мне: «Я нашла одну интересную . . .»

— Это все подробности личных отношений, — вмешался председатель.

— Если бы не было Дроздовой, не было бы и этого секретного изобретения! — крикнул Дмитрий Алексеевич.

— К порядку! — Председатель постучал карандашом. — Свидетель Дроздова, к вам больше вопросов нет. Подсудимый, чем вы можете дополнить судебное следствие?

— Ничего не буду говорить. — Дмитрий Алексеевич сел и тряхнул белой головой. — Все сказано.

— Вам предоставляется последнее слово . . .

Наступила долгая тишина. Дмитрий Алексеевич сидел неподвижно и глядел на ножку стола.

— Мы вас слушаем, Лопаткин. Вы отказываетесь? . .

— Отказываюсь.

— Суд удаляется на совещание. — Председатель встал.

Судьи ушли в боковую дверь. Секретарь отметил Наде и Максютенко пропуска и строго сказал, что свидетели могут идти, что все кончено.

Комната, куда удалились председатель и члены трибунала, когда-то была, видимо, кабинетом вельможи. В ней сохранился большой камин, в темном зеве которого виднелось несколько бутылок из-под чернил. Высокий потолок был заключен как бы в раму из массивных лепных украшений. В этой комнате стояли два стола с чернильницами из пластмассы, много стульев и был еще диван, обитый черной клеенкой, — на него и бросился сразу же председатель трибунала.

— Молодец Абросимов, — сказал он, закуривая. — Правильно

построил допросы. А вот допросил бы первой Дроздову — она сейчас же после допроса, конечно, к Лопаткину, тот подготовил бы ее и на суде пошла бы канитель. Сейчас ее показания чище святой воды. Никаких интересов, только истина, как у младенца.

— Да-а... — протянул неопределенно майор. Он стоял у окна, курил и смотрел на улицу.

— Я, между прочим, так и думал: сейчас она догадается и скажет: «Я действительно соавтор...» — продолжал председатель, сбивая с папиросы пепел о носок сапога. — Пришлось бы направлять дело Абросимову на доследование! Единичку — ха! — ему в квартальный отчет! Экспертизу назначать. А потом на экспертизу еще экспертизу... Туман!

— А вы думаете, сейчас не туман? — сказал майор, глядя в окно.

— Ну почему же?.. — Подполковник, пустив струю дыма, выставил пальцы, чтобы перечислить доводы. — Нам нужно прежде всего установить, имело ли место деяние, инкриминируемое подсудимому. Деяние имело место, думаю, никто этого не оспорит. Он доверил тайну. Показ документов, устное сообщение, необеспечение надлежащего хранения — любой из вариантов подходит. Заметь, как законодатель ставит вопрос: необязателен даже факт разглашения. Достаточно реальной возможности восприятия тайны другим лицом.

— Надо было все-таки вызвать в суд представителя заказчика. Им ведь обоим дано поручение.

— А ты и иди на поводу. Видел, как он повел себя в конце? Это он тебя почувствовал. Это все уступки, поблажки. Ты говоришь, представителя заказчика — Захарова, что ли? Ну пусть он подтвердит. Что из того? Лопаткин обязан был не предлагать ее в соавторы и держать все от нее в тайне.

— Но ведь она и раньше знала конструкцию и идею...

— В рамках несекретных. А потом прибавилось — двуслойные трубы... Особое назначение... И появился гриф «секретно». Гриф — и положение меняется.

— Но ведь она же участвовала в рождении! — Майор повернулся к председателю, и его «о» взволнованно зазвенели в кабинете. — Идея-то, я назову ее идея номер два, Дроздовой принадлежит!.. Хоть это и не расследовано, я отчетливо это вижу. Гриф! Что же, раз гриф — она должна забыть? Отказаться от своих прав? И не к чему экспертизы, когда можно было свидетельскими показаниями установить. Захаров — раз. Старик Бусько — два. С иностранным журналом о трубах мы не знакомились? Это три. Формуляр в библиотеке смотрели? А вдруг в формуляре только одна отметка — Дроздовой! Значит, только она одна читала этот журнал. Это четыре! Вот уже мы и видим...

— Знаешь... Я не дитя малое. Она делала техническую работу. Тебе он просто понравился. Не похож на преступника. А что ты думаешь, на скамье сидеть может только бандит с ножом в зубах? Ничего-о... и смирные растяпы сидят. И такие вот... любители приятного с полезным, как Лопаткин. Еще как сидят. Ха-ха! — Председатель коротко, по-мальчишески хохотнул. — Ничего выбрал он себе... соавтора!

— Ну слушайте... Ну Бог с ними, пусть вдвоем! Ведь история

знает сколько случаев, когда ученый работал с женой... Ведь практически разглашения нет. Нет! Никто, кроме них двоих, не знает существа изобретения. Товарищ подполковник, мы сейчас неправильно его осудим и не только лишим его свободы — мы государство лишим изобретателя, который может принести пользу.

— Какой там изобретатель! Если бы он был нужен, его бы не отдали. За него бы дрались. Склочник простой, кляузник. Весь белый свет против себя поднял. Ты бы посмотрел, какую петицию прислали в прокуратуру эти доктора наук. Требуют привлечь за клевету!..

— Видел я ее, — устало проговорил майор. — Она меня и наводит на мысль. Слопать они его хотят. Надо бы расследовать отношения... Почему Абросимов не приложил ее к делу?

— Я не для того тебе сказал... Нужна она нам для выяснения истины? Нет. А волокиты с нею — вагон. Если захотеть, можно любое дело заволокитить. Судья должен смотреть дальше своего носа. Надо уметь почувствовать остроту дела, его пульс. Уметь отсеять привходящее... Приговор выносится не именем майора Бадьина, а именем государства. Поэтому и надо считаться с государственными интересами, а не с твоими слабыми нервами. Ладно. — Председатель поднялся с дивана. — Капитан, у тебя почерк хороший. Давай пиши: «Тысяча девятьсот сорок девятого года ноября первого дня... Та-ак... в составе председательствующего...» — И он стал ходить вдоль комнаты, обдумывая описательную часть приговора.

— Особое мнение буду писать... — сказал майор, закуривая новую папиросу.

— Ну вот, так и знал. — Председатель остановился. — Ты погоди-ка в бутылку лезть. Слушай-ка, Бадьин, неужели ты не видишь? Мы с тобой не ученые, нам трудно охватить, понять сразу до конца всю важность этого процесса. Но ты хоть посмотри: за делом следит вся научная общественность, все, вплоть до министров и заместителей. Что же мы с тобой, когда прокуратура и суд должны проявить быстроту и оперативность, — мы будем заниматься микроскопическим анализом, исследовать мокроту у подсудимого?

— Мы должны и охватить и понять до конца, товарищ подполковник, всю важность, — дослушав его, все так же медленно заговорил майор. — Почему ученые заинтересованы, почему — министры и почему заинтересованы замы. А пока не охватим — нельзя выносить приговор. Судья не должен быть в плену готовых представлений о вещах. «Общественность следит»? Надо посмотреть, что это за общественность, имеет ли она право зваться общественностью. «Интересы государства»? Надо еще посмотреть, государства ли это интересы. Должностное лицо — это еще не государство, и ученый корифей, даже три корифея, — это еще не наука. Судья все обязан проверить. Долг таков.

— Видишь, нельзя серьезные дела ставить в зависимость от того, что один человек не может чего-то охватить.

— А если он, не охватив, подчинится течению, струе, он уже не судья, а инструмент. Я не хочу больше об этом говорить, товарищ подполковник, а то мы с вами еще поругаемся. Дело принципиальное. Слепым исполнителем, особенно в таком деле, быть не могу. Давай-

те катайте приговор, а я сяду вот тут, в сторонке, и особое мнение напишу. Перенесем спор в высшие инстанции.

Дмитрий Алексеевич, конечно, не знал ничего ни об этом споре в совещательной комнате, ни об особом мнении одного из членов трибунала. Он услышал только приговор, согласно которому его должны были подвергнуть заключению сроком на восемь лет в исправительно-трудовом лагере.

Когда приговор был зачитан, судьи опять ушли в совещательную комнату. И там, как только дверь закрылась, председатель и майор, забыв свои разногласия, признались друг другу, что не часто попадаются люди, которые вот так как этот, спокойно приняли бы восемь лет лагерей. Во время чтения приговора Лопаткин стоял и смотрел в сторону — на стену, так, как будто она была прозрачная и как будто за нею были видны какие-то безмерные, сменяющие одна другую дали. Он словно прикидывал, сколько у него осталось времени и сил, прежде чем отправиться в новый, далекий путь.

8

Комната конструкторской группы была опечатана еще в тот день, когда Надю допрашивал следователь. И в тот же день Надя узнала, что группа прекратила свое существование и конструкторы возвращены в те отделы, где они работали раньше. После суда Надя сразу же позвонила Захарову.

— Товарищ Дроздова? — услышала она в трубке неуверенный голос. — Да, мы знаем... Ну что же вам сказать... Очень печально... Словами не поможешь. Влиять на трибунал мы, конечно, не можем никак. Это невозможно. Да... Ну, а что касается дальнейшей работы, эта история с судом никакого действия на нее не возымеет. Договор с институтом остается в силе, так что вы идите в институт и затевайте с ними переговоры...

— Простите... Они ликвидировали нашу группу.

— Да?.. Как получилось-то нехорошо... Да, черт... Ничего ведь не поделаешь — они хозяева в своем доме. Вы все-таки попробуйте еще с ними переговорить. Я позвоню генералу...

— Хорошо... Спасибо... — Надя уже поняла, что здесь все пропало, что Захаров просто делает большие глаза, проявляет ужасное свойство многих людей — бесполезное сочувствие. И, еще раз поблагодарив его, поспешила закончить разговор, тягостный для них обоих.

Впереди была еще половина дня. Нужно было действовать. И Надя побежала к профессору Бусько.

Она позвонила пять раз, кто-то открыл ей дверь, что-то сказал ей, но Надя, не взглянув, пробежала к двери Бусько, нетерпеливо постучала. Дверь оказалась запертой, за нею что-то тяжело двигалось и скрипело. Надя еще раз постучала, старик за дверью заторопился, передвинул что-то тяжелое, потом притих и минуту спустя почти бесшумно открыл свой замысловатый деревянный затвор.

Надя вошла. Профессор был взъерошен и напуган. Все вещи в комнате стояли на прежних местах, как будто ничего здесь и не двигали, и по этому именно Надя догадалась, что Евгений Устинович

опять перепрятал свой драгоценный порошок и тетради с формулами и расчетами. Она устало бросилась на табуретку.

— Был суд? — спросил старик.

— Да.

Наступила пауза.

— Вы мне хоть расскажите, Надежда Сергеевна! Что? Как? За что хоть его судили? Сколько он получил?

— Ничего не знаю. Секретный процесс. Чувствую только, что в деле этом какую-то роль сыграла я. Я его подвела...

Она отвернулась, закусив губу и багровея. Поспешно достала из внутреннего кармана пальто платочек, приложила к мокрым щекам.

Старик встал против нее, покачал коленом, посмотрел, опять нетерпеливо задрожал ногой.

— Вот это надо в наших условиях сокращать до минимума. Он не любил женских слез. — Лучше поезжайте в институт. Спасайте, что можно. Я ему говорил: не носи: Так он отнес туда всю свою переписку. Шкаф там у него! Железный! Надо обязательно выручить чертежи и эту папку.

И она отправилась в институт. Еще на углу Спасопоклонного переулка она достала свой пропуск и с сомнением посмотрел на него. Предчувствия ее не обманули. Она вошла в вестибюль института и решительно направилась к лестнице. Там стоял инвалид вахтер. Он развернул пропуск Нади, посмотрел на записку, что лежала у него на столике под стеклом, и покачал головой.

— Пропуск этот недействителен.

Надя вернулась. Постояла, закусив губу, потом прошла к телефону и позвонила Крехову, в отдел основного оборудования. Тот сразу узнал ее и понизил голос. И Надя поняла, что здесь ее имя теперь полагалось называть именно так, вполголоса.

— Вы слышите меня? — сказал Крехов, должно быть закрывая рот рукой. — Я сейчас позвоню вахтеру, чтобы он пропустил...

Все-таки он проявил мужество. Телефон на столе вахтера громко задребезжал. Инвалид снял трубку, сказал: «Слушаю. Есть», осторожно положил ее и повернулся к Наде.

— Пройдите, гражданочка.

Директор был у себя. Он сразу принял ее. Пока Надя шла через его большой кабинет, одетая в строгий серый костюм, гладко причесанная, с большим темно-золотистым калачиком волос на затылке, генерал смотрел на нее из-под опущенных седых бровей, тая улыбку, выжидая.

— Садитесь, Надежда Сергеевна, — сказал он. — Садитесь, поговорим.

Надя села на край большого кресла, села и выпрямилась.

— Судили его? — спросил генерал.

— Да. Я с процесса.

— Сколько дали?

— Не знаю. Мне не разрешили досидеть...

— Ничего... Узнаем на днях. Так что вы?..

— Я пришла насчет документов. Дмитрий Алексеевич поручил мне сохранить его переписку. Она подшита в серой папке с коричневым корешком. И еще — чертежи.

— Должен огорчить вас. Вы не получите ничего. Во-первых, шкаф опечатан следователем — вы это знаете. А во-вторых, даже если и разрешат нам снять печать, мы поступим с этими документами так, как должно поступать с секретной документацией.

— Мне говорил Захаров...

Да, он звонил мне. Что я вам скажу... Договор, конечно, остается договором, но мы намерены решать эти все машины по-своему. Так, как подскажут нам наши знания и практический опыт. Что же касается вашего участия, то вы, я думаю, даже не захотите... Ну, кем вы могли бы работать — копировщицей?.. Не сможете ведь!

— Нет, зачем... Если вы намерены решать задачу по-своему — и я догадываюсь, как вы ее будете решать, — в этой группе и с этими людьми мне, конечно, делать нечего. Я все же просила бы выдать мне...

— Об этом не может быть и речи. Шкаф вскроет комиссия, составленная из людей, допущенных к секретному делопроизводству. Если я вам выдам документы, меня завтра посадят, как Лопаткина, за разглашение государственной тайны...

Надя замерла на миг — она в первый раз услышала о преступлении Дмитрия Алексеевича. Мгновенно вспомнила она все свои ответы на допросе у следователя и в трибунале. Вспомнила и то, как этот красивый капитан поспешно заскрипел пером после ее растерянного «да». Все эти воспоминания возникли мгновенно. Надя сразу все поняла и только лишь чуть-чуть побледнела. Генерал не заметил ничего.

— И даже независимо от последствий лично для меня — я не могу и не хочу нарушать закон. И не сделаю этого.

— Но ведь эти же документы печатала я? Многие из них подписаны мной!

— На многих из них вами же поставлен гриф. Вот так, Надежда Сергеевна. Мой вам совет: возвращайтесь в семью и постарайтесь забыть об этой некрасивой истории.

«В одном он прав, — думала Надя, проходя из кабинета через приемную в коридор. — Действительно, гриф... Но что же делать? Мы не допущены к секретным документам, а они все допущены. Они теперь вскроют шкаф и сделают с ними все, что хотят, и ничего не останется, кроме дела в трибунале... Что же делать, что делать?» — снова и снова спрашивала она себя.

Ничего не замечая вокруг, поглощенная своими вопросами, на которые не было ответа, она медленно шла по коридору, по мягкой ковровой дорожке. А ей навстречу то и дело выходили молодые инженеры — посмотреть на знаменитую Дроздову. Даже не пытаясь оценить все, что им наговорили про Надю и Лопаткина, они высыпали из отделов — у каждого вдруг нашлась какая-то забота в коридоре. Перед ними шла жена Дроздова — красавица, отчаянная женщина, любовница авантюриста. И они проходили мимо Нади и возвращались, пытаясь поразить ее своими ватными плечами, кружили, как мотыльки вокруг огня, почти готовые броситься в этот огонь. Но от «почти» до головокружительного броска было все-таки очень далеко. И, покружив, они улетали, оберегая свои детские крылья. А Надя, ничего не замечая, шла по длинному коридору и пожинала незаслуженные лавры.

Крехов опять продемонстрировал, на этот раз публично, свою верность прежним отношениям. Он открыл дверь и, пригласив Надю в отдел, предложил ей стул.

— Какими судьбами? — спросил он вполголоса.

Надя оглянулась. Вокруг тихо стояли чертежные «комбайны», там и сям виднелись чьи-то молчаливые прически, чьи-то неподвижно отставленные локти, чьи-то ноги в желтых ботинках. Только один Антонович был весь на виду, он сидел рядом с Креховым и, когда Надя вошла, поклонился ей.

— Дмитрий Алексеевич сказал мне сегодня на процессе...

— Что — уже?.. — спросил Крехов.

— Да.

— И какой результат?

— Не знаю. Меня удалили. Секрет. — Надя слабо улыбнулась.

— Да, так что он сказал?..

— Он сказал: «Спасайте документы». — Надя покачала головой. — Вот я и пришла спасать...

— А что Дмитрий Алексеевич имеет в виду?

— Хотя бы общий вид. И потом папку с перепиской. С коричневым корешком — помните? Ее нельзя терять. Это нас отбросит к самому началу. После шести лет борьбы.

— Н-да... — неопределенно сказал Крехов и посмотрел по сторонам. Все «комбайны» стояли так же тихо, и по-прежнему виднелись кое-где неподвижные шевелюры, отставленные локти и желтые ботинки конструкторов. — Так вы позванивайте! — бодро возвысил голос Крехов. — Не забывайте нас!

И Надя, поняв все, что он хотел сказать, но не сказал, простилась с ним. «Ничего у тебя не выйдет», — устало подумала она. Направляясь к лестнице, она прошла мимо той комнаты, где помещалась месяц назад их группа, и две желтые мастичные печати, приклеенные к двери и соединенные зеленой ниткой, молча подтвердили: «Ничего не выйдет».

В то время, когда она задумчиво спускалась по лестнице, директор института уже звонил по телефону председателю трибунала.

— Товарищ... э-э... подполковник?.. Что прикажете с документами делать? Ведь у меня весь отдел опечатан. Вот даже Дроздова приходила, требовала выдать ей...

— Несекретные можете выдать, — ответил председатель. — Снимайте печати и распоряжайтесь документами согласно инструкции. Бумагу? Бумагу я пришлю вам. Пришлю, пришлю. Можете спокойно снимать печати.

— Ну, а что мне с ними делать, с секретными бумагами?

— Нужные — берите в архив, ненужные — составьте комиссию и уничтожьте. У вас должна быть инструкция...

Все же генерал остерегся срывать печати военной прокуратуры на основании одного лишь телефонного разговора. Мало ли что! Он решил подождать, пока придет из трибунала официальное разрешение. А пока он вызвал к себе Урюпина и поручил ему составить комиссию по разборке и сортировке документов бывшей конструкторской группы Лопаткина.

Урюпин подвигал своей короткой седой шевелюрой, улыбнулся одной щекой, показав половину стальных зубов.

— Полагаю, здесь не обойдется без участия науки. Вы позвоните, пожалуйста, пусть Авдиев кого-нибудь нам подошлет в помощь.

— Что ж, можно. — И генерал записал в своем календаре: «Позвонить Авдиеву». Потом он вспомнил: — Надо в комиссию ввести кого-то из лопаткинской группы. Крехова, что ли? Как ты смотришь?

— Крехова ни в коем случае нельзя. Он что-то поглядывать стал в последнее время. У них дружба с Лопаткиным. Еще какую-нибудь штуку выкинет. Одинокого интеллигента — вот кого. Хоть и выгнал меня. — Урюпин засмеялся. — Антонович — человек закона. Точный Будет действовать точно по инструкции.

— Ну что ж, добро. Антонович, так Антонович.

— Еще Максютенку, я думал бы.

— Куда тебе, целый взвод формируешь! Зачем?

Он улыбнулся, как бы спрашивая: «Ответственности боишься?», и Урюпин, ежась, осклабился, отвечая хоть и без слов, но ясно: «Еще бы! Дело щекотливое!»

— Ну ладно, — сказал генерал. — Бери Максютенку. Не можете друг без друга шагу ступить...

Через день после этого разговора из трибунала пришла бумага, разрешающая вскрыть опечатанные два шкафа с документами конструкторской группы Лопаткина. В час дня комиссия подошла к двери с табличкой: «Посторонним вход воспрещен». Урюпин эффектно потянул за конец зеленой нитки — слева направо — и разрезал этой ниткой обе желтые печати. Комиссия вошла в комнату, и дверь закрылась. Несколько часов спустя по коридору грузно протопал Авдиев, вызванный должно быть, по телефону. Постучался в дверь, и его впустили. Около пяти часов вечера приехал из министерства Вадя Невраев, неслышно прошел по коридору и исчез за той же дверью. Вскоре туда же прошел директор института. Потом все они вышли и, громко разговаривая, не спеша направились в директорский кабинет, а комиссия осталась в комнате. Крехов прошел мимо двери, как раз когда из нее выходило все начальство, и он успел кое- что заметить. «Антонович пишет, Урюпин ходит и диктует», — негромко сказал он, входя в свой отдел.

На следующий день комиссия с утра редактировала акт, затем его печатали на машинке, потом акт был подписан и подан на утверждение директору института. Согласно этому документу некоторые чертежи и расчеты, отобранные комиссией, передавались в архив института, остальные бумаги, как не представляющие ценности, но по своему содержанию секретные, комиссия предлагала уничтожить.

Прочитав бумагу, генерал взял красиво отточенный секретарем карандаш, примериваясь, поводил карандашом над бумагой и наконец оставил в левом верхнем углу ее размашистый штрих.

Вечером, когда институт опустел, в комнату, где работала когда-то группа Лопаткина, а теперь заседала комиссия, пришли с мешками двое рабочих из котельной. Все бумаги, папки и книги, ворохом сваленные на полу, были уложены в мешки. Как и рассчитал Урюпин, получилось два мешка. Максютенко завязал их, опечатал, и рабочие, взвалив

на спины каждый по мешку, отправились вниз, в котельную. Комиссия осталась в комнате покурить.

— Все, что ли, пойдем? — спросил Максютенко.

— Я бы просил, товарищи, отпустить меня, — решительно и очень ласково проговорил молодой кандидат наук — член комиссии от НИИЦентролита. — Я живу за городом. Завтра я приеду и подпишу акт. Очень просил бы. . .

Урюпин отпустил его. Потом повернулся к встревоженному Максютенко и молчаливому Антоновичу.

— Вы действуйте, товарищи. Я сейчас пойду перехвачу малость — с утра не ел. Давайте. Я минут за двадцать управлюсь.

И тоже исчез. Максютенко и Антонович молча отправились в котельную, застучали по гулкой лестнице. Антонович качался, как пьяный, спотыкался и смотрел на Максютенко пьяными глазами.

— А вы и трус же! — сказал ему Максютенко.

Они спустились в подвал, прошли под серыми от пыли сводами, под желто светящей пыльной лампочкой, потом спустились еще ниже, в сырой мрак, в шахту, где был устроен склад угля. Отсюда, стуча по проложенным через уголь доскам, храня молчание, они оба пошли на вздрагивающее пятно желтого света и вдруг увидели свои два мешка, освещенные желтым пламенем, низко гудящим в трех окошечках, словно прорезанных в темноте.

— Лампа, черт, перегорела, — раздался в стороне неторопливый хриплый голос истопника.

— А чего? Читать, что ли? — отозвался второй голос, помоложе.

— Нет, товарищи. Лампу надо ввернуть обвзательно, — какими-то капризным тоном заявил Максютенко.

— А где ее взять?

— Я сейчас попробую достать, — сказал вдруг Антонович и рванулся в темноту. Максютенко поймал его за пиджак.

— Ладно, давайте в темноте! Чего там, света вон хватит из топок. Бумага загорится — еще светлее будет.

— Извините, товарищи, дело ответственное. Как хотите... Лампочка не помешает.

И Антонович, шарахнувшись вбок, освободился и, что-то бормоча, рысцой затопал по доске вглубь шахты.

— Интересно! — сказал Максютенко. Плюнул, потом повалил мешок с документами и сел на него. — Вся комиссия разбежалась!

Приблизительно через полчаса в темноте шахты застучали шаги. Это вернулся Антонович.

— Ничего себе! — пропел ему навстречу Максютенко. — Достали хоть лампу?

— Знаете, все кабинеты заперты. А та, что в подвале, закрыта сеткой.

— Ну, браток, ты действительно интеллигентный! — Максютенко вскочил, не то улыбаясь, не то плача. Поморгал на огонь, крякнул с досады и побежал в шахту.

Он поднялся в подвальный коридор. Лампочка здесь действительно была защищена проволочной сеткой. Он отогнул сетку, вывернул теплую пыльную лампочку и, зажигая и роняя спички, спустился в шахту.

— Из коридора вывернул? Правильно, — прогудел хриплый голос. — Дай-ка я полезу, вверну.

Осыпая уголь, истопник ушел в шахту, потом вернулся, волоча что-то, должно быть лестницу.

— А вы приступайте, ребята, к делу, — сказал он. — Это я долго здесь буду колдовать, с лампой-то.

Максютенко развязал один мешок и, взяв охапку бумаги, поднес к топке. Бумага вспыхнула. Он стал торопливо заталкивать ее в топку то одной рукой, то другой, дуя на пальцы.

— Так не пойдет. — К нему подошел рабочий, тот, что был помоложе. — Ты мне бумаги давай, а я уж буду с печкой разговаривать.

Максютенко подал ему несколько книг. Рабочий бросил в огонь одну, потом вторую. Третью книгу он стал перелистывать.

— Книги зачем жгете? Лагранж. Аналитическая механика. Она же деньги стоит . . . Вон: десять рублей . . .

— Ты, товарищ, поменьше разговаривай и занимайся делом, — сказал Максютенко.

Взял эту книгу из рук рабочего и протолкнул ее в топку. Книга вспыхнула, тут же погасла и задымилась.

— Чего-то лампа не светит, — озабоченно прогудел вверху истопник. — Току, что ли, нет? . .

— Ладно, слезай, помогай иди, — сказал ему Максютенко. — Вы, Антонович, давайте, берите этот мешок или идите тот развязывайте. . .

— Ладно, я уж этот докончу, — с лихорадочным смешком проговорил Антонович. — Вот мы его сейчас с товарищем истопником. . .

Максютенко и молодой рабочий отошли ко второй топке. Там у них быстро наладилась работа. Охапки бумаги так и вспыхивали одна за другой.

— Ах, с-сатана! — вдруг зашипел Максютенко, отскакивая от топки: на его штанине сиял, расплываясь, красный уголек. — Понимаешь, хотел ногой подтолкнуть. Подпалил штаны! — заохал он, плюя на ладони и прихлопывая огонь на брюках.

— Огонь, он тоже разбирает, — сказал истопник, глядя в топку, шуруя железным прутом. — Книгу не хочет брать. Видишь, сколько книжек уже дымится, а все не берет. Вот так завсегда, я заметил: книжка не горит, пока ее не растреплешь, как следует. А тебя, — он улыбнулся, — тебя вроде ничего. . . принимает!

— Такие штаны спалил! — ругал себя Максютенко. — Это же от костюма!

В это время в шахте застучали по доске чьи-то четкие шаги. Это пришел Урюпин.

— Ну, что дело? Идет к концу? — спросил он бодро.

— Идет. Даже штаны начинаем жечь, — сказал истопник.

—Генерала сейчас встретил. Могу сообщить, товарищи, последнюю новость. Лопаткин получил восемь лет.

— За что же это? — спросил истопник.

— За разглашение государственной тайны.

Урюпин закурил, взял из мешка лист ватмана, положил его в стороне на ящик с углем, и сел.

— Что, Антонович? Приходится быть и кочегаром? — сказал он благодушно.

— Чертова душа... такие штаны... — не мог успокоиться Максютенко.

— Мы видели этого Лопаткина... — задумчиво сказал молодой рабочий. — Секции меняли на втором этаже — помогать взялся... Говорит, работал на автозаводе...

— У нас все. — Антонович, облегченно вздохнув, поднялся. — Товарищ председатель, вот пустой мешок.

— Вы далеко пойдете, Антонович. Это ведь я открыл у вас эти способности!

— Андрей Андреевич, я не знаю, какие спссобности вы имеете в виду, — вдруг холодно отрезал Антонович. — У меня есть определенные представления о порядочности. И я ими руководствуюсь. Всегда и во всем.

— Что похвалить мы в вас должны, — пропел Урюпин из «Евгения Онегина» и замолчал.

Потом быстро вскочил.

— Стоп! — и выхватил из рук молодого рабочего бумажку, которую тот читал, наклонясь к топке. — В огонь ее, в огонь, молодой человек! Ишь ты! Читать секретные бумаги!..

— Там не написано «секретно».

— Неважно, милый, неважно!

— Там про вас чего-то написано, — сказал слесарь не без удовольствия. — Крепко написано!

— Крепко, говоришь? — Урюпин бросил бумагу в огонь. — Трибунал покрепче может написать. Кому полагается. Кто болтает и кто нос сует. — Он сел и опять закурил. — Ну что там у тебя, Максютенко? Давай закругляться, мне еще нужно звонить генералу, он просил.

Вспыхнула последняя охапка бумаги. Истопник сказал: «Кажись, все», выпрямился и стал пристально смотреть на Урюпина.

— Ну что ж, — бодро сказал тот, как бы не замечая его взгляда. — Поехали! Спокойной ночи, товарищи истопники!

Никто ему не ответил. Только слышнее, отчетливее стало суровое гудение топок.

Когда Урюпин, Максютенко и Антонович вышли к лестнице, она вдруг загудела, застучала вся снизу доверху.

— Кто-то бежит сюда! — Максютенко, открыв рот, прислушался.

— Алло! — запрыгал вверх по маршам лестницы женский голос. — Кто там внизу? Там нет Урюпина?

— Я здесь! — закричал Урюпин, тревожно заглядывая вверх.

— К генералу! Скорее!

— Что такое? Разве он не ушел? — И Урюпин, перехватывая перила, еле касаясь ступенек, громадными скачками понесся вверх.

Он поднялся на второй этаж, прошел через пустую приемную в кабинет директора. Генерал в расстегнутом кителе сидел за столом и, отхлебывая чай из стакана в подстаканнике, просматривал папку с текущей перепиской.

— Сожгли? — спросил он.

— Все готово.

— Вон, читай, — сказал генерал, подстаканником подвинув к Урюпину бумагу, лежавшую на зеленом сукне стола.

«Заявление, — прочитал Урюпин. — Прошу выдать мне папку с не-

секретной перепиской и несекретные чертежи, сделанные Д. А. Лопаткиным вне стен Проектного института и находящиеся в опечатанном прокуратурой шкафу по той причине, что у нас не было иного места для их хранения. Прилагаю копию доверенности. Дроздова».

— А где доверенность? — спросил Урюпин.

— Доверенность у нее. Заверена трибуналом. Вот копия...

— Поздно. Все уничтожено.

— Ответь ей. — И генерал, взяв коричневый карандаш, написал на заявлении Надежды Сергеевны от угла к углу: «Председателю комиссии тов. Урюпину. Разберитесь и решите по существу заявление тов. Дроздовой».

— Какое сегодня число? — спросил он. Хмуро взглянув на Урюпина и сильно нажимая на карандаш, поставил дату: «4 ноября 49 г.» — расписался.

«Часы надо бы проставить», — подумал Урюпин, усиленно двигая шевелюрой.

— Товарищ генерал, как же разбираться? Мы же сожгли... — начал было он.

— Ничего не знаю. Я еще не имею акта. — И генерал спокойно посмотрел ему в глаза. — Завтра возьмешь у секретаря и ответишь ей. Коротко, но обстоятельно. Кто-то научил ее — видишь, она сдала заявление через окошко экспедиции. Значит, под расписку. Еще вчера. Ты серьезно к этому отнесись...

— Все сгорело, чего тут разводить! — Урюпин неуверенно засмеялся. — Комиссия не нашла в бумагах Лопаткина таких документов, которые могли бы, так сказать... которые бы не имели...

— Ну вот, я же знаю, ты мастер. Вот так и сделай.

Все же, выйдя от генерала, Урюпин потемнел лицом. «Генерал, генерал, а уже и испугался! — подумал он. — Дорожит папахой!».

Тут же он прикинул в уме ответ комиссии на заявление Дроздовой: «Уважаемая т. Дроздова! Комиссия рассмотрела Ваше заявление, а также документы, чертежи и прочие материалы из архива быв. конструкторской группы Лопаткина. Комиссия не находит возможным передать Вам просимые документы, так как все они содержат сведения, не подлежащие оглашению и, тем более, передаче в частные руки...»

«Вот так и отвечу, — сказал он себе. — Чего пугаться? Пугаться-то нечего!» И он еще больше помрачнел.

ЧЕТВЕРТАЯ ЧАСТЬ

1

Прошло полтора года... Удар, нанесенный Лопаткину, оказался как раз тем предельным усилием его противников, которого он опасался и ждал.

Изобретатель исчез с горизонта. Его словно столкнули на ходу в ночной океан, и богато иллюминованный корабль, полный жизни, дыша теплом человеческих страстей, пронесся мимо него.

Через несколько дней после суда в отделах Гипролито еще можно было услышать споры о деле Лопаткина. Разноголосица была страшная. Одни говорили, что это талантливая, но не менее удачно пресеченная авантюра. Кое-кто видел в истории Лопаткина простой подкоп под авторитет Василия Захаровича Авдиева. У идола дерзнули вынуть изо лба его алмаз, и грянул гром... Большинство конструкторов молчало, но и молчание иногда можно класть на чашу весов.

А через месяц о Лопаткине забыли вообще. Затем в газетах появились статьи Шутикова и Дроздова о новой победе отечественной техники — машине для отливки труб центробежным способом. Авторы обеих статей писали, что новые машины запущены в серийное производство и скоро ими будут оснащены два новых завода.

Наконец-то и Леонид Иванович дождался этой чести — подписал статью, которую для него сочинил тот же Невраев. Но — странное дело! — став автором газетного подвала, Леонид Иванович не освободился от того чувства, которое вызывало на его лице чуть заметную презрительную усмешку. Дело в том, что фамилия заместителя министра П. И. Шутикова в это же время стала появляться в длинных списках лиц, присутствовавших на том или ином торжественном приеме. Правда, фамилия Шутикова стояла в отчетах одной из последних, после него шли уже писатели и журналисты, но тем не менее... и Леонид Иванович чуть заметно разочарованно улыбался.

А время шло. В середине пятидесятого года в газетах напечатали информацию в несколько слов о том, что П. И. Шутиков с группой инженеров едет за границу для ознакомления с промышленностью некоторых стран и обмена опытом. Он пробыл за границей месяц с лишним, потом вернулся из путешествия, и две недели целый отдел института Гипролито и несколько специалистов, вызванных из Ленинграда и с

Урала, писали для него отчет о его впечатлениях и мыслях по поводу заграничных машин.

Леонид Иванович смотрел на все это спокойно, только, может быть, чуть-чуть пристальнее, чем следует. И та же нелегкая усмешка таилась в его глазах. Вот если бы ему поручили съездить за границу и взглянуть на тамошнюю технику!.. Посадив за отчет столько людей, он по крайней мере хоть составил бы для них тезисы! Высказал бы свое отношение к увиденному, отметил бы слабые и сильные стороны зарубежной техники, то, чего там нет, и то, чему следует нашим инженерам поучиться. Кое-что он и сам написал бы. А этот роздал ленинградцам и свердловчанам привезенные каталоги промышленных фирм и велел изучать и писать! Подобрал он, конечно, толковых людей. Люди были с головой. Но, тем более, кто же из этих ребят пойдет на такое разделение труда: я буду путешествовать, а ты за меня трудись, читай со словарем каталоги! Пиши, показывай свою эрудицию, свой слог, а я подпишу! Не сделать ли наоборот?

Так рассуждал Леонид Иванович. Это были горькие рассуждения недовольного человека наедине с самим собой. Кое-что Дроздов даже сгустил. Но, когда отчет был составлен, Леонид Иванович по просьбе Шутикова охотно взялся просмотреть его — нет ли где ляпсуса. Отчет был пространный, под него подвели научную и историческую основы, и Леонид Иванович не нашел в нем погрешностей. «Здорово, черти, знают свое дело», — подумал он о составителях. Правда, в двух местах у него возникли сомнения, их следовало проверить и устранить. Но для этого нужно было взять литературу и заняться делом всерьез. И Леонид Иванович, поглядев некоторое время в сторону, усмехнулся и сам себе сказал, что это мелочи, чепуха.

— Отчет подходящий, — заявил он Шутикову, и тот, обмакнув перо в свои любимые зеленые чернила, подписал его, словно прострочил последний лист на швейной машинке.

Вскоре была выпущена серия труболитейных установок. Их смонтировали на нескольких заводах, принадлежавших двум министерствам, и потекла обильная продукция — такие же трубы, как та, в которую заглядывал когда-то Шутиков и на другом конце которой, по уверению Невраева, Павел Иванович видел некое солидное кресло.

Может быть, это кресло и ожидало его — кто знает? Но вот в другом случае острое зрение неожиданно подвело Шутикова. Он не рассмотрел одной важной детали.

Обнаружилось это спустя год и семь месяцев после ареста Лопаткина — в июне пятьдесят первого года.

Один из тех рядовых сотрудников министерства, каких усаживают в одной комнате по десять—двенадцать человек, а иногда выселяют вместе со столом даже в длинный министерский коридор, — один такой человек однажды, проверяя бумаги, установил, что по такому-то заводу за квартал набегает большой перерасход чугуна. Этот человек, чье имя так и осталось неизвестным, забил в своем отделе тревогу. Начали исследовать причины, затеяли переписку с заводом, и оказалось, что там уже около года работают на новых машинах, и трубы все время идут с небольшим отклонением от стандарта: если по государственному стандарту труба должна была весить тридцать два килограмма, то с завода шли трубы в тридцать четыре.

Тревога, разрастаясь, пошла по инстанции вверх. Начальник отдела сообразил сразу, в чем суть и чем это грозит; лицо его стало строгим, он взял нужные бумаги и позвонил Шутикову, прося принять его по чрезвычайному, экстренному делу.

Шутиков, конечно, принял его. Выслушал короткий доклад, негромко спросил:

— А вы не прикидывали, что получится по всем заводам?

— Я не запрашивал. Не хотелось шевелить это дело, Павел Иванович, до вашего распоряжения. Мы прикидывали ориентировочно. Вот... Получается цифра порядка сорока тысяч тонн. . .

— Пугаете! . .

— Да, да. Порядка сорока. . .

— А может быть, на остальных заводах не. . . Может, эти просто не освоили? . .

— На этом заводе толковый начальник цеха. Я верю ему. Говорит, что при данной системе охлаждения. . .

— А мы ведь отправили еще четыре машины другому ведомству. . . — вспомнил вдруг Шутиков.

— Наверняка и там, Павел Иванович, наверняка! Только не хватились еще. . .

— А хватятся — сразу же на нас свалят. А?

— Обязательно свалят!

— Хорошо. Я подумаю.

И Шутиков остался один в кабинете — какой-то весь мягкий, сияющий желтым золотом очков и коронок, словно погрузился в светлый сон. Никто бы не мог подумать, что он в эту минуту страдает. Он умеренно дымил папиросой и время от времени, надувая щеки, говорил: «Пф-пф-пф-ф-ф!» Затем он позвонил Дроздову, и Леонид Иванович сразу же пришел и пристально взглянул на начальника умными черными глазами.

Теперь, через полтора года после истории с Лопаткиным, Дроздов на вид был несколько другим: стал как будто еще меньше ростом, слегка пригнулся, словно вышел недавно из больницы. Отчетливо проступили его пятьдесят шесть лет, и нельзя даже было сказать, где начался этот страшный прорыв: время выступило сразу, по всему фронту. Желтизна лица стала темнее и суше, белые виски холодно светились, губы увяли, а во взгляде появился как бы нетерпеливый окрик старика. И было уже видно, что старик будет сухонький и властный.

В начале пятьдесят первого года внезапно умерла мать Дроздова — старуха семидесяти семи лет. И с этого момента перестал существовать молчаливый договор между Леонидом Ивановичем и Надей. Бабки не стало, и Николашка, сразу забыв о своих капризах, решительно перешел на сторону мамы, припал к ней всей своей маленькой любящей и встревоженной душой. Он обнимал ее платье, висящее на стуле, и замирал, прижав к лицу чуть пахнущий духами шелк. Отца он не понимал и побаивался. Леонид Иванович каждый вечер ходил по своим двум пустым комнатам, решая непосильную задачу, и, наконец, сдался. «Давай кончать», — шутливо предложил он Наде. Он до самого конца шутил, улыбался, обмениваясь с женой скупыми словами. Ни на миг не выпустил наружу свою тяжесть, которая гнула его. И они тихо, почти молча, прошли через все судебные инстанции и получили раз-

вод. Тут же Леонид Иванович переехал жить в гостиницу, а две комнаты, рядом с надиной, заняла новая, незнакомая семья — молодожены, начинающие жизнь.

Все эти события прошли, по мнению Леонида Ивановича, незаметно для окружающих. Всю свою историю с Надей он держал в строгой тайне. То, что выплыло наружу в связи с процессом Лопаткина, люди успели забыть, как, впрочем, и следовало ожидать. Сенсации быстро забываются, если их терпеливо пересидишь... Но след все-таки остался. «Остался влажный след в морщине старого утеса», — подумал как-то Леонид Иванович, глядя на себя в зеркало.

Вот какой человек вошел в кабинет Шутикова — старый и в то же время новый. Тот и не тот.

— Леонид Иванович... — сказал Шутиков и замолчал, отдуваясь. — Вы понимаете, какая штука, пф-ф-ф-ф... Паника здесь...

— Ну-ка... Что там за паника?

— Кто-то обманул нас с вами. Ученые прохлопали, а может. и скрыли... Или эти... Максютенко с Урюпиным. Трубы-то идут на два кило тяжелее! Сколько, по-вашему, могло набежать за год? Чувствуете?

Дроздов сел, забарабанил желтыми тонкими пальцами по столу.

— Обсуждали, обсуждали... Хвалили, хвалили, — с досадой проговорил Шутиков.

— Н-да... Находка для Госконтроля.

— Вы чего так смотрите? — Шутиков с подозрением, пристально взглянул, словно прицелился в Дроздова. — Не в карман же мы положили этот чугун!

— Там не посмотрят. Скажут, что-нибудь другое положили в карман... — Дроздов закрыл глаза и медленно открыл, с усмешкой. — Какой-нибудь эквивалент... материального или морального порядка...

Он пугал Шутикова. Сам-то он ничего не боялся. Ни один удар, даже специально направленный в Дроздова, еще не попадал в него. Он всегда умел стать так, чтобы его не задело. Правда, свалился один кирпич ему на голову — история с Надей и Лопаткиным. Зацепило вскользь и притом основательно. Но этого избежать было нельзя. Молодая жена и старый муж — вечная история!

— Что же вы предлагаете? — науверенно спросил Шутиков, и Леонид Иванович очнулся. Он успел, оказывается, улететь из кабинета, горькая память унесла его к далеким, невозвратимым вещам.

— Что я предлагаю? — переспросил он. Посоветываться надо. Мне думается, все-таки перерасхода нет.

Потом он остановился против Шутикова, закрыл глаза и медленно их открыл — умные, властные, насмешливые глаза.

— Плод, прижитый вне закона, может быть освящен законным браком. Надо поручить это дело попам.

Шутиков мягко рассмеялся: ему не нужно было разъяснять, кто такие эти попы. Он нажал кнопку в стене за спиной и, когда бесшумно вошла секретарша, весело приказал ей:

— Соедините меня с нашим митрополитом. С Василием Захаровичем.

На следующий день в этом же кабинете состоялось узкое совещание: Шутиков, Дроздов, Авдиев и Урюпин. Был вызван начальник того

отдела, где обнаружили беду, и он, на этот раз уже спокойно и обстоятельно, изложил всю историю. За сутки он успел связаться по телефону с заводами и теперь имел точные данные: перерасход чугуна составил шестьдесят тысяч тонн.

Цифра эта озадачила Авдиева, и он, нахмурясь, захватил нижнюю часть лица громадной крапчатой рукой, мясистой и сморщенной, как старая жаба.

— Опять наука нас подводит, — сказал Дроздов, сделав усталое лицо. — Одна машина принесла нам четыре миллиона убытку. Вторая вот. . .

Потом он посмотрел на Урюпина, тот ответил ему понимающим взглядом. Они, должно быть, уже разговаривали об этом чугуне.

— Я полагаю, Леонид Иванович, ничего страшного нет, — сказал Урюпин. Авдиев поднял голову и начал внимательно слушать. — Машина новая. Естественно, нельзя требовать от нее того, что давал ручной способ или машинная отливка в формы. Мы можем от руки сделать трубу еще легче, чем полагается по стандарту. Обточим ее на станке — будет даже экономия. Но ведь это одна труба! А машина дает производительность. . .

Урюпин воодушевился, и в голосе его зазвенела сталь. Шутиков посмотрел на Дроздова. «Хорошо ты его завел!» — сказали его затуманенные очками глаза.

— Полагаю, надо войти с ходатайством о замене существующего стандарта новым, — продолжал Урюпин. — Пересчитать надо. Узаконить этот фактический брак. . .

— Ты неточно выразился, перебил его с тонкой улыбкой Дроздов. — Брак бывает разный. . .

— Товарищ Урюпин, конечно, имеет в виду брак в смысле матримониальном, — вставил Авдиев, и сумасшедшее веселье запрыгало в его голубых глазах.

— Какие будут мнения? — спросил Шутиков.

— Я полагаю, что рассуждение инженера Урюпина здравое, — глухо заговорил Авдиев. — Через год-два, когда мы с его помощью дадим новый вариант машины, позволяющий удвоить выпуск труб, — тогда мы перекроем убытки по чугуну экономией на производительности. А потом мы ведь вес труб будем снижать! Так что перемена ГОСТа будет у нас временной. . .

— В общем, я согласен, — сказал Шутиков. — Я подпишу отношение в Комитет стандартизации. Если оно, конечно, будет хорошо обосновано. Полагаю, что наука не откажет нам в помощи. . .

— Металл транжирили вместе, — вставил Дроздов. — Вместе и ответ придется держать!

— Куда же денешься! — Авдиев весело развел руками. — Мы не можем отрываться, так сказать, от практических задач народного хозяйства.

— И медлить с этим нечего, — сказал Шутиков, поднимаясь, глядя на часы.

— Да, сегодня же «Спартак»—«Динамо»! Надо поспеть, товарищи! — заметил Дроздов.

Никто не почувствовал иронии в этих словах. Леонид Иванович, чуть улыбаясь, стал смотреть, как сразу все заторопились, отбросили

свои хозяйственные и научные заботы. Кабинет почти мгновенно опустел. Дроздов не спеша пошел следом за Шутиковым и свернул к себе. «Болельщики!» — подумал он и с усмешкой кашлянул.

Шутиков, как бы танцуя, легко сбежал по лестнице центрального подъезда. На нем крест-накрест играли свободные складки нового, но такого же светлого, как сухой цемент, костюма. Ботинки его — бледно-желтой кожи, с большими, крупными дырками — бесшумно касались ковровой дорожки, прихваченной к лестнице медными прутьями. Улыбаясь встречным, оборачиваясь и кланяясь, но не прерывая прямого и стремительного движения, заместитель министра промелькнул, вышел на широкий тротуар, оглянулся и собрался нахмуриться, но играющий бликами, словно мокрый, «ЗИМ» уже подкатил к гранитной обочине.

Шутиков хлопнул дверцей, уселся, выставив серый локоть, и машина, зашипев, дунув горячим ветром, с места набрала скорость.

Через минуту они уже неслись по улице Горького в общем неудержимом стаде машин, летящем к стадиону «Динамо».

«Чего же я боялся? — думал Шутиков. — Ведь меня что-то напугало в этой истории... Что? Чего это я вдруг голову потерял? Я же и сам мог увидеть, что перерасхода нет. То есть, конечно, есть, но ведь естественные причины... Через два дня принесут на подпись подготовленные расчеты и чертежи, разработанные институтом, и все получит свой нормальный вид!..»

Между прочим, Шутиков по опыту знал, что больше всего надо считаться с той тревогой, которой почти не чувствуешь. Неясное ощущение, похожее на то, что делается с человеком летом перед грозой, всегда отражает большую опасность. Шутиков давно уже заметил: если отмахнешься от этого чувства — завтра обязательно откроется твой серьезный промах. Поэтому, когда мимо него вдруг пролетал слабый ветерок сомнения, Павел Иванович, узнав его, останавливал все и начинал думать, проверяя все свои дела.

Вот и сейчас он безошибочно узнал своего старого знакомого — это неясное чувство тревоги — и, выключив все, перебирал в уме свои дела. Все было в порядке. «Черт с ним, какая-нибудь мелочь, подумал Шутиков и привычно улыбнулся — так, как улыбается канатоходец во время своей опасной работы. — Черт с ней, с этой мелочью».

Он знал, что завтра эта мелочь придет к нему сама и снимет шляпу: «Вон я какая! Не так уж я мала!»

Футбол все же развлек его, подогрел. Когда матч окончился, Павел Иванович даже задержался около стадиона специально для того, чтобы покричать, вмешаться в чей-нибудь спор, послушать, что говорят знатоки. К нему подошли Авдиев и Тепикин — порозовевшие, чуть потные, с круглыми глазами, словно вышли из пивной.

— Видал Лапшина? — сказал профессор. — Что я говорил? Может он бить по воротам?

— Так, милый мой, какая была подача! Левый край что сделал! С такой подачей любой промажет! — возразил Шутиков, и они, блестя глазами, сразу же заспорили о том, как Лапшин обрабатывает мяч.

Продолжая спорить, они сели все трое в машину Шутикова и влились в автомобильное стадо, которое в облаке бензиновой гари неслось теперь от стадиона к центру.

За Белорусским вокзалом, на улице Горького, их вдруг бросило вперед. По всей улице пронзительно закричали тормоза. Шофер выругался: «Куда, куда тебя несет! Чурка!» Шутиков выглянул и увидел вдали виновника всей этой сумятицы: перебежав улицу, он спокойно шагал по тротуару. Человек этот был коротко острижен, лицо его потемнело от загара, он был в кирзовых сапогах, в военной гимнастерке, почти белой от многих стирок и от пота, и за спиной нес небольшой вещевой мешок.

Машина тронулась, человек этот остался позади. И внезапно притихший Шутиков, стараясь рассмотреть его, резко обернулся, налег на спинку сиденья.

— В прошлое воскресенье вот так же был забит торпедовцами второй гол, — снова начал Авдиев, думая, что Шутиков обернулся к нему и хочет продолжить интересную беседу.

— Погодите... Товарищи, минуточку, — остановил его Шутиков. — Вы ничего не заметили? Ничего? Ведь это был Лопаткин!..

И все сразу умолкли. После долгой паузы первым пришел в себя Тепикин. Он хитровато улыбнулся.

— Думается, вы ошиблись, Павел Иванович... Выдаете, так сказать, желаемое за сущее.

— Вот-вот! — Авдиев засмеялся. — Желаемое!

— Мне показалось, что это он.

— Вы про этого? Что улицу переходил? В гимнастерке? — Авдиев на миг оцепенел, потом махнул рукой. — Какой это Лопаткин!

— Нет, это, конечно, не он, — сказал Тепикин. — Но что-то в нем было... Я тоже заметил.

— Изволите пугать, товарищ Тепикин? — Авдиев подмигнул.

— Чего же не попугать? — И Шутиков улыбнулся дружески, мягко, чувствуя при этом, как заныла в нем та же самая тревога. Только теперь она стала определеннее.

— Я не верю в привидения. — Авдиев, смеясь, откинулся на мягкую спинку, запустил пальцы в желто-белую кудрявую шевелюру. За ним громко, но немного искусственно рассмеялись Тепикин и Шутиков.

Рассмеялись и умолкли. О футболе уже никто не говорил, и Шутиков заметил это. «Ага!» — подумал он. На секунду глаза его как бы заострились, и опять их заволокло дружеским приветом.

— Да, кстати. Вот вы, Василий Захарович, говорили сегодня что-то о новой машине, — начал он. — Это что — мечты далекой бедной девы?

— План, а не дева! Кто нам помешает перейти на безжелобную отливку? Или на конвейерную подачу изложниц?

— За границей, по-моему, это начинает входить в моду... В последнюю поездку я видел что-то похожее... Флоринский уверяет, что здесь приоритет Лопаткина.

— Приоритет! — Тепикин развел руками, посмотрел недоумевающе. — Ведь у нас все-таки, товарищи, нет монополий. Изобретение заявлено и принадлежит государству. А государство это кто? Это же мы с вами! Министерство, институт, завод — все это государство. Государство, оно может распоряжаться тем, что ему по праву принадлежит?

— Смотрите. А то проищете опять два года. Со своими этими... вариантами. Вы любите капитальные исследования! — И Шутиков, говоря это, встретился глазами с Авдиевым.

— И на правильном пути бывают ошибки, — возразил Тепикин.

— Вот так, товарищи. Давайте скорей хорошую машину. И поменьше бы ошибок. Если есть что толковое у Лопаткина, творчески используйте. Тепикин говорит правильно! Имейте в виду, если мы накинем в стандарте два кило на трубу, то это нам разрешат не больше как на год-полтора. Никакой ваш Саратовцев не докажет, что нужно выбрасывать два кило чугуна на каждой трубе. В общем, вот так. Разрабатывайте.

На Пушкинской площади Тепикин и Авдиев вышли из машины. «ЗИМ» свернул на бульварное кольцо, и Павел Иванович опять словно бы заснул с привычным, светлым выражением на лице. «Вот чего ты боялся, — шепнул ему внутренний голос. — Случайных прохожих принимаешь за этого изобретателя!.. Было бы не очень весело, если б это оказался он. Вот где твой страх! Вот почему ты перепугался, когда услышал об этих тысячах тонн чугуна... А, чепуха! — И он подставил ветру растопыренные пальцы. — Все сгорело. Акт есть!»

2

Шутиков и его спутники знали твердо, что стриженый человек в гимнастерке ни в коем случае не мог быть Лопаткиным. Если они и призадумались, то лишь потому, что прохожий с мешком слегка напоминал Дмитрия Алексеевича. Он сделал ясными их скрытые, смутные тревоги, навел на мысль о том, что надо поспешить с некоторыми неоконченными делами. Он хорошо их встряхнул, сам того не подозревая.

Но самое важное обстоятельство в этой нечаянной встрече ускользнуло от них: это действительно был Лопаткин.

Недели две назад в далекий сибирский лагерь, где он был заключен, пришло из Верховного Суда уведомление о том, что приговор трибунала отменен и дело прекращено за отсутствием в действиях осужденного состава преступления. Тут же Дмитрий Алексеевич был вызван с участка, где он соединял электросваркой железные прутья арматуры на строительстве огромного моста. Ему дали денег на дорогу, дали справку, и по глубокой колее, накатанной самосвалами, он вышел из ворот на свободу.

В Москву он приехал в тот самый день, когда на стадионе «Динамо» состоялся футбольный матч. Он заметил громадную афишу: «Динамо» — «Спартак» — и улыбнулся. Ничто не изменилось, Москва осталась Москвой. Комсомольская площадь была так же велика, как два года назад, люди на ней так же малы, так же их было много и двигались они до того постоянными потоками — от вокзала к вокзалу, — что Дмитрий Алексеевич вдруг усомнился, действительно ли прошло полтора года.

Он спустился в метро и вышел у Кропоткинских ворот; и здесь все было таким же, как и полтора года назад. Те же троллейбусы, те же дома и все тот же деревянный забор вокруг котлована с фундаментом Дворца Советов. Постояв под колоннами станции метро,

окинув взглядом всю площадь, Дмитрий Алексеевич словно бы раскрыл крылья и радостно взвился к небу, как выпущенная на волю птица. Улыбаясь, нетерпеливо и счастливо покашливая, он побежал, окунулся в знакомые переулки. Как сейчас встретит его Евгений Устинович? «Профессор, снимите очки-велосипед! Это я приехал!» — приготовил он грозно-веселое приветствие и свернул в Ляхов переулок.

Он никогда не задумывался еще над тем, что время может стоять на месте, но может и бежать. Если смотреть на ручные часы, то оно течет неуловимо, как часовая стрелка. На большом уличном циферблате оно неподвижно стоит, потом — прыг! — и уже стрелка на новом месте! Дмитрию Алексеевичу предстояло увидеть такой скачок времени.

Войдя в *свой* переулок, он поднял голову и замер. Старинного деревянного особняка не было. Он исчез. Вместо него рядом с высоким серым домом была разбита большая круглая клумба, вся в красных, оранжевых и желтых цветах. Вокруг нее полукругом были поставлены четыре решетчатые скамейки. На них сидели няньки и матери, каждая около своей коляски с младенцем, и у ног их копошились в красной земле дети. А дальше был — как на ладони — открыт двор с сараями и голубятнями.

Да, полтора года все-таки прошло! Постояв против клумбы некоторое время, окинув взглядом соседние каменные дома, Дмитрий Алексеевич пересек мостовую и, все еще не веря глазам, шагнул на посыпанную толченым кирпичом дорожку с таким чувством, как будто он вступил под невидимую крышу. Он сел на скамью рядом с молодой курносой толстушкой домработницей и посмотрел на нее в упор.

— По-моему, здесь был дом...

Толстушка подумала, видимо, что с нею хотят завести знакомство, повела плечом и отвернулась.

— Был, был, — ответила пожилая женщина с другой скамьи. — Сгорел. Зимой прошлой.

— А что случилось? Почему — не знаете?

— Старичок один, говорят, профессор, с огнем возился. Опыты, видать, делал. Задремал или что — от его комнаты огонь пошел. В два счета весь дом занялся. Ночью. Как еще успели барахлишко повыкинуть.

— Ну, а старичок?..

— Старичка вытащили. Жильцы вовремя хватились, а то к нему бы уж и не добраться. Вытащили, вытащили... На воздухе он быстро в сознание пришел, кинулся сразу в огонь: деньги, видать, у него были спрятанные. Скупой был старичек, в заплатках, а деньги-то у него водились. Люди удержали, чего ж тут — весь пол сгорел, провалился. «Под полом!» — кричит, а пола-то уж нет...

Дмитрий Алексеевич ничего не сказал на это. Он долго еще сидел на скамье, слегка склонив голову набок, и большая клумба тлела перед ним, как груда догорающих углей.

В три часа дня он поднялся, вскинул на плечо свой мешок и не спеша побрел по переулку, который теперь стал для него чужим. Миновав Арбатскую площадь, он пошел бульваром к Никитинским воротам. Здесь он вдруг увидел столовую и полтора часа обедал, сидя за столиком около окна, глядя поверх занавески на яркую июнь-

скую улицу, медленно обдумывали свои дела. «Почему не было писем ни от него, ни от нее? — думал он, медленно шевеля ложкой в супе. — Правда, я переменил за это время несколько мест, и притом дело далекое, письмо туда быстро не дойдет, — поспешил он оправдать Надежду Сергеевну и профессора. — Но все-таки интересно — писали они мне?»

Потом он задумался над другим делом: с чего начинать? И на миг им овладело сладкое мстительное чувство. Он решил неожиданно появиться в институте. «Здравствуйте, товарищи! Нельзя ли мне получить мои документы?» Нет, это было не то. «Позвоню по телефону Невраеву!» — решил он. И ему отчетливо представилось: он звонит по телефону, Невраева нет, и он просит передать Ваде, что звонил Лопаткин. «Нет, так действовать не годится, — тут же оборвал он эти веселые мысли и помрачнел. — С ними не шутить надо».

Пообедав, он пошел дальше — к Пушкинской площади, чуть опустив голову, продолжая обдумывать свой план. «Собственно обдумывать нечего, — спохватился он вдруг. — Я уже иду к ней!» И внутренний голос, недоверчивый и смущенный, сейчас же принялся пугать его: «Зайду к ней, а она одумалась... все-таки семья, ребенок и все прочее. Ну, а мне что? Мне же и нужно всего-навсего узнать. И до свидания! Больше ничего!»

На Пушкинской площади он остановился, посмотрел направо, налево. Все было так, как будто он был здесь только вчера. Затем Дмитрий Алексеевич свернул на улицу Горького и так же медленно побрел к Ленинградскому шоссе. «Ну хорошо, — думал он. — Прежде всего надо взять документы и чертежи. Только вот где они? Чертежи все-таки добудем. Не здесь, так в другом месте. Напишу Араховскому! Араховский скопирует. А вот переписка... Если она пропала, дело будет хуже...»

Миновав площадь Маяковского, Дмитрий Алексеевич хотел перейти улицу, чтобы сесть в троллейбус. Но по улице двигался от стадиона к центру плотный поток машин. «Ах да, ведь футбол!» — подумал Дмитрий Алексеевич и решил подождать. Прошло несколько минут. Лавина машин весело неслась по улице и не иссякала. Тогда он выбрал удобный момент и, смело форсировал препятствие. Несколько пешеходов бросилось за ним, и из-за них-то две или три машины резко затормозили, и по всей улице волной прокатился визжащий скрип тормозов. А Дмитрий Алексеевич даже не оглянулся. Подошел к остановке троллейбуса и встал в очередь.

Надежда Сергеевна работала в утреннюю смену и уже несколько часов была дома, когда на лестнице послышались шаркающие шаги. Человек потоптался, пошаркал около двери, нерешительно нажал кнопку звонка, и звонок так же нерешительно звякнул и затарахтел. Соседка пробежала из кухни в переднюю, щелкнула замком, и наступила тишина. Потом раздался стук в Надину дверь.

— Надежда Сергеевна, к вам!

Надя вышла. В полумраке передней стоял, сверкая белками глаз, высокий незнакомец, худощавый и меднолицый. Остриженные под машинку волосы его уже немного отросли, стояли густой белесой щетиной. Он был неподвижен, чего-то ждал, и в ту же секунду Надя узнала его. В передней, может быть впервые с того времени, как был

построен дом, раздались звонкие и частые поцелуи, и молодая соседка, которая знала все и поглядывала из кухни, поспешила закрыть дверь. Надя обняла Дмитрия Алексеевича, вернее, положила руки ему на грудь и на плечи и почувствовала идущий от его гимнастерки могучий запах рабочего — запах трудового пота и махорки.

— Дмитрий Алексеевич, не могу! — сказала она и уткнулась головой ему в грудь, виновато улыбнулась и пальцем вытерла под глазами.

Но вот прошли первые секунды радости. Надя спохватилась и с неловким, беспокойным чувством осторожно взглянула на Дмитрия Алексеевича. Да, это были только ее поцелуи, только ее слезы. Это только она бросилась на него, чуть не сбила его с ног. Надя зажгла электричество и, держа Дмитрия Алексеевича за плечо, за руку, стала рассматривать его обветренное лицо, говоря что-то радостное, какую-то неправду, потому что правда уже зародилась у нее иная. Сквозь все приличные для этого момента вздохи и восклицания смотрела другая Надя — любящая стыдливо и безмерно, но глубоко обиженная. С болью смотрела она на него, не находя в его лице долгожданного ответа, не понимая: что же это такое? Ведь полтора года не виделись, а он стоит и терпеливо отдает себя этим минутам встречи, помня о правилах внешней жизни, боясь, как бы чего не забыть из этих правил. А внутренний взор его уже горит нетерпением. Там накопилась какая-то другая страсть, какая-то готовность. И Надя вдруг все поняла. Та, любящая, которая должна была по велению природы победить этого человека, завладеть им, подсказала ей нужные слова.

— Ну пойдемте в комнату, — сказала Надя, светлея. — У меня есть для вас такие новости, что их нельзя откладывать ни на минуту.

И Дмитрий Алексеевич стал еще суровее. Он был готов ко всем новостям. За ними он и пришел. И она, почувствовав, что путь ее верный, взяла его за руку и мягко втолкнула в комнату.

У стула стоял чистенький мальчик в синих штанишках на помочах и в белой рубашонке с вышивкой. Он складывал из зеленых, красных и желтых кубиков дворец. У него было умное черноглазое личико — широкое в бровях, остренькое внизу, — лицо отца.

— Ах ты, разбойник! — сказал Дмитрий Алексеевич. — Здравствуй!

Но это тоже была дань внешним правилам. Сказав, что следовало сказать малышу, Дмитрий Алексеевич сел на свободный стул и приготовился слушать новости.

— Я не разбойник, — отчетливо и спокойно сказал Николашка. Но чужой дядя уже не слышал этого.

Взгляд Дмитрия Алексеевича рассеянно скользнул по знакомой комнате, и вдруг он увидел у стены свою чертежную доску — «комбайн», подаренный ему когда-то профессором.

— Ого, старый приятель! — Он вскочил, шагнул к доске, и Надя, которая теперь с тревогой следила за ним, заметила, что в нем ожил прежний Дмитрий Алексеевич.

— Да, это Евгений Устинович для вас просил сохранить . . . — сказала она. — Ах, с ним такая беда . . . Даже не знаю, как начать . . .

— Я был там. Мне сказали, — проговорил он.

— А вы знаете? .. Ведь он умер ...

Дом не обрушился от этой новости, и день не потемнел. И Дмитрий Алексеевич встретил эту весть без содрогания. Как и там, на скамье перед клумбой, ум его оцепенел, не принимая этой перемены в жизни.

— Я его к себе взяла, он у меня жил почти год, — задумчиво рассказывала Надя. — Ничего не восстановил из своих изобретений, не пытался даже. Только о чертежной доске заботился, просил сохранить для вас. Тихий какой-то стал. И еще — напряженный, все время казалось, что он дрожит. По ночам почти не спал. Галицкий был здесь, настаивал, чтобы он занялся своими делами. Обещал помочь. А Евгений Устинович, знаете, что сказал? Ясно так, в первый и последний раз: «Это никому не нужно. Ни изобретения, ни ваша помощь. Огонь опередил нас с вами, похитил секрет своей гибели». Видите, даже шутил. А потом у него отнялась левая сторона ... Через несколько дней после отъезда Галицкого. Лежал спокойно — три дня или четыре. Вас упоминал, еще сказал несколько раз: «Человек умер полностью. Обе половинки. Никакого следа ...» И вот осталась чертежная доска... Мы ее с Николашкой каждый день вытираем. Бережем для Дмитрия Алексеевича память о дедушке Бусько.

— Спасибо, — тихо сказал Дмитрий Алексеевич. И его усталые, глубоко посаженные глаза остановились на Наде, постепенно теплея. И он обнял ее! Но это он благодарил ее за дружбу и за память о старике Бусько.

Тогда Надя выпрямилась, спокойно подошла к этажерке и вытащила зажатый между книгами портрет Жанны Ганичевой.

— Вот еще я для вас у него взяла. Как только вас арестовали ... Что это меня надоумило? — беспечно проговорила Надя, посматривая на него. — Мог ведь сгореть!

Дмитрий Алексеевич взял портрет.

— Да ... Евгений Устинович ... — сказал он. Мельком взглянул на портрет и рассеянно положил его на крышку пианино.

Что-то отрадно дрогнуло в Наде. Но глаза Дмитрия Алексеевича снова стали суровыми. Прежний живой и даже влюбленный человек опять ушел куда-то. Он ушел от Жанны, но ушел и от нее, чуть виднелся где-то вдали. А на месте его сидел каменно-твердый исполнитель долга, глядящий сквозь пальцы и на смерть и на жизнь. Длинная дорога, уставленная верстовыми столбами, поглотила его, и он стал вечным ее ходоком. Он упорно, спокойно шел по ней и сейчас, и впереди него туманились безразличные пространства — большие, чем те, что он пересек.

— Да, так вы говорите, новости? — спросил он голосом этого ходока, глядя только вперед, на дорогу, находясь целиком во власти привычного движения.

А женщина сверкнула на миг глазами и тут же их погасила. Стала тихой, мягкой ...

— Дмитрий Алексеевич... — Она подошла к нему сзади. — Я вижу, вы сидите здесь ... — с каждым словом она нажимала ему мягкими руками на плечи, — и думаете, наверное, с чего начать ... А? Я ведь вижу ... — Надя запнулась, порозовела. Потом приблизилась к его уху и шепнула: — А машина уже работает! Честное слово! Хорошо

работает! Два или, кажется, даже три месяца. Уже об этом знают многие. И еще строятся две! Еще!

Дмитрий Алексеевич не вскочил, не подпрыгнул. Он только наклонил голову, как бы прислушиваясь, сказав: «Ага-а!» У него не раз уже бывали удачи, приливы, после которых он опять оставался на мели.

— А где, вы говорите, работает машина?

— На Урале. У Галицкого!

— Так-так. . . Ну-ну, рассказывайте.

Оказывается, Галицкий, приехав однажды в Москву, узнал обо всем, позвонил Наде, а потом явился и собственной персоной прямо на квартиру. Надя часа три рассказывала ему всю историю, а он ерошил свою бесформенную, как у нестриженного мальчишки, шевелюру и водил глазами. «Вот так», — и Надя повела глазами на потолок, потом на дверь и уставилась в пол.

— Ну и что, значит, вы говорите, машина работает? — перебил ее Дмитрий Алексеевич.

— Ну конечно же!

И она продолжала рассказывать, торопясь, время от времени захватывая воздух для новой фразы. А он смотрел на нее, как в окно, за которым туманился далекий Урал. Галицкий, выслушав трехчасовой подробный рассказ Нади, ни разу не перебив, вдруг спросил: «А где живут эти — Крехов и Антонович?» Надя этого не знала, но дала ему номер телефона. «Попробуем что-нибудь сделать», — сказал Галицкий. Потом вдруг вскочил и стал прощаться. «Да у вас ведь телефон! Можно, — говорит, — позвонить?» Вышел и стал набирать телефон института. Вызвал Крехова. «Товарищ Крехов? Очень хорошо. Говорит с вами некто Галицкий. Ну, раз вы знаете меня, тем лучше. Давайте встретимся с вами. Приходите ко мне, — говорит, — в министерство вместе с товарищем Антоновичем. Вы не возражаете против «левого» заработка? Вот я вам и Антоновичу дам хороший договорный проект. Нет, чепуха, — он так сказал, — это вы за недельку... Будете по вечерам прихватывать часа по три, и все... Приезжайте. Кончатся занятия — и сразу ко мне».

— У нас же был готовый проект! — перебил ее Дмитрий Алексеевич. Он уже горел, уже сиял, как тогда, в лучшие свои голодные, но веселые дни.

— Все чертежи сожгли, — сказала Надя. — Комиссия во главе с Урюпиным.

— Ага! . . — сказал Дмитрий Алексеевич, темнея. — Ну-ну, я слушаю . . .

Крехов и Антонович отлично все поняли и вместе с Галицким сделали несколько основных листов эскизного проекта за двенадцать дней. Прихватывали, правда, не по три часа, а часов по шести. Ночами работали все трое в комнате у Нади. А Надя подавала им чай и выбрасывала окурки из пепельницы. А Евгений Устинович, белоголовый, тихий, сидел в валенках около батареи и смотрел на них, не веря ни во что.

Галицкий увез эти листы и на свой страх и риск приказал заводским конструкторам закончить проект и построить на заводе первую машину. Оказывается, Галицкий применил принцип машины Дмит-

рия Алексеевича и построил установку для литья одного из тех «тел вращения», о которых когда-то шла речь у генерала. Завод у него громадный — через два месяца машину уже установили на фундамент в литейке и опробовали. Надя была там, на заводе, и видела все. Машина сразу же стала давать правильные отливки, начала выталкивать их одну за другой. Народ собрался — у Нади рука заболела от пожатий. Но конвейер, или питатель, как его там назвали, оказался маловат, и изложницы быстро перегрелись. Это был просчет самого Галицкого. Через неделю увеличили длину конвейера — и с тех пор машина работает в три смены, без остановки. Галицкий говорит, что она заменила целый участок в литейном цехе. Он послал подробный доклад своему министру. Все расходы были утверждены, и Крехов с Антоновичем получили свой гонорар, которого они, правду, говоря, не ожидали.

— Они, конечно, сидели ночами не для того, — сказала Надя. — Они все подтрунивали над этим гонораром. «Как бы не пришлось, наоборот, с вас, товарищ Галицкий, если машина не пойдет». А Галицкий помалкивал и торопил их. Торопил — и сам, как машина, работал, молча. Он — на столе, Крехов — на этой вот чертежной доске, а Антонович — свою принес. На кровать уложил и чертил.

— А как эти... наши друзья? Живы и здоровы? — спросил Дмитрий Алексеевич.

— Здоровы. Машину свою в газетах все время хвалят. Завод, по-моему, строят. Шутиков за границу уже два раза ездил.

— А про нашу они знают?

— По-моему, нет еще. А узнают — не страшно. Машина уже в работе!

— Говорите, хвалят в газетах? Как же так? Кое-что, значит, скрывают. У них на этих машинах все гладко идти не может... Так что нам, Надежда Сергеевна, еще предстоит...

— Неужели еще?.. — И Надя сразу словно бы осунулась. Она верила теперь всем предсказаниям Лопаткина. — До каких же это пор, Дмитрий Алексеевич!

— Чья возьмет на этот раз — мы еще посмотрим, — сказал Дмитрий Алексеевич, угрожающе глядя в сторону. — Но драться они будут. Не могут иначе... Работающая машина, а теперь, как вы говорите, их будет три — три наши машины станут против их завода, и сразу все будет ясно. Гласность, спор, сравнение — все это для них крест, скандал. Придется списывать миллионные убытки, а за это, знаете, иногда по шапке дают. Как только они узнают про нашу машину, — сразу что-то начнут придумывать, это наверняка...

В эту минуту Николашка, который не спускал глаз с гостя, оставил свои кубики, нерешительно оторвался от стула, подошел и остановился против Дмитрия Алексеевича.

— Вы Дмитрий Алексеевич? — спросил он.

— Я! — сказал Лопаткин.

Мальчик подошел ближе.

— Вы были в далеком путешествии? Правда?

— Правда. В очень далеком...

И мальчик отошел, задел локтями свой дворец, и кубики с грохотом посыпались со стула. Собирая их, ползая по полу, Николашка

о чем-то размышлял и изредка поглядывал на Дмитрия Алексеевича черными умными глазами — глазами Дроздова.

— Поди, Коленька, погуляй во дворик, — сказала ему мать.

— Я вырасту большой и тоже поеду в далекое путешествие — ответил он.

— Ох, лучше не ездить. — Надя со слабой улыбкой посмотрела на Дмитрия Алексеевича.

Он ответил ей таким же взглядом.

— Путешествий бояться не надо. Кто боится путешествий, тот, конечно, не поедет. Но он и не уйдет далеко!

Он замолчал, задумался и машинально вытащил из кармана кисет, сшитый из рукава старой гимнастерки. Достал сложенную книжечкой газету, оторвал листок, спохватился и встал.

— Курите, курите, пожалуйста!

— Нет, я выйду...

— Да нет же, курите здесь. Мне хочется с вами сидеть и говорить...

— Нет, я в коридоре. И позвоню Захарову. Как по-вашему, надо?

— Они вас ждут. Мы думали, что вы приедете раньше.

Дмитрий Алексеевич свернул цыгарку корявыми, мозолистыми руками, вышел в коридор, там чиркнул спичкой и, прислонясь спиной к стене, несколько раз подряд глубоко затянулся дымом. И как все курильщики, он выдал себя этими частыми затяжками. Украдкой наблюдая за ним, Надя видела не простые затяжки курильщика, а скрытые от людей вздохи — те вздохи, у которых нет дна. Леонид Иванович — тот курил гораздо спокойнее, это Надя заметила еще там, в Музге.

Большая, толстая цыгарка, несколько раз мигнув красным огоньком, догорела до пальцев, покрытых на концах коричневой коркой. Морщась, Дмитрий Алексеевич докурил ее, погасил о подошву сапога, вышел в кухню, вернулся и снял трубку телефона. Цыгарка успокоила его, как материнская рука.

Но спокойствия его хватило лишь на полминуты. Он набрал номер, услышал басистое «да», и рука его сильнее сжала трубку, а голос задрожал:

— Товарищ Захаров! Это я! Это Лопаткин говорит. Лопаткин, который...

— А-а-а! — радушно заревела трубка. — Наконец-то! Здравствуйте, товарищ Лопаткин! С приездом! Мы уже месяц целый вас ждем. Как здоровье?

— Здоровье неплохо, товарищ Захаров!.. Я слышал, машина построена.

— Да-а! — задорно отвечал Захаров. — Еще бы! Она уже внесла так сказать, поправку в наш промфинплан! Так что же нам по телефону... Приезжайте! Давайте завтра утром. Я шоферу скажу. Вы где остановились?

— Еще пока нигде не остановился. Я так приеду.

— Что значит «так»? Вы утром позвоните мне, и я подошлю! Договорились? Так до завтра! Жму руку! Будьте здоровы.

Повесив трубку, Дмитрий Алексеевич опять прислонился к стене и стал свертывать новую цыгарку. Он закурил, пустил дым к потолку, и Надя, стоя в дверях, сказала ему как бы шутя:

— Вижу, вы теперь не следите за нормой...

— Последняя, — сказал Дмитрий Алексеевич.

Когда он докурил, Надя опять, взяв за руку, легко втолкнула его в комнату.

— Я кое-что поняла из вашего разговора. Как это так, не остановились нигде? А у меня?

— Я думал, может быть, неудобно?

— Боитесь меня скомпрометировать? — весело сказала Надя. В эти слова было нечаянно вложено что-то такое — какое-то грустное воспоминание, и Дмитрий Алексеевич постарался ничего не заметить.

— Вы что-то все оглядываетесь, — сказала Надя. — Его здесь нет. Он давно уже здесь не живет. Так что можете располагаться у вашего соавтора, как дома.

Мимоходом Надя взглянула на себя в зеркало, и оттуда на нее глянуло похудевшее и настороженное, странно белое лицо с большими темными глазами.

Они сели друг против друга. Наде показалось, что Дмитрий Алексеевич украдкой посматривает на нее какими-то горящими глазами, и она опустила ресницы, чтобы не мешать ему. Ей многие говорили, что у нее за эти годы появилась новая, грустная красота. «Если она действительно появилась, пусть помогает мне», — подумала Надя.

Немного погодя она, затаив дыхание, взглянула на Дмитрия Алексеевича. Оказывается, только ей одной было тесно в этой комнате. Он уже чувствовал себя здесь, как дома. Достал блокнот и, прикусив губу, смотрел в него теми же горящими глазами.

— Что это у вас — тихо спросила Надя.

— Кое-какие мысли. Эскизик небольшой. — И он, счастливо покраснев, спрятал блокнот в карман гимнастерки.

— Это вы там сделали?

— Там, — ответил он и улыбнулся. — Как видите, слова «лишение свободы» неточны. Кто научился думать — того полностью лишить свободы нельзя.

— Ну, и что вы там надумали?

— Так, небольшую вещь... Если наша машина действительно пойдет... В общем, автоматический цех по производству труб. Знаете, я убедился,

— В чем?

— Прав Евгений Устинович. Прав Араховский. Мыслитель не может не думать. Когда человек долго упражняется, перебирает в уме какой-нибудь клубок вопросов, он постепенно достигает совершенства в этой области. И тогда что-то растормаживается в голове и наступает цепная реакция. Одна мысль рождает другую. Это целый мир. Я вижу огромные возможности. То, что раньше мне казалось решением только частного вопроса, в действительности ключ ко многим большим делам. В перый раз я задумался над этим, когда вы мне подали мысль о двуслойных трубах. Помните? Я тогда увидел вдруг краешок того, что там открылось мне полностью. Так что естественно: когда тебя посетит такая мысль, разве можно сидеть и горевать о том, что твое физическое передвижение ограничено забором? Наоборот: Я там был свободен от этой дурацкой переписки, от всех этих обвинений в клевете, в корысти, в лжеизобретательстве. Сидишь

себе высоко-высоко на ферме моста, вверху — небо, внизу — река, пороги. Электричества нет. Что-то случилось с трансформатором. Слезать вниз нет смысла. Вот и думаешь, пока внизу чинят. Два часа! Или вечером сядешь около барака . . .

Да, это был человек, в котором чуткая готовность к бою стала привычкой.

«Ничего», — сказала себе Надя, ласково посмотрев на его спину, обтянутую белой вылинявшей гимнастеркой, и ушла на кухню ставить чайник. Там она немного замешкалась, а когда вернулась, то можно было бы заметить, что губы ее с помощью соседкиной помады стали чуть-чуть краснее, самую малость, а лицо как будто стало матовым, хотя родинка на щеке оставалась такой же милой и бархатистой.

— Ну? — сказала она, глядя на него и слегка краснея.

Вопрос этот был задан оттуда, из другой жизни, и Дмитрий Алексеевич его не услышал.

— Что «ну»? — спросил он, смеясь. — Вы же не закончили свой рассказ! Закончите, тогда наступит моя очередь.

— Ну-ну, прозвучал тот же голос, и Надя, сев против Лопаткина, стала рассказывать. Это была уже новая глава в ее рассказе — о том, как и почему Дмитрий Алексеевич был освобожден.

Одним из первых героев этой главы, неожиданно для Лопаткина, Надя назвала Андрея Евдокимовича Антоновича. Оказывается, в тот час, когда он вместе с Максютенко спускался в котельную, чтобы по решению комиссии сжечь два мешка документов, им овладел вовсе не страх, как это показалось Максютенко. Бояться, собственно нечего было. Боялись Максютенко и Урюпин. У Антоновича ноги подкашивались по другой причине: он слышал, что Надя просила выдать ей папку с несекретной перепиской Лопаткина и что ей отказали. Во время работы комиссии он осторожно заговорил об этом и Урюпин, громко гогоча, поднял его на смех. Антонович знал, что в папке не только свобода — вся жизнь Дмитрия Алексеевича. И притом у него было свое мнение по поводу этой истории: он считал, что Лопаткина осудили неправильно. Теперь, спускаясь в котельную исполнять то, что он недавно подписал, Антонович чувствовал, как у него слабеют ноги. Но это была слабость особого рода. В душе Андрея Евдокимовича родилось мужество, и оно-то раскачивало и толкало из стороны в сторону этого неподготовленного, хилого и молодящегося человека.

Он сам не знал, для чего ему понадобилось бегство из котельной, но когда Максютенко завел разговор о лампочке, что-то подбросило Андрея Евдокимовича. Он убежал — и не для того, чтобы искать лампочку, — ноги вынесли его кратчайшим путем к воротам. Он мелко затопотал по мокрому асфальту Спасопоклонного переулка. На углу взял такси и через пять минут был около того здания за решетчатой оградой, где помещалась военная прокуратура и трибунал. Здание было словно опущено в самую глубокую тень ночи. Оно поразило Антоновича своей нежилой затемненностью — в нем как будто не было окон. Андрей Евдокимович поднялся по пустынной лестнице на второй этаж трибунальской половины. У входа в полутемный коридор его встретил солдат с винтовкой. В трибунале, оказывается, никого не было. Работа окончилась, все разошлись по домам.

— Телефон, молодой человек, телефон! — горячо зашептал Андрей Евдокимович. — Домашний телефон председателя!

Но солдат не мог ничем ему помочь. Он посоветовал обождать, когда придет с ужина сержант. Минут сорок, не больше.

— Что делать, что делать? . . — Андрей Евдокимович прошелся несколько раз по площадке и вдруг быстро-быстро загремел по лестнице вниз. Машина ждала его у ворот.

— Спасопоклонный, — коротко приказал он. — И быстрее, пожалуйста.

Когда начали жечь бумаги, Антонович прощупал мешок и сразу узнал твердый выступ — толстую тяжелую папку. Если бы он не нашел ее здесь, он бы перешел к другому мешку. Но она была здесь. Он сунул ее подальше в мешок и затрясся, чуть ли не заплясал от лихорадки. Потом он достал опять и уронил эту папку в тень, наступил на нее. Затем отодвинул ногой назад, к загородке с углем, а через несколько минут незаметно бросил ее туда, за дощатый борт, и проворно завалил углем. Сразу в нем все запело, и вот здесь-то пришел Урюпин, и Андрей Евдокимович сказал ему свои гордые, исторические слова о порядочности.

Весь следующий день Андрей Евдокимович то и дело спускался во двор, к котельной, похаживал там, а иногда даже заглядывал вниз, к истопникам, прикурить. Молодой рабочий ни о чем не догадывался. А старый истопник, по фамилии Афончев, смекнул что-то и однажды молча вышел вслед за Андреем Евдокимовичем и во дворе так же молча, вытянув шею, уставился на него. Старик, наверно, решил, что речь пойдет о каком-нибудь неплановом заработке. Он еще больше уверился в этом, когда Антонович пригласил его сходить на уголок. В пивной они заняли отдельный столик в углу, Антонович заказал все, что полагается. Афончев выпил раз, выпил два и, чем дальше шло дело,становился как будто все трезвее и все осторожнее вытягивал шею. Наконец Андрей Евдокимович спросил: «Ты мне веришь»? — «Как же не верить?» — возразил Афончев и насторожился. И тогда Антонович рассказал ему по порядку все. Сначала о том, кто такой Дмитрий Алексеевич. Затем о его машине, о том, что машина нужна для государства. «Ты понимаешь?» — спросил он. «Еще бы!» — ответил Афончев. Тогда Андрей Евдокимович, как мог, стал объяснять ему историю борьбы Дмитрия Алексеевича. Здесь он запутался, и истопник положил на его рукав свою темную от угля, правдивую руку. «Ты скажи короче, Андрей Евдокимович. Скажи, не бойся, не виляй». И Антонович, посмотрев в сторону, еще раз взглянул на безразличное и потому страшное лицо истопника, решился, сказал о папке. «Вона что!» —протянул Афончев. Андрей Евдокимович засуетился, хотел еще сказать что-нибудь, но Афончев остановил его. «Сейчас я на работе. Завтра вечерком приходи ко мне на квартиру. Я живу далеконько, но ничего, на метро, потом на трамвае — доедешь. Там и поговорим». Антонович с готовностью выхватил карандаш и записал адрес. Допили остатки, простились и разошлись.

На следующий вечер Антонович сидел в теплой и тесной комнатушке истопника. Афончев был чисто умыт, причесан, приветлив и осторожен. Папка, которую он, по его словам, без лишних разговоров

капитулировал из котельной, лежала на столе. Перелистав множество жалоб Дмитрия Алексеевича и ответов на эти жалобы, полученных из разных канцелярий, и показав Афончеву отзывы академика Флоринского и доктора наук Галицкого, Андрей Евдокимович наконец почувствовал, что в старике что-то повернулось, что он все понял и даже на что-то решился. На что — это осталось неясным. Афончев принес из кухни чайник, достал из-под оконной занавески четвертинку и ударил ладонью по столу: «Ну, хватит о делах. Будем чай пить». Было выпито много чашек чаю, но Афончев так и не проговорился. «Я сделаю все, что надо, — сказал он, — не бойся».

А решил он вот что. Старик он был осторожный и поэтому не отдал папки Антоновичу. «А вдруг дело повернется не так». Но он не отдал папки и в институт, потому что уж очень было похоже на правду то, что говорил этот причесанный инженер в узких брючках и с галстучком. Он решил отослать папку в военный трибунал, считая, что Надя по своей доверенности там ее и получит, если все, что говорил Антонович, правда. Но так как старик был не только осторожен, но и соображал кое-что, то он прикинулся темноватым мужичком и, готовя папку к отправке в трибунал, приложил к ней такую бумагу:

«В Ревтрибунал от Афончева Прохора Васильевича, проживающего в поселке Хлебозавода, Новые дома, корпус 6, кв. 2 — заявление. Я, Афончев Прохор Васильевич, работая истопником в котельной института «Гипролито», в ночь на пятое ноября, будучи набирая угля из ящика, нашел секретное «дело» Лопаткина, сужденного Ревтрибуналом. О чем и сообщаю для Вашего сведения и препровождаю при настоящем заявлении «дело» Лопаткина, по ошибке комиссии, как полагаю, попавшее в ящик с углем. Афончев».

Истопник сам отнес пакет в трибунал. Секретарь, распечатав самодельный конверт, прочитал «заявление» и сразу же пошел докладывать председателю трибунала. Афончеву было приказано подождать, и он, играя свою роль, смирненько сел на край стула. Вскоре его вызвали к председателю. «Говоришь, дело Лопаткина принес?» — весело закричал ему седой подполковник. «Так точно, товарищ полковник», — ответил Афончев. «Какое же это дело? Это простая переписка! — еще громче и веселее закричал председатель, словно перед ним стоял глухой. — Где же ты его раскопал, это «дело»? — Я там написал в заявлении. В угле». — «Как же оно туда попало?» — «Должно, когда сжигали секретные бумаги». — «Какая же это секретная бумага? Тут нигде не написано, что секретная!» — закричал председатель. Потом вдруг вскочил и заходил перед Афончевым, подозрительно поглядывая на него. «Вот какой вопрос возникает, — заговорил он вдруг. — Почему у тебя именно эта папка оказалась?» — «Ничего не знаю, товарищ полковник, — сказал старик, все время поворчиваясь в ту сторону, куда шагал председатель, — то вправо, то влево, провожая его испуганным взглядом. — Должно, из комиссии кто забыл». — «Подожди... а почему ты не отдал комиссии? Почему сюда притащил?» — «Так я же не украл, не спрятал! Я — к вам! Написано: «Дело» — я подумал, что Ревтрибуналу виднее, что с ей делать...» — С ей, говоришь?» Председатель еще раз пристально взглянул на истопника, сел за стол и снял трубку телефона. Набрал номер и стал разговаривать с генералом — директором института. Был он, видать, из тех, кто мягко

стелет — жестко спать. Разговор с директором он начал так: «Товарищ генерал? Вы мне звонили как-то относительно архива Лопаткина. Говорите, сожгли? Ну, а как с теми бумагами, относительно которых доверенность... Ах, комиссия не нашла! Да-а! А мне тут принесли какие-то бумаги... Я подозреваю, что ваша комиссия постановила их сжечь и не сожгла. Каким образом? Комиссия разбросала их по котельной и ушла. А один человек собрал и принес в трибунал. Вернуть вам? Да вот я что-то на них не вижу грифа. По-моему, эти деятели решили сжечь и те бумаги, на которые выдана доверенность. Товарищ генерал, простите, но и я несу ответственность за эти бумаги. Лопаткин отбудет срок и придет ко мне требовать свои документы! У него здесь, я вот вижу, авторское свидетельство подшито... Имеете вы право лишать автора документа, который выдан ему государственным комитетом? Не знали? Вот я говорю вам. Сообщаю... Поскольку эти бумаги не находятся под вашей юрисдикцией, я их выдам Дроздовой, она уже не раз приходила. Вот так... Приветствую вас...» Он положил трубку, седым орлом посмотрел на Афончева и весело крикнул ему: «Можешь идти, Афончев!» Истопник, послушно наклонив голову, вышел, держа кепку в руке. В тот же день все было рассказано Антоновичу. Андрей Евдокимович поспешил передать новость Наде, и, выждав для порядка несколько дней, она явилась к секретарю трибунала с жалобой на то, что директор института отказал ей в выдаче несекретных бумаг Лопаткина. «Вот ваши бумаги, — сказал секретарь, доставая из стола знакомую папку с коричневым корешком. — Распишитесь, пожалуйста, вот здесь, на вашей доверенности...»

— Значит, и папка у вас? — нетерпеливо спросил Дмитрий Алексеевич.

Но Надя с легкой улыбкой посмотрела на него, сказала: «Сейчас все узнаете» — и вышла из комнаты. Вскоре она вернулась, неся чайник. Открыла шкаф, поставила на стол три чашки — не те прозрачные пузатенькие чашки, из которых когда-то пил Дмитрий Алексеевич, а новые — простые тяжелые чашки из сероватого фаянса с цветочками. И пальцы у Нади теперь были в царапинах — они имели дело и с картошкой и со стиральной содой. Тихая пауза наступила в комнате. Дмитрий Алексеевич украдкой любовался этими туповатыми пальцами и, покачав головой, вспоминал тот зимний день, когда он с ненавистью оглянулся на эту женщину и шепнул: «Бледная повилика».

Но вот разлит чай по чашкам, на один из стульев положена стопка книг и посажен Коля, который сразу припал к блюдечку и запыхтел. Села и Надя и, подняв на Дмитрия Алексеевича ласковые серые глаза, сказала:

— Папка не у меня. Вы ее получите. А история здесь вот какая.

И началась третья глава рассказа, героем которой был уже новый человек, некто майор Бадьин.

— Простите, я не знаю его. Кто это такой? — спросил Дмитрий Алексеевич.

— А это тот член трибунала, который сидел справа, который говорил: «Дроздоова».

Дмитрий Алексеевич и не подозревал того, что майор Бадьин на процессе все время держал его сторону и даже написал по делу особое мнение. Впрочем, мнение это не сыграло своей роли, потому что дело

Лопаткина, как выразился председатель, было «чистое». Если бы подполковник усомнился в чем-нибудь, он, конечно, проанализировал бы все вокруг неясного вопроса. А так как сомнений у него не было, то и протокол судебного заседания получился таким, каким было все дело в глазах председателя. Потому что в нужных местах председатель повторял вслух ответы подсудимого, чтобы их мог записать секретарь. И он по давней привычке осторожно освобождал ответы от разных околичностей, способных лишь затемнить простую и ясную мысль. Он любил короткую, ясную форму. Стало быть, материалы, которые поступили в высшую инстанцию, были очень похожи на то дело Лопаткина, которое создалось в представлении этого старого и уверенного в себе человека. Поэтому особое мнение Бадьина было оставлено без последствий.

Майор решил бороться. Он вызвал в трибунал Евгения Устиновича Бусько, чтобы побеседовать с ним, но старик не явился. Тогда майор сам приехал к нему. Вошел в его комнату, представился, огляделся и, скрыв удивление, стал задавать профессору вопросы о Лопаткине и Наде. Он получил жестокий ответ: «Поскольку не часто можно видеть таких людей, которые столь странно выполняют свои судейские обязанности, позвольте мне не сообщать вам ничего». Майор не имел права рассказывать старику ни о подробностях своего спора с председателем, ни даже о своей позиции в деле Лопаткина. Он сделал лишь несколько полупрозрачных намеков, и они окончательно запугали Евгения Устиновича. Так Бадьин и ушел ни с чем.

— Евгений Устинович больше не принимал его, — сказала тихо Надя. — Не открывал даже дверь. А потом произошел пожар... А майора захлестнула работа, и он забыл про дело и про свое особое мнение. Тут как раз подъехал Галицкий, и мы решили, что вас может выручить только ваша машина. Это его мысль была: если машина получится, то можно будет и автора вытащить...

И так прошел год. Однажды Надя пришла домой и увидела в кухне на своем столе, письмо со штампом трибунала. Ей предлагали явиться и принести с собой ту переписку Лопаткина, которую Надя получила по доверенности. Письмо было отпечатано на машинке и подписано майором Бадьиным. Надя пришла в трибунал без папки. Майор Бадьин разочарованно всплеснул руками и закричал: «Вы поймите, в этих документах его спасение!» И Надя побежала домой, полетела на такси и вернулась с папкой. Майор при ней стал быстро листать бумаги, приговаривая: «Вот так и знал. Все теперь понятно! Вот, еще лучше! Ах, какая история, какая печальная история, Надежда Сергеевна! Какие бывают люди! А сколько кругом слепых!» И не удержался, растолковал ей, что это за люди и кто здесь оказался слепым. Сам-то он, видно, не был слепым, потому что, просматривая прошлогодние дела в связи с каким-то специальным заданием, он увидел в деле Лопаткина новые бумажки и внимательно их прочитал. Хитрость Афончева от него не ускользнула. Он сразу смекнул, что здесь поработали друзья Лопаткина, и старое упрямство зажглось в нем. Он решил просмотреть эти бумажки, чувствуя, что это та самая шестилетняя переписка, о которой говорил Лопаткин на суде.

Бадьин побеседовал с Надей и дал понять, что ей следует написать жалобу в Верховный Суд. В тот же день Надя отнесла в Верховный

Суд длинное письмо за тремя подписями — своей, Крехова и Антоновича. Через три дня Надю вызвали для беседы с заместителем председателя Верховного Суда. Эта быстрота немного удивила Надю, но все объяснилось: на столе заместителя уже лежало представление майора Бадьина и дело Лопаткина.

— И что, вы думаете, там еще было? — Надя прервала свой рассказ. — Ну, догадайтесь же скорей! Какой вы! Там было несколько писем из Музги... От двух известных вам человек. Сьянов, оказывается вас разыскивал и кто-то черкнул ему из Гипролито, что вы осуждены. Воинственное письмо написал наш дядя Петр! Прямо в Верховный Суд! И Валентина Павловна...

Заместитель председателя предложил Наде принести папку с документами. И она тут же вынула ее из своей продуктовой сумки. Медлительный пожилой человек с изнуренным лицом долго беседовал с нею, то и дело перебивая ее и требуя говорить строго по порядку. Надя сообщила ему, между прочим, что машина уже построена на Урале, что первая проба дала хорошие трубы и производительность почти вдвое большую по сравнению с машинами Гипролито. Потом Надю пригласил референт. Этот еще дольше расспрашивал ее о работе над машиной Лопаткина, несколько часов вместе с Надей перелистывал документы в папке и все время что-то записывал.

Вскоре после этого Надя получила из Верховного Суда письмо, где было кратко сказано об отмене приговора и о прекращении дела.

— И вот вы здесь!.. — закончила Надя свой рассказ.

Весь следующий день Дмитрий Алексеевич ходил по делам то к Захарову, то к генералу, то к еще более важному генералу — с двумя желтыми звездами на каждом серебристом погоне. Ночевал он у Надежды Сергеевны на диване, встал рано утром и опять ушел. С ним был заключен новый договор, и на третий день, когда Надя пришла из школы, она увидела в комнате у себя другого человека — это был Дмитрий Алексеевич, но уже в новом темно-сером дорогом костюме. Под расстегнутым пиджаком его была видна шелковая сорочка. Там был и галстук в мелкую серую клеточку, он словно бы моросил, как осенний дождик. Надя заставила Дмитрия Алексеевича встать, осмотрела со всех сторон и, конечно, одобрила его вкус. Но этим дело не кончилось. У Дмитрия Алексеевича появилась еще и шляпа, а на стуле висело пальто из серого габардина. Дмитрий Алексеевич надел все эти вещи, и Надя, отойдя к двери, увидела сурового, представительного мужчину с мягкими серыми глазами и остро врезанной складкой на лбу.

Дмитрий Алексеевич купил и чемодан, а в чемодане было полно разной мелочи: полотенце, мыло, белье и даже хлеб — целых три батона!

— Что это вы, Дмитрий Алексеевич? — Надя, покраснев, обиженно посмотрела на него. — Будем на немецкий счет?

Он мягко взглянул на нее из-под шляпы.

— Я забыл сказать. Я сегодня уезжаю на Урал. К Галицкому.

— Надолго?

— Может, на две недели, а может, и на два месяца.

— Так я сейчас побегу в магазин! Пирожков вам хоть испеку...

— Ну что ж... Нате вот вам деньги...

Надя обернулась, чтобы ответить с достоинством, и осеклась. Он протягивал ей толстую пачку сотенных билетов.

— Так много получили?

— Да, мне дали кое-что. Вы берите, они мне не нужны. Берите!..

— Это что — вы мне долг отдаете? — Она покраснела.

— Да нет... для долга это мало, — спокойно и мягко ответил он. — Просто они мне не нужны. Я уже все купил себе. Знаете, как это говорится: «Кроме свежевымытой сорочки, скажу по совести, мне ничего не надо!» Давайте берите. Нам с вами давно пора оставить это... Я еще вам буду приносить — мне ведь оклад положили.

Надя взяла деньги, сунула в ящик стола, оглянулась. Дмитрий Алексеевич уже что-то писал, положив на колено блокнот, не снимая шляпы. Она подошла, сняла с него шляпу, и он, не отрываясь от своего писания, махнул рукой, сказал:

— Не надо, я сейчас уйду.

Вот такой он стал — не то рассеянный, не то слишком сосредоточенный, не поймешь... Надя посмотрела на него, потом надела фартук и пошла на кухню ставить тесто. Минут через двадцать она вернулась — Дмитрия Алексеевича уже не было, он ушел.

А ушел он специально для того, чтобы еще раз побывать в Ляховом переулке, у клумбы, похожей на груду тлеющих углей. Все московские дела его были сделаны. Он взял такси и через двадцать минут вышел из машины против этой клумбы и сел на скамью, на то самое место, где он сидел три дня назад.

Лето еще только начиналось, листья на кривом тополе, пролезшем на улицу со двора, через дыру в заборе, были влажно-зеленые. Кругом стояла обеденная тишина. Нянек на скамьях не было, они еще не прикатили своих колясок. «Евгений Устинович!..» — звучало вокруг. Дмитрий Алексеевич все еще думал о профессоре, как о живом. Опыт делал! Ну, конечно, так оно и было... «Моя профессия — огонь!» Тут память вынесла из тьмы маленький пузырек с белым порошком и поставила его перед Дмитрием Алексеевичем. И он понял, что нет не только постоянно встревоженного человека в очках и с белыми усами, — пропала навсегда и его вторая часть — дело, которое он хотел оставить людям и прятал для этого то в сундук, то под половицу. «Человек состоит из двух частей — из физической оболочки, которая исчезнет, и из его дела — оно может существовать вечно», — вспомнил Дмитрий Алексеевич и задумался. Да... теперь попробуй расскажи где-нибудь о бензиновом пожаре, который был ликвидирован одним взмахом руки... Никто не поверит. Человек исчез полностью. Никаких следов!

Взгляд его остекленел, остановился на тлеющих, мерцающих под легким ветром красных цветов. Потом Дмитрий Алексеевич очнулся — уже не философ, а деловой человек, вздохнул, вскочил и быстро зашагал по переулку, чтобы уже никогда больше сюда не возвращаться.

3

Поезд уходил в час ночи. Весь вечер Дмитрий Алексеевич провел у Нади. Он держал на колене Николашку и рассказывал ему о своем далеком путешествии, умело обходя скользкие места и оттеняя суро-

вые красоты сибирского Севера. Потом мать уложила наконец Николашку в постель и он заснул. А взрослые посмотрели друг другу в глаза и пошли гулять на Ленинградское шоссе. Погода была хорошая, они долго тихо шли в темной тени деревьев. Дмитрий Алексеевич молчал, думал, должно быть, о том, что ждет его на Урале, а Надя то смотрела на небо, то, держась обеими руками за его локоть и глядя под ноги, сравнивала его шаги со своими. Потом решилась и положила голову ему на плечо.

— У вас хорошее имя, — сказал он вдруг. — Надежда. Оно на вас похоже.

«Нет, — хотела она сказать. — Не похоже. Мое имя — Любовь». Хотела сказать и не решилась.

В половине двенадцатого они зашли домой, и Дмитрий Алексеевич взял свой чемодан и картонную коробку с пирожками. Надя проводила его до шоссе. Здесь он остановил такси, пожал Наде локоть, поцеловал ее в волосы и в висок, сел в машину и укатил.

Приехав на вокзал, он задержался у окошка телеграфа и послал «молнию» Галицкому. Потом он прошел на платформу, освещенную сверху яркими лампами. Здесь стоял поезд, который, казалось, въехал в здание вокзала. Дмитрий Алексеевич рассеянно предъявил билет, прошел в мягкий вагон, в какое-то купе. Кто-то показал ему на диван, и он положил туда коробку с пирожками и чемодан, бросил пальто, сел и нетерпеливо поморщился. Барабаня пальцами по столику, он сидел так несколько минут, пока не почувствовал мягкого толчка, пока не поплыли огни мимо его окна. После этого он успокоился, лег на свой диван и все два дня был в купе самым неразговорчивым пассажиром.

Через двое суток поезд остановился на дне долины, среди округлых зеленых гор. Шел четвертый час, уже начался холодный летний рассвет. Дмитрий Алексеевич сошел по ступенькам на землю, перешагнул рельсы, направляясь к станционному зданию. Издалека он увидел высокую фигуру в плаще защитного цвета и в серой фуражке, отдельно стоящую перед ярко освещенным окном станции. Человек в плаще повернулся и, ровно шагая, пошел к Дмитрию Алексеевичу. Это был Галицкий.

— Приехали? — раздался его дружелюбный басок. Он пожал руку Лопаткину и, не ослабляя рукопожатия, повел его к светлому окну.

— Дайте посмотреть, какой вы теперь... — У окна он снял с Дмитрия Алексеевича шляпу; коротко остриженные волосы Лопаткина замерцали сединой. — Да, обожгли вас хорошо, — задумчиво сказал Галицкий. — Огня не жалели, кирпич получился славный. Тепикин, пожалуй, больше не решится пробовать вас на твердость. Зубы сломает, а?

— Я еще не получил достаточных сведений о твердости кирпича, — сказал Дмитрий Алексеевич.

— Кирпич первоклассный! — воскликнул Галицкий.

— Не знаю, не знаю... Не видел...

— А вот поедем утром в цех — увидите!

— Дорогой товарищ... — Дмитрий Алексеевич сжал обе руки Галицкого, и сразу же поток тепла прилил к его голове. — Извините, я не знаю до сих пор вашего имени и отчества.

— Зовут меня Петром, — сказал Галицкий. — А по отчеству я — Андреевич.

— Дорогой Петр Андреевич, вы теперь видите, как обжиг на меня подействовал. Я теперь совсем не могу управлять чувствами. Вот — куда это годится? — И Дмитрий Алексеевич откровенно вытер пальцами щеки.

— Чувства — это вернейший паспорт! — Галицкий открыл портсигар. — Закуримте, Дмитрий Алексеевич. Вас теперь будут бояться: у вас нет за душой грязи и вы вышли с победой. Не треснули в печи.

— Не знаю, не знаю... Главное — машина. Если она действительно...

— Хотите, поедем сейчас в цех? Хотя чего ж тут спрашивать: мы сейчас и посмотрим на нее. Не в парадной обстановке, а в самой прозаической — предутренней. Это будет самая верная картина.

Миновав пристанционный палисадник, они вышли к дороге. В серовато-голубой мгле рассвета темнел островок — машина директора завода. Галицкий открыл дверцу, пропустил сначала Дмитрия Алексеевича, потом и сам сел рядом. Раздался скребущий звук стартера, мотор фыркнул, желтые лучи рванулись вперед. Утренняя мгла, вращаясь, отступила, открыв кочковатую дорогу, и «Победа» мягко тронулась.

— Значит, мы в цех? — не выдержав, спросил Дмитрий Алексеевич.

— Да. — Галицкий кивнул. — Поезжайте к четвертой проходной,— сказал он шоферу.

Наступило молчание. Дмитрий Алексеевич и Галицкий задумались, и лишь огоньки их папирос время от времени плавно возникали и гасли в темноте. Потом огонек Галицкого ярко загорелся и погас.

— Вы с самого начала, Дмитрий Алексеевич, взяли правильный курс, — сказал Галицкий. — Конечно, я не думаю, чтобы это было преднамеренно, это, конечно, не установка, установкой это не может быть. Это — счастливое качество.

— Вы о чем, Петр Андреевич?

— Я говорю, что вы — верящий человек. Вы верите и боретесь. Не ожесточились, как некоторые изобретатели. Как старик этот — Бусько. Хотя можно было бы свернуть на эту дорогу... Это вот и отобрало для вас нужных помощников. Их не так уж много, но они, видите, помогли вам. Вы понимаете меня — Галицкий круто повернулся к Дмитрию Алексеевичу. — Меня часто ругают идеалистом так называемые «земные» люди. Но черт его знает, что это такое. Ваш судья, майор Бадьин, я с ним близко познакомился — ведь этого человека до самого последнего времени считали странным, а его начальник, подполковник, назвал его один раз а п о л и т и ч н ы м. Это почти то же, что идеалист. Ему было трудно бороться за вас. Но теперь настало время морщиться «земному» подполковнику. Бадьин доказал ему, что и для судьи существует творчество. Ваша победа — его победа. Обоим вам хорошо! .. Вот я и говорю: тут идеалист, там идеалист, в третьем месте — смотришь — еще один так называемый идеалист. Они попадаются на каждом шагу, но без яркого опознавательного знака ни вы их не увидите, ни они вас. А зажег Дмитрий Алексеевич свой откровенный фонарь — и все они слетелись ему помогать! И вышла не химера, не вещь в себе,

не пустой иероглиф, а прибавка к государственному бюджету на первый случай в несколько десятков миллионов! А? Теперь я своего генерала спрашиваю: «Кто идеалист?» Так он смеется: «Ну во-от вспомнил! Ты, Петр Андреевич, шуток не понимаешь». И весь с него спрос! А я ведь ему, раньше-то, так ответить не мог. Мол, во-о-о-т еще чего товарищ генерал, выдумал. Какой-то идеализм!

— Да... — Дмитрий Алексеевич вздохнул. — Я тоже был... Постойте, кем же я был? Фантазером, лжеизобретателем, выскочкой... Даже сломанным человеком!..

— А фонарик горит — и на него летят помощники! Оказывается, много фантазеров на свете! А фонарик у вас, Дмитрий Алексеевич, очень привлекательный. Помните — тогда, на техсовете, в институте... Он многих тогда привлек...

— Кого же еще?

— А Крехов? А Андрей Евдокимович? Они, правда, не выступили тогда, но сделали для вас не меньше, чем судья Бадьин. Но, Дмитрий Алексеевич, конечно, самое большое ваше счастье, которое прилетело на огонек, — это Надежда Сергеевна... Берегите ее. Это та белая лебедушка, которая за вас подставит грудь под стрелу. Вообще, должен сказать...

Голос Галицкого вдруг охрип и оборвался. Он что-то знал и, видимо, решил не вмешиваться в чужую сложную жизнь. И опять в машине наступило молчание и задумчиво замигали огоньки папирос.

Сизые сосны неслись навстречу машине справа и слева. Свет фар стал рыжим, и вокруг все холодно поголубело. Кочковатая дорога летела под колеса, и не было ей конца.

— Где же завод? — спросил Дмитрий Алексеевич.

— Еще километра четыре, — отозвался шофер.

— Значит, вам тоже пришлось повоевать? — помолчав, сказал Дмитрий Алексеевич Галицкому.

— Нет, в отношении вас у меня все гладко прошло. Все были заинтересованы, в том числе и министр. У него ведь задание, план. Положение было критическое. Он чуть не взял машину у гипролитовцев. Вовремя отказался. Слух дошел до него, что у них намечается колоссальный перерасход чугуна. Притом машины работают медленно, и литье получается дорогое. Вашу машину он приветствовал весьма бурно.

— Но ведь вы-то рисковали!

— Чем я рисковал? Чем, скажите, вы рисковали, бросив свое учительство, занимаясь машиной? Вы были уверены в ней?

— Так это я...

— А я, ведь я тоже что-нибудь понимаю в литье? Никакого риска у меня не могло быть, вы это оставьте и не лепите из меня героя. Я не гожусь в натурщики, моя фигура, знаете, не удовлетворит любителей античности.

Потом он посмотрел на Дмитрия Алексеевича и вдруг добавил:

— Мы, наверно, будем с вами дружить.

Машина неслась по пустой широкой улице заводского поселка. Справа и слева мелькали палисадники и белые одноэтажные дома с высокими крышами из оранжевой черепицы. Поселок спал. Потом побежал высокий бесконечный забор — это уже был завод.

У проходной будки машина остановилась. Дмитрий Алексеевич достал паспорт. Галицкий черкнул что-то в блокноте, вырвал листок и передал его вместе с паспортом Лопаткина вахтеру. Открылись ворота, и машина покатилась по асфальтированной улице, между освещенными корпусами цехов.

— К литейному, —сказал Галицкий шоферу.

Машина свернула на другую улицу, потом на третью, пронеслась мимо пяти или шести корпусов, опять свернула и стала. Дмитрий Алексеевич открыл дверцу и выскочил. «Сюда!» — сказал Галицкий. И они вошли в цех. Сначала они попали в формовочное отделение. Здесь мерно стучали машины, встряхивая железные ящики с черной землей, шипел и свистел сжатый воздух, на вагонетках стояли готовые формы. Все было запорошено черной пылью. Галицкий и Дмитрий Алексеевич прошли через все отделение, потом попали в заливочную. Пять вагранок стояло здесь, как пять мощных колонн, а в стороне, вдоль стены, словно догорали маленькие костры — это были формы, только что залитые чугуном. «Здравствуйте, Петр Андреевич!» — крикнул рабочий с синими очками над козырьком. Галицкий помахал ему. «Сюда, сюда», — сказал он Лопаткину, и они пошли дальше.

И вдруг Дмитрий Алексеевич увидел вагонетку. На ней были уложены в ряд чугунные уступчатые трубы.

— Эту деталь можно на моей машине отливать! — крикнул он.

— Мы это тоже понимаем, товарищ автор! — прокричал над его ухом Галицкий. — Это и сделано на вашей машине!

Дмитрий Алексеевич увидел еще несколько вагонеток с такими же уступчатыми, круглыми отливками и вдруг спохватился: с самого начала, как только они вошли в заливочное отделение, он заметил вдали розовый свет, то вспыхивающий на несколько секунд, то угасающий — через ровные промежутки. Он не обратил сначала внимания на эту мерную игру отсветов. Но теперь Дмитрий Алексеевич вдруг почувствовал: это она! Вот опять разлился в дальнем углу розовый свет, и что-то сразу запело, быстро вращаясь.

— Залили? — крикнул Дмитрий Алексеевич.

Галицкий обернулся на него, показал пальцем в сторону розового света и кивнул.

Они миновали кирпичный простенок, и Дмитрий Алексеевич сразу увидел ее. Семь с половиной лет он каждый день, закрыв глаза, видел эту машину, пускал ее в ход, менял в ней детали. Теперь машина из темных глубин сознания, словно созрев, шагнула в цех и прочно стала на бетонный фундамент. Вот зашипел воздух. Облитый маслом шток опустился на два сантиметра и выровнял изложницу. Это был тот самый нормальный узел, о котором говорил сердитый вихрастый Коля, приятель Араховского. Вот изложница остановилась и скатилась вниз. Конвейер передвинулся, пустая изложница встала на ее место. Воздух зашипел, вспыхнул яркий свет — это наклонился ковш-дозатор, и между ним и изложницей мелькнул глазок жидкого огня. . .

— Отойдите, товарищ, вам говорят! — крикнул рабочий в брезентовой рубахе и рукавицах. — Брызнет, тогда. . .

Этот человек один управлял всей машиной! Дмитрий Алексеевич послушно шагнул назад и потянул за собой Галицкого.

— Петр Андреевич! Почему один рабочий? У меня ведь два. . .

— Мы здесь распорядились... посамовольничали, — ответил Галицкий. — Мы тут, знаете, сами все. Начальники у меня трусоваты тоже. Если им дать знать — начнут советоваться, позовут всех мамонтов и мастодонтов из НИИЦентролита, и те затопчут.

И они опять замолчали. Галицкий достал часы. Рука Лопаткина тоже потянулась к карману, к ремешку часов. «Четыре двадцать», — сказал Галицкий. С часами в руках директор завода и автор стояли перед машиной десять минут. Потом Галицкий торжествующе повел на Дмитрия Алексеевича черным глазом. За десять минут машина сделала восемь отливок — она работала почти вдвое быстрее, чем револьверная машина института Гипролито.

Дмитрий Алексеевич стоял перед нею и — странное дело! — видел не цех и не машину, а канаву на улице Горького и рабочих, укладывающих в нее черную, покрытую лаком трубу.

— Проснитесь, автор! — крикнул Галицкий. — Ну что, видели машину?

— Видел.

— Она?

— Она.

— Довольны?

— Доволен.

— Отлегло от сердца?

— Отлегло. — Дмитрий Алексеевич засмеялся.

— Теперь, когда она весит двенадцать тонн, когда днем и ночью стреляет вот этими штучками, — Галицкий шагнул и уперся ногой в вагонетку с готовыми отливками, — теперь ее не очень-то в карман положишь, а? Авдиев ведь еще не знает! Узнает — сразу скиснет. А мы еще с вами статью напишем — сравнительные данные опубликуем!

Дмитрий Алексеевич махнул рукой.

— Черт с ними! Мне они не нужны. Знаете, Петр Андреевич, я увидел машину — и сразу подобрел. Смотрю на нее — и больше мне ничего не надо! Еще вчера в поезде как я издевался над ними, какие строил им козни! А сейчас у меня сразу отпала всякая охота с ними драться.

— А у меня — нет! Если вы пасуете, я сам возьмусь за это дело. Не-ет, друзья! Пока эта шайка сидит у пирога, я не успокоюсь. Новый учебник писать затеяли! Слышите? Студентам мозги чепухой забивают. «Авдиев, Тепикин и другие виднейшие ученые!» Не-ет, друзья! Я этих сарацинов спе́шу!

Высказав все это, Галицкий несколько раз воинственно кашлянул, постепенно остыл и тогда уже проговорил:

— Здесь вопрос более важный, чем внедрение вашей машины. Погодите, вы еще станете и политиком. Ну ладно... Поедемте — соснем часа три.

«Победа» ждала их. Было раннее ясное утро. Розовая заря играла за корпусом литейной. Они выехали с завода, свернули на широкий проспект, застроенный двухэтажными домами. Потом еще раз повернули, и машина остановилась в промежутке между двумя восьмиэтажными зданиями. Вслед за Галицким Дмитрий Алексеевич прошел в подъезд и взбежал по лестнице на третий этаж. «Чш-ш! — сказал Петр Андреевич, отпирая дверь. — Давайте лучше разуемся».

Они разулись в передней и неслышно прошли в комнату, одна сте-

на которой ярко порозовела от зари. Прежде всего Дмитрий Алексеевич увидел здесь большой овальный стол и на нем нож и каравай пшеничного хлеба, обрезанный с двух сторон. У розовой, солнечной, стены на двух кроватях крепко спали совсем голые ребята — один мальчик лет семи, другой лет двенадцати. Оба в позе бегунов, у обоих одеяла были сбиты к ногам, свисали на пол.

— Ваши? — шепнул Дмитрий Алексеевич.

— А чьи же? Это только две пятых. — Он кивнул на дверь. — Там еще тройка! Вот здесь ложитесь. — Он обошел вокруг стола, остановился против дивана, где уже были постелены свежие простыни и лежала большая подушка с кружевами. Для верности он тут же ее взбил и ткнул в нее кулаком. — Давайте.

Пока Дмитрий Алексеевич раздевался, Галицкий заботливо укрывал сыновей, умиротворяюще шептал над ними. Потом вернулся и подсел к Дмитрию Алексеевичу.

— Ну вот, значит, выспитесь и утречком — на завод. . .

— Петр Андреевич, меня интересует, что вас заставило. . .

— Что меня заставило? — переспросил Галицкий. — Вы о чем?

— Я говорю, что вас заставило мною заниматься?

— Так я же говорил! . .

— Нет, я знаю. Вы занимались не только машиной. Вы и мной занимались и этими, сарацинами. . .

— Знаете что? Я скажу! Сердце закипает — вот что! Это будет точнейший ответ. Возьмите того же Бадьина. По-настоящему партийный человек не терпит никакой неправды. Он ее чувствует, как бы она ни была замаскирована. И не может ее терпеть! — Эти слова Галицкий глухо проревел, и сразу стало ясно, что он может быть не только другом. — Никакую ложь! Никакую фальшь!

Он замолчал, глядя на розовую от зари стену. Сунул руку за воротник, под рубаху, засопел — ему хотелось спать.

— А Антонович! — вдруг опять заговорил он. — Человек ведь совершил подвиг! Он рисковал быть обвиненным. Формально он ведь совершил преступление! Поди заберись к нему в душу. Вы сами знаете, что не каждый судья любит копаться в душе! Этот человек шел по ниточке — почему? У него тоже закипело сердце!

— Антонович, по-моему, беспартийный. . .

Галицкий потянулся, встал.

— Я первым дал бы ему рекомендацию. Ну, спите. . . Я ему еще и дам рекомендацию! Партии такие нужны.

В квартире Галицкого, в семье его, все было проникнуто особой, милой простотой, которой невозможно подражать, которая недоступна подделке и встречается потому не часто. Это была семья, где много детей, где все чисто, но разбросано как попало, где мебель проста и дешева и где подают на стол большие куски.

Все это Дмитрий Алексеевич увидел утром. Проснулся он внезапно и несколько секунд наблюдал отчаянную драку между двумя Галицкими — двенадцатилетним и младшим. Пощечины звенели четко и откровенно. Оба бойца были ожесточены и норовили попасть в лицо. Старший все же вытолкнул противника из комнаты и, мстительно улыбаясь, запер дверь стулом. Дверь затряслась от ударов, но старший спокойно приступил к делу. Он решил разрезать ножницами жестя-

ную банку. Потом младший отошел от двери и заорал с обидой и невыразимым злорадством: «Хунхуза! Хунхуза!» И замолчал, прислушиваясь. Дмитрий Алексеевич не выдержал и засмеялся. У старшего Галицкого действительно было что-то в лице не то монгольское, не то японское. В коридоре долго стояла тишина, потом через замочную скважину донеслось ласковое: «Хунху-уза! Хунхузочка!» Старший бросил банку на пол, выхватил из двери стул, и в передней раздались звонкие затрещины. На всю квартиру разнесся рев побежденного, но не сломленного младшего драчуна. И сейчас же из другой комнаты сонный домашний бас Галицкого-отца пресек беспорядок: «Лешка, отстань от него!» Затем послышалось любящее: «Иди сюда! Чего он тебя трогает?» Младший, всхлипывая, провыл: «А чего он не дает мне резать? . .»

В соседней комнате начался домашний суд. Дмитрий Алексеевич поднялся и стал одеваться. Но тут внимание его привлек стук маленьких босых ножек. В комнату проковылял из передней голый толстенький мальчик с белыми длинными волосиками, шелковистыми, как кукурузное рыльце, — самый младший из Галицких. Он, должно быть, недавно научился ходить и теперь, убежав от кого-то, весело смеялся, пока не увидел чужого дядю. Тут он сразу стал серьезным и показал на дядю пальцем. Потом, мягко ступая ножками, обошел вокруг стола, согнулся и показал пальцем на шкаф с книгами, на фикус и на кровати ребят. «Ты здесь?» — сказала девушка лет четырнадцати с толстой светлой косой и такими же монгольскими чертами лица, как и у Леши, и вошла в комнату, заставив Дмитрия Алексеевича нырнуть под одеяло. Не обращая внимания на гостя, она схватила малыша и, целуя, унесла.

Завтракала вся семья на кухне, сидя на лавках за большим столом, покрытым новой клеенкой. С одной стороны в ряд сидели дети: девушка с косой, оба драчуна и еще одна девочка. Сгорбленная басистая старуха, которую Галицкий называл мамой, держала на коленях младшего, кормила его кашкой. Жена Галицкого — полная и, должно быть, всегда спокойная женщина — поставила на стол блюдо с крупно нарезанным хлебом и большую сковороду. На ней возвышалась гора картошки, красиво поджаренной крупными плоскими ломтями. Картошка была немедленно разложена по тарелкам. Застучали ложки, и сейчас же раздался окрик старшей сестры: «А ну не стучать»! Сковороду убрали, и вместо нее появилась высокая кастрюля с какао и около десятка эмалированных кружек.

— Сашок, как это все называется? — спросил Галицкий и развел руками, словно обнимая весь стол.

— Майне фамилие, — ответил младший драчун.

— Моя фамилия, — подтвердил Галицкий, оглядывая свое семейство. — Ничего, везем. Куда приедем?

— Куда я тебя привезла — туда и приедете, — весело пробасила старуха. — Все туда приедем, с рельсов не сойдем! Все, скажи, приедем! — И стала целовать внука. — Вам, Дмитрий Алексеевич, тоже надо завести такую семью. Скажи, нечего по свету холостяком гулять! Вот таких, скажи, как мы, заводить пора — толстых да красивых!

— Дмитрий Алексеевич, — заговорила вдруг жена Галицкого. —

Мы тут спорили с Петром. О вашем Антоновиче. Может, лучше было бы, если бы он подождал сержанта?

— Положение у него было щекотливое. . . — осторожно начал Дмитрий Алексеевич, чтобы помягче подать свою точку зрения.

— Ей нравится, когда идут мирно, по инстанциям, — весело загремел Галицкий. — Пишут начальству, в редакции — так ты хочешь? А Урюпин и Максютенко, мол, подождут. . .

— Ну и что ж? А так он мог ошибиться. . .

— Слушай, Нина. Этим он и хорош — тем, что в сложной обстановке, как хирург, быстро нашел единственно верный спасительный путь. И, заметь, законный путь. Закон охраняет существо, а не форму. Антонович проявил, я бы сказал, суворовское мужество.. А человечишка, если бы ты посмотрела! . .

И, обращаясь к Дмитрию Алексеевичу, Галицкий добавил:

— Она у меня умеренная.

— А он у меня все время в драку, в чужую, лезет! — Жена перевела в сторону Галицкого прощающий взгляд. — Вроде этих вот, боксеров моих. Чужие синяки ловит. Пора бы отдохнуть.

— Еще отдохнем! — Галицкий засмеялся. Он, подбоченясь и выпятив бритый кадык, сидел за столом в сиреневых подтяжках и белой шелковой сорочке, которую он расстегнул, обнажив грудь, густо обросшую до ключиц. Он пил какао из «папиной», высокой кружки. — Отдых не уйдет! — сказал он смеясь. — Сейчас нам бабушка скажет, прав я или нет.

— Все отдохнем! — весело отозвалась старуха, ловко сунув в рот внуку ложечку с кашей. — Если смолоду отдыхать, когда же жить?

— Дмитрий Алексеевич! — сказал Галицкий, прихлебывая из кружки. — Я тут недавно статистикой занимался. Над нашей машиной трудились вы, Крехов с Антоновичем, ну и немножко я. Из сорока восьми узлов не пошел только один узел. Мы ахнули— всего только два процента! Девяносто восемь уложили в мишень! А над машиной Гипролито трудился целый институт. Два института! Академик, три доктора, два кандидата и целый отдел инженеров! Первую авдиевскую машину сделали — полмиллиона затратили, и трубы вышли дороже, чем при ручном способе. На балансе завода повисли два миллиона убытка. Во второй раз полтора миллиона пустили в дело, и опять не вышло! Перерасход чугуна! А ведь разрабатывают, совещаются, обсуждают. Все солидно, с поклоном в сторону авторитетов. Тридцать три богатыря решают проблему, а у нас только четыре — и наша берет! Вот вам тема для диссертации — что такое монополия, почему все валится у нее из рук и чем она отличается от настоящего коллектива.

— Один паренек, инженер молоденький, сказал мне тогда три года назад: «Это, говорит, вам не авдиевское Конго!»

— Да, их кое-кто уже чует. Но еще больше слепых. Если Авдиев вдруг провалится, для многих ваших коллег в Гипролито это будет громом среди чистого неба.

— Невидимый град Китеж . . . — проговорил Дмитрий Алексеевич.

— А ведь с каким апломбом говорят о коллективе! Помните ваш первый техсовет? Спросить бы у того же Тепикина, что он разумеет под словом коллектив . . .

— Тепикин все разумеет. Он знает, что это такое, и знает главную примету коллектива, которую я только теперь по-настоящему понял. когда в меня пальцем ткнули: «Вот он, одиночка, шкурник!» Теперь-то я знаю, что такое коллектив. Если взять самую большую или самую маленькую единицу в авдиевской бражке, в душу к любому если забраться, — там бесконечное одиночество свищет, как ветер в половецких степях. Хоть их там и целая компания, но это не коллектив. А сколько стучался я к ним под крышу! С пальмовой ветвью! Ничего ведь не знал!

— А я! Я ведь был у Авдиева в институте. Верил в него! Как барышня — восхищаюсь, а он передо мной павлином. . . По плечу: «Ничего, брат, учись . . . Это все доступно . . . Труд, только труд! . .» Я сам себя еще не знал, а он уже застраховался. Что-то во мне подметил. Послал в докторантуру — старый прием! И действительно, три года он у меня на этом выиграл. А потом я смотрю — он тему мне такую дал, чтоб подальше от его тучных пастбищ!

— Но как крепко держится!

— Ничего нельзя было поделать. Сам я не мог . . . Разговорами здесь не сдвинешь ничего. Они скажут, что черное есть белое, и проголосуют «за». И Саратовцев подтвердит. Здесь нужен факт вроде вашей машины. И нужен еще завод, не подвластный Шутикову, — вроде нашего завода. У себя они не дали бы построить. Вы говорите, почему я вами занимался? Потому, что вы сделали все, что мог сделать один для всех. Вы сделали и для меня — дали мне в руки возможность освободить Гипролито от этих пиратов. Я рад, что вы нашлись. Пейте, пейте еще! — Галицкий ухнул Дмитрию Алексеевичу из кастрюли полную кружку какао. — Пейте! Укрепляйтесь! Перемирие недолго продлится!

— Боец! Так тебя и испугались! — сказала жена Галицкого, и Дмитрий Алексеевич почувствовал, что она любит мужа именно за эти стороны души. — Иди уж, вояка! — Она мягко толкнула Петра Андреевича в спину. — Иди, на завод вон уже пора!

— Да, — сказал Галицкий, поднимаясь. — Да, надо идти. Нам с Дмитрием Алексеевичем предстоит работа. Новая работа. — И, взглянув на Лопаткина, он выставил вверх палец.

4

Павел Иванович Шутиков переживал горячие дни. Прежде всего подозрительно долго затянулась разработка нового стандарта на трубы. Наконец все чертежи и расчеты вместе с пояснительной запиской прибыли из НИИЦентролита. К ним были приложены заключения специалистов и даже мнение академика Саратовцева, который с расчетами был согласен и считал возможным временно увеличить вес труб, учитывая перспективы дальнейшего улучшения литейной машины.

— Прекрасно! — весело сказал Шутиков и прострочил зелеными чернилами бумагу, которую ему подсунул Тепикин. Он докладывал всю эту историю.

Но бумагам этим не суждено было уйти дальше канцелярии министерства. День только начинался, и Павел Иванович вызвал для бе-

седы по личному вопросу Вадю Невраева. Вадя ждал в приемной и сразу же вошел. Серый пиджак его был застегнут, галстук — точно посредине, и голубые глаза смотрели с непонятной сдержанной мукой. Опустив руки по швам, Вадя проплыл серой утицей через кабинет и остановился. Шутиков достал из стола его заявление об уходе с работы.

— Что это? — спросил он, уже в который раз прочитав бумагу, и удивленно, ласково просиял. — Что это вы, товарищ Невраев? Меняете климат? Перекочевываете?

— По состоянию здоровья. Хочу полечиться и потом думаю пойти на учебу. Вот имеются медицинские справки.

— Справки — что! — Шутиков, улыбаясь, пристально посмотрел на вадино лицо. Там была все та же неподвижная мука. — Ну что ж! — сказал Шутиков. — Когда вы уходите?

— Я сейчас думаю в отпуск... И хотелось бы не возвращаться.

Шутиков молча прострочил: «В приказ. Уволить по собственному желанию». Вадя молча взял заявление, повернулся и выплыл из кабинета с тем же дурацким выражением на лице.

«Что же тебя гонит отсюда? — подумал Шутиков, глядя ему вслед. — Ведь будто никакой бури не предвидится. Что же это ты потемнел, заволновался?» Потом Шутиков засмеялся: он подумал, что и самый чуткий флюгер иногда ошибается. Дует ураган с юга, а он, дрожа, показывает точно на север. «Но что же он чует? Пусть это будет южный ветер — но что же это?

Если бы Дроздов был в Москве, Павел Иванович вызвал бы его и они сообща нашли бы, в чем гвоздь. Но Дроздова не было в Москве. С тех пор, как Леонид Иванович разошелся с женой, он все время пропадал в командировках, на заводах — вплотную занялся вопросами новой техники.

Ближе к полдню у одного из телефонов зашипел сигнал. Шутиков снял трубку и сразу оскалился и засиял всем желтым золотом, которое было на нем. Звонил Авдиев и просил во что бы то ни стало задержать материалы по новому стандарту.

— Что такое? Я уже отослал! — сказал Шутиков, нажимая кнопку звонка. — Так что вы говорите, Василий Захарович, что?

«Есть некоторые соображения, — ответил в трубке глухой голос Авдиева. — Да, кстати... Лопаткин освобожден, вы знаете? Это — раз...»

— Верните материал, который утром... — сказал Шутиков вошедшей секретарше. — Узнайте в экспедиции и сейчас же мне... Что? —закричал он в трубку. — Василий Захарович, повторите!

«Приехал в Москву и уехал опять. Машину строит. Или уже построил...»

— А на каком заводе — не знаете? А министерство? Тоже не знаете?

«Министерство — можно догадаться, — ответила трубка. — У них, по-моему, договор. Уже работают. По-моему, основные узлы уже в металле...»

— А откуда узнали?

«Сведения верные».

— Очень приятно! — сказал Шутиков.

«Мне тоже, — ответил Авдиев. — Надо бы покалякать, Павел Иванович . . .»

— Завтра должен Дроздов приехать, поговорим. Давайте созваниваться завтра с утра.

Он положил трубку, позвонил секретарше. Прошла минута, две — никто не появлялся. Он вышел в приемную — там никого не было. Он мягко просиял, что было у него на этот раз выражением растерянности, и вернулся в кабинет. Через несколько минут появилась секретарша с бумагами в папке.

— Их не отправляли. Леонид Иванович хотел сам по приезде . . .

— Вот и прекрасно. Оставьте здесь.

Когда секретарша ушла, Шутиков раскрыл папку, и аккуратно исполненные бумаги, вид которых еще утром так приятно облегчил его, — эти бумаги сейчас испугали его своей ясностью, откровенно и любовно сделанным подлогом. Они были красивы красотой ядовитого гриба. Шутиков поворошил их и вернулся к первому листу, где красовалась его беспечная, сделанная наискосок подпись.

«Я направил эту стряпню в комитет! — подумал он. Взял бумагу со своей подписью и положил ее отдельно на столе. — Хорошо. Ну, допустим, мы опоздали и все это ушло в комитет. Дроздов доложил, и новый стандарт, скажем, утвердили. Что дальше?» — «А дальше вот что, — тут же пришел ответ. — Становится известным, что есть машина Лопаткина, которая льет трубы точно по стандарту. И комитет говорит: отказать. Не к чему выбрасывать по два кило металла на каждой трубе! Но и это не все. Лопаткин, конечно, поднимет шум, напомнит, где сможет, что он предлагал свою машину нам, и что это было восемь лет назад, и что мы возмутительно, безобразно, беспрецедентно . . . — как еще пишут в газетах? . .» — и Шутиков не очень весело улыбнулся, стал смотреть в сторону, шаря при этом по столу. Ему сразу вдруг захотелось закурить.

«Постой! — вдруг ударила его новая мысль. — А шестьдесят тысяч тонн чугуна? Куда ты их теперь денешь?

В ту же секунду он почувствовал нарастающее жжение в сердце, которое перешло в сильнейший укол. Застонав, он нажал кнопку звонка, быстро прошел к дивану и тяжело опустился на него.

Он лежал и, держась рукой за грудь, улыбался, сияя желтыми коронками. Секретарша, войдя, сразу поняла по этой улыбке, что Павел Иванович страдает: у него уже бывали приступы и он всегда так скалился от боли. Она подбежала к телефону, позвонила вниз, в поликлинику, и через несколько минут в кабинет вошла женщина в белом халате и с чемоданчиком. Она потрогала лоб, пощупала пульс у Павла Ивановича, отвернула на нем шелковую рубашку и, обнажив его белую жирную грудь, осторожно прижала к ней мембрану фонендоскопа.

— Полежите часок, — сказала она, выслушав Шутикова. — Когда боль пройдет, пожалуйста, домой, в постель.

Взяла графин, налила полстакана воды, капнула туда из маленького пузырька и подала Шутикову. Павел Иванович выпил и лег. Но когда женщина в белом ушла, он сел на диван и рукой подозвал секретаршу.

— Машину . . .

Она тут же позвонила в гараж.

— Все бумаги мне в портфель, — сказал Шутиков, морщась, заправляя рубаху в штаны. — С собой возьму.

И он уехал домой.

Назавтра он приехал в министерство среди дня. Высокий парадный подъезд смотрел на него, как ловушка. Прошли сутки — гигантский срок! Павел Иванович знал, чего стоят сутки в *такое время*. Он быстро прошел на второй этаж и дальше, особым коридором, к себе в кабинет. Сразу же позвонил. Как только открылась вдали дверь, из приемной, спросил: «Дроздов приехал?» И вздохнул с облегчением, когда секретарша сказала: «Он уж справлялся о вас».

Леонид Иванович вернулся из командировки ночью. В десять часов утра он уже был в своем министерском кабинете и снимал трубки телефонов. Ему с утра начали звонить. Через двадцать минут он узнал все то, что так испугало вчера Шутикова, и вдобавок кое-что такое, чего Павел Иванович еще не знал. Ему сообщили, что вся переписка Лопаткина воскресла и попала в Верховный суд, а оттуда в районную прокуратуру, к помощнику прокурора Титовой, которая проявляет к делу какой-то повышенный интерес. Сведения эти передал Дроздову по телефону испуганный шестидесятилетний старик, заведующий министерским бюро по изобретениям, который вчера давал объяснения Титовой.

— Ты, видно, еще мало жил на свете, — закрыв глаза, с раздражением сказал ему Дроздов. — Паникер! Чего ты испугался? На то они и прокуратура, чтобы копаться в наших дебрях, искать наши прорехи. Ты говоришь, документы! У нас тоже есть документы. Мы тоже храним бумаги! Ну-ка, принеси мне все наши исходящие по этому делу, мы сейчас посмотрим . . .

«Да . . . — подумал Леонид Иванович и, выйдя из-за стола, принялся разгуливать по ковру. — Недооценил я товарища Лопаткина . . . А почему? Все из-за этого политика (так Леонид Иванович называл Шутикова). Дела затевает большие, а знать — ни шиша не знает. Куда тебе! Сук давно перегнил, а ты все на нем сидишь, ничего не понимаешь, только улыбаешься. Когда надо бы на другой перелезть. Не-ет, рано или поздно все равно загремишь! В такую историю влез — и других еще тащит!»

Здесь надо заметить, что Леонид Иванович этим утром задумался об *истине* в деле Лопаткина, о том, что можно было еще в сорок шестом году поддержать этого изобретателя, взять на себя какой-то риск, ударить с ним вместе на противников, в том числе и на Шутикова. «Нет, нет, нет! — сказал он тут же. — Тогда это лежало за пределами здравого смысла. Нельзя было. Проиграли бы вместе. Тогда — нет! А вот сейчас . . .»

В эту минуту к нему вошел заведующий БРИЗом, неся перед собой семь папок. Он прикрыл дверь ногой и опустил папки на тот стол, который был придвинут к письменному. Леонид Иванович надел роговые очки и, держа руку в кармане, поставив колено на стул, закрыл глаза, солидно засопел.

— Ну давай, давай . . . Что тут у тебя . . .

Старик тоже достал очки, протер их платком и, посадив на нос,

раскрыл папку с крупно намалеванными на обложке цифрами: «1945». У него была заранее заложена бумажкой нужная страница.

— Ну-ка, что здесь? — спросил Леонид Иванович.

— Мы, министерство, отвечаем вам, Леонид Иванович... Вы еще в Музге были. На ваш номер...

— Ага, помню. Он ведь у нас подавал заявку! Да, да, я отослал в министерство. Ты давай найди это. Это будет нужно!.. Так.. Дальше. Или нет, давай так — отнеси машинисткам и пускай скопируют все исходящие и мое отношение из Музги. В трех экземплярах. Давай поскорее.

Через час Леониду Ивановичу принесли копии всех нужных бумаг. Министерство, оказывается, не раз писало институту Гипролито о необходимости срочно спроектировать машину Лопаткина.

«Пожалуйста! Допрашивайте! — подумал Леонид Иванович, нажимая кнопку звонка. У нас козырей хватит. Вот мы такого-то пишем. Вот напоминаем. Вот приказ министра...»

— Вызовите ко мне, — сказал он вошедшей секретарше, — вызовите, значит,.. да, вот: Бочарова Сергея Сергеевича, потом еще Графова и кого же третьего? Ну хотя бы Севрука. И скажите, чтоб принесли бутылок пять воды.

Бочаров — это был тот начальник отдела, который на узком совещании докладывал о перерасходе чугуна. Тихий человек этот пережил несколько полных составов коллегии министерства. Остальные двое были рядовыми и притом молодыми инженерами. К большому начальству их вызывали не часто. И поэтому, войдя в кабинет Дроздова, они сразу превратились в студентов.

— Садитесь, товарищи, — сказал Дроздов, и все трое сели — Извините, жара начинается. — Он показал на свой расстегнутый китель и кивнул на открытое окно, за которым светился и кричал автомобильными гудками сумасшедше-яркий день. Вы как, Сергей Сергеевич, свободны сейчас? — спросил он, становясь с каждой минутой все более строгим и как бы старея. — Я просил бы вас возглавить комиссию по расследованию ряда фактов. Вы что-нибудь знаете об изобретении Лопаткина?

— Что-то слышал, — поспешил ответить Севрук. — Он в каком отделе работает?

— Нет, это другой Лопаткин. Я специально пригласил вас, как людей нейтральных. Сергей Сергеевич, впрочем, должен знать о центробежной машине Лопаткина.

— Да, я, вообще говоря, кое-что знаю... но видел я только одну машину конструкции Гипролито, о которой мы говорили...

— Очень хорошо. В таком случае я вас проинформирую. Инженер Лопаткин около восьми лет назад предложил нам конструкцию новой машины для центробежной отливки труб. Я сразу отослал его заявку в министерство — дело было еще в Музге. Восемь лет он пытался внедрить эту машину, и все время какая-то невидимая сила отбрасывала его назад...

Открылась дверь, и буфетчица внесла на подносе пять бутылок лимонаду и стаканы. Откупорила бутылки, налила каждому и бесшумно удалилась. Леонид Иванович выпил стакан, налил еще и выпил. И инженеры скромно отхлебнули из своих стаканов.

— Четыре раза технический совет министерства принимал решение о проектировании машины, — продолжал Дроздов посвежевшим голосом. — Министр издал два приказа. Товарищ Шутиков и я много раз устно и письменно напоминали... Да что там говорить — вот некоторые документы, которые мы подняли. Вы ознакомитесь с ними. В вашу задачу входит установить виновников этой беспрецедентной в-волокиты. — Тут Леонид Иванович вышел из-за стола и принялся ходить по ковру. — Теперь о машине Гипролито. — Он прошел на другой конец кабинета и там остановился. — В то время, как этот институт всячески тормозил изобретение Лопаткина, ряд его работников, совместно с нашими учеными корифеями, спешно проталкивал свою машину, ту самую, Сергей Сергеевич, которая вам причинила столько хлопот. Им удалось протолкнуть ее. Они ввели в заблуждение руководство министерства, дав неправильную оценку машине Лопаткина, а свою расхвалили сверх меры, где могли, скрыв один существеннейший ее недостаток. Теперь из-за этого мы имеем перерасход металла порядка шестидесяти тысяч тонн.

Дроздов подошел к членам комиссии и остановился перед ними — усталый, мужественно открывший глаза навстречу суровой правде.

— Это еще не все, товарищи. Авторы институтской машины — Урюпин, Максютенко и центролитовцы, — чтобы скрыть этот перерасход, за который пришлось бы крепко ответить перед государством, знаете, что придумали? Они предложили ни больше, ни меньше, как изменить государственный стандарт на трубы! Накинуть по два кило на каждую трубу! И таким образом списать весь перерасход! Они приготовили прекрасные научные аргументы, втянули в эту грязную историю старика Саратовцева. Подсунули ему какую-то рекомендацию, а он подписал. И, таким образом, ввели в заблуждение и меня, и Шутикова, и даже министра, которому все было доложено. До чего додумались!

— Да-а, — сказал Севрук. Графов что-то записал в блокнот. Бочаров неопределенно наклонил голову.

Дроздов молча прошелся еще раз по кабинету — туда и обратно — и сел за стол.

— Вы должны будете составить план работы. Распределить обязанности. Можете привлечь людей себе в помощь. Возьмите, Сергей Сергеевич, того честнягу, который чугун-то... Который обнаружил... Его возьмите обязательно. В Гипролито толковый есть инженер Крехов, рекомендую! Он хорошо разбирается в технических вопросах. Имейте в виду, вам придется покопаться. Может быть, даже в трибунал заглянуть придется, кое-что спросить там. Ведь Лопаткин был арестован — здесь, правда, я не все знаю: суд был закрытый. В связи с некоторыми секретными обстоятельствами. Но обвинение исходило опять-таки из Гипролито и НИИЦентролита. Оттуда, от авторов револьверной машины! Стало быть — за работу. В вашем распоряжении все архивы. Я думаю, что дней в шесть, может быть в восемь, вы уложитесь.

Проводив членов комиссии в приемную, Леонид Иванович вернулся и сел на одно из кресел перед своим столом.

«Значит, Лопаткин на свободе, — подумал он. — И в добавок я ему помогаю! И, конечно, о н и уже встретились...»

Его охватила тоска, которую он не мог никому высказать. Неужели он за всю жизнь не видел настоящего чувства, такого, как у них! Он стал вспоминать. Да... так это и прошло мимо него. А было рядом несколько раз! Судя по ней, это что-то необыкновенное. То-то она температурила, бегала, все волосы мыла. «По Дроздову так не вздыхали, — сказал он себе с усмешкой. — Собственно повода не было...» Леониду Ивановичу стало страшно, когда он представил, как Надя могла смотреть на того. Наверно, так же, как она смотрела на себя в зеркало, — он видел однажды. «Продала манто! — Он усмехнулся. — Кошка! Всего-навсего!»

И вдруг отчетливо понял: нет, это чувство есть — он сам видел, как Николашка обнял ее платье. Малыш был один в комнате, а он стоял за дверью и смотрел... Пусть у тех двоих что-то другое. Оттенок... Но все, все это — смертельное чувство любви, без которой умерло бы и это маленькое существо. И она — тоже... «А я вот не умер...»

Поборов оцепенение, он снял трубку и набрал номер телефона. «Шеф у себя?» — спросил он негромко. Секретарша ответила, что Павел Иванович вряд ли приедет, у него вчера был приступ. «Понятно, — сказал Леонид Иванович и положил трубку. И повторил: — Поня-атно!»

После обеда он опять позвонил Шутикову. Павел Иванович был у себя, и Дроздов пошел к нему.

— Я назначил комиссию, — приветливо сказал он, входя в просторный кабинет Шутикова.

— Какую комиссию? — Шутиков с веселым выражением на лице заерзал в кресле. — Садись, Леонид Иванович. Что за комиссия?

— Что за комиссия, создатель? — сказал Дроздов, опускаясь в кресло. — Комиссия по установлению виновников безобразной волокиты с машиной Лопаткина, перерасхода металла и аферы с государственным стандартом.

— Ка-а-ак! — тихо взвыв, сдерживая себя, начал Шутиков. — Вы что же это... Вы что же это делаете! Такой шаг — и не сказать...

— Промедление в таких делах — смерти подобно, — отчеканил Дроздов и прихлопнул желтой рукой по мягкому подлокотнику. — Вы знаете, что бумаги Лопаткина не сгорели и лежат в сейфе у прокурора Титовой? Ах, не знаете... По-моему, всякий начальник должен расследовать все известные ему б-безобразия, не ожидая упреков в бездействии. Дело в общем, сделано, чего тут говорить. А шефа не мешало бы подготовить... Он ничего еще не знает?

— Да нет... — сказал Шутиков рассеянно. Он думал о чем-то другом, глядя в сторону.

«Думает об уплывающем кресле», — сказал себе Дроздов.

— Вы предупредите Афанасия Терентьевича. — Он пристально взглянул на Шутикова и опустил глаза.

—Значит, комиссия? — проговорил Шутиков, обдумывая что-то. — Ну что ж. Это, по-моему, правильно...

Дней двадцать спустя во всех отделах министерства был получен отпечатанный в типографии приказ министра номер 222, или три двойки, как его называли после этого целый год. Описательная часть приказа занимала четыре страницы и полностью соответствовала

тому, что вскрыто комиссией. Правда, фамилию академика Саратовцева комиссия постеснялась назвать. Люди учли то, что академик в скором времени должен был праздновать свое восьмидесятилетие и решили не портить старику юбилея. А Авдиев отделался легко. Анализ разных документов и переписки за семь лет показал, что профессор выступал по поводу машины всего лишь два раза. Первый раз он подверг сомнению некоторые детали проекта, а позднее отозвался положительно. Имена Дроздова и Шутикова тоже не попали в приказ. Но они угадывались в одном месте — там, где было сказано, что «в своей противозаконной практике Максютенко и Урюпин, а также некоторые работники НИИЦентролита докатились до прямого обмана руководителей министерства». Комиссия подсчитала, кроме того, размеры убытков и ту огромную растрату чугуна, которую принесла с собой машина Урюпина и Максютенко. Но этот пункт вычеркнул сам министр, сказав, что незачем оглашать такие факты. Народ несознательный бывает — может неправильно истолковать...

Тем не менее и в министерстве и в курилках обоих институтов, когда обсуждали вопрос о том, за что влетело именинникам, знающие люди сразу сказали: «За чугун». Если бы не было этого перерасхода, приказ звучал бы совсем иначе!

А звучал он так: «Инженеров Максютенко и Урюпина, скрывших недостатки сконструированной ими машины, что привело к серьезным убыткам, с занимаемой должности снять. Поставить вопрос перед руководством НИИЦентролита о привлечении к ответственности научных сотрудников Тепикина и Фундатора, которые, давая недобросовестные заключения, в течение нескольких лет препятствовали внедрению в народное хозяйство центробежной машины Лопаткина и, наоборот, активно содействовали продвижению негодной «револьверной» машины.»

Дальше следовало еще несколько пунктов, например, такой: «Начальнику Технического управления установить строжайший контроль за продвижением и внедрением ценных предложений, поступающих от изобретателей и рационализаторов». Этот пункт был всем знаком, его называли «дежурным». Комиссия переписала его из другого приказа, который был издан года два или три назад.

5

В сентябре Дмитрий Алексеевич приехал с Урала в Москву для участия в важном совещании. Представители нескольких министерств должны были обсудить, нужно ли создавать конструкторское бюро по проектированию центробежных машин, которое обслуживало бы сразу несколько ведомств. Дмитрий Алексеевич сделал доклад о возможностях предложенного им принципа. После этого выступало много незнакомых солидных людей — все они поддержали полезную и своевременно высказанную инициативу. Оказывается, и нефтяная, и химическая промышленность, и промышленность строительных материалов, не говоря уже о машиностроении, — все были заинтересованы в получении автоматической, быстро работающей центробежной машины.

Совещание шло шесть или семь часов. Дмитрий Алексеевич сидел

за длинным столом между заместителями министров и членами коллегий, и все эти строгие деловые люди наперебой спешили захватить свою долю в плане работы еще не существующего бюро. Они беспокойно перебирали свои бумаги и, вскакивая с места, требовали слова. Личность Дмитрия Алексеевича, его история и то, что он сидел и с интересом наблюдал за всеми, — это не касалось их. Они бегло посматривали на автора, но видели только машину, позволяющую решить какой-то очень острый вопрос, — и каждый хотел получить эту машину для себя в первую очередь, как можно скорее.

В перерыве к Дмитрию Алексеевичу подошел рослый мужчина в темно-синем костюме, грузный, широколицый, с гладким черным зачесом назад. Он взял Лопаткина под руку. Это был второй заместитель министра, который временно исполнял обязанности Шутикова.

— Что, Шутикова снимают наконец? — вырвалось у Дмитрия Алексеевича.

— Да, он теперь у другого министра. У Фаддея Гаврилыча. Кажется членом коллегии . . .

— Все-таки членом коллегии!

— Ну что ж, работник он ценный, этого у него не отнимешь. А то, что он с тобой не разобрался, — так слушай, что ты от него хочешь — он же цементник! У Фаддея Гаврилыча он будет как раз на месте!

— Не нам судить . . . — сказал Дмитрий Алексеевич.

— Вот именно! Переезжай-ка, давай, в Москву. Чего ты там застрял на Урале? У тебя же есть где голову приткнуть! — Это был несомненно, намек. Но черноволосый преемник остался серьезным. — Переезжай!

— Вот решат относительно бюро — придется переезжать.

— Когда там решат! Это будет не раньше, как с нового года. А ты сейчас переезжай. Надо же довести дело до ума. Машину-то ты забраковал, а нам взамен ничего не дал. Что же, я теперь буду ждать и потом заказывать в бюро? Нет, ты давай обосновывайся и садись в свою группу — с Креховым и Антоновичем. Заканчивай. Квартиру надо? Дадим. А насчет палок — не бойся, никто не будет совать. Головы поснимаем. Между нами говоря, это предложение Афанасия Терентьевича . . .

Вот как все повернулось! После совещания, выйдя под вечер на улицу, Дмитрий Алексеевич по привычке рванулся с места, сделал несколько быстрых шагов. «Куда полетел?» Он, смеясь, остановился, наклонил голову, подумал. Ему некуда было спешить!

И вдруг в мире наступила тишина. Он миновал грохочущие пороги, и теперь ему надлежало, сняв шапку, креститься на тихую текучую воду, на тихие и безмолвные осенние леса. Эти леса были прекрасны, но он добрых восемь лет не поднимал на них глаз. И что-то в нем произошло от этого бесконечного мелькания струй и опасных камней, от постоянной заботы о плоте, на котором он плыл, от той бесконечной дороги, по которой шел.

Война была окончена, и он победил! Победитель улыбался, торжествовал, но и ему была нанесена рана. Он сам это почувствовал. Вспомнились вдруг две вещи: сначала он подумал о своей любви. Он вспомнил о ней, а не почувствовал! Вот любопытно! Девушка осталась та же, а любовь ветром выдуло из головы. «Что же, интересно, с нею?

— подумал он с живым любопытством. — Не вышла ли она замуж за своего капитана? Вышла, конечно, — годы идут, пора предпринимать разумные шаги. Зайти или не заходить к ним? Не напугать бы еще чету!»

И вот второе, о чем он вспомнил. Вернее, он никогда это не забывал.

Сейчас, в тишине, ничто уже не мешало ему, и он опять ясно представил себе ту минуту, когда следователь объявил ему об окончании следствия и, как полагается по закону, дал все дело обвиняемому в руки, для ознакомления. Дмитрий Алексеевич нашел там протокол допроса Нади. От начала и до конца в нем была документирована ее любовь. О любви говорили все ее ответы — осторожные, полные бессознательного самоотречения. Не мысль, а чувство сквозило даже в строках, написанных чужой рукой: «Вопрос. Скажите, свидетель, как вы относились к обвиняемому Лопаткину? Ответ. Я его люблю».

Сам же Дмитрий Алексеевич в те дни думал не о женщине, а о своей машине.

Сейчас можно было остановиться на минуту, подумать о женщине. И Дмитрий Алексеевич стал думать. «Люблю ли я ее или просто привык? Не жестоко ли это — вот так уезжать, ходить без конца по своим делам, не замечать ее чувства? Ведь она моя жена, ведь она имеет право так называться! Но разве я сумею обманывать ее, прикидываться молодым, влюбленным? Какой же я влюбленный, если я могу целые сутки сидеть в ее присутствии и корпеть над чертежами, как я это делал вчера и позавчера? Какой же я молодой — ведь я должен был бы бросить все и бежать к ней! Да, да, да! — сказал он себе. — Она молодая, ей нужны цветы, а я уже старый, седой холостяк, вроде Антоновича. Много рассуждаю и забыл, что такое чувство».

Он стоял посреди тротуара и улыбался. «Могло бы, конечно, этого не быть», — подумал он со вздохом. Но тут речь повел в нем философ: «Если бы могло не быть, значит не было бы... Верно говорил Сьянов: два счастья в одни руки не даются». Хорошо! Но нет ли здесь просчета? Может быть, юность чувств, зеленые леса, зов тополей ценнее? «Нет, нет! Я, конечно, счастлив со своей машиной. И если бы пришлось, я бы повторил весь путь сначала. Я бы мог и двадцать пять лет плыть, как Бусько...»

«В чем же существо этого счастья? — опять спросил философ. — Вот машина сделана, удачно работает. Из недр общества была протянута незримая рука, и я положил в нее трубу. И рука приняла, не бросила. В этом — главное: я вручил то, что должен был вручить. А теперь? А дальше... Что же дальше?» Дмитрий Алексеевич не смог ответить на этот вопрос и с удивлением подумал: «Что же это такое? Остановка?»

Поразмыслив и взглянув на часы, он вдруг решил сходить на Метростроевскую, потом заколебался, хотя уже знал, что обязательно пойдет туда. И он пошел. «Она, наверняка, вышла замуж и переехала из той комнаты, так что я иду напрасно», — обманул он себя. И тут же, заметив этот обман, он подумал, что вот так и преступника влечет к тому месту, где он когда-то совершил злодеяние. В таких случаях всегда, наверное, что-нибудь придумывают, чтоб оправдаться! «Но разве я чем-нибудь здесь согрешил?» — подумал он. И тут же услышал в глубине своей совести отчетливое: «Девченке было сем-

надцать лет, когда ты начал петь ей о высоком призвании человека. Засверкал всеми красками, повел. А куда привел?»

Когда начались знакомые переулки, Дмитрий Алексеевич почувствовал, что он еще не готов для встречи с Жанной. Тем не менее он прошел по Метростроевской к высокому дому, где она жила, отыскал подъезд и первый раз в жизни вошел сюда, поднялся на четвертый этаж. И сразу увидел высокую дубовую дверь, с круглой табличкой: «26». В этой квартире она жила у каких-то своих родственников по отцу. Он поднял руку к костяной кнопке. Далекое и покойное сипенье звонка было последним решающим сигналом: теперь уже нельзя отступать!

«Я зайду, — подумал Дмитрий Алексеевич. — Что в этом особенного? Я обязан зайти. Она может узнать, что я был в Москве. Подумает, что вот и вся цена человеку: немного наладились дела — вот уже и нет у него времени для старых знакомых. В конце концов мы остаемся товарищами. Так надо же зайти! И потом мои бесконечные обещания — пусть узнает, что я был прав. Пусть, пусть узнает...»

Раздался скользящий щелчок замка. Дмитрий Алексеевич мгновенно выпрямился, поднял голову, снял шляпу. Дверь была уже приоткрыта. Кто-то стоял там, за щелью, в полумраке, кто-то крикнул шепотом: «Дима!» Вот дверь стала отходить, и тогда Дмитрий Алексеевич увидел Жанну. Он узнал ее глаза, слегка оттянутые к вискам, и— что это? Она остригла свои девичьи косы, и голову ее окружала тяжелая темно-каштановая колбаска — веночек из умело подвернутых внутрь блестящих волос. На ней был коричневый халат с какими-то золотыми нашивками, тонко перехваченные в поясе. В общем, это была она, но без того юного сияния, которое раньше везде сопровождало ее. Дмитрий Алексеевич не знал, что сияние это лилось в т е в р е м е н а из его души.

Вокруг них никого не было. Но, так как он сейчас еще больше страдал бы от малейшей лжи, он не стал целовать ее. А она не сводила глаз с его серой шляпы и дорогого пальто. И глаза ее были по-детски удивлены, полны странной зависти и восхищения.

Так, так, так... Вот он и капитан! Он здесь, он вышел из дальней двери и медленно идет к ним. Он заметно пополнел, и плечи его округлились. Дмитрий Алексеевич поклонился ему. Капитан подошел ближе, протянул мягкую руку. Да, он сильно пополнел — так, как полнеют люди, которым от природы положено быть сухощавыми. Нос и подбородок были по-прежнему острыми, губы — тонкими, лоб — сухим. Зато вокруг — на щеках, около ушей — поднимались налитые подушечки жира.

— Это Лопаткин, — сказала ему Жанна и встала, как бы закрывая собой Дмитрия Алексеевича. И военный наклонил голову. Он, должно быть, знал кое-что о нем.

— Рад познакомиться, товарищ капитан. — Дмитрий Алексеевич сказал это и почувствовал тут же неловкость: на округлых плечах вчерашнего капитана были мягкие погоны с двумя просветами. Но военный был не таков, чтобы замечать подобные мелочи.

— Майор Девятов, — сказал он о себе.

— Это мой товарищ, — негромко сказала Жанна Дмитрию Алексеевичу. На этот раз она встала, будто прикрывая собой майора.

И мужчины, чувствуя отчуждение, поглядывая друг на друга с сухим любопытством, прошли в комнатку, где были диван, столик и белая кроватка Жанны. Из окна комнаты были видны крыши и лиловый, не очень спокойный закат.

Майор сел на диван и закурил. Дмитрий Алексеевич, сняв шляпу, стал посреди комнаты, посмотрел направо и налево и сел, обхватив спинку стула. Жанна стояла в дверях и смотрела на него во все глаза. Перед ней сидел тот, кем Дмитрий Алексеевич когда-то ей обещал стать. Нет, это было что-то большее, что-то суровое, сильное и необыкновенно устойчивое.

— Позвольте спросить, Дмитрий... Николаевич, — заговорил майор. — Вы где-то отсутствовали эти годы?

— Я сидел в тюрьме, — ответил Дмитрий Алексеевич.

Майор опустил глаза и стал смотреть на папиросу.

— Я не хотел вам писать об этом, — сказал Лопаткин, взглянув на Жанну.

— Почему?.. Вы могли бы написать... — прошептала она.

Они как-то естественно перешли на вы.

— Простите, Дмитрий Николаевич, — сказал майор, уступая любопытству. — За что же вы, так сказать, попали?

— История очень длинная. Долго рассказывать...

— Вы легко отделались. Года два?

— Полтора. Меня неправильно осудили.

— Как так неправильно? — Майор покраснел. — Разве это может быть?

— Вы где работаете?

— Я адъютант у командующего.

— Ну что же, командующий всегда вами доволен? Ни разу не распекал вас за какую-нибудь ошибку?

— Может быть, и распекал! — Майор повеселел. — У него это от настроения зависит.

— Вот видите! Даже командующий и тот, оказывается, не святой. Меня приговорили к восьми годам. А Верховный Суд выпустил.

— Ага!.. — И майор опять посмотрел на свою папиросу. — Ну, и что вы теперь намерены делать?..

— Как «что»? Работать...

— У вас, по-моему, как мне говорили, было какое-то изобретение, — сказал майор тоном старшего, хотя было ему не больше двадцати семи. При этом он взглянул на Жанну, и она сильно покраснела.

«Догадываюсь, что тебе здесь говорили про меня», — подумал Дмитрий Алексеевич.

— Так вот, Дмитрий Николаевич... вас, кажется, так звать? В каком это у вас положении? Почему я спрашиваю: я имею некоторые возможности...

Дмитрий Алексеевич широко улыбнулся, но тут же смял улыбку. Он не хотел обижать майора.

— Спасибо, — сказал он. — Поздновато. Я сейчас имею тоже коекакие возможности. — Он весело блеснул глазами. — Если что — могу...

— Вы хотите сказать, что у вас получилось? — вмешалась Жанна,

лихорадочно розовея. — Вы это... — она хрипло откашлялась, — это хотите сказать?

Дмитрий Алексеевич подумал: «Может, не следует так прямо объявлять ей о победе? Зачем мстить? Человек что-то вспомнит, начнет перечитывать старые письма, о чем-то будет жалеть...»

— Вы что замолчали? — Глаза Жанны горели непонятным восторгом, она упорно добивалась своего. — Вы что — сделали то, о чем говорили?

— Почти...

— «Почти» — это было еще тогда... Помните когда?

— Ну, сейчас дело значительно продвинулось вперед. Сейчас по-настоящему «почти».

— Все-таки, может, вы мне расскажете что-нибудь?

— Соловья баснями не кормят, — сказал Дмитрий Алексеевич смеясь, — это я теперь хорошо знаю.

— Гм... — кашлянул майор и поднялся. — Вы продолжайте, продолжайте! К сожалению, я вас должен покинуть... Жанна, такое обстоятельство... — Он заговорил вполголоса: — К восьми часам... штаб...

— Я тоже с вами. — Дмитрий Алексеевич поднялся.

— Нет, вы останетесь, — сердито приказала Жанна, и он сел.

— Да, так я очень рад!.. — Майор пожал руку Лопаткину. Надев фуражку, он повернулся к Жанне, сказал ей что-то глазами, и она, мягко ступая, вышла проводить его. У выходных дверей они остановились. Там произошел какой-то быстрый тихий разговор. Наконец дверь хлопнула.

Дмитрий Алексеевич приготовился к решительному объяснению. Жанна все не шла. Закат за окном догорел, и все небо словно бы подернулось темной золой. Сидя на стуле, Дмитрий Алексеевич осматривал комнату. Вся эта чистая комнатка просила о пощаде. Здесь все было хорошо эти два года, вот и портрет майора Девятова в рамочке как маленький краб, подобрался весь и смотрит... Сумерки и тишина тоже были подосланы и настраивали Дмитрия Алексеевича на мирный лад.

Внезапно, как хлопушка, щелкнул над ним выключатель. Яркий свет ослепил его.

— Вы подождите, я поставила чай... — Жанна несмело подошла к нему. Постояла, помешкала, села на диван. Вдруг подняла на Дмитрия Алексеевича глаза — карие, плавающие в слезах. «Я была не права, можешь судить меня!» — сказал ее вызывающий взгляд. «Нет, нет, нет, что ты!» — ответили испуганные добрые глаза Дмитрия Алексеевича.

— Трудно было? — спросила она.

— Особенно в тот год, когда мы в последний раз с тобой...

— Что же это было? — чуть слышно спросила Жанна. — Условия или человек?

— Человек... — Все обиды поднялись, запели в его голосе.

— А я вот ничего не знала... А почему оттуда не писал?

— Оттуда?

Она услышала в этом слове то, что Дмитрий Алексеевич больше всего старался скрыть. В комнатке наступила тишина.

— Если бы я тебе написал оттуда, то это было бы вроде моих злых музгинских писем.

— Говори. Дима, говори, — шепнула она.

Взглянув на нее, Дмитрий Алексеевич сразу остыл, не сказал ничего.

— Ну хорошо, — твердо заговорила она. — Я знаю, что ты должен мне сказать. Не можешь — скажи тогда вот что. Машину твою признали? Существует она?

Она не могла смотреть прямо на Дмитрия Алексеевича. Ее косой, ревнивый взгляд испугал его. «Что, если скажу «да»? — подумал он.

— Нет, Жанна, ты сначала расскажи о себе...

— Чайник кипит! — донеслось из коридора.

Жанна выбежала. Вскоре вернулась с чайником, поставила на стол две чашки, ажурную фарфоровую вазочку с зефиром. Дмитрий Алексеевич повесил пальто на спинку стула, подсел к столу.

— Ну что я скажу о себе? — заговорила Жанна, разливая чай. — Не хочу о себе говорить. Сам видишь — все в порядке. Кончила университет. Летом была на Кавказе, потом в Музге гостила. Ну что еще? Мама по случаю окончания университета подарила мне манто...

— Какое же манто? — спросил Дмитрий Алексеевич, глядя в свою чашку, низко наклоняясь над нею.

— Дорогое. Из норки. Но вообще-то... Вот, собственно, и все. Кроме манто, — она невесело усмехнулась, — мне нечего тебе сказать. Поеду вот скоро в Кемерово на коксохимзавод.

— Чего ж тебе туда ехать, когда капитан этот, майор, может тебе, наверно, устроить Москву?

— Он обещает... — Жанна покраснела. — Но ты мне так и не сказал, сбываются твои мечты?

— Сегодня ничего определенного не скажу.

Они замолчали.

— Ты чего смотришь на меня? — спросила она.

— Так, — ответил он, улыбаясь, словно сквозь грустный сон. — Просто так. Давно не видел.

И он продолжал смотреть на нее.

— Ты от меня что-то скрываешь. По-моему, ты победил и теперь пришел мне мстить. Что же ты не мстишь?

— Значит, ты чуть-чуть верила? — Он улыбнулся. — Или, может, тебя эта моя шляпа смутила? Ты на нее не смотри. Это шляпа обыкновенного служащего. Я поступил на работу. На штатную, добропорядочную работу, с окладом, который позволяет одинокому холостяку иметь такую шляпу.

— Ты не сбивай меня с толку. — Она пристально посмотрела на Дмитрия Алексеевича. — Мне кажется, что мы теряем друг друга. Ты меня видишь?

— Очень слабо.

— А я тебя совсем не вижу. Ты почему не говоришь правду?

— Успокойся. — Он продолжал вяло ее обманывать и уже подумывал о том, чтобы уйти. — Ты, в общем, была права. Я рад, что тебе не пришлось разделить со мной множество неприятностей.

— Ты меня жалеешь! — воскликнула она.

— А! — сказал он, почувствовав вдруг усталость, и решил покон-

чить со всем. — Чего тут врать! Ну, конечно, я все сделал и стал начальником. Буду скоро резолюции накладывать: «Тов. Петрову на реагирование». — Он засмеялся.

И Жанна развеселилась так, что у нее даже красные пятна пошли по лицу.

— Ты пей, пей чай! — сказала она весело.

— Мне идти пора. — Они поднялись. — В общем, я вижу, все живы, здоровы, окончили университет, имеют манто. —Покажи-ка мне его. . .

Это манто висело на стене под марлевой занавеской. Жанна откинула ее, и Дмитрий Алексеевич увидел то, что ожидал: знакомый нежно-каштановый мех.

— Недурно, — сказал он, запуская пальцы в этот мех, и задумчиво посмотрел на Жанну. — Хороший подарок. Наверно, дорогой? . .

Он сам взял из ее рук край марлевой занавески и медленным движением задернул манто. Надел шляпу, бросил на руку пальто и шагнул к двери. И как будто сразу ушел очень далеко. Там, вдали, остановился и целую минуту смотрел издалека на маленькую фигуру Жанны. Опять приблизился и медленно открыл дверь.

— Ну что ж, пойдем! — Вся эта церемония еще больше развеселила Жанну.

У выхода она взяла Дмитрия Алексеевича за руку, несколько раз ее встряхнула.

— А теперь уходи скорее. . . — Засмеялась сквозь слезы. — Иди, иди, — и вытолкнула его за дверь.

Дмитрий Алексеевич давно уже понял, что она плачет. Уже несколько минут слезы текли по ее внутреннему лицу, в то время как лицо видимое смеялось, светясь лихорадочными розовыми пятнами. А сейчас, когда все в ней прорвалось наружу, он попробовал остановить дверь — вернуться и успокоить Жанну. Он нажал на дверь. И Жанна в ответ нажала оттуда, изнутри. Ее неверная, ожидающая сила сказала ему, что нужно сильнее рвануть дверь. Но он не смог лгать — подчинился этому слабому сопротивлению. Он уступил — и дверь медленно закрылась и щелкнула замком.

«Почему она захлопнула дверь? — думал он, спускаясь по лестнице, — Почему вытолкнула?» Ответ был такой: потому, что ждала от тебя решительного движения. Или да, или нет! Ты должен был сломать дверь, если любишь, она так понимала это. Положение вещей таково, что ей нужна ласка. «Положение вещей! — подумал он вдруг с ужасом. — Какие слова!»

Он вышел на тротуар. Огляделся, понесся вперед привычным широким шагом.

«Да, я был все время спокоен, — думал он. — Но это хорошо, что я не сломал дверь. Все-таки н е т было сказано. Печально как получается — тащил, силился оторвать от Ганичевых, а теперь толкаю обратно. . .»

Впрочем, он тут же забыл обо всем, пришел в себя. Сначала его отвлек милиционер. Он засвистал, как только Дмитрий Алексеевич сошел с тротуара, чтобы перейти улицу, и свистел, стоя вдали, до тех пор, пока нарушитель не понял, что это относится к нему. Потом Дмитрий Алексеевич попал в переулок и заметил, что спустилась ночь и

в камнях ожило эхо. Затем он подумал, что надо будет зайти к этому, с черным зачесом, пока Афанасий Терентьевич не забыл о том, что старая машина забракована, а новой нет. «Надо строить как можно больше машин, — сказал он себе. — Надо закреплять достижение!» Он на чем-то ехал, что-то перебегал, опять ехал, потом шел и, наконец, открыв последнюю дверь, оказался в комнате, наполненной теплым полумраком. Надя лежала в постели. Рядом с нею, на одеяле, был пристроен электрический ночник. Она читала книгу и, как только Дмитрий Алексеевич вошел, устремила на него темные глаза, полные грустной, почти материнской ласки.

— Ешьте вон там, на столе, — мягким, ночным голосом сказала она. В это же время материнское чутье ее определило, что Николашка сбросил с себя одеяльце. Протянув белую руку к его кроватке, она поправила все, как надо, и опять стала смотреть на Дмитрия Алексеевича.

— Все решили в нашу пользу, — сказал он о дневном совещании. — Все говорят, что вопрос о конструкторском бюро будет встречен благосклонно.

— Замечательно, — сказала Надя тем же мягким, ночным голосом. — Вон там ваши любимые печеные яблоки с сахаром.

Он снял пиджак, умылся и через несколько минут, сидя на краю своей постели, за столом, рассказывал Наде о дневных делах.

— Между прочим, — сказал он, — я сегодня был еще знаете где? На Метростроевской.

— Ну и что?

— Очень много было слез...

— С обеих сторон? — Надя тихо улыбнулась.

— С одной. Я тоже был на грани... Но с той стороны... я лишнего много сказал. У нее уже наметилась какая-то определенная дорога, а тут я... затопал сапогами в передней!..

«Ты и сейчас топаешь сапожищами!» — одернул его внутренний резкий голос. И, набрав в ложечку кисло-сладкой яблочной мякоти, он спокойно, как мог, перевел стрелку на другой путь:

— Пока тут будут разговаривать про конструкторское бюро, я решил довести до конца нашу машину в Гипролито. Тем более, что был по этому поводу посол от министра.

6

В конце октября — в воскресенье, среди дня — Надя была дома и играла с Николашкой. Мальчик покушал и теперь сидел на столе, свесив ноги. Надя стояла перед ним и, рыча, показывала, что она сейчас схватит его и съест. Николашка, смеясь и вскрикивая, брыкался и отмахивался, но Надя все же успевала схватить его, и тогда из волка она превращалась в милую маму. Надя забыла, что сыну надо днем спать, — игра шла уже целый час. Она была однообразна, но мальчику очень нравилась А мама находила в этой игре особое наслаждение, она словно бы хотела залить свою какую-то бездонную и горькую глубину.

Всего лишь несколько раз Дмитрий Алексеевич неосторожно топнул сапогами — обмолвился о Жанне, — и вот друг его стал болеть

и сохнуть. Дмитрий Алексеевич заметил это, обеспокоился. Чуть ли не каждый день подходил к Наде, ласково и тревожно спрашивал о здоровье. Но эти его маленькие ласки действовали еще хуже. Надя брала Дмитрия Алексеевича за руку, смотрела, как бы прощаясь с ним, и один раз, вдруг забыв обо всем, они опять прыгнули с поезда, как однажды ночью, в комнатке Бусько. Но и после этого Надя не почувствовала себя увереннее. И был еще один прыжок, и еще один — и от нее совсем ничего не осталось, только одна лишь беззащитная любовь и сын, которого она теперь и сжимала в бесконечных и горьких объятиях.

За окном на всех крышах и на земле был снег. Он выпал в этом году рано и валил каждый день. Кто-то позвонил с лестницы, но Надя не обратила внимания на звонок. Она только тогда оглянулась, когда на нее повеяло от дверей холодом и улицей. Быстро повернулась и увидела в дверях девушку в манто из нежно-каштанового меха. Это манто и ей было широковато в плечах и чуть съехало набок: вот что прежде всего заметила Надя. Она увидела свое манто, за которое Ганичева дала ей тогда шесть тысяч. Зинаида Николаевна забыла об окончательном расчете. Но не это сейчас встревожило и накалило Надю. В это манто, которое она отдала, чтобы тайно помочь Дмитрию Алексеевичу и чтобы каждый день мучиться при встрече с Дроздовым, — в это манто была одета Жанна Ганичева. Это она, похожая на сестру-школьницу, с ее глазами, наводящими на мысль о бинокле, спокойно пришла сюда, чтобы увести навсегда Дмитрия Алексеевича. Не раньше, а именно теперь, когда все сделано, когда высохли все слезы и сам Дроздов забил отбой.

«Что ж, поговорим». — подумала Надя.

Она еще раз взглянула на Жанну и увидела низко нависающий на ее лоб венчик каштановых волос, словно бы надетый на голову вместе с мягкой скорлупкой из малинового фетра.

Жанна, должно быть, чувствовала себя неловко: Надя что-то слишком долго рассматривала ее.

— Мне Дмитрия Алексеевича Лопаткина, — сказала она.

— Его нет, — ответила Надя. — Вы раздевайтесь, он должен прийти.

Жанна сняла манто, и Надя, надев его на деревянные плечики, на те же, специально для него купленные плечики, повесила его в передней, в стенной шкаф. Проходя мимо Жанны, Надя взглянула на нее сбоку. Вернее, та, что являлась ей когда-то в зеркале, вдруг беспокойно и злобно зашевелилась, увидев рядом другую — такую же... Да, из глаз Жанны смело и жарко смотрело такое же существо. Она напудрилась и подкрасила брови, для встречи с Дмитрием Алексеевичем.

— Садитесь, пожалуйста, — сказала Надя, возвращаясь.

Жанна села, посмотрела за окно, на снег, потом протянула руку к Николашке.

— Это ваш сын? Какой мальчик хороший!

И Николашка — бочком-бочком — отошел к маме.

— Меня, собственно, вот что интересует, — сказала Жанна, чувствуя, что от нее ждут объяснения. — Я вот зачем пришла. Я окончила

институт и должна вот-вот уехать на работу, в Кемерово. А мне очень хотелось бы...

— Остаться в Москве? — спросила Надя.

— Не совсем так. В Москве я могла бы остаться. Предлагают. — Жанна умолкла и наклонила голову. Потом решилась: — Мне вместе с Дмитрием Алексеевичем хочется работать. Мы с ним знакомы очень давно, он у меня еще в школе учителем был.

— Ну что же... Он сейчас как раз комплектует бюро...

— Вы простите меня, я даже не представилась. Меня зовут Аня.

— Как? — Надя подняла бровь.

— Аня...

— По-моему, вас зовут Жанна. — Веселые искорки подпрыгнули в глазах Нади. — Я же вас очень хорошо знаю.

— Правда у меня в паспорте Жанна... Только, знаете, я в последнее время стараюсь избегать... Анна — как-то лучше, по-русски... А откуда вы меня знаете?

— Я даже ваш портрет спасла от пожара. — И Надя достала из стола портрет Жанны — тот, который висел еще там, в Музге, в землянке Сьяновых.

— Неужели от пожара! — Жанна взяла в руки свой портрет, и на лице ее понемногу стали выступать розовые пятна. Она долго смотрела на себя. Потом как-то гордо и неестественно вскинула голову, и тяжелая колбаска из каштановых волос подпрыгнула у нее на лбу.

— Давайте-ка я спрячу его все-таки, — сказала Надя, отбирая у нее портрет. — Хоть он и ваш, но он все-таки не ваш.

— Он у вас снимает угол? — спросила Жанна.

— Да, он у меня остановился, — уклончиво проговорила Надя. — он скоро должен прийти.

— Вы не знаете, как у него дела?

— А что, вы не знаете?

— Он мне ничего не сказал, почти ничего...

— С е й ч а с можно сказать, что дела у него прекрасны. Лучше, чем когда бы то ни было. Он добился многого. Машины его работают уже на одном заводе. А скоро будут работать на сотне заводов. Вы же знаете — он назначен начальником конструкторского бюро... То никому не был нужен, а теперь всем вдруг понадобился!

Это получилось у Нади нечаянно. Она сказала, не подумав о том, что Жанна может принять это на свой счет. И Жанна сделала вид, что так она и поняла: речь идет, конечно, о тех, кому Дмитрий Алексеевич писал свои жалобы и заявления.

— Да, это ужасно, сказала она. — По-моему, он даже был в тюрьме!..

— Тюрьма как раз не самое ужасное, — задумчиво и тихо проговорила Надя. —Ужасное — то, что было до тюрьмы.

— Теперь я догадываюсь... Но вы знаете, сам он мне ничего об этом не говорил. Не писал и не говорил. «Все очень хорошо», — только и слышишь. Он скрывал это ото всех.

— Скрывал-то он от всех... — проговорила Надя еще тише и грустнее. — Скрывал-то он действительно от всех. Только от настоящих друзей ведь не скроешь ничего...

— А были у него? .. — спросила Жанна и спохватилась, покраснела. Не ей бы задавать этот вопрос.

— Были, конечно! — Надя посмотрела на сына, который обнимал ее колени, погладила его уже начинающие темнеть волосы, улыбнулась, почесала у него за ушком. — Были, были друзья! Были и есть!

— И кто такие?

— Кто? Всякие были — старики и молодые. Больше стариков.

— И женщины? ..

— А как же! Без нашего брата никаких серьезных историй не бывает. Никаких серьезных дел. Одна женщина его очень любила... Не бойтесь, Аня, она не смогла его отобрать у вас.

— А кто она — не знаете?

— Знаю... Он не смог ничего скрыть от нее. Она все увидела. И начала помогать. И вот она-то очень многое сумела от него скрыть. Он о многом и сейчас не догадывается.

Эти слова Надя сказала с гордостью, но тихий стон послышался в них. При этом она посмотрела куда-то мимо Жанны. И сразу стало ясно, кто эта женщина. Жанна с простенькой улыбкой спросила:

— Это, наверно, вы?

— Ну что вы! Куда мне — у меня вот есть, мое единственное. — И она стала целовать сына. — Моя забота, мое горюшко — золотое, дорогое. А та женщина думала только о нем и даже о своем ребенке иногда забывала, как будто его не было. Та была совсем другая, сумасшедшая дурочка. Не знаю, найдется где еще такая! Свои вещи продавала для него...

Тут Надя спохватилась, почувствовала, что говорит не для Жанны, а для себя. И тихонько сбавила тон.

— Вообще, Дмитрий Алексеевич такой человек: с кем встретится, тот сразу идет ему навстречу, помогает, чем может. Или становится ему врагом. Вот он познакомился с одним старичком профессором. Нелюдимый был старичок... Поговорили всего один час, и профессор подарил ему эту вещь. — Надя показала Жанне чертежный «комбайн» Евгения Устиновича. — А сам сидел на одном хлебе!

— Знаете, — сказала Жанна тихим и жалким голосом, — мне все-таки кажется, что это вы...

— Не-е-ет, — спокойно протянула Надя. — Какое там я! Я сейчас вам покажу, кто это. Вот... — И она, выдвинув ящик стола, переложила там несколько бумажек и достала надорванный конверт. Вытащила из конверта сложенный листок и, не развертывая его, подала Жанне. — Вот кто, читайте.

Жанна развернула письмо, стала читать его с середины.

«... Я сделала свое маленькое дело, — писала неизвестная женщина, — и воспоминание о нем будет для меня достаточной наградой. С Вашей стороны, милый Дмитрий Алексеевич, это деликатность, которую я одна могу понять до конца и за которую Вас не могу не поблагодарить. Вы пишете, что работа интересная, и даже про оклад... Но мы с Вами понимаем, что не в окладе дело. Я не поеду к Вам, потому что Вы теперь знаете мое отношение к Вам, как и я знаю Ваше отношение ко мне. Я не должна больше Вас видеть. Я знаю также, что есть женщина, которая принесла большие жертвы, чем я, и которая, наверное,

Вас больше любит, чем я. Хотя это последнее я не могу себе представить. . .»

Последние строки сказали Жанне все. Она была достаточно сообразительна — она была все-таки Ганичева, — и поэтому, отложив письмо, она сделала вид, будто оно полностью все для нее разъяснило. Но и Надя была настороже. Она тоже увидела кое-что и поспешила поправить дело.

— Это моя подруга. Дмитрий Алексеевич послал ей приглашение работать у него — она хорошо знает языки. И она, конечно, прилетела бы. Но ей известно, что вы в Москве. Чудачка! Золотой человек!

— Вы, значит, были в Музге? Простите, а как вас зовут?

— Надежда Сергеевна. . .

— Дроздова?

— Дроздова, Надежда Сергеевна. — И Надя с невинной ясностью посмотрела на нее. «Будь как будет, — подумала она. — Если она знает что-нибудь, пусть знает. Если ничего не знает — незачем ей тогда вообще вникать во все эти истории. . .»

Но Жанна что-то знала. Может быть, ей рассказала мать, может быть, сестра написала. Имя Надежды Сергеевны было ключом, который соединил все и мгновенно прояснил.

И Жанна, не сводя восхищенных глаз с сидящей перед нею героини, сразу поднялась, стала прощаться.

— Я засиделась у вас. . . Наверно, я не дождусь его. Уж ладно, я зайду как-нибудь в другой раз или позвоню. . .

— Я передам ему, — сказала Надя, проходя за нею в переднюю.

Здесь Жанна привычным движением набросила на себя манто, а Надежда Сергеевна сразу словно удалилась куда-то и издалека посмотрела на маленькую фигурку Жанны. Потом приблизилась и подала Жанне руку.

— До свидания Аня. . . Заходите. Я ему все передам. . .

Она вышла за Жанной из подъезда, к очищенному от снега тротуару, и здесь увидела новенькую, словно облитую стеклом «Победу» песочного цвета. В машине сидел жирненький военный — кажется, майор. Увидев Жанну, он нажал кнопку сигнала, и «Победа» весело запела.

Жанна еще раз попрощалась с Надей и пошла к машине. Манто попрежнему сидело на ней чуть косо, его даже не переделывали.

«Девочка-загадочка», — подумала Надя.

Вечером приехал Дмитрий Алексеевич. Он провел весь день у Крехова — знакомился с машиной для литья из стали под давлением, которую Крехов уже много лет проталкивал вместе с изобретателем. По лицу Дмитрия Алексеевича было видно, что изобретение оказалось очень интересным. Он ничего не замечал, рассеянно улыбался, морщил нос, ум его продолжал работать над машиной. Долго еще глаза его смотрели куда-то за пределы комнаты. Потом он начал остывать — Надя и это определила по его лицу. У него появилось то мягкое, усталое выражение, которое больше всего нравилось ей. В такие минуты он как бы снимал суровую стражу и Надя входила в его душу, часами тихо блуждала в этом лабиринте, изредка встречая то наглухо запаянную, неведомую дверь, то дверь, закрытую лишь для виду, а за нею — неожиданные подарки.

Они сели вместе за стол пить чай. Надя собралась с силами и, как могла беспечно, проговорила:

— Жанна к тебе приходила сегодня. Часа полтора сидела.

— А что она? . . — Дмитрий Алексеевич посмотрел на Надю.

— Хочет просить тебя, чтобы ты устроил ее к себе в бюро.

— Бюро-то еще нет! Потом мы же с нею как будто все сказали. Она сама закрыла дверь. Говорит: «уходи» и дверью — хлоп.

— Значит, она тебя любит. И ты должен серьезно отнестись к этому и сделать все, что можешь. Ты должен, по-моему, поехать, успокоить ее и устроить на работу.

— Она же химик! Если в литейный цех? Правда, там металлургический уклон. Неужели я обязан? . .

— Конечно, обязан. . .

О майоре Надя ему ничего не сказала. Умолчала и о новом манто Жанны. «Незачем говорить. Девочка не виновата».

«Раз она велит. . .» — подумал Дмитрий Алексеевич и на следующее утро поехал к Жанне. Дверь ему открыла незнакомая женщина. Он прошел по коридору, стукнул два раза в белую дверь, подождал, еще два раза стукнул, и Жанна быстро открыла ее и отступила на шаг.

Она тут же пришла в себя и поставила перед ним стул. Дмитрий Алексеевич сел, огляделся, увидел на кровати и на диване какие-то свертки, что-то шелковое, розовое, что-то нежно-сиреневое, что-то бледно-фисташковое с темными кружевами.

— Тут я имущество свое разбираю. — Жанна смутилась и набросила газету на кровать.

— Ты чего ж меня не дождалась? — спросил он дружелюбно. — Чего ж ушла?

— Да так. . . Я подождала немного. . .

— Раз пришла наниматься, — пошутил он, — значит надо ждать начальника. Ты кем можешь работать?

— Наверно, никем. . . Я же химик. . .

— Химик-аналитик? Верно ведь? Будешь в литейке заниматься составом и свойствами металла. У нас целая группа будет этим ведать.

— Как жа-аль. . . — проговорила Жанна нараспев. — Нет, невозможно. Боюсь, что не смогу, — сказала она.

— Что там еще?

— Это я так. . . — Стоя к нему боком, она повернула голову и посмотрела на него всей душой, как бы спрашивая: «А?», как бы говоря ему: «Ну! Ну же!»

Потом она прошлась по комнате, взяла сумочку, открыла, стала перебирать в ней бумажки.

— Я тебе дам ответ, — сказала она твердо. — Знаешь когда? Вот. . . Второго ноября. Через три дня. Второго ноября в девять вечера приезжай ко мне. . . Хорошо? Во-о-от. . . И я тебе дам ответ.

— Второго, говоришь? Второго я, пожалуй, не смогу. Это же у нас суббота? В девять не получится. У меня чествование академика Саратовцева. Восьмидесятилетие. Велят быть. . . В президиуме буду сидеть.

— А в восемь?

— В восемь тоже нет. В семь тридцать забегу. И тебя прихвачу, хочешь? Посмотришь на нашу ассамблею.

— Ну хорошо. В семь тридцать. Раньше не приходи — меня не будет дома. Запомнишь?

— Чего запоминать? Если минут на двадцать раньше приеду — подожду, вот и все. Договорились? Ну, тогда до свидания.

И он повернулся и понесся по коридору своими привычными метровыми шагами.

— Дмитрий! — окликнула его Жанна.

Он остановился. Жанна подошла к нему вплотную, даже нажала плечом. Взяла его за руку, сильно сжала.

— Надо же попрощаться! Желаю вам счастья, Дмитрий Алексеевич.

И он ушел. И все эти три дня он работал в Гипролито над первым своим проектом, тем самым, который был когда-то забракован Шутиковым. Этот проект был на девяносто пять процентов готов еще тогда. Но теперь у Дмитрия Алексеевича, у Крехова и у Антоновича появились новые мысли, в связи с чем проект пришлось кое в чем заново «переиграть».

Второго ноября с утра Дмитрий Алексеевич сходил в баню, побрился и надел «Фундатора» — так он назвал свой новый черный костюм. В таком виде он появился в Гипролито — в той комнате, где трудилась его группа. И его встретили Крехов и Антонович, которые были в новых кителях с зеленым кантом. В этот день часов до пяти группа работала ровно и сосредоточенно, как всегда. В пять часов Крехов и Антонович вышли и минут через сорок вернулись, причем еще издали Дмитрий Алексеевич услышал их громкие веселые голоса: эта сорокаминутная отлучка, как они пояснили, входила в программу чествования академика.

В шесть часов у институтского подъезда остановился большой желтый с красным автобус. Его заполнил рядовой состав института, и, так как чествование академика было уже начато не только Креховым и Антоновичем, в автобусе сразу же пошла громкая перекличка молодых и старых подвыпивших остряков и грянули дружные взрывы смеха. Автобус загудел и тронулся, а к подъезду неслышно стали подкатывать запорошенные свежим снегом машины начальников.

Дмитрий Алексеевич позвонил Наде, поторопил ее, посмотрел на часы и, выбежав из подъезда, остановил такси. Он должен был в семь тридцать заглянуть к Жанне.

По дороге Дмитрий Алексеевич в первый раз подумал о том, что это звучало несколько странно: «Я скажу вам второго ноября, в восемь».

На Метростроевской он выскочил из такси, попросил шофера подождать и широкими, машистыми прыжками вбежал под арку. Вот двор, весь, как закром, наполненный сиреневым снегом. Вот подъезд. Еще под аркой он обратил внимание на цепочку узких следов в снегу. У подъезда он остановился. Следы шли от дома к улице. «Не может быть. Пустяки», — подумал он, распахивая тяжелую дверь, и лестница загудела, вибрируя под его решительными шагами.

На звонок его опять вышла незнакомая женщина в несвежем переднике. Дмитрий Алексеевич поблагодарил ее и направился в комнату Жанны. Она была заперта.

— Товарищ! — услышал он за спиной повелительное. — Товарищ, я же говорю вам: она уехала.

— Куда? Она же мне в семь тридцать...

— Она уехала на вокзал. Она же в Кемерово сегодня...

— Ах, вот оно что... Во-от что... — проговорил он, хмуря брови. — И ничего не передавала? Говорила что-нибудь?

— Вы Дмитрий Алексеевич? Она оставила вам письмо. Вот...

Дмитрий Алексеевич подошел поближе к лампочке, разорвал белый конверт, в два мгновения прочитал все письмо.

«Я уезжаю в Кемерово. Ты сейчас поймешь все. Есть женщина, которая принесла для тебя жертвы большие, чем я. Она и любит тебя больше, только недавно я поняла, что это возможно. Я не смогу жить рядом с тобой и с твоими товарищами и подругами, из которых каждый и каждая лучше, чем я, и доказали это на деле. Прекрасно понимаю, что, глядя на меня и на Надежду Сергеевну, ты поневоле будешь сравнивать, потому что разница налицо. Береги свое счастье, она тебя любит. Я тороплюсь на поезд. Дорогой мой учитель, Дмитрий Алексеевич...» Здесь она, должно быть, спохватилась, времени у нее не было, она написала: «Жан», гневно перечеркнула и расписалась рядом: «Анна».

— Во сколько уходит поезд? — спросил Дмитрий Алексеевич.

— В семь тридцать, она говорила, — ответила женщина.

Дмитрий Алексеевич взглянул на часы. «Без пяти восемь. Все рассчитано верно. Молодец! Твердая, как и была».

Он не заметил, как вышел из подъезда. Письмо Жанны что-то в нем глубоко задело. Должно быть потому, что душа ее еще не израсходовала сил, которые нужны, чтобы страстно любить и горько рыдать. Загадка! Никакой загадки — все ясно. У нее открылись глаза.

И тут же он увидел цепочку узких ямок в снегу. Он оглянулся, несмело поднял из ближней ямки воздушный ком снега и смотрел на него, пока он не растаял. Потом он спохватился и выбежал из-под арки. Машина с шахматным пояском стояла на месте.

По дороге к Таганке, в индустриальный институт, где должно было состояться чествование академика, Дмитрий Алексеевич думал о том, что, пожалуй, все сложилось к лучшему. В общем-то, конечно, дела сложились не очень счастливо, скорее, пожалуй, грустно. Он даже сказал вслух: «Грустно!» — и посмотрел при этом на часы — на много ли он опоздал. Он тут же увидел нелепость этой мелкой заботы перед лицом события, которое, он чувствовал, никогда не уйдет из его памяти. И он задумался: «Отчего бы это — этот земной взгляд на часы?» Но тут как раз машина затормозила перед подъездом института. Дмитрий Алексеевич поспешно расплатился, побежал в раздевалку, затем, причесываясь на ходу, раскланиваясь со знакомыми, поднялся по широкой лестнице, мимо старинных зеркал, наверх, в ровно и весело гудящий актовый зал.

Академика еще не было. Президиум, который был намечен и оповещен заранее, собрался за кулисами — множество новых кителей и черных костюмов. Здесь был генерал — директор Гипролито; в стороне Дмитрий Алексеевич заметил желтое и умное лицо и новый китель Дроздова. От группы к группе переходил застегнутый на одну пуговицу Вадя Невраев. Он подошел к Дмитрию Алексеевичу и сердечно пожал его руку, сказав: «Смотрите-ка, старик Флоринский не приехал!»

Потом в зале раздался жаркий грохот. Все встали. Это появился

академик. Он медленно шел по центральному проходу к сцене. Свита — генералы с лампасами и ученые в черных костюмах, и среди них черная гора с желто-белой верхушкой — Авдиев, — свита шла за ним, как взвод музыкантов, улыбаясь, шевеля губами, неслышно ударяя в ладоши. А сам академик — розовый здоровячок с небольшой плешью и с остро торчащими вверх концами усов — раскланивался и улыбался направо и налево.

Президиум взошел на сцену. Дмитрий Алексеевич сел с краю, в третьем ряду. Кто-то далеко впереди него объявил вечер, посвященный чествованию академика Петра Венедиктовича Саратовцева, открытым. Кто-то еще дальше поднялся, прошел на другой конец сцены — к трибуне, и начался доклад о научных заслугах академика. Академик, оказывается, написал много трудов и еще в 1928 году разработал некоторые важные проблемы, которые до сих пор не утратили своей ценности. Кроме того, он заложил основы той теории, которая позволила затем прийти к решению. . .

Дмитрию Алексеевичу не удалось дослушать доклад. Неизвестный человек осторожно тронул его плечо, поманил за кулисы и повел дальше, кривыми проходами, в коридор, к узкой лестнице. Здесь, у стены, стоял майор Девятов, бледный, с плотно сжатыми губами.

— Я от Анны, — сказал он. — Она просит, чтобы вы приехали на вокзал.

— Как? — Дмитрий Алексеевич недоверчиво посмотрел на майора. — Она же уехала в семь тридцать.

— Это она так сказала дома. Поезд отходит в двадцать один ноль две. Анна просила меня привезти вас.

— Ну что ж, хорошо. — Дмитрий Алексеевич стал спускаться по лестнице к выходу. Над лестницей висели круглые часы. Было без двадцати трех девять.

— До отхода осталось двадцать пять минут, — сказал майор. — Давайте поспешим, Дмитрий Алексеевич. Ей нужно вас увидеть.

Дмитрий Алексеевич не стал одеваться. Они вышли из подъезда в переулок. Как раз против выхода поблескивала на фоне ночи светло-песочная «Победа».

— Пожалуйста, — сказал майор, — это моя машина.

— Вы поезжайте. — Дмитрий Алексеевич шагнул в сторону, в темноту, где дремала длинная вереница автомобилей. — Я поеду сам.

Майор, не сказав ни слова, хлопнул дверцей. Застучал стартер в его машине, мотор завелся, дохнул, фыркнул, и новенькая «Победа» ушла.

Дмитрий Алексеевич огляделся. Такси нигде не было видно. Он прошел за угол, к главному подъезду, и остановился. В его распоряжении было всего две или три минуты.

— Хозяин! Садись, куда тебе? — позвали его сразу несколько шоферов из дремлющих машин.

Но тут Дмитрий Алексеевич вдруг спросил себя: «Зачем? У нее билет, она едет в Кемерово, она стала на верные рельсы. . .»

И, не отвечая на веселые зазывания шоферов, он медленно пошел назад по тротуару. «А люблю ли я Надю? Когда-то ведь я ее почти ненавидел! Да, я, должно быть, привык к ней. Но разве это — то? То

было другим... Даже не вспомнишь толком, что это такое, — все равно, что вспоминать молодость!»

И Дмитрий Алексеевич попытался припомнить свою молодость. Кое что вспомнилось. Это было чувство здоровья во всем теле. Невольно на каждую девушку смотрел — в метро, в трамвае, на улице, и ухо само слушало их голоса. И все они были красавицы. Даже те, что считались явно некрасивыми, и у них была своеобразная, нежная красота. Где они? А запахи? А постоянное ожидание неизвестного счастья! Готовность засмеяться, только был бы повод! А сейчас дают на десять лет больше — и не удивляешься...

«Можно было бы все вернуть», — подумал он. И ему показалось, что он слышит отдаленный зов сибирских тополей, то, что он когда-то слышал рядом. Бери ружье — теперь ты свободен — и уезжай на край света дикарем! Не послушаться ли этого зова, пока еще слышно? Хотя зачем? Дуб потому и растет по тысяче лет — ведь ему время не нужно! Ему что десять, что тысяча лет! «А для меня время — это все. Ни одной минуты не отдам. Они все нужны для дела! — И он усмехнулся, поймав себя на этой мысли. — Да, родной, у тебя появился любимый конек! А это говорит, что мы, дорогой товарищ, постарели!»

Он свернул в переулок, вошел в подъезд, поднялся по лестнице. Маленькая дверь на сцену была приоткрыта, виднелась фанерная перегородка.

— Петр Венедиктович, славный наш юбиляр, — шамкая, с проникновенной дрожью читал кто-то за фанерой на трибуне, — постоянно являл нам... да, благородный пример принципиальности и научной объективности. Он умеет понять ошибки молодых и, поправляя их, щедро раздает чистое золото своего драгоценного опыта...

Где-то в зале слушала эти слова и Надя. Она должна была бы уже прийти. «Как бы суметь пробраться в зал?» — подумал Дмитрий Алексеевич.

В эту минуту откуда-то сверху по лестнице мелко и мягко просеменил вниз Вадя Невраев. Он что-то жевал, лицо его было краснее обычного. Увидев Дмитрия Алексеевича, он будто остолбенел — затих, затем показал бутерброд с колбасой и молча несколько раз ткнул пальцем вверх. Потом подошел вплотную, дохнул винцом и опять настойчиво показал пальцем на лестницу и вверх.

— Только вам сообщаю. По дружбе. Идите скорей! — И он уплыл за фанеру, в президиум.

Дмитрий Алексеевич поднялся на третий этаж. Здесь тоже была маленькая, чуть приоткрытая дверь, но за нею виднелась не фанера. Там сверкали стеклом и никелем, белели камчатным полотном два длиннейших стола, приготовленных для юбилейного банкета. Вокруг них хлопотали люди в белых куртках — одну за другой приносили и ставили на столы вазы с апельсинами, словно зажигали один за другим уличные фонари.

— Можно пройти через зал? — спросил Дмитрий Алексеевич у одного из них и, получив разрешение, быстро прошел вдоль столов на тот конец к главной лестнице.

Еще сверху он увидел все три входа и актовый зал с открытыми настежь дверями. «Дорогой Петр Венедиктович! — звонко донеслось оттуда вместе с волнами теплого, обжитого воздуха. — В день вашего

восьмидесятилетия мы, научные сотрудники и служащие института, с чувством глубокой благодарности шлем...»

Бесшумно ступая, Дмитрий Алексеевич сошел по лестнице, приблизился к центральным дверям и увидел Надю. Прислонясь к блестящему крашеному откосу двери, держа под мышкой сумочку, она слушала оратора. На ней был ее темно-серый с сиреневым отливом костюм — уже не новый. Свои темные с бронзовыми струями волосы она свернула на затылке в тугой и длинный пучок, и вокруг него, как и раньше, как и в юности, витала непокорная золотистая дымка.

Дмитрий Алексеевич подошел к Наде и осторожно взял ее под руку. Она не вздрогнула, не оглянулась. Она порозовела чуть-чуть и прижала его руку. Целая минута прошла — и вот она медленно повернула к нему лицо. Оно было грустное, и в глазах был все тот же знакомый Дмитрию Алексеевичу вопрос.

Вокруг них не было никого. Он спокойно подал Наде письмо Жанны. Она прочитала, подняла на Дмитрия Алексеевича глаза.

— Уехала?..

— Уехала.

И они замолчали. Стали смотреть на сцену. Там, на трибуне, негромко, но внушительно Вадя Невраев читал приветственный адрес министра и посматривал при этом на академика. Юбиляр слушал приветствие стоя. Сам министр неподвижно сидел в центре президиума, и был он в эту минуту больше, чем когда-нибудь, похож на портрет Бетховена.

Вадя дочитал адрес, сошел с трибуны, передал папку академику и хотел было пожать ему руку и даже подался вперед, чтобы поцеловать заслуженного человека, но наткнулся вдруг на его несколько округлую, но все же крепкую спину. Академик, взяв красную с золотыми буквами папку, торжественно направился к министру. Само собой очистилось в рядах президиума место для встречи двух больших людей. Они встретились, троекратно поцеловались, тут же неожиданно вспыхнул магний фотографа, и весь зал загремел, загрохотал. «Очень хорошо, очень, очень хорошо!» — сказал кто-то неподалеку от Дмитрия Алексеевича.

— Я тут надумал одну вещь, — сказал Дмитрий Алексеевич в этом шуме, притягивая к себе мягкий, уступающий локоть Нади. Сказал и умолк.

— Ты что? — Она оглянулась.

— Я надумал одно дело. Мы же все-таки с тобой не первый день... Надо бы к венцу, а?

Она ничего не сказала.

— Надюша... Я серьезно предлагаю. Руку и сердце. — Он неловко улыбнулся.

Она закрыла глаза, губы ее чуть-чуть вздрогнули. Она словно бы перевела дыхание и тяжело посмотрела на Дмитрия Алексеевича.

— Мне знаешь что показалось? Мне показалось, что ты только сейчас это надумал... Она уехала, и ты... так у тебя получилось. Ты имей в виду, я не требую, не прошу. Ничем ты не связан. Ничем! Говори только со мной всегда правду, как ты до сих пор говорил... Я ведь и так твоя жена... Я же знаю, что ты меня... любишь, но не так...

И она уткнулась в уголок, между ним и стеной.

— Надя! — зашептал он ей — Надя! Успокойся, милый! Ты чего?

— Ничего, — шепнула она, копошась пальцами в его рукаве.

В эту минуту вдали на сцену поднималась делегация из трех человек, неся на полированной доске модель какой-то машины. Модель была установлена перед академиком на стол президиума. Один из делегатов наклонился над ней, что-то тронул, и машина не спеша задвигала своими рычагами и завертелись, замелькали ее колеса.

Зал ответил на это дружными аплодисментами, и в ту же минуту Дмитрия Алексеевича словно подменили. Рука его стала жесткой. Он изумленно замер, будто вдруг прозрел, — не то улыбаясь, не то собираясь закричать.

— Что делается! — шепнул он. — Неужели ты не видишь?

Что Надя видела? Вдали на столе президиума что-то, поблескивая, вращалось, и весь зал и президиум дружно аплодировали.

— Машина-то! Это же револьверная! Шестистволку преподнесли академику! Урюпинскую! Миллионы, понимаешь? Миллионы с того света вышли на стол. Угробленные!

Ничего не подозревавший директор какого-то далекого завода старательно готовил этот дар. До него еще не дошли из Москвы вести о машине Лопаткина, и он, наверно, не прочитал еще приказа «три двойки». И вот поднес академику как раз то, о чем полагалось сегодня молчать!

Модель продолжала свое дело — поворачивала барабан и целилась в президиум по очереди всеми шестью патронами. Петр Венедиктович побагровел, посмотрел на нее боком, потом с ядовитой благодарностью взглянул на Авдиева, и усы его начали дрожать. Дроздов чуть заметно улыбался, но аплодировал. Авдиев хлопал своими толстыми руками, наклоняясь к соседу, и что-то говорил ему, гневно кивая на блестящую машинку, встряхивая желто-седыми кольцами волос. А в общем, понимали все это немногие — восемь или десять человек. Еще человек двадцать догадывались об ошибке директора, но эти не подавали виду — усердно хлопали. А весь зал гремел. Что ни секунда, то громче: потому что имя академика было известно каждому, минута была торжественная, машина занятно мерцала на столе, работала сама, без посторонней помощи, олицетворяя собой технический прогресс. В зале почти никто не видел горькой стороны этого торжества.

«Ну, а я? — думал Дмитрий Алексеевич. — Что же, и мне закрыть глаза? Вот я наконец вижу невидимый град Китеж. Видят его только сами китежане... и вот я. Если я выйду сейчас туда и скажу: вот что это за машина — меня никто не захочет слушать! Будут смотреть на меня, как Заря тогда смотрела. — И он почувствовал на миг, что краснеет. — Что же, выходит, что после такой долгой борьбы я победил только для одного себя? Значит, верно, «эгоист»? Неужели для них, сидящих здесь, я не сумел разогнать туман, не вооружил хоть чье-нибудь зрение?»

А Надя смотрела на него и качала головой. Потом осторожно взяла его за руку, вывела из невидимого города.

— Может, вернемся к первому вопросу? — сказала она, тихо смеясь.

— К какому? — Дмитрий Алексеевич встрепенулся.

— Ты уже забыл... Ты ведь предлагал мне руку и сердце. Руку я вот держу, а сердце где?..

— Вот сердце, — сказал Дмитрий Алексеевич, прикладывая ее руку к своей груди. — Вот оно. Слышишь, как колотится?

— Да... — задумчиво проговорила Надя. — Придется принять это сердце... Оба мы с тобой такие. Сломанные, как говорит Дроздов. Сломал он нас с тобой. Куда же мы денемся друг от друга?

— Слома-ал? — сурово вдруг пропел Дмитрий Алексеевич. — Ну, нет. Он только нас высоко настроил, как две струны. Он нас свел, показал друг другу. Спасибо ему...

— Ты правду говоришь?

— Ну, конечно, правду! Ну, верно, герой романа во мне как-то устал или заболел... Я сам чувствую, что не похож на юного де Грие... Один только изобретатель, драчун во мне сейчас...

— Ах ты, беда моя... Вот и хорошо! Значит, я буду уверена, что ты мне не изменишь. Милый Дмитрий Алексеевич! А мне можно будет любить тебя?

Она думала, что он этого не видит, и быстро прижалась губами к его рукаву. Но он увидел это. Слезы бросились ему в голову, закипели в глазах. Он схватил ее за локоть, вытащил из зала за дверь и прижался щекой к ее мокрой щеке. И она засмеялась.

— Пойдем? — и за руку повела его вниз по лестнице.

Внизу он подал ей пальто, оделся сам, и они, чувствуя необыкновенную легкость, держась палец за палец, выбежали на улицу.

7

И опять они тихо прогуливались по каким-то переулкам, под какими-то деревьями, уходящими в зимнюю ночную высь, — как в тот вечер, на Ленинградском шоссе. И Надя, держась за его локоть обеими руками, смотрела вниз, сравнила его шаги со своими. Минутная необыкновенная легкость оставила их, оба далеко ушли в свои мысли. «Что же дальше? — думал Дмитрий Алексеевич, начиная ненавидеть свой внешний тихий и спокойный плот именно за эту бестревожную ясность будущего. Раньше, в дни борьбы, он был не то чтобы счастливее, но моложе. И сегодня, с этой своей спокойной позиции, он вдруг полюбил бесконечную суровую дорогу с ее верстовыми столбами, — к сожалению, уже пройденную.

И Надя думала почти о том же. Она посматривала на Дмитрия Алексеевича и твердила себе: вот наконец он отдохнет. Тревожный человек станет спокойным, его нервная зоркость, его готовность к схватке — все это теперь ни к чему. И, может быть, даже оттенок сожаления проникал в эти мысли: «пробужденье на мглистом рассвете» — это уже никогда не повторится...

Так они прошли весь центр — сначала наобум, по запутанным московским переулкам, потом через три площади, словно через Азовское, Черное и Средиземное моря, — и где-то около Манежа вспомнили о том, что вечер еще не кончен: у Дмитрия Алексеевича в кармане лежали два билета на юбилейный банкет. Шел уже одиннадцатый час.

— Опоздали немножко... Пойдем посмотрим? — сказал Дмитрий Алексеевич.

«Веди меня, куда захочешь, — сказали ему глаза Нади. — Только дай мне хоть на секунду взглянуть на наше завтра».

Серая машина с шахматным пояском подвезла их к подъезду института. Они прошли в пустынный вестибюль и сразу услышали ликующий рев трубы и долетающее сверху, как легкий ветер, шарканье вальса. Не спеша они сняли пальто, вышли к мраморной лестнице, к зеркалам, и здесь Надя вдруг остановилась, схватила своего м у ж а за руку.

Впереди, чуть повыше, на площадке металось что-то черное, какая-то тень. Можно было подумать, что это обезьяна, убежавшая из клетки, бросается на зеркала, ищет выхода. Это был Леонид Иванович. Он расхаживал, кружил по площадке и курил. Круги его сегодня были особенно искривлены и замысловаты. Он и Надю не заметил, когда она, гордо потупя глаза, прошла мимо него. Нет, кажется, заметил, сощурился на миг ей вслед и снова заколесил.

Надя сразу узнала эти кривые круги. Они свидетельствовали о высшем деловом волнении Дроздова. Но что же, какая страсть заставила его уединиться здесь, на площадке?

И вдруг Надя вспомнила:

— Да, я же видела сегодня здесь наших, музгинских! Как это они сказали . . . Да, беспроволочный телеграф передал сегодня новость. Дроздова готовят в замы, на место Шутикова. Официальных известий еще нет, но говорят, будто решено . . . Он сам тоже, наверное только что узнал.

Не сговариваясь, они оглянулись вниз, туда, где продолжала метаться между зеркалами черная тень. И дальше, вплоть до самого входа в актовый зал, оба думали о Дроздове. Но тут за открытыми настежь высокими дверями по-особенному весело взревел оркестр. Там, за порогом, кружилась, текла в одну сторону тесная и разгоряченная карусель танцующих, вынося из своей середины на край черные костюмы, бархатные платья, голые руки, проборы, лысинки, золотистые гнезда женских причесок.

Постояв у дверей, Дмитрий Алексеевич и Надя поднялись на третий этаж, туда, где был зал, меньший по размеру, но для многих более привлекательный. Здесь попрежнему сверкали стеклом и никелем, белели полотном два стола, но стройность сервировки была основательно нарушена, вазы стояли без апельсинов, как погашенные фонари, и за столами почти никто не сидел. Мужчины в черном и в серых кителях группами и парами прогуливались по залу, стояли у окон, в нишах, и у раскрытых настежь дверей — курили и наполняли зал ровным веселым жужжанием.

Нет, и за столом еще сидел кое-кто. В дальнем — председательском конце, где два стола соединялись перемычкой, — там даже собралась небольшая компания. В центре ее сидел академик Саратовцев. Из-за его плеча виднелась рыжая голова Авдиева. Там же стояли генерал — начальник Гипролито, заместитель министра — временный преемник Шутикова, Вадя Невраев с багровым круглым лицом, солидный Фундатор и остроносый белесый Тепикин. И еще там стояли несколько человек, которые имели б а г а ж , достаточный для того, чтобы без приглашения подойти и наряду с известными деятелями слушать академика и смеяться тому, что он говорил. Поодаль соб-

рались тоненькие молодые люди, которые не имели еще достаточного багажа. Они взирали издалека и улыбались, должно быть зная, о чем говорит академик. Но перейти мертвое пространство не осмеливался никто. Не так-то легко их пройти, эти пятнадцать шагов...

Петр Венедиктович, розовый от многих тостов, держал в вытянутой руке вилку остриями вперед. Левая рука его была слегка поднята, как полагается при фехтованиии, и отведена назад. Усы академика грозно смотрели вверх. Он рассказывал о поражении некоего барона — не о том известном поражении, что было нанесено ему Красной Армией, а о другом, более раннем, свидетелями которого были только секунданты...

— Дмитрий Алексеевич! Товарищ Лопаткин! — закричали в это время в противоположном, дальнем конце зала. — Идите к нам! Сюда!

Там, в нише, собралось общество подвыпивших конструкторов из Гипролито, и душой его были Крехов и Антонович.

Дмитрий Алексеевич и Надя подошли. Кружок раздался пошире. Крехов взял Дмитрия Алексеевича за рукав, притянул к себе.

— Каково! — Он понизил голос, но так, чтобы весь кружок слышал. — С подарком-то что случилось! С машинкой! Ай-яй-яй! Видали лица?

— Особенно у вашего любимца, — весело заметил Дмитрий Алексеевич.

— Вы о ком?

— О ком же! Все о том, который пришел в лаптях, уперся лбом и раздвинул все и вся!

— А-а... Я действительно... Было, было такое. А я не жалею! Новое сознание тем прочнее и светлее, чем дольше сидел в вас обман...

— Не в нас, а в вас, — заметил Антонович.

— Ну да, во мне. Правильно. Да, ты прав. Я сегодня смотрел на сцену и сек в себе пятидесятилетнего мальчишку, который так долго молился на этого деревянного, понимаете, идиотского бога...

— Ну ладно о Боге, — сказал Антонович. — Мы отпускаем ваши грехи. Вот что, Дмитрий Алексеевич, тут мы спорили. Подтвердите нам — здесь товарищи не верят, что Галицкий отказался от награды...

— Это и я знаю, — перебила его Надя. — Он мотивирует тем, что скоро будет получать орден за выслугу лет. Я читала его письмо. «Я сделал то, что должен был сделать всякий порядочный человек, тем более коммунист, — так он написал. — Если я возьму еще и эту награду, то получится, что, занимаясь делами Лопаткина, я выгадывал что-то для себя».

— Чепуха! — сказал Дмитрий Алексеевич. — Это он перегнул.

— Вообще оригинальное рассуждение, — заметил Антонович. — Не часто такое услышишь. У нас не принято ложку мимо рта проносить.

— Он заслужил обе награды, — сказал Дмитрий Алексеевич. — И ту и другую.

— Я поддержал бы его рассуждение, — продолжал Антонович с упрямцей. — Награды нельзя обесценивать. Не так уж наша Россия, товарищи, бедна честными людьми, чтобы их искать днем с огнем и награждать только за то, что они не сбились с пути, ровненько служили. Нет, если награждать, то за выдающиеся дела или за много-

летнее служение, в котором каждый день ты себя ведешь так как Петр Андреевич, помните? — Он обратился к Крехову и Наде.

— Венедиктыча повели спать! — сказал Крехов, повернулся и громко захлопал в ладоши.

Весь зал разразился треском аплодисментов. Буря передалась на лестницу. Музыка внизу смолкла. Академик, стоя посреди зала, несколько раз приложил руку к груди, поклонился во все стороны и последовал в сопровождении аплодирующей свиты к лестнице вниз. Оркестр нестройно, но весело сыграл туш, и все мало-помалу стало успокаиваться.

Когда буря улеглась, Крехов широким жестом вожака пригласил всю компанию к столу — продолжать то, что было уже начато.

— А то сейчас займут, — пояснил он, когда все уселись, и постучал своим золотым кольцом по рюмке. — Всех, кто хочет с нами выпить, прошу сюда . . .

— Или сюда! — раздалось сзади Дмитрия Алексеевича. Он обернулся и увидел почти рядом с собой за соседним столом сухонький затылок Тепикина. А из-за покатистого тепикинского плеча с другой стороны стола на Дмитрия Алексеевича пристально смотрел глаз Шутикова. Этот глаз, чуть уменьшенный стеклом очков, был добродушен.

— За здоровье лосося! — крикнул Шутиков, поднимая маленькую рюмку. — Товарищ Лопаткин! За здоровье мощного лосося!

Дмитрий Алексеевич поблагодарил его, кивнул — и Шутиков выпил один. Вытер рот салфеткой, что-то шепнул своему соседу Фундатору. Там, справа и слева от него, собрался почти весь Китеж.

— А, вот кто у нас сосед! — закричал Тепикин, дружески оборачиваясь, обнимая спинку стула. — Давно тебя не видел. Поздравляю, Дмитрий Алексеевич! Ну и кашу же ты заварил!

— Ничего, потомки расхлебают, — жуя, добродушно ввернул Фундатор.

— Зачем же потомки? — заговорил Шутиков, лукаво просияв. — В этой каше, товарищи, есть кусочек хорошего мяса — машина Дмитрия Алексеевича. Вот этот кусочек и достанется потомкам . . .

— Правильно, товарищ Шутиков, — негромко, но внятно заметил кто-то из молодых инженеров, из компании Крехова. — А остальное съедят не потомки, а современники. Все съедят! Они у нас терпеливые, а?

— Не о-о-чень, — протянул Шутиков. — Вот Дмитрий Алексеевич, о нем этого не скажешь. Он что не по вкусу не станет есть. Не-хе-хет, товарищи, не пройдет! Сами ешьте свою кашку!

И весь Китеж, вся их компания засмеялась.

— Хе-хе-хе! Ешьте, ешьте!

— Не подави-хе-хе-тесь!

Как будто речь шла не о них, а о ком-то третьем, кто и должен был съесть до дна всю кашку!

— Послушай-ка, товарищ Лопаткин, — громко сказал вдруг Тепикин. — Ты сегодня победитель. И мы все поражены, как ты сумел пройти насквозь огонь и воду. Но натура у тебя, дорогой товарищ, эгоистическая. Ты единоличник. У нас в стране в одиночку бороться — до тебя я сказал бы — невозможно. А сейчас говорю — трудно.

Коллектив — он и поможет, и защитит, и заботу проявит, и материально вовремя поддержит... Чурался, чурался ты коллектива. А мы ведь всегда готовы протянуть тебе...

Глаза китежан заблестели. «Э, да ты, оказывается, не такая простая штучка!» — подумал Дмитрий Алексеевич и оглянулся. Его кружок еще больше увеличился, здесь тоже блестели глаза — народ был молодой, почти студенты. Восемь лет назад, когда контуры машины Дмитрия Алексеевича в первый раз легли на ватман, эти молодые люди, пожалуй, заканчивали десятый класс.

Дмитрий Алексеевич задумался на миг. Он вспомнил об Араховском и о молодом человеке, изобретателе литейной машины с магнитными полями. Их дело можно было считать выигранным — Дмитрий Алексеевич давно уже принял нужные меры. Но тут из самых тайных глубин памяти вышел профессор Бусько со своими стеклянными пузырьками. Его открытие исчезло без следа. И еще Дмитрий Алексеевич подумал о том неизвестном счастливце, таком же молодом, как эти, что сидят здесь, который, может быть завтра, найдет эту потерянную мысль. Понесет ее людям. Побежит молодыми ногами по обманчивой дороге: она покажется ему такой короткой! Он помашет своей семнадцатилетней девочке, окруженной сиянием, скажет: погоди, я только добегу — вон до того столбика! Добежит ли? А вдруг пойдет — от версты к версте, — и так все восемь лет... Или даже исчезнет, как Бусько...

Он подумал об этом, и что-то вдруг начало в нем быстро, гневно нагреваться. Потом пролетели воспоминания — о Сьянове, о рабочем, который управлял его машиной на Урале, о неизвестном доброжелателе, положившем в сумку двадцать картофелин... Эти люди и сейчас работали — каждый на своем месте — и ничего не знали о существовании Тепикина, Авдиева и Дроздова...

И вдруг Дмитрий Алексеевич заметил, что тихий плот его понесся и запрыгал по камням.

— Мы к вам не руки протягивать... за материальной поддержкой, мы с вами драться будем, — сказал он, и было непонятно, что загорелось в его глазах — озорство или скрытая ненависть. — А сейчас мы будем дразнить друг друга, как делали бойцы в старину: я буду вас, вы — меня, чтоб злее...

— Так мы ж тебе и наставим синяков!

— Сегодня нуждаемся в примочке не мы... — заметил Антонович.

— Ты-то чего, интеллигентный инженер? — Тепикин ласково на него посмотрел и опять обернулся к Дмитрию Алексеевичу. — А ты, товарищ Лопаткин, зря тут... Лучше давай разопьем мировую. Ради приличия старой дружбы. Нам пора на покой, кости старые холить, раны заживлять. «Победу» теперь покупай. Дачу...

— Телевизор... подсказал кто-то из молодых.

— Что ж, и телевизор. Вещь неплохая...

— Не единым хлебом жив человек, если он настоящий, — прозвучал в тишине голос Дмитрия Алексеевича.

— Ты теперь добился, чего хотел, — продолжал Тепикин, словно не слыша. — А молодые — пусть их дерутся...

— Ты знаешь, Тепикин, что такое БУП? — вдруг спросил Дмитрий Алексеевич с тем же выражением озорства и ненависти.

— А? — Тепикин приоткрыл рот, но тут же спохватился, махнул рукой. — Ты лучше ответь на мой вопрос. Вот такое я тебе задам. — Гремя стулом, он придвинулся поближе к Дмитрию Алексеевичу. — Вот ты, товарищ Лопаткин, теперь будешь их светлость начальник конструкторского бюро. И представь, твой подчиненный, тот же Крехов, придумает чего-нибудь лучшее...

— Вам этот вопрос кажется каверзным, — сказал Дмитрий Алексеевич.

— Погоди... Я уверен, если Крехов родит, ты сразу начнешь сочетать общественные интересы с личными. Знаешь, так это... гармонически!

— Ха-а-а! — дружно разразился весь Китеж.

— Вы, конечно, будете разрабатывать и это, но под своей вывеской! — добродушно вставил Фундатор. — Под вывеской «КБ Лопаткина»! Машина будет называться «Л-2»!

— Я смотрю на вас с Тепикиным, — сказал Дмитрий Алексеевич, — и прихожу к выводу, что вас, к сожалению, невозможно оскорбить...

— Вы проще, проще! — крикнул Фундатор, краснея.

— Да чего тут... У вас огромное преимущество! Вы себя срамите беспощадно — и не чувствуете! Погодите, я вам разъясню. У меня есть знакомый слесарь. Сьянов, дядя Петр. Похвалите его за деталь, которую сделал не он. Он немедленно откажется от ваших похвал — у него есть своя рабочая гордость и честь. Он бы плюнул сейчас и ушел, услышав это ваше «Л-2». Но вы, я вижу, и сейчас еще не понимаете меня...

— Ладно, не намекай, — сказал Тепикин. — За это дело министр с нами рассчитался сполна...

— Я не об этом вам... Но спасибо, что напомнили, мы-то еще с вами не рассчитались. Министр вам легонько всыпал, а мы будем с вами обходиться иначе. Как велит БУП.

— Что же это такое? — любезно спросил Фундатор.

— Боевой устав пехоты. Найдете — прочитайте. Там сказано, что мы намерены с вами делать. Я там был обозначен «одиночный боец». А теперь мы — «отделение в бою».

— Ну, ну... Раз ты такой драчун, раз тебе понравилось, подставляй скулу... Ты, конечно, не обидишься на меня за мои слова? Я когда выпью — мне море по колено. — И Тепикин, добродушно махнув рукой, посмотрел на Дмитрия Алексеевича безоблачными глазами. — Люблю побеседовать, пошутить с хорошими ребятами за стопкой.

И за его простоватой улыбкой проглянула на миг огромная выдержка, тренировка зрелого бойца.

— На этот счет и я любитель, — ответил ему Дмитрий Алексеевич серьезно. — О, мы с вами так ли еще будем шутить! Вот идет сюда Василий Захарович, у него, я вижу, тоже хорошее настроение...

Действительно, сюда, к этому концу стола, двигался громадный детина в черном — Авдиев. Он издалека увидел Дмитрия Алексеевича; пухлая, крапчатая его физиономия заулыбалась. Он остановился, развел руками, словно для объятий, и запел довольно приятным грубым басом:

— Мне мнится соперник счастли-и-вый!..

И двинулся было к Дмитрию Алексеевичу обниматься — напролом, через стулья, через людей. Но тут откуда-то сбоку на него набежал Вадя Невраев, багровый, точно из бани, с непонятной нежностью в дурных голубых глазах.

— Друзья! — Голос Вади был ошеломлен водкой и несся, не разбирая дороги. — Друзья! Это прекрасный романс! Давайте споем!

И, глядя на Авдиева, выставив плечо, он затянул:

— И та-айно и зло-о-обно, — здесь он отчетливо погрозил Авдиеву пальцем, — ор-ружия ищет рука-а!..

Авдиев даже вздрогнул. Наступила тишина. «Точно попал, — проговорил кто-то в кулак. — Как ворона каркнула». Корифей так и не смог оправиться. Посмотрел вниз, покачал головой, шагнул ко второму столу и там сел в компании с Фундатором и Тепикиным.

— Плохо ему, — сказал Крехов. — Эта ворона зря не каркнет.

В час ночи, когда гости начали разъезжаться, Дмитрий Алексеевич и Надя через распечатанную кем-то дверь вышли из душного зала на балкон, лунно-белый от свежего снега. Оставляя черные следы на нежном снегу, они подошли к каменному барьеру. За ним внизу, под горой, вдали, как под ночным самолетом, темнела земля, испещренная множеством огней. Смахнув снежную пыль с серой гранитной плиты, Дмитрий Алексеевич налег на нее, задумался, глядя вдаль, в темноту.

— Ты о чем думаешь? — спросила Надя.

— О многом. Вот... Об этом обо всем... — Дмитрий Алексеевич чуть заметно кивнул в темноту. — Ты как, не устала?.. Если я тебе скажу «пойдем дальше»...

Надя не ответила. Только приблизилась — и исчезла, потому что ее и не было, а была чистая речка, чтоб он мог напиться и смочить лицо на своем тяжелом пути. Он понял это. Еще тяжелее навалился на гранит, двинул плечом, словно поправляя свой груз перед дорогой — чтоб удобнее лежал. Плечо его стало теперь мощным, но и груза прибавилось. Это был груз новых забот — забот о людях.

«Вы станете еще и политиком!» — вспомнил он слова Галицкого. Может быть, в первый раз он по-настоящему понял этого человека, который с недавнего времени стал для него как бы старшим братом. И хоть машина Дмитрия Алексеевича была уже построена и *вручена*, он вдруг опять увидел перед собой уходящую вдаль дорогу, которой, наверно, не было конца. Она ждала его, стлалась перед ним, манила своими таинственными изгибами, своей суровой ответственностью.

Издательство: ZOPE
München 2, Gaiglstr. 25
Deutschland — Germany

Издание Центрального Объединения
Политических Эмигрантов из СССР (ЦОПЭ)

Мюнхен 1957